

ЮРИЙ
ПЕТУХОВ



РЕЗЕРВАЦИЯ



Юрий Петухов

РЕЗЕРВАЦИЯ

наваждение

РЕЗЕРВАЦИЯ

наваждение

post-postmodern @ postrussia.ru

Отшельник сполз с грязной занозистой лавки, покрытой истлевшей мешковиной, ударился лбом о мокрый и скользкий пол. Ноги совсем не держали. Тонкие хлипкие ручонки тряслись, никак не хотели слушаться. Мертвое тело! Оно давным-давно умерло, в нём жил только мозг: огромный, разбухший, разросшийся - будто исполинский светящийся гриб... Отшельник просвечивал пространство на тысячи вёрст, он видел и слышал всех. Для него не было барьеров... Он знал, что жить ему осталось недолго. Но в это «недолго» он обязан был дать свои нечеловеческие силы, свой ум, свою волю тем, кто рвался сейчас за Барьер - несчастному Бигу, клешнерукому Паку Хитрецу и даже этому ублюдку со змеиной головой, этому выродку Гурыне... Беспечные хозяева жизни ещё не знали, что они породили в Резервации. Он один знал. Знал простую и мудрую истину, которая заключалось в том, что даже если сорок миллионов вырождо-мутантов вымрут в муках и судорогах, то одному выжившему великая Мать-Мутация даст бессмертие, даст силу вершить невозможное...

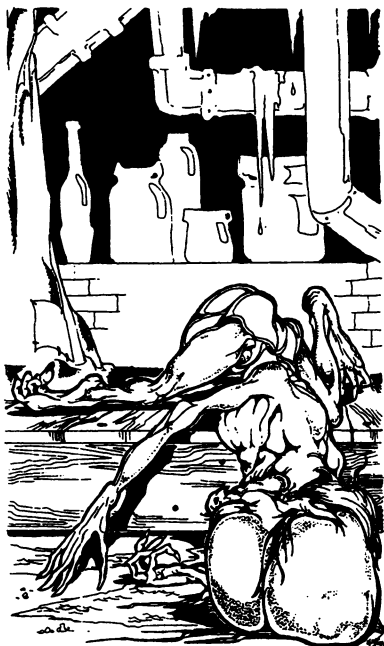
РЕЗЕРВАЦИЯ





РЕЗЕРВАЦИЯ

Наваждение



**Good
as
Gold**

Художники А. Филиппов,
Р. Афонин, А. Казаров

ПЗ1 Петухов Ю. Резервация. Наваждение. Роман. Повесть.
- М.: Метagalактика, 2004. – 480 с. ил. (Серия «Good as Gold»).

Мир беспощадного настоящего, изгоняющий героя в иные измерения, и мир жестокого будущего, населенный мутантами и охотниками за ними – всё это Россия, превращенная в Подкуполье, в Резервацию. Уже сейчас из «общества потребления» мы перешли в безумную эпоху постхристианства, постмодерна и постгуманизма, точнее, нас просто впихнули в Общество Истребления, а что ещё впереди... Перед вами книга, потрясающая сознание и воображение.

Культовые романы Юрия Петухова не поддаются классификации. Это и сверхострые авантюрные боевики, и философские антиутопии, и фантасмагорические наваждения, и психологические триллеры, и самая настоящая, блестящая художественная проза с элементами черного юмора, сарказма и трагифарса «в одном флаконе». На такой крутой и бесподобный замес способен только подлинный мастер пера, настоящий писатель, обладающий недюжинным талантом.

ISBN 5-85141-021-3

© ЮД. Петухов, 2003
www.juri-petuchov.narod.ru

Юрий Петухов



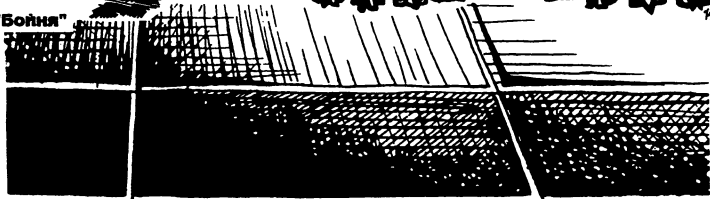
РЕЗЕРВАЦИЯ

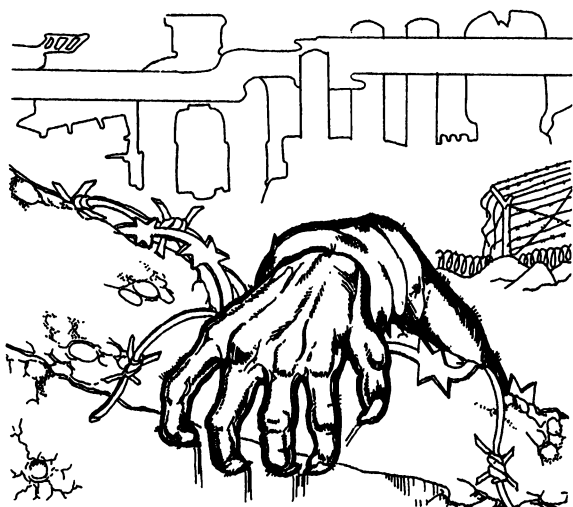
Наваждение

"Мирн Юрия Петухова"



"Бойня"





*“И увидел Он, что велико человеческое
зло на Земле, и всякая тварь умышляет
всякий день в сердце своем только злое”*

Кн. Бытия(6.5)

РЕЗЕРВАЦИЯ

эпизод:

Бойня





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧУДОВИЩЕ

Чудовище медленно покачивалось из стороны в сторону, оперевшись на четыре нижние конечности, сложив на бугристой груди передние верхние, выставив чуть назад верхние боковые и задние. Оно не открывало глаз — весь этот внешний мир настолько опротивел, осточертел, что оно не хотело на него смотреть. По неровному и хрящеватому загривку-горбу волнами пробегала дрожь — и непонятно было, то ли чудовище замерзло, то ли что-то внутри у него содрогалось, нарывало болезненно.

В развалинах желто-серый дым стоял неподвижно, словно туман в глубоком овраге. Дышать тут было нелегко. Но чудовище сейчас не замечало ничего. Опять накатило. Опять навалилось! Такое случалось частенько, и надо было просто встряхнуться, уйти отсюда, прогнать тягостные мысли. Но куда там! От собственных мыслей далеко не убежишь, даже если они ворочаются в огромной голове, похожей на пере-

вернутый котел, еле-еле, вываренными потрохами в булькающем кипятке. И оттого, видно, что котел этот перевернут, прожигают они все тело насквозь: до кончиков щупальцев, до когтей на нижних конечностях! Нет, не убежишь!

И чудовище раскачивалось — как от зубной боли, словно в оцепенении. Оно не замечало, что ударяется зеленым слизистым плечом о шершавую каменную стену. Оно вообще ничего не замечало. Оно было внутри самого себя, в своих мыслях.

Невеселы были эти мысли.

«Даже самая распоследняя Божья тварь имеет хоть какую-то, пускай ничтожную и бессмысленную для окружающих, но все же свою, собственную цель в жизни. Ведь правда? Даже если это и не жизнь, а одно мучительное недоразумение! Даже если это не цель для прочих, а туман на палочке. Все равно! Ведь не может же быть иначе?!

Меня Божьей тварью навряд ли кто назовет. Уж скорее наоборот. Только мне это без разницы. Мне наплевать на них на всех! Они — это они! А я — это я! И у меня тоже есть своя цель! Она не хуже, чем у других. Ведь я живу только ею, этим мерцающим впереди огоньком. Если она и покажется кому-то бессмысленной и ничтожной, так пусть подавится своим смыслом, черт с ним! А я делал это и буду делать! Я буду бить их, крушить, расколачивать вдребезги! Я разобью их всех до единого, на самые мелкие осколки разобью! Когда это будет? Не знаю. Я вообще ничего не знаю! Откуда взялся этот мир? Зачем он? Зачем все его обитатели?! Я не знаю даже, сколько живут такие, как я. Почему? Да потому, что я никогда не видел себе подобных. И не слышал о них! Моя мать была совсем другой. Она говорила, что и отец был совсем другой, пока не сварился живьем у своей трубы. Все — были и есть совсем другие!

Но я не подохну до тех самых пор, пока хоть одно из них будет целехоньким! Где б оно ни стояло, где б оно ни лежало, хоть на самом краю нашей бескрайней резервации! И не может быть иначе, и не будет иначе! А вот когда я сокрушу последнее и мир перестанет двоиться, я выберу самый большой и самый острый осколок и перережу им собственную глотку...

Я думаю, что это случится не скоро. Пускай пройдут годы, ничего. Но я сделаю это. я вытерплю все мучения на пути к своей цели. Пусть хихикают болваны и недоумки.

Им не понять меня. Я сделаю это — и с радостью и с надеждою уйду из этой мерзкой, поганой жизни. И пускай они тогда смеются над бессмысленностью моей цели — мне уже будет все равно!

В нашем распроклятом местечке я обошел все уцелевшие дома и облазил все развалины. До сих пор мои конечности, и нижние и верхние, дрожат от напряжения. Ах, как я их бил! Как я их колотил! Порезался даже, вон сочится какая-то пакость из третьего левого шупальца, зеленая и вонючая. Тьфу, мерзость! Самому противно. Ну да ничего, я думаю, заживет. А нет, так и к лучшему. Чего мне ждать? На что надеяться? Какие я радости вижу? Ни черта! Эти хоть по вечерам получают свою порцию, присасываются к краникам у труб — и всю ночь балдеют. А я?! Для меня даже трубы не нашлось. А чем я хуже? Что я, не умею, что ли, краны вертеть да за швами присматривать?! Да это любой оболтус сможет, любой мальчуган, если у него хоть одна конечность имеется. А у меня их одиннадцать! Да я бы за десятком труб мог следить! Так нет, рожей, видать, не вышел! Слишком уж не такой, как все! Чихать хотел! Катитесь вы куда подальше!

...Кстати, о мальчуганах. Распустили молодежь. Вчера привязалась свора — куда я, туда и они. Улюлюкают, свистят, камнями бросаются — им и невдомек, что я боль только изнутри чувствую. Грозят! А чего грозить-то? Напугали! Один, маленький совсем, коlobком катится, двумя ножками по земле скребет — клоп, вонючка, а туда же. Да его мне коготком подцепить — и все, хана, крышка клопу. Нет, не отстает. Не понимает. А жалко ведь мелочь пузатую. Мне их жалко. А им меня — нет! Хотя чего жалеть-то? Их всех у труб пристроят, коли не передохнут, конечно, до шести лет, до совершеннолетия. Всем местечко достанется. Каждый будет свой краник посасывать. И никто их не назовет чудовищем, никто не бросит камня вслед. Они — нормальные, обычные! Им хорошо на этом свете!

Ну да ничего. Я в этом вшивом местечке не задержусь. Вот переколочу завтра оставшееся в наипоследнем домишке, в руинах на окраине — и в путь. Только меня и видали! А на новом месте, глядишь, по-новому заживем. Только я одно могу сказать точно: если меня там и приставят к трубе и даже свой краник при ней подключат, я дела не брошу, цели своей не оставлю, нет! И в гробу я всех видал, пускай

потешаются. А я бил их и буду бить! Колотить!! Расколачивать!!!»

Они застукали его на развалинах старого, еще дореформенного дома-громадины, в котором уже много поколений никто не жил. Был день, и потому они отлично просматривали всю местность метров на восемь. Дальше силуэты и очертания терялись в пелене, но грех было жаловаться — денек стоял ясный, не то что обычно. Чудовище, выставив, видно для обороны, на всякий непредвиденный случай, четыре шупальца назад и мерно раскачиваясь из стороны в сторону, вытаскивало что-то большое и плоское из груды камней, кирпичей и прочего строительного мусора.

Пак, самый старший из них и самый хитрый, зажал клешней хобот, чтобы не сопеть, как обычно, трубно и надрывно, и медленно, не спуская глаз с чудовища, отполз назад.

— Попалась, гадина! — заговорщически сообщил он остальным и пригрозил другой клешней. — Ша!

Коротышка Чук взвизгнул от восторга, засучил хилыми лапками, но Пак тут же огрел его по загривку, зашипел озлобленно.

— Где Грюня? — спросил он, убедившись, что оплеуха подействовала и дополнительных мер принимать не надо.

Волосатого Грюни нигде не было. Могло сорваться все дело. Близнецы-Сидоровы в нетерпении кусали друг друга за уши и хищно скребли когтями землю. На ней оставались глубокие борозды. Но шума не было. Каждый понимал ответственность момента. Даже безмозглый и безъязыкий перестарок Бандыра и тот молча скалил обломки желтых зубов и мелко подергивал прозрачными веками. Никто не знал, что надо делать.

— Я сбегая, поищу? — предложил шепотком Гурыня-младший, изгибая длинную шею и заглядывая в глаза хитрому Паку.

— Тока втихаря, — согласился Пак и трубанул-таки хоботом. — Да скажи, шкуру сдеру!

На минуту все припали к земле, напряглись. Но чудовище, скорее всего, не расслышало. Хитрый Пак вздохнул тихо, с облегчением и закатил, видно, от избытка чувств, еще одну оплеуху Коротышке Чуку. Тот беззвучно захныкал, зажимая лапками пухлый рот-клювик.

Гурыня-младший пополз, не оглядываясь, огибая камни.

Но далеко ему уползти не удалось. Волосатый Грюня, будто с него уже содрали шкуру и расстелили ее по земле, лежал за ближайшей обвалившейся стеной, раскинув лапы в разные стороны. И спал. Причем блаженно и безмятежно похрапывал при этом.

Гурыня кусанул его за пятку. И тут же зажал Грюне рот, чтоб не развопился. Грюня был голосист.

— Ты че, падла, — шепнул в ухо Гурыня, — завалить всех удумал?!

Волосатый Грюня бешено вращал единственным глазом, пытался вырваться.

— Пак тебе рожу поскоблит-то щас! — заверил Гурыня-младший на полном серьезе.

И Волосатый Грюня затих. Он вжал мохнатую голову в не менее мохнатые плечи, поджал лапы и оттого превратился в поблескивающий шерстью клубок.

— Где сеть?

Грюня затрясся, повел неопределенно глазом. Вечно он спал! И вечно не мог проснуться! Даже теперь, в такую ответственную минуту. Гурыня-младший кусанул его еще разок, посильнее.

— Мероприятию срываешь, жлобина! — прохрипел на ухо, помня наказ Пака. — Убью!

Впрочем, убивать перепуганного и все еще заспанного Грюню не пришлось. Гурыня-младший сам увидел серую суму, в которой лежала свернутая сеть. Она валялась в трех метрах на куче щебня и песка. Видно, Грюня потерял ее, засыпая на ходу. Выяснять обстоятельства дела времени не было. Гурыня-младший подхватил суму, по тяжести почувствовал — сеть на месте.

— А ну, живо, падло! И чтоб молчком!

Они быстренько доползли до основной группы. И получили по затрещине от вожака Пака.

— Чего застряли? Уйдет щас!

Роли они расписали заранее. Но хитрый Пак вкратце напомнил каждому, что надо делать и как. Для выразительности пощелкал легонько перед их носами своей клешней. Его поняли.

Легче всех было Близнецам-Сидоровым. Их поставили охранять выход из развалин, а точнее, в силу ширины и неповоротливости, просто заслонять путь. если чудовище вырвется и бросится бежать. Правда, Близнецы по своей

простоте не понимали, что им может грозить, коли чудовище наткнется на них. Но Пак сказал, что все будет нормально. И Сидоровы поверили.

Остальные разделились на три группы. В первую входил самолично хитрый Пак, и больше никто. Он брал на себя основную тяжесть, не слишком-то доверяя сотоварищам. Размотанную, но еще свитую в трубку сеть он положил на плечи и теперь выравнивал, расправлял ее, помогая себе хоботом. Сеть была металлопластиковая — газовым резаком не пере-режешь!

Во вторую группу входили Гурыня-младший, Гурыня-старший, Бумба Пеликан и балбес Бандыра. В общем-то, с их заданием мог бы справиться и один надежный парень. Но Пак решил подстраховаться — народец в его ватаге был хлипкий, попробуй доверься им, обалдуюм!

В третью — группу отвлечения — входили Коротышка Чук, Волосатый Грюня и пузатый трехногий подмастерье-переросток Хряпало — орун и визжало неслыханный. Его и взяли с собой только из-за луженой глотки. Роль этой группы была совсем проста. Но и достаточно опасна. И хотя хитрый Пак говорил, что не было еще случая, чтобы чудовище обидело кого-нибудь, пристукнуло или, хуже того, сожрало с потрохами, но... кто его знает, ведь на такое поглядишь — и этого с лихвой хватает, ощущение — будто тебя уже наполовину пережевали. Пак-хитрец не зря отобрал тех, кто зрением послабее да и ценности из себя особой не представляет ни для его ватаги, ни для будущей работенки у заветной трубы.

— Как крикну в голос, так и начали, ясно?!

Пак всмотрелся напоследок в каждого. И каждый кивнул.

Они осторожненько поползли вперед.

А чудовище, дрожа, хлюпая и хряпая, распространяя вокруг себя зловоние и мокроту, ковырялось в обломках и никак не могло вытащить застрявшего в искореженной и ржавой арматуре большого, в старинной массивной раме зеркала. Оно поворачивалось и так и эдак, изгибалось, раздувалось, отчаянно манипулировало всеми конечностями, включая и нижние. Но вытащить зеркало не удавалось.

Хитрец Пак уже давным-давно заметил эту страсть к зеркалам у чудовища, эту какую-то непонятную ненависть к ним. Все в местечке прекрасно обходились вообще без зер-

кал, всем было просто наплевать на эти тусклые стекляшки — о чем бы голова болела, ха-ха! Тем более что и без них все прекрасно видно, а битого хлама и так предостаточно, хоть завались им! Но на этой вот ненормальной страсти и было построено все замышляемое. Недаром же Пака звали хитрым!

Само место располагало к действию. С трех сторон чудовище было загорожено обломками каменных стен, лишь с четвертой оставался проход — правда, довольно-таки широкий. Между стенами было метров шесть. Многовато, конечно, но ничего, если действовать слаженно, все пройдет отлично. Стены вот только обросли склизким противным мхом, можно и навернуться с них. Но совсем без риска-то и не бывает ведь, так? Пак готов был рискнуть ради небольшого развлечения. А почему бы и не поразвлечься немного, пока к кранику не подпускают, кроме как по особо торжественным дням? Не-ет, можно и поразвлечься.

Не спуская глаз с чудовища, он стал карабкаться на стену, на этот каменный обломок, торчащий справа и такой скользкий. Не так-то легко было это сделать. Пак даже порвал свой новенький комбинезон о какой-то крюк, торчавший прямо из мха. И очень расстроился этим. Но горевать было некогда. Обломок торчал метра на четыре ввысь. На верхушке его росло чахленькое деревце без листвы. За его ствол Пак и вцепился клешней, когда основной путь был позади. Подтянулся, чуть не упустив сеть с плечей, но вовремя успев придержать ее хоботом.

Сверху все было отлично видно. Да и чудовище не казалось отсюда столь страшным, как снизу. Пак обернулся — Близнецы-Сидоровы стояли на посту живым двухголовым изваянием, растопылив по сторонам руки-ласты. Они всегда относились к порученному делу серьезно, иногда даже чересчур серьезно. Пак не сдержал улыбки. Но за тылы можно было не беспокоиться. Он снял сеть с плечей, расправил ее в широко расставленных руках.

Противоположная стена была на метр-полтора ниже. Но Гурыни, Пеликан и Бандыра что-то явно не спешили. Олухи чертовы! — подумал про них Пак. Он начинал нервничать. Краем глаза он отметил, что Хряпало, Чук и Грюня заняли свои места. Даже отсюда было видно, как всем телом дрожал Волосатый Грюня, толстяк и соня. Ну да ничего, пускай привыкает!

Наконец над краем противоположной стены появилась глуповатая рожа Бандыры. Он вертел головой и все время стукался костистым подбородком о каменный край, видно, оскальзываясь. Из-за Бандыры неожиданно показалась змеиная голова Гурыни-младшего, потом все тело. Следом на стену влезли Гурыня-старший, отличавшийся от брата лишь толщиной и неповоротливостью, и Хряпало. Судя по всему, Бандырой они пользовались как лестницей. Но и ему Хряпало протянул лапу, помог вскарабкаться.

Надо было начинать.

Чудовище, ничего не подозревая, копошилось вниз. Оно уже почти высвободило свою находку. Оставались минуты, если не секунды.

Пак напряг бугристые мышцы, закинул клешни с сетью за голову, вскинул хобот вверх...

Но не успел он подать знака, как произошло совсем не предусмотренное событие: балбес Бандыра с воплями и визгами, размахивая двухметровыми суставчатыми руко-ногами и изгибаясь так, будто у него нету позвоночника, сверзился вниз, прямо на чудовище. То резко передернулось, колыхнулось всем волдыристо-бородавчатым зеленым телом. Но перепуганный и истошно вопящий, не помнящий себя от ужаса Бандыра, размахивая своими складными граблями, подскочил на его спине, оттолкнулся что было мочи, рухнул в грудку мусора, вскочил и помчался прочь из каменной ограды прямо на Близицецов-Сидоровых. Близицы исправно выполнили поставленную перед ними задачу и Бандыры не пропустили. Образовался жуткий живой ком, из которого торчали руко-ноги, костистые лапы, ласты, головы и неслись хрипы, писки, крики, угрозы и жуткий, леденящий сердце вой: видно, Бандыре-балбесу почудилось, что он попал в щупальцы жуткого чудовища.

Все это произошло в доли секунды. Само чудовище не успело даже шевельнуть своими выставленными за спину конечностями и повернуть бугристую слоновью голову. И только Пак собирался подать наконец свой сигнал — ведь надо было делать дело, — как с трех сторон завопили на разные голоса Коротышка Чук — визгливый нытик, ревун Волосатый Грюня и заменитель сирены — Хряпало.

Но именно они спасли положение. Потому что чудовище, уже поднимающее голову вверх, вместо того, чтобы

заметить главную опасность и среагировать, отвлеклось. Все это и решило дело.

— Эге-гей!!! — заорал, перекрывая всех, хитроумный Пак. И бросил конец сети на противоположную стену. Команду он подал раньше, чем надо. Но теперь это не имело ровно никакого значения.

Обоих Гурынь тяжелым концом сети опрокинуло за стену — они исчезли мгновенно, будто их и не было. Пеликан Бумба устоял. Он вцепился в сеть одновременно обеими когтистыми руками и широким хрящеватым клювом. И так, вместе с зажатым концом сети, громыхнулся вниз. Следом за ним сиганул Пак. Чудовище было накрыто! Но оно еще могло выпутаться, сбросить с себя металлопластиковую крупноячеистую сеть. Конечности его напряглись, выпрямились, само оно вскинулось во весь рост... Но не оплошали братья Гурыни — они выскочили из-за стены, все в ссадинах и синяках от падения, вцепились в сеть с разных сторон и принялись бегать по кругу, окончательно запутывая молчаливо сопротивляющееся чудовище. Вместе с ним они чуть было не запутали и Бумбу Пеликана. Но тот вывернулся, чудом успел выскочить, расцарапав весь свой широченный клювище и измазав до невозможности в грязи и без того несвежий комбинезон.

Дело было сделано! Хитрый Пак торжествовал. Еще бы, такая победа! Предания о ней будут переходить из поколения в поколение, а значит, и его имя не исчезнет вместе с ним! Теперь можно было и не суетиться — опутанное чудовище лежало на земле, даже не пытаясь высвободиться. Соображает, подумал про него Пак, с металлопластиком шутки плохи, нечего и трепыхаться! Он отступил на несколько шагов — полюбоваться на дело своих рук.

Но спокойно любоваться ему не дали. Дикий ор, доносившийся снаружи, из-за стен, отвлек его. Пак выглянул: там происходило невообразимое. Близнецы-Сидоровы что было сил мутузили балбеса Бандыру. Тот яростно отбивался. Коротышка Чук и Волосатый Грюня дубасили Близнецов. Хряпало лежал рядом, на вид бездыханный — ему было уже все равно, он получил, видно, свое. Конца мордобоем не предвиделось.

— Отставить! — заорал Пак.

Его трубный глас возымел действие. Куча-мала распа-

лась. Все тяжело дышали, обливались потом и глазели на Пака. Пак в четверть силушки треснул клешней балбеса Бандыру прямо по темечку. Тот, похоже, удара и не почувствовал, но почтительно присел на полусогнутых.

Близнецам-Сидоровым Пак сказал:

— Объявляю благодарность за службу! — и похлопал их по плечу.

Сидоровы зарделись от счастья, победно поглядели на поникшего Бандыру.

— Операция прошла на славу! — продекламировал хитрый Пак, водя хоботом из стороны в сторону. — Держались молодцами! Ни единой осечки, как по маслу... Все поняли?! — Он помолчал для выразительности, давая оценить торжественность момента, и добавил: — Лютое чудовище, терроризировавшее всю округу и готовившее подлый, злодейский план по прорыву наших всенародных труб, поймано! Всех поздравляю!

Ответом было громоподобное ликование. Особенно старались герои дня Близнецы-Сидоровы — хоть и одна пара лап была на двоих и одна лишь пара рук, зато глотки были две.

— Ладно, пошли! — сказал Пак уже неофициально.

И они побежали к добыче.

Вокруг чудовища суетились оба Гурыни и Пеликан Бумба. Непростое это было дело — расправить концы сети, закрепить их. Попробуй вбей крючья в стены и пол кривыми обрубками, которые не то что крюка, а и камня толком удержать не могут! Но Гурыни старались, помогая себе и ногами и зубами. Дело клеилось! Чудовище сопело, пыхтело и воняло. Несколько раз оно пыталось вырваться. Не получалось.

И все равно было страшно. Волосатый Грюня дрожал вовсю. Ну ладно Грюня — он всегда дрожит. Не по себе было и самому Паку, мурашки так и бегали у него по спине. Близнецы, и те ступали как-то настороженно, по-куриному. И даже безмозглый и бесчувственный балбес Бандыра был не в своей тарелке и чаще обычного моргал прозрачными веками, скалился.

Но чем прочнее крепили сеть, тем смелее становились, разговорчивее. Ободранный и грязный Пеликан Бумба гоготал, захлебываясь и роняя слюну:

— Ловко я его, а? Ловко?!

Гурыня-младший считал, что главную роль сыграл он, и потому огрызнулся:

— Ловко гробанулся со стены — вот и ловкость вся твоя! Тут не на дураков рассчитано, тут с умом...

Впрочем, до выяснения отношений дело не дошло. По той причине, что всех объединяла неприязнь к чудовищу. И эта неприязнь становилась тем сильнее, чем беззащитнее делалась вздрагивавшая жертва. Первым бросил камень Коротышка Чук.

— Получай, падло! — метнул свой Гурыня-младший.

Старший слепо повторил бросок брата.

Камни грудой посыпались в пленника.

— Вот так!

— Держи подарок!

— Х-хэк!

— Ловко, ловко я его!

— Пряма щас и забьем падлу! Чего с им возиться!

Распаялись на глазах, подзуживая друг друга, переглядываясь и перемигиваясь, толкаясь локтями и путаясь в распяленных концах сети.

— Щя я его приложу! Щя!! — взъярился Гурыня-младший, размахивая подобранной железякой и намереваясь воткнуть ее прямо в зеленый бородавчатый горб.

— Брось! — цыкнул на Гурыню хитрец Пак. Он один не принимал участия в процедуре «побития камнями». — Брось, тварь, кому говорю!

Обиженный Гурыня отбросил железяку. И ухватил булыжник поздоровее.

Чудовище на камни почти не реагировало, лишь вздрагивало чуть-чуть, когда были особенно сильные и меткие броски. И все же, выбрав коротенький миг затишья, оно бросило обидчикам:

— Дураки вы все! Плевать я на вас хотел!

Паковская команда взъярилась пуще прежнего. Безмозглый Бандыра от избытка чувств вспрыгнул чудищу на горб и принялся дубасить его своими складными граблями. Кончилось тем, что он запутался, и всем пришлось его тащить из сети, будто репку. Бандыра выл, словно пришел конец света. Но ни одна из его граблей не оторвалась при вытягивании, они оказались покрепче металлопластика.

Вытащив балбеса Бандыру, все уцепились за руки, клешни, лапы, ласты — и закружились в бешеном, дикарском

хороводе вокруг огромной жертвы, попавшейся в их тенета. Восторг был неописуемый, особенно предавался ему Коротышка Чук — он визжал, как никогда в жизни, не поспевая своими хлипкими лапками за другими и оттого то взлетая в воздух, то волочась по грудам разбросанного мусора.

Остановились лишь тогда, когда вымотались все до единого. Когда окончательно лишились сил. Так и попадали на землю вокруг чудовища — тяжело отдуваясь, закидывая головы и закатывая глаза. К этому времени приполз искалеченный Хряпало, он был не в лучшем состоянии, чем другие. Но и ему захотелось хоть немного поторжествовать. Хряпало запустил камень в чудовище. И обполз его в эдаком медленном, но выразительном круге почета. Затем и он распластался, перевернувшись на спину.

— Как есть дураки! — заключило опутанное чудовище. Препираться с ним не стали.

— Ну, взялись, что ли? — предложил Гурыня-младший.

— Чего? — не понял его Пеликан.

— Чего-чего... кончать пора, падлу!

Пеликан Бумба промолчал.

— А чего, глядеть на него, что ли?! — не унимался Гурыня.

— Стало быть, пора, — неуверенно согласился с братом Гурыня-старший. — Эй, Пак, ты самый умный! Ты и говори!

Хитрый Пак многозначительно оглядел всех, повздыхал, посопел, потрубил слегка своим хоботом для важности и сказал, переворачиваясь на другой бок:

— Кончим, не волнуйтесь! Только попозже немного.

По правде говоря, Пак и сам не знал, как им прикончить чудовище. Камни его не брали, резака им никто не даст своего, и утащить навряд ли получится! Добить его арматурой? Или ковырять острой железкой, как это собирался Гурыня-младший? Так ведь неизвестно, проковыряешь ли — вон какой здоровый, толстый! А как начнешь ковырять до колоть, так сразу зеленая дрянь какая-то чуть не фонтаном бьет, аж не продохнешь! Эх, голова, голова, вари, кумекай, соображай!

— Чего это позже?! — заволновался Хряпало. — Когда позже? Я, может, к вечеру окочуюсь! Что ж это мне, так помирать, что ли! Я даром орал, что ли, громче всех! — Хряпало даже привстал, раззявился, обращаясь ко всем сра-

зу: — И вы тоже! Думаете, вечные, что ли? Вон Мартышка тоже так думал, все о кранике мечтал, а вчера коньки отбросил! А Гугоря с Болявкой забыли? Или не вы их на той неделе в отстойник отволакивали? Все сдохли. И мы сдохнем! Чего ж тянуть-то?!

— Правду говорит! — поддержал Хряпалу Гурыня-младший.

— Верно!

— Да чего там, засыпем камнями с головой, само сдохнет! — взвизгнул Коротышка Чук.

— Цыц!

Пак встал и шелкнул сразу обеими клешнями.

— Мы его так просто на тот свет не отпустим, — проговорил он, то бледнея, то зеленея. — Мы ему пытку устроим! Все замерли, ловя каждое слово.

— А ну, Грюня, Бумба, Близнецы!

Названные повскакивали с мест, подошли ближе, выражая готовность, граничащую с покорностью.

— А принесите-ка сюда ту штуковину, что оно вытащить хотело! — скомандовал Пак-хитрец.

Никто не понимал затеваемого. Но Паку верили.

Огромное, в два роста, зеркало, обрамленное в резную массивную раму, несли все, кроме побитого и ослабленного Хряпалы. Поставили перед умным Паком.

Зеркало было мутное, запыленное — ничего в нем видно не было. Пак ухватил клешней за шкурку Волосатого Грюню, который уже умудрился заснуть, и протер им гладкую, матово поблескивавшую поверхность. Грюня толком проснуться не успел, как дело было сделано. Но ему пришлось долго и мелко трястись, очищая свою шкуру.

Пак заглянул в зеркало. На него смотрело лицо как лицо, не хуже других, даже посимпатичнее: высокий, абсолютно лысый до самого темени лоб, два ряда круглых умных глаз, морщинистый широкий хоботок, свисающий ниже подбородка. Пак от удовольствия шевельнул сходящимися к макушке ушами и широко улыбнулся, раздвигая серые толстые губы, — из-за хобота улыбка была почти не видна. Но все равно — Пак себе понравился. Сейчас все меньше оставалось таких, как он, и все больше рождалось самых настоящих уродцев навроде обоих Гурын, Близнецов-Сидоровых или же Коротышки Чука. Во всяком случае в их местечке.

Ждали его слова.

И Пак не задержался.

— Тупари вы все тут! — сказал он с ленцой. — Кретины безмозглые...

Безмозглый Бандыра обидчиво заворчал, поежился. Но Паку до него дела не было.

— Кончать? Да это любой обалдуй сможет. А мы над ним опыт проделаем! Думаете, он что, просто так зеркала по всему городишку колотит? От нечего делать, да? Остолопы вы, вот что я вам всем скажу!

— Да ладно уж, — пробурчал Пеликан Бумба, он был второй по уму в этой компании, но скромный. — Не тяни.

— А чего тянуть? — покладисто провозгласил Пак. — Мы шас зеркальце поставим перед ним да поглядим — в чем дело! Ясно, тупари?

До большинства не дошло, но и они закивали.

Огромное зеркало водрузили прямо перед невыносимо мерзкой пакостной рожей чудовища. Пошевелинуться, отпихнуть зеркало да и просто отвернуться оно не могло, пути мешали.

Когда зеркало установили, все расступились, словно по команде, хотя ее и не было.

С полминуты чудовище перекаtywало водянисто-желтые, мутные глазные яблоки под сырой прозрачной кожей отвратительной морды. Потом кожа полопалась, источая вонючую зелень, сразу в трех местах, глазища прорвались наружу, налились красным. Бесчисленные жвала задергались, задрожали, покрываясь желтой пузырящейся массой, распахнулся смрадный, багровый зев, усеянный зеленоватыми бородавками и бледными шевелящимися полипами... И чудовище дико, надрывно взревело.

Но длилось это недолго. Глаза тут же пропали за кожей. Зев закрылся. Из сомкнувшихся жвал пробулькало:

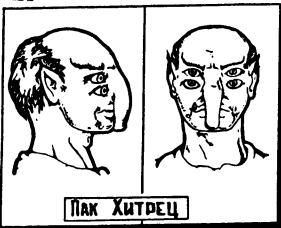
— Дураки вы все же! И гады порядочные!

Гурыня-младший громко расхохотался. На него реакция чудовища произвела самое приятное впечатление.

— Ура Паку! Молодчага! Это надо ж умыслить такое! Вот голова, вот ум!

Умный Пак помалкивал. Он был доволен собою. Знал, что чудовище выбрало самую простую тактику — не смотреть в зеркало. Так, будто его и нет вовсе. Но Пак знал и другое — всю жизнь-то не просидишь с закрытыми глазами!

И они решили ждать. Устроились поудобнее. Послали



ПАК ХИТДЕЦ



Волосатого Грюню в поселок, разжиться чем-нибудь съестным. Но Грюня совсем пропал, заснул по дороге. Ничего, терпели, развлекались, побрасывая камушки в чудовище, пересказывая давно всем знакомые истории и байки.

До вечера чудовище лишь дважды выкатывало свои бельма и ревело жутким образом, дергалось, пыталось вырваться — не получалось. Веселью не было ни конца ни края.

Но к ночи все устали и решили отложить развлечение до утра. Утомленные и довольные, разбрелись по домам.

«Ушлепали. Дурачье! И этого недобитка своего, Хряпа-лу, уволокли. Подонки! Ублюдки! И все же, что взять с этих мальчуганов?! Они хоть говорить не разучились, не то что их папаши и мамы. Те долакались, доприсасывались — последние мозги порастеряли. А впрочем, какое мне дело. Наплевать!»

Чудовище медленно высвободило одну конечность, пропихнуло ее в ячейку и с легкостью выдернуло из заросшего землей пола ближайший крюк. Все это оно проделало с закрытыми глазами, на ощупь. Следом за первым повыскакивали из стен и пола еще несколько крюков. Натяжение сети ослабло. Чудовище тяжело и прерывисто вздохнуло, судороги прокатились по его крупному телу.

«Умники. Хитрецы! Другой бы надавал бы вам тумачков да шлепков, чтоб неповадно было. Да теперь уж ладно, чего там. Попробуй-ка я побушевать в этом каменном ущелье, помахать шупальцами — да половина из них костей бы не собрала, пришлось бы потом соскребать со стен! Но не понимают, не соображают! Думают, победили, поймали! Мелюзга! Злобные растут, дикие и беспощадные. Но других-то нет, и этих осталось — по пальцам перечесть. А что они народят? Поди-ка угадай! Глядишь, и я со временем в красавцах ходить буду. Да что с них возьмешь! Кто из них читать выучился? Никто! Даже этот, хитренький, с хоботом, не смог осилить! Да и кто их научить-то мог! Так, я думаю, еще два, от силы три поколения — и некому будет у труб вахту нести. Хотя, черт их знает, бабка говорила, время от времени снаружи к нам подбрасывают всяких там, сброд разный, что во внешнем мире по своей пакостности и ублюдству не прищлись. Вот их-то и к нам, под колпак, на развод. А кто знает, может, на этом только и держимся? Может, никого бы уже давным-давно не осталось бы в ре-

зервации, кроме механизмов да всяких там автоприслужников на подземных заводах и в хранилищах? Никто ничего толком не знает. А они, мальчишки эти, и вовсе слыхом не слыхали про внешний мир. Да и кто им расскажет? Если и видали, так туристов одних, когда те по своим трапам разгуливали. Да и то наверняка ничего не поняли. Только я их в этом не виню. Им кажется, что все здесь всегда так и было, что так везде есть и так оно и должно быть. Олухи несчастные! Откуда им знать! Никогда не прошу своим, что выродили меня такого на свет! И то, что жить оставили! А пуще всего, что бабка с матерью читать научили да порассказали много всего разного. Они-то сохранили кое-что, они сами к краникам не прикладывались, тем, что у труб. Только таких ведь больше не найти, уж в нашем местечке — точно! Выучили, рассказали... Дескать, чтоб хоть кто-то память хранил. А зачем? Кому все это надо?! Я когда читал всю эту муть — а я ведь читал и днями и ночами, подбирал в развалинах книжки, журналы и читал, читал — так вот, когда я грезил над этими желтыми страничками, я себя таким же ощущал, как те, что писали, и как те, что на картинках были! А как же иначе, ведь в голове у нас — одно! А когда-то и все у нас одно было! За что же, за что?! Я ж после этих грез ненавидеть стал не только себя, а всех! Всех до единого! Но больше всего я ненавижу свое отражение! Мир не видывал ничего пакостнее и страшнее! Меня начинает трясти, рвать, когда я вижу себя в зеркале! Меня выворачивает наизнанку, и я не могу терпеть этой муки! И потому я буду их разыскивать везде, повсюду, находить, вытаскивать, выкапывать — и бить, бить, бить! Пускай смеются и издеваются! Я знаю, что не то что любить и терпеть, а и просто выносить меня невозможно. Но разве я в этом виноват? Пока я был маленьким, бабка и мать еще терпели меня, ходили за мной. А потом и они сказали, чтобы я убирался из дому, — кто хочет жить вместе с чудовищем, под одной дранкой, в одной тесной землянке? Кто?! Ну да ничего, наплевать! Я уже знаю, что буду делать. А вот эти несмышлениши? Они как дальше-то?! У них нет ничего, ни прошлого, ни будущего. И откуда им знать, что раньше здесь была большая страна, жило много народу, росли леса, текли реки? Конечно, и я ни видал ничего из этого, но я столько прочитал и просмотрел, что как будто бы и видал. Во всяком случае, я знаю. Но мне трудно представить, чтоб среди этих развалин

потекла вдруг река. Голубая, чистая вода? Тут и цветов таких нет. Тут развалины и трубы, трубы... На черта им столько труб?! Все чего-то гонят из-под земли, из хранилищ. Все гонят и гонят. Я и не знаю толком — что. Когда прорвало отцову трубу, его стометровый участочек они вдвоем с матерью обхаживали. Прорвало-то всего ничего, струйка одна и пшикнула — а папашу заживо сварило. Вот так! Только у него штуковина-то эта, что с рождения всаживают под кожу и при совершеннолети подправляют, когда к трубе уже допущен, так вот она и сработала. Мигом железный прислужничек приперся, мигом все заварил. А на хрена тогда папаша нужен, я спрашиваю? За каким чертом?! Хотя и чего ему свет коптить было, он ведь из краника исправно высасывал порцию — уже и не говорил, и не пел, лишь хихикал все да на карачках вдоль трубы ползал! Так мать говорила. Сам не помню. Зато, рассказывали, там, за колпаком, — никаких труб, все чистенько, все свеженько! Никаких заводов и хранилищ. Красота! Я, правда, в байки не очень-то верю. Как это без труб?! Так не бывает! Но мало ли чего! И в книгах тоже разное пишут. Будто бы раньше везде были и трубы, и заводы, и бункера, и фабрики там какие-то, а потом к нам переводить стали — сначала одно, потом другое, потихоньку-полегоньку, но все сюда, все сюда... Так решили, видно. Им виднее было. Но еще до этого всякие-разные появляться на свет стали. Вначале никто не знал почему. А потом — хотя и знали, да молчали, чего панику сеять. И все сюда, все сюда... Может, и верно? Зачем всем подыхать-то? Наверное, так и надо было. Тогда и к трубам приставлять начали да к краникам присасывать — чтоб от труб не убежали! Хотя какая польза, в толк не возьму! Так и приспособились. Кто пошустрее, так те умотали во внешний мир, там получше житуха-то, ясное дело, вот они и переселились. А кто у краника — куда ж ему, ему и тут хорошо! Правда, колпак позже появился, намного позже, когда поползли тучи прям из сердцевины резервации на внешний мир. И то не сразу дело делалось-то! А большая страна была! Даже не одна, говорят, страна, много разных народов жило, непохожих... Не знаю, верить или нет? Теперь все разные, все непохожие — ну чего общего у Хряпалы с этим клопом на ножках?! Ничего! А у меня с хитрецом ихним? Ноль! Только теперь по-другому деление-то, теперь два народца-то: те, что за колпаком, и те, что тут! А мо-

жет, тут лучше, а? Может, там вообще жизни нету?! Ведь никто из наших там не бывал. Они-то вот, однако бывают. Редко, но бывают. Я на них зла не держу, ведь и в самом деле — не всем же подышать в одной яме?!»

Чудовище освободилось полностью. Но сеть с уродливого горба не сбросило, и та колыхалась на нем дырявой накидкой, шалью.

Осторожно, чтобы не разбить, чудище приподняло зеркало в раме, поднесло его к стене и повернуло стеклом к камню.

«Пускай постоит. В темнотище его расколачивать — и радости-то никакой! Не увидишь, как мерзкое отражение рассыпается на мириады кусочков и исчезает. А это надо видеть! Иначе и смысла нету. А вот рассветет, и тогда...»

Чудовище почувствовало мягкое ворсистое прикосновение, замерло. Кто-то подошел совсем близко и на ощупь пытался тянуть на себя сеть. Краешком глаза, перекатившегося под кожей почти к самому горбу, чудовище увидало одного из своих давешних мучителей, того, которого называли Волосатый Грюня и которому за день от вожака и прочих досталось немало оплеух. Грюня нашупывал крюки, отбрасывал их. Он почти ничего не видел, мало того, что он был соней, он был и слепышом.

— Чего тебе? — не утерпело чудовище.

Грюня с перепугу заорал благим матом, упал лицом в землю. Его трясло такой дрожью, что становилось страшно за него — еще выскочит из своей волосатой шкуры!

— Не бойся, — произнесло чудовище помягче, — чего ты боишься?

Волосатый Грюня лежал ни жив ни мертв. Во всяком случае, дар речи он потерял надолго.

— Ну ладно, не хочешь — не отвечай.

Чудовище заспело. Стало устраиваться на ночлег — прямо тут же, в развалинах, на том месте, где его мальчишки опутали сетью.

Но Грюня через некоторое время пришел в себя, осмелел.

— Я только хотел крючья повыдергивать, — сказал он, приподнимая заросшее шерстью лицо. — Не все, штук восемь. Чтоб ты сам потом выпутался... А я б убежал.

Чудовище заспело сильнее.

— Ну спасибо. А чего это так вдруг? Чего подобрел-то — спросило оно.

Грюня не нашелся. Но он уже не дрожал. В темнотище чудовище было совсем и не страшным. С ним можно было запросто побеседовать. Оно совсем не собиралось, похоже, проглатывать его, разжевывать, топтать, рвать когтями или еще как-либо уродовать.

— Хитрец Пак сказал, что завтра приведет сюда туристов, — промямлил нерешительно Грюня. — Или послезавтра, когда они придут... Мне страшно. Я не знаю, зачем он их хочет позвать, но мне страшно.

— Да ладно уж, не бойся, — проговорило чудовище. — Ты их видал когда?

— Угу. Только раз.

— Ну и что?

— Ничего.

— Вот и на этот раз ничего не будет. Не надо бояться. Они сюда глазеть приезжают. Чего их бояться?

— Ну, тогда я пошел? — просительно произнес Грюня.

— Иди, — согласилось чудовище.

Волосатый Грюня, оглядываясь ежесекундно и втягивая голову в плечи, натываясь на мшистые каменные обломки стен, поплелся в сторону поселка.

— И не бойся ничего! — крикнуло ему вслед чудовище.

Оно еще долго не могло после этого уснуть. Думало.

«Хороший мальчуган. Добрый. Сколько-то он протянет тут? Его можно было бы научить читать. Рассказать обо всем. А потом он бы научил кого-нибудь из мальчуганов, следующего. Ведь память должна храниться. Ведь должна? Или... Не знаю. Обречь на мучения еще одного? А для чего? Каких таких целей ради? Вот свою цель я понимаю, пускай не все с ней согласятся, но она понятная. А вот память — зачем? Нет, лучше, наверное, не стоит. Добра в мире от нее что-то не прибавляется. Но и без нее не так-то много на свете этого продукта! Поди разберись, что лучше! И к чему это он упомянул про туристов? Ведь они же никогда не сходят с трапов, натянутых прямо над трубами? Ведь они же всего на свете боятся? Как это они придут сюда? Бред! Не придет никто. У них свои дела, у нас свои. Никто не придет, кроме самих мальчуганов. А они заслуживают того, чтобы их попугать немного! Попугаем! Вот толь-

ко пусть заявятся! Я думаю, они сделаются подороже после этого. А как же!»

Начинало холодать. И чудовище ежилось под сетью. Ему было зябко и неудобно на этих продуваемых мокрыми ветрами развалинах — ведь и оно было живым существом.

Хитрый Пак проснулся еще до рассвета. Папаши в лачуге не было, он сегодня дежурил в ночную. Это означало, что он не получил очередной порции из краника вечером и должен был бродить по своему участку всю ночь, до тех пор, пока не сменят. А как сменят — сразу можно будет хлебнуть горячащего и забыться. Хуже всего было вот в такие пересменки, раз в полгода, когда приходилось выдерживать больше суток без пѣйла. Пак это уже понимал по состоянию своего молчаливого драчуна-родителя, хотя сам мало вникал в такие дела — ведь к кранику его не подпускали.

И потому он поднялся сразу, без мучений, был бодр и свеж. Первым делом он вылизал вчерашние миски, там оставалось немного баланды. Раздача откроется лишь днем. И потому ждать нечего. Он выскочил на улицу. Голова закружилась от тошнотворных аммиачных испарений. Снова прорвало где-то, решил он. И побежал будить Пеликана Бумбу и братьев Гурынь. Они жили ближе всех.

К рассвету ватага была в сборе.

Протирали глаза, жмурились, зевали, кряхтели. Волосатый Грюня пошатывался, норовил плюхнуться прямо на землю. Его поддерживали, щипали за мясистые ляжки и прочие места. Переросток Хряпало, как и ожидали, ночью окочурился. Тело отволокли вниз, через два пролета, к отстойнику и сбросили его в люк. О Хряпале тут же забыли, есть дела поважнее.

— Пошли кончать гадину! — предложил Гурыня-младший, вытягивая длинную шею и покачивая своей змеиной головкой.

— Успеется, — ответил Пак-хитрец. — Есть новость.

Все наострились. В их местечке новостей почти не бывало.

— Ночью с пересменка приходил Доходяга Трезвяк. Сами знаете этого болвана, вкалывает за просто так, за миску баланды.

— Слыхали о придурке, — подтвердил Пеликан.

— Так он сказал, что сегодня туристы придут. Вон, Грюня не даст соврать...

Грюня испуганно вытаращил глаз, круглый и заспанный. Промолчал, лишь кивнул.

— Да вы, небось, туристов в глаза не видали? — презрительно скривил хобот Пак. — Молокососы! Ну, чего помалкиваете?

Выяснилось, что, кроме Пеликана и Гурыни-старшего, никто толком не представлял — что это за существа такие, туристы.

— Ладно, увидите, — сказал Пак, — объяснять долго. Ходят тут по трапам, глазают. Им у нас интересно. Трезвяк сказал, что они сегодня в нашем местечке будут отлавливать уродов всяких, тех, кто к трубам не приписан, сами знаете.

— Давно пора! — согласился Гурыня-младший. — Развелось дряни поганой!

— Ага! — встрял Коротышка Чук. — Сам видал — рычат, плюются, говорить не могут! — Он скособочился и вымолвил: — Да чего там, у меня брательник такой, из дому сбежал! Давно пора поймать гаденыша!

— Резаками их надо резать, вот что! — сказал Гурыня-младший.

Безмозглый и безъязыкий Бандыра хлопал своими жабыими веками, тряс головой и помалкивал — ему явно не нравилось то, о чем говорил умный Пак. Но и уйти из ватаги он побаивался.

— Короче, отведем туристов к чудовищу! Поглядим, как они его... если не околеет, конечно, за ночь! — завершил Пак.

Ватага, как и обычно, согласилась с ним. Близнецы-Сидоровы озабоченно гоготали, похлопывали руками-ластами. Гурыни приплясывали вприсядку, сплетались шеями. Пеликан Бумба щелкал клювом и корчил рожи. Волосатый Грюня мирно похрапывал в ногах у балбеса Бандыры.

Одного Пак не рассчитал. Он устроил сборище невядалеке от папашиной трубы, на пути к лачуге.

Папаша Пуго возвращался с работы. Его качало из стороны в сторону. Руками, свисавшими до земли, папаша поддерживал равновесие. Шел целенаправленно, глядя в одну точку.

— Веселый! — воскликнул Коротышка Чук.

Только тогда хитрый Пак заметил родителя и обернулся. Но было поздно. Папаша подскочил к нему и, уперевшись в землю тремя конечностями, четвертой выдал сыночку такую затрепину, что тот полетел напрямик в канаву.

— Гы-ы-ы, гы-ы! — утробно порадовался папаша Пуго и пошел своим путем.

— Принял из краника, — завистливо проговорил Бумба. Вылезший из канавы Пак врезал хорошенько ему и Коротышке Чуку. Погрозил папаше клешней.

— Вот его бы первым, под отлов... — просипел тихо.

— Его нельзя, — рассудил Бумба. — Он работник.

Туристы появились лишь после того, как открылась раздача и всем выдали по миске баланды — работникам и их детям.

Грюня, будто замороженный, смотрел снизу вверх, на трапы и на тех, кто по ним шел. Он никогда в жизни не видел таких прекрасных существ. Сегодня ночью, в развалинах, он соврал чудовищу. А теперь стоял и любовался, забыв сон.

Туристы были все совершенно одинаковые, у них не было ни хоботов, не змеиных шей, ни даже когтистых лап. Все они были высокие, стройные, у каждого было по паре длинных ног и по паре коротковатых, на Грюнин взгляд, рук. Головы и лица же вообще были абсолютны сходны. Те, кто наблюдал такое единообразие, поражались — и каких только чудес не бывает на свете!

Правда, умный Пак пояснил:

— Не знаю — врет Доходяга Трезвяк или нет, но у каждого на роже маска напаялена, какая-то дыхательная. Им наш воздух не нравится!

— Падлы! — возмутился Гурыня-младший.

Один из туристов приостановился и бросил что-то в ватагу. Пак кинулся первым, подобрал кругляк в бумажке и пихнул его за щеку. Вкус был неприятный, необычный. Но Пак жевал, потом проглотил — раз съедобное, надо есть. Ему завидовали остальные.

Туристы водили из стороны в сторону какими-то поблескивающими штуками, останавливались, приседали, кидали еще и еще кругляки и прочие вещи. Но Паку больше не досталось. Староста согнал к трапу чуть не весь поселок — толчея была невообразимая: народ любопытствовал, глазел на туристов, те глазели на согнанный народ, все время по-

казывая то на одного, то на другого, приседали, подсказывали, раскачивались и, похоже, были очень довольны и веселы.

Как ни кричал им Пак, как ни размахивал клешнями, то бия себя в грудь, то указывая в сторону развалин, все было напрасно — туристы не спускались вниз. Они лишь кидали да кидали кругляки, да вертели своими шутовинами.

— Обдурил Трезвяк! — сделал вывод Пак-хитрец. — Доходяга чертов!

— Еще посчитаемся, — сказал Гурыня-младший. — Со всеми посчитаемся!

Туристы ушли к башне, от которой шел трап, и скрылись в ней. Нагляделись. Народ стал потихоньку расходиться. Многим в ночь надо было идти, ничего не поделаешь — смена, работа. Повеселились немного, отвели душу, пора и честь знать!

— Айда к чудовищу! — скомандовал Пак.

Близнецы-Сидоровы возбужденно загоготали. Коротышка Чук прижал лапки к груди и от избытка чувств испортил воздух.

— Я не пойду! — прошипел Гурыня-младший. — Надоело в бирюльки играть!

Он резко развернулся и стал быстро удаляться.

— Пожалеешь! — крикнул ему вслед Пак.

Гурыня не ответил.

Его старший брат не посмел уйти, а может, и не захотел просто. И они все направились к развалинам.

Но они не нашли чудовища на месте. Между тремя каменными стенами лежала брошенная сеть да поблескивали мелкие осколки разбитого зеркала. По этим осколкам было сразу видно, что зеркало не само упало, его долго и старательно расколачивали — чуть ли не в пыль.

— Ушла, гадина! — зло выкрикнул Пак и выругался.

Безмозглый Бандыра захлопал складными лапами высоко над головой, завыл протяжно.

— Живо обыскать все! — дал команду Пак.

Облазили все окрестности. Но чудовища нигде не было.

Начинало смеркаться. Идти по домам не хотелось. И Пак решил устроить на развалинах короткий привал. Улеглись прямо на гудах мусора. Спешить было некуда, каждый знал, что лучше прийти немного попозже, когда родичи, вернувшиеся от труб, забудутся под действием своего каждоднев-

ного пойла. И потому лежали, отдыхали, думали о своем. Паку представлялось, что его назначат старостой и он будет важный и толстый, станет покрикивать не только лишь на эту малышню, а на всех обитателей поселка. Близнецам-Сидоровым грезилась огромная, с корыто, миска баланды. Грюня спал, и ему ничего не снилось — темнота и пустота царили в его мозгу. Старший Гурыня думал о брате и о том, что у них не сегодня, так завтра обязательно будет стычка и придется младшему накидать хорошенько, чтоб не своевольничал. Коротышка Чук мечтал о том, что вырастет в великана и всем покажет! Бумбе представлялось, что он справился бы с обязанностями главаря ватаги ничуть не хуже хитреца Пака, может, и лучше. Бандыра ни о чем не думал, ему и так было хорошо.

Стемнело.

Чудовище выставило глаза из своего укрытия. Оно могло их вытягивать на стебельках-ножках, но не слишком далеко. В подвале, о котором никто из жителей поселка не знал, было совсем сыро. Но чудовище терпело. Оно ждало ребятню с самого утра, намереваясь, как и было задумано, немного попугать нахальных и жестоких мальчишек. Но не дождалось. Решило спрятаться. Перед этим лихо расправилось с зеркалом — самым ненавистным своим врагом.

Уже сидя в подвале, сообразило — если пугать, так в темноте! При свете от такого «пугания» кого-то из мальчуганов могла и кондрашка хватить. А чудовище не хотело никому зла.

И вот наконец стемнело. Самая пора была выскочить из укрытия и с ревом броситься на них, размахивая щупальцами и топоча! То-то кинутся врассыпную!

«Пора! Чего ждать? Неужто за все мучения и унижения я не имею права немного поволновать этих сорванцов? Имею! Глядишь, и проснется в ком-нибудь из них сострадание, поймут, что не только на силе и злобе мир держится. Пора! Хотя нет, надо выждать, пусть отдохнут, пускай, а вот когда встанут, начнут собираться... Эх, плюнуть на них на всех да по своим делам идти! Чего мне в этом городишке делать?! Нечего! Сегодня последнее расколос! Не хватало еще с мелюзгой связываться!»

Чудовище собиралось уже вылезти. Но вдруг замелькали какие-то вспышки, пробились откуда-то лучи света — широкие и яркие, явно не те, что днем иногда пробиваются

сквозь свинцовые тучи. В одном из таких лучей бежал змееголовый Гурыня-младший. Своим корявым обрубком он указывал на что-то. Кому? Это было непонятно.

Лишь мгновением позже чудовище разглядело странные машины на гусеницах. Но не те, что доводилось видеть на пожелтевших картинках, а совсем другие — приземистые, обтекаемые, с башенками и торчащими вперед стволами. Чудовище решило, что вылезать пока не стоит.

То, что произошло дальше, уложилось в одну-две минуты. Свет стал до невыносимости ярким. И Гурыня-младший нырнул из лучей во тьму. Лишь вопль его сотряс воздух:

— Все, падла! Каюк!

В этом ярком свете заматались в трех стенах фигуры, отбрасывая резкие причудливые тени. Пружинистый четырехпалый Бандыра первым почувствовал опасность и прыгнул прямо на стену, вцепился в ее край. Тут же раздался отрывистый треск, и Бандыра, обливаясь черной на свету кровью, сполз по стене. Его удивленно-глупая морда была обращена к машинам. Остекленевшие выпученные глаза посверкивали словно пуговицы.

— Шухер!!! — завопил хитрый Пак и метнулся к выходу из западни.

С первой машины соскочили две фигуры — стройные и длинноногие, в одинаковых дыхательных, как и было сказано Паку, масках. В руках туристов были зажаты короткие трубки с рукоятями. Из них полыхнуло. Снова раздался треск. Но Пак выскользнул. Он был уже в темноте.

Одна из машин, резко подав назад, принялась шарить прожекторами, выискивая беглеца. Стреляли наугад. От безумной пальбы, сопровождаемой невероятным треском, можно было сойти с ума. Оцепеневшее чудовище не верило ни глазам своим, ни ушам. То, что происходило, не укладывалось ни в какие рамки.

Оно видело, как в луч прожектора внезапно попал Гурыня-младший, словно привидение, вырванное из тьмы. Его тут же скосила отрывистая очередь. Гурыня привел их, Гурыня погиб от них! Странное происходило дело.

Совсем далеко, на пределе, нащупали прожектором Пака. И погнались, и погнались — одна машина пропала в темноте. Оставшиеся две освещали каменный тупик. Туристов было уже четверо. Они стояли полукругом, преграждая выход. Но не стреляли.

В каменном тупике, сбившись в кучу, жались к стене Волосатый Грюня, глуповато-доверчивые Близнецы-Сидоровы, Бумба Пеликан, вовсе не радующийся исчезновению вожака, смиренный Гурыня-старший и съездившийся колобком Коротышка Чук. Бежать им было некуда.

Издалека доносились приглушенные выстрелы.

Туристы чего-то выжидали.

Чудовище поглядывало из своего подвала. Ему было как никогда жутко.

Первая очередь раскрошила камни над головой, заставила пригнуться и опуститься на колени. Вторая — фонтанчиками ударила перед стоящими в загоне, обдала их осколками гравия, щебня.

— Не надо! — выкрикнул Бумба Пеликан. — Вы ошиблись! Это не нас надо отлавливать!

— Мы из поселка! — пробубнил Грюня. — Не надо!

Третья очередь заставила опуститься их еще ниже.

Первым не выдержал Гурыня-старший. Он дернулся в сторону, потом вперед, норовя перевернуться на лету через голову и кубарем выскочить в темноту. У самой границы света и тьмы он распластался, вытягивая в последний раз свою шею и судорожно подергивая обрубками. Его тело зацепили крючьями и забросили в большой металлический короб на корме машины. Туда же последовал и мертвый, полуодеревеневший Бандыра.

Машины чуть отъехали назад, высвобождая проход пошире, но не ослабляя света прожекторов. Доверчивые Близнецы-Сидоровы, расставив свои ласты, пошли следом, пригибая головы пониже, на полусогнутых... Сначала убили одного. Голова его совсем свесилась, изо рта на комбинезон текла густая кровь. Но тело, управляемой второй головой, еще шло, и ласты так же топорщились... Дико заверещал Коротышка Чук, вжимаясь в стену, захрипел Бумба Пеликан. Но снова раздался треск. И вторая голова закинулась назад. Близнецы, немного постояв на опористых когтистых лапах, обмякли, словно опустевший внезапно мешок, тело их съезжилось, запрокинулось набок.

В этот момент Чудовище и выскочило из своего укрытия. Оно даже успело заметить, что не все из туристов стреляли, что двое водили какими-то штуковинами, лежавшими у них на плечах. И из этих штуковин не вырывалось пламя и не трещало, не гремело... Но было не до мелочей, не до

деталей. В один прыжок, не помня себя от ярости, Чудовище смяло своим тяжелым телом двоих, стоящих в центре, — их трубки не успели даже повернуться в его сторону. Захватив боковым щупальцем третьего, Чудовище разmozжило его о стену. Четвертый, резко развернувшийся лицом к нападавшему, стрелял прямо в дрожащий зеленовато-серый бок, усеянный бородавками. Понадобилась доля мгновения, чтобы обратить его в кусок жижи, трепыхающийся у гусениц машины. Боли Чудовище не почувствовало. Лишь онемели два щупальца.

И тогда начали стрелять из башенки. Но не по Чудовищу. Оно стояло слишком близко, и ствол мог лишь упереться в него боковиной, но никак не отверстием.

Завизжал пуше прежнего Коротышка Чук. Молча упал Пеликан Бумба. Пополз, оставляя кровавую дорожку, Волосатый Грюня. Он был, наверное, сильно ранен. Но полз к выходу. Единственный круглый, широко раскрытый глаз смотрел с мольбой.

Чудовище чуть качнулось — и ствол уперся в броню машины, теперь он был, скорее, не стволом, а крюком, во всяком случае, стрелять из него было нельзя.

Грюня еще дышал, когда Чудовище подошло ближе.

— Зачем? — пролепетал он. — Кому мы мешали?

— Ничего, все пройдет, ты же живой, — проговорило Чудовище.

Из огромного глаза текли слезы.

Чудовище хотело сказать еще что-то. Но оно заметило, что глаз начинает стекленеть, и отвернулось...

«Несчастный Грюня! Его-то за что?! Отлавливать? Врете, не отлавливать! И даже не отстреливать особо деградировавших! Это все враки! Чистая ложь! Вы сюда начали приезжать, чтобы позабавиться! На охоту! А чего ж не поохотиться, коли тут резервация?! Коли тут все для охоты есть?! А какие трофеи?! У вас там, во внешнем мире, за колпаком, такие и не водятся! Так вот вы какие. Раньше вы на нас смотрели как на племя уродцев, несчастных, как на дармовых, за глоток сивухи и миску баланды, рабов! А теперь и так перестали! Теперь как на зверей смотрите, позабыв, что предки-то у нас одни, что прапрадедушки и прапрабабушки наши были сестрами и братьями! Ну ладно, давай! Тешьте себя! Поглядим еще — кто на кого охотиться будет!»

Погнавшаяся за Паком машина возвращалась. В тишине ее лязг был особенно слышен. Наверное, находившиеся в ней уже сообразили, что дело неладно.

Чудовище спряталось за стеной. Оно знало, что надо делать.

Когда машина подъехала ближе и остановилась, Чудовище подпрыгнуло и обрушилось всей массой на башенку. Броня выдержала, но ствол, торчащий из нее, превратился в кривую загогулину. Почти сразу Чудовище сползло назад. И не ошиблось — люки откинулись. И наверх выскочили трое с трубками. Они ничего и никого не боялись здесь. Они знали, что обитатели резервации не имеют никакого оружия, что это вырождающиеся мутанты, не способные толком защитить себя... И они просчитались. Их смерть была мгновенной и почти безболезненной. Все! С туристами было покончено.

Чудовище заглянуло в короб на корме. Там лежал скрюченный Гурыня-младший в изодранном очередями комбинезоне, со свернутой шеей. Рядом полусидел умный и хитрый Пак — хобот его был рассечен надвое, на лысом огромном лбу зияла дыра. Видно, в последний миг Пак успел повернуться к преследователям лицом. Но теперь это не имело ровно никакого значения.

«Сволочи! Они всегда были сволочами! И мы виноваты тоже!»

Чудовище по одному отнесло тела мальчуганов к потайному подвалу, опустило их вниз. И завалило камнями, обломками кирпичей. Сверху накатило огромный цементированный кусок стены. Чужаков-туристов оставило, как они и были.

Потом оно немного передохнуло. И, не оглядываясь, побрело прочь из городка.

«Все будет как прежде. В поселке и не заметят пропавших. Кому какое дело до них! Ну и пусть! Они сами по себе, а я сам по себе. У них там свои дела, своя работа. А у меня все свое, собственное. Нам рядом не ужиться. Эти, конечно, придут еще. Все расследуют, все определяют. Будут искать. Пускай ищут! Плевать на них! Пускай отстреливают, отлавливают! Пускай охотятся! И пускай знают — и на охотников охотник сыщется! Я не пугаю. Мне до них нет дела. У меня своя цель. И я ее не собираюсь менять. У меня нет другой цели. Я буду их бить! Крушить! Расколачивать

вдребезги! По всем городкам! По всем местечкам! По всей нашей бескрайней резервации! А когда я расколочу последнее и мир перестанет двоиться, я выберу самый большой, самый острый осколок и перережу им собственную глотку!»

— Вы все тут безмозглые кретины! Недоумки! Обалдуи! Дурачье! — орал, разбрызгивая по сторонам слюну, Буба Чокнутый. — Олухи, дерьмом набитые! Недоноски!

— Потише ты, разговорился! — попробовал его унять Доходяга Трезвяк.

Но разве Бубу уймешь! Это лет двадцать назад, когда его перешвырнули из внешнего мира сюда, с ним можно было сладить. Но и тогда он был самым настоящим чокнутым. А теперь и вовсе свихнулся.

— Да я за вас всех глотка пойла не дам, сучьи потрохи! Вы же, падлы, туристов не знаете! Да они через два часа здесь будут! Да они нас всех передавят, как щенят, поняли?!

Семиногий котособаченок Пипка обиженно всхлипнул под лапой Бубы, но выскользнул и отполз подальше от греха — даже он понимал, что с Чокнутым лучше не связываться.

— Уууу-а-а, — тихонько пропел из угла папаша Пуго.

Он лежал прямо на полу в луже собственной мочи, несло от папаши псиной и еще какой-то дрянью. И надо было бы выкинуть его из дома собраний, да только пачкаться никому не хотелось — лежит, ну и пускай лежит, все ж таки работник, заслуженный обходчик, мастерюга. Вот продрыхнется — и опять в смену заступит. Лучше его знатока своего дела и не найдешь!

— Ты потолковей разобъясняй, едрена кочерыга, — вставил инвалид Хреноредьев. — Я тя, почитай, битый час слушаю, а в ум никак не возьму!

— Во-во! Я и говорю — тупари! Идиоты! — взъерился пуше прежнего Буба. — Пока вы прочухаетесь, туристы здесь будут! Нам кранты всем! Они за своих посчитаются, перебьют всех до единого, ясно?!

Бубу слушали. Да и как не слушать, в поселке давно не было никого из того мира. Один Буба только и знал повадки тамошних. Правда, болтал иногда такое об этом самом внешнем мире, что хоть стой, хоть падай, загинал, небось! А тут

переполошился, прямо из шкуры вылезти готов. Нет, Трезвяк Бубе не доверял. И все же, кто его знает!

— Давай сначала! И поразборчивей толкуй!

Буба налился кровью, стал багровым и страшным — вот-вот не то лопнет, не то всех перекалечит. Нервишки у него были расшатаны еще с тех пор. Хотя и подлечился здесь немного, без ширева-то. Ведь загибался двадцать лет назад, до последней стадии дошел. Его когда перешвыривали, так и думали: подойдет здесь, точно подойдет. И он сам так думал. Но оклемался, за год всего-навсего, выправился. И еще пять лет ходил, не мог поверить, что без ширева его ноги носят. Но возврата из зоны назад нет, это и Чокнутый знал. Потому не просился назад, чего возникать попусту! От этих рож его поначалу тошнило. Он их за галлюцинации принимал, за продолжение своего горячечного бреда. А потом привык, ко всему привыкнуть можно. Особенно тут.

— Последний раз объясняю, — проговорил он надтреснуто, пытаясь взять себя в руки. — Эта тварюга горбатая, что по пустырям ошивалась да стекляшки кокала с малышкой нашей, десяток туристов за раз угробила! Там, в развалинах! Просекли момент?!

— Я пошел прятаться, — сказал Доходяга Трезвяк и встал. Бегемот Коко преградил ему путь.

— Ну уж нет, братишка. Тебя в совет выбрали, так советуйся давай, а то я те харю-то набью сейчас, при людях, избранничек хренов!

— Ты мене не трожь, сука! — вскочил инвалид Хреноредьев.

Бегемот дал ему щелчка, и инвалид опустился на свое место.

— Извиняюсь, стало быть, — поправился все же Коко, — не хренов, а херов! Суть не меняется!

— То-то! — твякнул Хреноредьев. Он был удовлетворен. Трезвяк понял — не выбраться.

— Так вот, дорогие поселчане, — продолжил Чокнутый, — они из своих пушек нас всех как солому пережгут. И на развод не оставят! За каждого ихнего по тыще наших ухлопают! И все равно ведь найдут, ясно, оболтусы?!

— Больно едрено! — вставил Хреноредьев. — В одночасье не скумекаешь, кочерыжь ты через полено!

Буба вспрыгнул на стол, топнул сапогом, что было мочи, потом еще раз — пяток он не жалел.

— Молча-ать! Всем молча-а-ать!!!

От дикого шума проснулся папаша Пуго. Не разобравшись в чем дело, он с воем и визгом пронесся через всю комнату из своего угла прямо к окну — и сиганул в него. Через мгновение округу потряс истошный вопль, видно, приземлился папаша не слишком удачно.

— Матерый человечище, — задумчиво проговорил в тишине Бегемот Коко и скрестил на груди все четыре руки.

— Одно слово — работник! — поддержал его Хреноредьев. — Ноне таких и не осталось, повымерли все.

Буба сразу как-то успокоился, спихнул со стола Пипку. Выпил воды из жестянки — вода была ржавая и отдавала керосином.

— Думайте, придурки, или всем загибаться, или...

— Чего примолк, договаривай! — Бегемот был настроен решительно.

— ...или будем сообща отыскивать виновных! Понятно?!

— Мазуту обьелся, что ль! — не выдержал Хреноредьев.

— И где ж ты его, виновного-то, отыщешь теперя?! Она, гадина, умотала, как ее, эта, горбатая которая... Да и не возьмешь ведь голыми руками, едрит ты дурошлепа!

Бегемот кивал. В такт движениям его огромной головы, покачивалась мясистая, на полпуда, губа, глаза были туманны.

— Инвалид прав.

— Дурак ты, Коко, недоделанный! И Хреноредьев твой — остолоп, тупица, дебил! — Буба был готов выпрыгнуть вслед за папашей Пуго в окошко. Он с трудом сдерживал себя, чтоб не перейти врукопашную с членами поселкового совета. — Дегенераты! Не надо никого искать и ловить! Этодохлый номер! Выдвинем своего, нашенского виновного, обяжем... и сдадим туристам, дескать, весь спрос с него! Понятно?!

В комнате стало совсем тихо.

— Ну, какие будут предложения? Кто чью кандидатуру выдвигает?! Пошевеливайте мозгами, кретины!

Тишина стала зловещей.

— Иначе всем крышка!

В эту минуту что-то зачавкало, захрюкало. Завоняло псиной. Сначала появились две огромные мохнатые лапы, они вцепились в края подоконника из-за окна. Потом показался и сам обладатель лап — папаша Пуго. Он залез внутрь, усел-

ся на подоконник, поскреб волосатую грудь и радостно ослабился.

— Гы-ы, гы-ы!

Все как один уставились на него.

— Выбирать надо лучших! — твердо произнес инвалид Хреноредьев. И добавил от полноты чувств: — Едрена-матрена!

Котособаченок Пипка осторожно, оставляя мокрые следы, пополз к выходу. Папаша Пуго поймал его длиннющей своей лапой, поднес к обезьяньим губам, поцеловал слюняво, потом прижал к груди и стал медленно и тяжело поглаживать.

— Лучше обходчика Пуго в поселке никого нету, — сказал Бегемот Коко.

— Гы-ы, гы-ы, гы-ы! — папаша Пуго любил, когда его хвалили.

Буба Чокнутый слез со стола, оправил комбинезон на впалой груди, откашлялся и, стараясь придать голосу солидное звучание, спросил:

— Будем голосовать?

— А как же, едри ты кочергою!

— Я попрошу воздержаться от реплик! Кто за нашего доблестного и достойнейшего посельчанина, передовика и трудягу папашу Пуго, поднять руки.

Бегемот задрал вверх все четыре. Инвалид Хреноредьев махнул своим обручком. Доходяга Трезвяк проголосовал не сразу, будто было о чем думать! Молчавшую до того мастерицу и активистку Мочалкину-среднюю насилу добудились, но и она, озираясь помутневшим сиреневым глазом, позевывая и роняя слюну, последовала общему примеру.

Буба Чокнутый с приторной улыбкой на синюшных губах направился было к избраннику. Но остановился на полдороге — уж больно от того воняло, и торжественно провозгласил:

— Это большая честь, поздравляю!

Папаша снова ослабился и на радостях напустил еще лужу. Но теперь это ничего не меняло.

Хитрый Пак очнулся от холода. Никогда в жизни он так не замерзал, пробрало до самых костей, до позвоночника. Его мелко, но неудержимо трясло. Кроме того, было совершенно темно, почему-то невероятно тесно — как никогда

не бывало в их лачуге — и сыро. Он ничего не помнил, ничего не мог понять.

Первое же движение доставило ему лютую боль, Пак качнулся вправо, потом влево. Он был зажат меж каких-то ледяных тел. Каких именно в темноте невозможно было разобрать.

Неужто в отстойник выбросили, подумалось Паку, вот ведь сволочи! Вот гады! За что?! Ведь он такой здоровый, такой сильный! Ведь из него выйдет отличный работник, ничуть не хуже папаши, может, и получше еще!

Оскальзываясь, опираясь о камни, отпихивая от себя окоченевшие тела, он полез наверх. Он знал, надо лезть именно наверх! Там мир, там жизнь, там все! А здесь — смерть, удушливый смрад, трупы, трупы, трупы...

Через час, совершенно обессилев, он выполз из подвала. И тут же потерял сознание.

Он не знал, сколько пребывал в беспамятстве. Но когда открыл глаза, увидел над собою змеиную головку Гурыни-младшего. Тот был весь в кровище, ободранный, страшный. Но глазки, холодные и злые, глядели вполне осмысленно.

— Прочухался?!

Гурыня пнул Пака ногой в бок.

Тот застонал.

— Это ты, гаденыш?! — спросил Пак, кривясь от боли. — Выжил, сволочь!

Он вдруг сразу все вспомнил — неожиданно, в одно мгновение. И развалины, и поиски Чудовища, которое они пленили за день до этого, и длинноногих туристов на трапе, а потом тех же туристов на бронемашинах, с оружием и блестящими шутовинами. Он вспомнил ужасную ночь, выстрелы, погоню. Он вспомнил все. Но ему показалось, что было это давным-давно, сто лет назад, и было совсем не с ним, а с кем-то другим. И все же первым вернулось главное — предательство Гурыни-младшего, это он привел туристов!

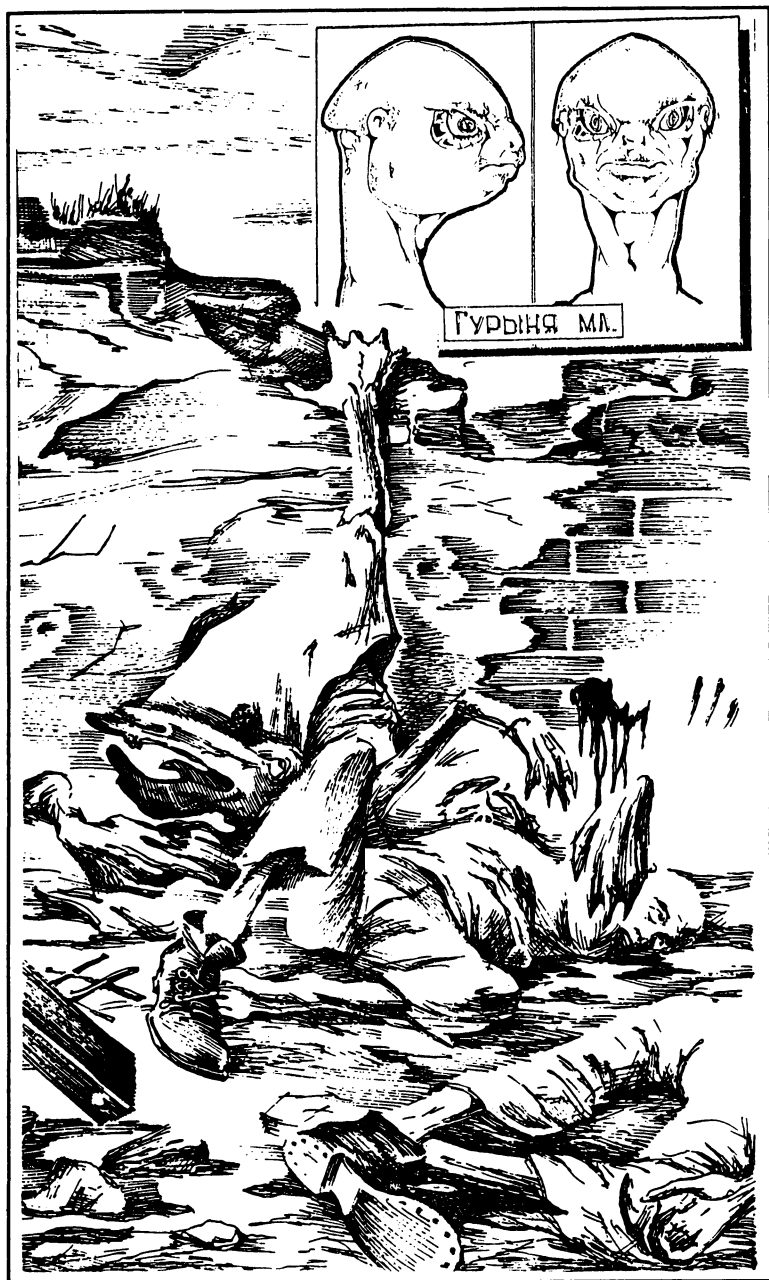
— Уйди, тварь поганая! — прохрипел Пак.

Гурыня снова ударил его ногой в бок. Помешкав, пнул в висок. Но не слишком сильно.

— Они думали, я окочурюсь, — прошипел он и рассмеялся, мелко, нервно. — На-ка, выкуси!

— Уходи! — повторил Пак.

— Ща, побежал!



Гурыня неожиданно цепко и сильно ухватил Хитрого Пака за щиколотки и поволок. Пак даже не видел, куда его тащат. Он лишь вздрагивал на каждом камешке, на каждом обломке, попадавшем под спину.

— Хрена им всем! Вот что я скажу! Не на того напали! — приговаривал Гурыня на ходу. — На мне все заживает в пять минут, понял?! Я как-то брюхо пропорол арматуриной, ржавой, падла, как терка иззубренной. Так чего, думаешь, сдох? Хрена! Я всех переживу. Всех в отстойник отволокут, а я тока сверху подпихивать буду, понял?! Ты тоже живучий, я знаю. Во как засадили — в пять очередей, небось, а вон, гляди, три железяки вышли уже и ран не видно, одни пятнышки. Не бойсь, к вечеру-то оклемаешься. А нет, так я те все бока отобью, я те рожу расквашу, теперь я сильнее, я вожак, понял?!

— Сука... — Пак не мог говорить.

— Давай, давай! Я те за каждую обиду отвешу!

Гурыня не шел, а почти бежал, волоча за собой Пака. Он совсем не разбирал дороги, и потому спина Пака начала кровоточить — на грунте оставались темные маслянистые пятнышки.

— Уматывать надо по-быстрому, понял?! Ты ж у нас самым умным был, самым хитрым! Чего ж ты, падла?! Не соображаешь, что ли, или вовсе мозги отсырели в подвальчике?! Застукают на месте — второй раз на тот свет отправят, понял, падла?!

— Они все равно найдут, дур-рак!

— Поговори еще!

Гурыня остановился на секунду и, не оборачиваясь, врезал Паку пяткой. Тот охнул и снова потерял сознание.

Последнего любовника Эда Огрызина задушила ночью, в собственной постели, прямо посреди старого пыльного и дырявого, но огромного матраса, доставшегося ей от бабки, сошедшей с ума.

И не то чтобы она на него держала зло. Нет, просто он ей надоел до предела, опротивел. Это он-то и прозвал ее Огрызиной. А какая она Огрызина?! Никакая вовсе не Огрызина, а милая женщина средних лет, хорошенькая и пухленькая, таких баб мужики любят.

Предыдущие двое мордовали ее каждый божий день. По вечерам. Как приходили со смены, так и принимались луп-

цевать. Но зато как потом любили! Вдвоем! До слепоты в глазах и пороссячьего визга, до судорог и колик! Нет, тех двоих Эда никогда бы не придушила. Но они ушли сами: один к этой уродине Мочалкиной-средней, расплывшейся мокрице, а другой вообще стигнул, из поселка пропал. Ищи — свищи!

Когда Гурыня-младший приволок к ней Хитрого Пака, Эда готовила тюрю для детишек. Ей было наплевать, сколько ртов в хибаре — двадцать восемь или двадцать девять. Хотя нет, она припоминала, что троих недавно отволокла к отстойнику, отмучились трое. Стало быть, меньше дармоедов!

— Пускай отлежится! — сказал Гурыня и для подкрепления своих слов треснул Огрызину по лбу так, что она плюхнулась на задницу. — Тут его хрен найдут. Но гляди, продашь, падла, я те все восемь зенок по очереди выдавлю, вот этими! — Гурыня растопырил на обрубке свои черные крючковатые костяшки.

— А мне что! — ответила Огрызина. — Мне все до фига! — Соображаешь.

Гурыня убежал.

Даже среди обитателей поселка Эда Огрызина выделялась необычайными способностями. Она рожала по шесть раз в году и всегда тройнями. Большинство ее детенышей погибало. Кое-кто уползал в развалины. Она никого не прогоняла, но никого и не удерживала. Да она и не помнила всех в лицо — поди, запомни этих паразитов проклятуших! Каждый — ни в папаш, ни в мамашу, а в черта с дьяволом и всех их соратничков. Эда ничего не знала, да и никогда не слыхивала даже о мутациях и прочих ученых вещах. Для нее что было, то и было, то, значит, и должно было быть. Ей и вправду все было до фига.

— А ты дышишь? — спросила она у Пака. — Или око-лел случаем?

Пак дышал. Ему становилось лучше. Прав был Гурыня, предатель подлый, наведший на его ватагу туристов, решивших малость поохотиться в экзотических условиях. Прав!

Огрызина оглядела Пака и, решив, что не такой уж он и маленький, положила с собой рядышком, прямо на старый бабкин матрас. Только толку из этого не вышло, силенок у раненого явно пока не доставало.

К обеду Огрызина сбегала на площадь, посудачила с хо-

зьяками. На площади сегодня было совсем пустынно. Но кое-что удалось выведать.

— Слушай, ты, Хитрец, — скороговоркой пробубнила она в самое ухо лежавшему, склонившись над ним, нависая шарообразным оплывшим телом и беспрестанно мигая всеми своими колючими поросячьими глазками. — Слушай, чего говорят-то! Твоего папаньку, работника Пуго сегодня туристам на расправу отдадут, усек?! Говорят, вчера их-них приплепали, тех самых, что в развалинах выроdkов ловили, усек?

Пак ничего не понимал.

— Так это, оказывается, папанька Пуго их придавил там, во дела какие! Не, ты тока подумай, Хитрюга, это ж надо, а?! Такой скромный на вид, такой честный, такой работающий — передовик! И чего отмочил!

— Вранье! — отрезал Пак.

— Я те точно говорю! Зуб даю! — Огрызина лязгнула челюстями, и один зуб, черный, изогнутый, с зелененькими прожилками, выпал Паку прямо на грудь. — Ой, чего это?! — Огрызина сама перепугалась. Но потом смахнула зуб на пол, в грудy мусора у матраса. — Старее, небось! — кокетливо проговорила она и захихикала.

— Все вранье! — повторил Пак.

— Ну и не верь, мне то что!

Пак приподнялся на локтях и прислонился к стене. Силы прибывали, тело почти не болело. Он даже сумел ощупать себя клешнями — вроде бы все было на месте. Хотелось пить. Но он терпел.

— Чего еще болтают?

Огрызина оживилась, захихикала.

— Болтают, что все равно побьют народец, всех под ко-решок срежут, вот чего. Ты, Хитрец, этого не поймешь, тут в погреб надо лезть, вот я чего скажу.

Пак сморщился.

— Дура!

Огрызина повернулась к нему и выдала хорошую оплеуху. Пак полетел с матраса прямо в кучу мусора. Но теперь он смог сам подняться, вскарабкаться на тряпье. И он даже не обиделся на туповатую, но простодушную Эду, чего на нее обижаться!

— Как есть — дура!

Огрызина вышла, покачивая крутыми мясистыми бока-

ми, волоча за собой жирный тюлений хвост, который помелом гнал по углам пыль, но пола не расчищал. Огрызина в подпитии говаривала, что хвост ей достался по прямой линии, от дедушки. Но никто не видал того живьем, даже старожилы поселка. Да и какая разница, тоже — фамильное наследство! Дед сошел с ума прежде бабки. И Эда якобы самолично отволокла его, еще полуживого, к отстойнику, будучи совсем девчонкой. Но это были явные враки, потому что никто ее девчонкой не помнил, она всегда была матерой и ядреной бабищей.

Только она исчезла, как появился загнанный и мокрый от пота Гурыня. Он без разговоров подбежал к матрасу, выдернул из-за спины что-то длинное и поблескивающее и пребольно стукнул этой штуковиной прямо по лбу Паку.

— Гляди, чего у меня!

Пак ткнул клешней в брюхо Гурыне. Тот отшатнулся.

— Ого! Оживаешь, падла! Может, тебя кокнуть, пока совсем не ожил, а?

Гурыня навел на Пака железяку с маленьким раструбом на конце, но на спусковой крюк не нажал. Лишь затарахтел — громко и неумело, подражая ночным выстрелам.

— Кончай паясничать! — сказал Пак. — Дай сюда!

Гурыня понял, что вожак не собирается уступать своих прав, и обиженно зашипел. Отступил на шаг.

— Обожди, падла, я те чего?! Я тя вытащил откуда, за-был, что ли, у-у! — Гурыня взмахнул железякой. Но тут же размяк. — Да ладно, не бойсь! Видал, чего нашел, а?! На пустыре, понял, падла? Я там еще припрятал, для тебя. Понял? Не, ты понял, падла?!

Пак закричал и снова наморщился.

— Ну и дурак!

— Чего-о?!

— Того-о! Дурак, говорю.

— Я тя щас, падла...

— Не шурши, шенок. Она ж сама не стреляет, к ней еще такие штуковинки нужны! Говорю тебе, дурак — ты и есть дурак!

Гурыня расхохотался, откинув далеко назад длинную шею, покачивая змеиной головкой.

— Все есть, умник! Ты думаешь, один ты хитрец, падла?! Не, врешь. А будешь возникать, я тя, падла, в ватагу не приму, понял?!

Пак горько усмехнулся.

— Ватага... Какая там ватага, дурак, все парни полегли, в подвальчике друг дружку греют. Ты, сука, продал!

Гурыня изловчился и еще раз треснул его по огромному лысому до самой макушки лбу, так, что у Пака звезды из глаз посыпались.

— Я б тебя мог там придавить, падла! Понял?!

— Ладно, заметано! — отрезал Пак. Больше всего ему не хотелось вступать сейчас в длительные и бесполезные споры.

— Ну и ништяк! — обрадовался Гурыня. Он был отходчивым малым.

— Чего там про папаньку болтают?

Гурыня вытянул шею.

— А их поймешь, что ли?! Охренели вообще, падла, то ли наградить собираются, то ли повесить — не разберешь! Таскают по поселку, каждый по глоточку ему из запасов дает... Но разве ж эту бочку, падла, напоишь! Да он всю трубу высосет и не охренеет!

Паку было наплевать на папаньку. Но раз за него взялись, могут и до самого Хитреца Пака добраться. И доберутся ведь! Тогда все, тогда кранты. И не оживешь больше!

— А ты его это... кокни из железяки. Слабо?! — Пак смотрел прямо в глаза Гурыне. — Помнишь, как он тебе в зубы дал.

Гурыня поковырял указательной костяшкой во рту, пробубнил нечто неопределенное. Потом глазки его загорелись.

— А че, щас пойду и кокну! — сказал он, зверея на глазах. — Кокну падлу, сучару вонючую! Я его давно собирался кокнуть! Тебя тока боялся, все ж таки папанька! Кокну, гадом буду, кокну!!!

Пак привстал с матраса и дал Гурыне увесистую затрещину. Тот опешил.

— Еще раз ссучишься, дешевка, я тебе шею твою змеиную узлом завяжу, усек?!

Гурыня кивнул. Он все усек, он вообще был очень понятливым. Он сообразил, что Пак оклемался и уступать места жожака вовсе не собирается. Но все же он счел нужным напомнить:

— А кто ты, падла, спас, а? Ты не забывай, Хитрец, ладно? Я ж ты выручил, другой бы бросил подыхать, точняк бы бросил.

— Ладно, сочтемся, — сказал Пак как-то двусмысленно.

Но у Гурыни полегало на душе.

— Надо когти рвать, — прошипел он на ухо вожаку, — тута все равно захомутают, падлы! Долго на дне не пролежишь. А они и с дна достанут.

В комнату вполз один из детенышей Эды Огрызины. Должно быть, выбрался как-то из хлева, осмелел с голодухи. Детеныш был противный, гадкий: весь зелененький, сыренький, пухленький, на шести тонюсеньких ножках. Головы у него не было — прямо из жирного брюшка смотрели мутненькие глазки, один зеленый, другой красный. Детеныш причмокивал, верещал — есть просил.

Вот ведь гады нарождаются, подумалось Паку. И что за молодежь пошла такая! Кто работать станет через десять лет?!

— А ну-ка, испробуй на гниде! — сказал он Гурыне.

Тот встрепенулся, обрадовался. Повернул ствол к детенышу. И уже тогда Пак сообразил, что железяка у Гурыни была заряжена. Он, Хитрый Пак, самый умный в округе малый, с огнем играл!

— Получай, падла!

Раздался хлопок. Совсем тихий, не похожий на ночные. И детеныша разнесло в клочья. Стены, пол, потолок хибары, а заодно и Пака с Гурыней забрызгало желтой вонючей дрянью. Похоже, кроме нее, ничего во внутренностях детеныша Эды Огрызины и не было.

— Нормалек! — сказал Пак и протянул клешню. — Дай-ка сюда пушку.

— Чего?!

Пак молчал.

— Чего, падла? Чего?! Это ж я нашел, моя!!!

Пак вырвал железяку. Ударил Гурыню ногой в пах. Тот скрючился, потом уселся на пол, начал качать головой из стороны в сторону и тихонько подвывать.

— Ладно, не плачь, чего ты? У тебя ж еще есть, сам говорил. Наврал, небось?

— Е-есть, — подтвердил Гурыня, — е-е-есть, зачем отнял?!

Пак ударил его по голове железякой, чтобы не возникал. Гурыня все понял.

— Чего делать-то будем? — поинтересовался он совершенно обыденно и спокойно, без нытья.

— Поглядим еще, — ответил Пак.

Рассвело в этот день позже обычного — наверное, опять нагнало большую тучу с востока. А там совсем плохие дела, там не светает уже много лет, так и стоит дым с копотью столбом — хочешь, дыши, хочешь, не дыши, твоя воля.

Но Чудовище брело именно в том направлении, на восток — какая разница, где бить эту мерзость! А найти, везде найдут!

По дороге оно вытащило из заплечного мешка малюсенькое зеркальце, погляделось в него искоса, вполглаза, а потом медленно и сладострастно растоптало, чуть ли не в пыль.

Вот так вот! Всем им так!

Изрешеченная пулями конечность немного побаливала. Но совсем немного, ранки на волдыристой коже затянулись, так, бередило слегка кость, сухожилия — как от дурной погоды. Только ведь погода здесь всегда дурная, куда денешься!

Было жаль погибшую малышню, даже туристов становилось жаль — и они не рассчитывали найти могилы в этой поганой дыре. Да что поделаешь, сами напросились! Чудовище все понимало, все чувствовало. Но плакать оно не умело.

После расправы над туристами надо было улепетывать как можно быстрее, замечать следы, прятаться, а может, и уйти на глубины — на второй или третий ярус, а то и в преисподнюю, туда, где в переплетении труб сам черт ногу сломит. За двести лет было столько понастроено, понапроложено, понавязано и позапутано, что и разбираться бессмысленно, все одно не разберешься. И все ж таки на глубины не манило.

Идти напролом, через пустыню, было опасно. И Чудовище решило заглянуть к Отшельнику, посоветоваться. Когда-то Отшельник давал ему самые толстые и самые интересные книги. Но он давненько не показывал носа из своей берлоги, может, болел, а может, и помер.

Берлога была километров за тридцать от поселка, у самых холмов. И Чудовище, без долгих раздумий, свернуло к ней.

В прошлый раз то ли лаз был пошире, то ли само Чудовище поуже да порезвей, короче, протиснуться сразу не удалось, пришлось расширять дыру, оббивать спекшиеся края лаза, закаменевшие и глинистые.

Раза два или три Чудовище отвлекалось от этой нудной работенки — наверху, там, где должно было быть небо, что-то начинало трещать, трещало, трещало, а потом смолкало. Что там могло быть? В небе никто не был, откуда знать! Шум стихал, пропадал, но и тишина не несла душевного равновесия. Муторно было.

Наконец удалось протиснуться в дыру. Выдохнув из себя остатки воздуха, чудовище проползло несколько метров в темноте лаза, оттолкнулось от внутреннего края и мягко перевалилось в воду, почти не ощущая ее теплого нежного касания. Все здесь было как встарь.

«Вот ведь, устроился Отшельник! Живет и не тужит. Всем бы так жить! и за каким дьяволом меня носит по поверхности! Им там хорошо в поселочках, у труб! Они насосутся из краников, похлебают баланды у разливочной — и счастливы до следующей смены. А мне-то чего там делать? Любоваться на их счастливые рожи? На папашу Пуго любоваться, что ли? На этого облезлого дегенерата, так и не научившегося разговаривать, но выполняющего двойные нормы по обходу труб?! Так, что ли?! Да и что это вообще такое — двойные нормы обхода? Разве от того, что обойдешь чего-нибудь два или три, а то и четыре раза, мир лучше станет, или может, изменится что-то?! Ведь нет же!

Все они там чокнутые. Не только лишь один этот Буба. Подумаешь, он из внешнего мира! Не помнит ни хрена. Он в этом мире в бреду жил, только здесь-то и прочухался. А тоже мне, председатель поселкового совета! Сам себя выбрал, сам всю эту канитель затеял. А кому она там нужна? Папаше Пуго? Или может, дуре Мочалкиной? Им на все наплевать! Даже Хреноредьеву, как бы он ни пыжился и ни корчил из себя ветерана, наплевать ровным счетом на всех до единого! Но все равно, они это они, пускай сходят с ума — хотя и сходить-то вроде бы не с чего — пускай развлекаются, как хотят. Но мне-то что?! Не-е, пора в глубины! Пора самому в отшельники!»

С такими мыслями Чудовище вдохнуло поглубже и погрузилось в воду с головой.

И хотя оно неплохо видело в темноте, в этой крошечной подводной тьме ориентироваться приходилось в основном на осязание, по стеночкам — шершавым, обросшим полипами и водорослями.

У самого дна протиснулось еще в одну дыру, пошире

первой, проползло несколько метров — там начинался подъем, снова по стеночке, впритык. Но здесь было посветлее, сверху пробивался свет лампочки, пусть и слабо, но пробивался.

Вынырнув, Чудовище огляделось и медленно, прямо из воды начало подниматься по скользким ступенькам к большой железной двери. Над ней и висела совсем крохотная тусклая лампочка. Горела себе, как могла, как получалось, освещала путь, а значит, и Отшельник был жив.

Поднявшись на площадку перед дверью, Чудовище тем же манером, что стряхивают с себя воду собаки, передернулось — от головы до кончиков щупалец. И замерло.

Отшельник обычно открывал сам. Надо было подождать: пришел в гости, так и ведем себя как гость.

«Интересно, как они там? В поселке, небось, всюю шуруют, разыскивают виноватых. Еще достанется олухам этим! Они и понять-то не смогут, за что из наказывать хотят! Точно не поймут! А может, и обойдется? Буба Чокнутый остатками мозгов пораскинет, сумеет вывернуться! А нет, так это их личное дело, мне-то что! Но, скорее всего, никого обижать не станут, ведь они-то там, за куполом, за стеночкой и барьерчиком, они-то ведь нормальные, должны ведь понять, что к чему! Должны, должны... А кто их знает! Ежели облавы устраивают, так, может, и они свихнулись! Ладно. Отшельник умный, он все растолкует».

Дверь не открывалась.

Чудовище, поразмыслив немного, подняло с площадки обломок кирпича и постучало по ржавеющей, покрытой множеством мелких капелек металлической поверхности. Дверь поддалась, чуть сдвинулась. Она была незапертой! Чудовище удивилось, обычно Отшельник не страдал забывчивостью, всегда запирали за собой. Но надо было идти, куда теперь деваться!

В коридоре с потолка капало, видно, прорвало где-то трубу. Капала явно не вода, а какая-то мерзкая жижа с сильным отвратительным запахом. Коридор был длинным и пустынным. Каждый шаг отдавался эхом под его сводчатыми потолками. Но это была еще не пещера. Это были лишь подступы к пещере. Вот только автоматика не работала — ходи-броди, сколько влезет!

Чудовище отмерило нужное количество шагов до потайного люка, прижалось к нему всем телом. Крышка люка

сползла набок. Теперь оставалось подняться по винтовой лестнице на три пролета, миновав три площадки. Там пещера.

— Это ты, Биг?

Голос прозвучал неожиданно, из стены. И это был вовсе не голос Отшельника, а какой-то старческий сип, тусклый и невыразительный.

Чудовище вздрогнуло. Мышцы буграми перекатились под сырой пористой кожей, большой горб, соединяющий голову со спиной, напрягся, вздыбился еще сильнее, круче.

— Это я, Отшельник, — ответило оно так же тихо.

— Ну, проходи, чего встал! Забываешь старых друзей, чучело?!

Голос совершенно не вязался с шутливым тоном. И это настораживало.

— Проходи, проходи!

Сделав еще несколько шагов, Чудовище оказалось перед деревянной перекошенной дверцей, висящей на старинных бронзовых петлях. На дверце была прибита одним гнутым гвоздем табличка с кругленьким благообразным черепом, пронзенным зигзагом молнии. Табличка также была старинной, теперь такие делать не умели, по крайней мере здесь, под куполом. За дверцей и находилась пещера, обиталище Отшельника, его Берлога.

— Ты заснул там, что ли? — спросил старческий голос, но уже бодрее.

— Нет, я иду! — ответило Чудовище и дернуло на себя ручку дверцы.

Пещера была огромна. Не пещера, а целый зал с высокими, увешанными каменными сосульками всех цветов потолками или сводами, с уходящими во тьму стенами, с гладким будто мозаичной плиткой выложенным полом. Посреди этого пустынного зала стоял грубо сколоченный деревянный стол, заставленный пустыми пыльными бутылками. Рядышком валялся колченогий стул с гнутой спинкой, явно не самодельный. Но за столом никого не было. На этот раз берлога Отшельника поражала запустением.

— Ну чего ты там застрял, Биг?!

Голос доносился из угла. И Чудовище пошло на этот голос, такой знакомый и совсем не узнаваемый. Теперь оно разбирало в полутьме нишу, занавешенную странными то ли водорослями, то ли обрывками...

— Не включай света, глаз болит.

Отшельник сидел в нише, скрестив ноги, поджав их под себя. Голова у него стала еще больше, чем была в их последнюю встречу, и напоминала она теперь не кастрюлю с просвечивающими тоненькими стенками, а целый котел, в котором что-то бурлило, кипело, переливалось... Лишь свечение вокруг этого котла оставалось прежним — нежно-розовым, еле заметным.

— Молчи, — сказал Отшельник, — я и так все знаю.

Огрызина не заметила утраты одного из своих отпрысков. Да если бы и заметила, что ей! Ей все — до фиги! На день она повторяла любимое присловье раз по сто, наверное, чтоб ни у кого сомнений по этой части не возникало. Но никто и не сомневался. Тем более, Хитрый Пак с Гурыней.

— Вы чего, тута, что ль, жить-то будете? — спросила их Эда, одновременно обмакивая пальцы в желтую слизь на стене и поднося их к носу.

— Поглядим еще, — повторил Пак на иной лад.

Эда попробовала слизь на вкус.

— Тьфу! Дрянь-то какая! Вы, что ль, нагадили?!

— Заткнись! — ответил Гурыня.

Эда погрозила ему кулаком, но не расстроилась.

— Ладно, вы как хотите, я в подпол полезла!

И ушла.

Пак нацелился ей в спину железякой, сказал вяло:

— Не промахнешься.

— Это точно, — поддакнул Гурыня.

Как бы ни хотелось Паку сохранить репутацию умного малого и хитреца, ему ничто не шло на ум, ничего-то он не мог придумать. Больно непривычная раскладка получалась — куда ни плюнь, в себя попадешь! И от Гурыни этого, придурюшного, толку не будет, какой от него, пустоголового, толк! И бежать некуда, и посоветоваться не с кем, и поплакаться некому! Прямо, хоть иди и сдавайся!

— Ты сбегал бы пока за своей железякой! Да не позабудь эти хреновинки, ладно? Без них...

— Да понял, падла! Я мигом обернусь, гадом буду! Туда — сюда, падла!

Гурыня сорвался с места как ошпаренный. Он и вообще-то был заводной, а в последние двое суток совсем очумел.

Пак достал из кармана комбинезона осколок зеркала. Долго рассматривал себя. Лицо его при этом кривилось, глаза слезились, но не все — лишь два верхних, те, что были под вмятиной на лбу, оставшейся на память от туристов. Сама дыра почти заросла уже. Пак ощупал затылок — выходного отверстия не было, значит, этот комочек железа застрял где-то в башке. Ну и черт с ним! Не очень-то Пак расстроился от такого приобретения. Если что и задело за живое, так это краса его и гордость — широкий морщинистый хоботок, свисавший чуть ниже подбородка и невероятно изуродованный теперь багровым водянистым рубцом. Вот сволочи! Он был готов тут же сразиться с десятком этих наглых охотничков. Он бы их собственными клешнями на клочки бы порвал, в капусту искрошил!

Но долго предаваться отчаянию не стоило. Пак спрятал осколок обратно. Присел, встал, потом еще раз, еще... помахал руками, согнулся. Поднатужившись, перевернул тяжеленный сырой матрас. Хоть и не жрал ничего весь день, изранен, избит, искалечен, а все ж таки молодой организм брал свое, восстанавливал силы. А силенка ныне ох как нужна была Паку!

— Поглядим еще! — процедил он в третий раз, совсем зловеще.

Вышел из комнатки. Осторожно, стараясь не шуметь. Заглянул в хлев. Там, за прогнившей и почерневшей от старости бревенчатой перегородкой в метр высотой копошились Эдины детеныши. Они были омерзительны.

Пак собрал в пересохшем рту остатки слюны и плюнул за перегородку. Один из Эдиных сопляков на лету поймал плевок длинным жабым языком и тут же завохтал, заерзал. Остальные, сгрудившись вокруг счастливого, плакси-во подвывали. Все как один дрожали в каком-то непонятном ознобе.

Среди выроdkов были и довольно-таки здоровые особи. Парочка крайних, тех, что лежали у самого заборчика, были вдвое больше Пака, во всяком случае вдвое жирнее и толще.

Вот гаденыши! Паку смотреть на них не хотелось. Но он понимал, что, когда прижмет, придется лезть в этот гадюшник и самому притворяться выроdkом. И еще неизвестно, как дело обернется, может, туристы всех недоносков и переносков разом-то и ухайдакают?! А чего им стоит? Нет, нигде не было спасения!

На прощание Пак треснул железякой по загривку самого жирного выроodka и вышел из хлева.

Снизу, из подпола доносилась какая-то возня. Там что-то падало, гремело, звенело... Пак заглянул в дыру, полуприкрытую фанерой. Но почти сразу же ему в лицо плеснуло чем-то горячим, помойным, аж дыхание сперло.

— Уйдитя-я! Я тут не причем буду! Не виноватая я! — истошно завопила снизу Огрызина. — Там ищитя, наверху-у!

Пак захотел спуститься и разобраться с толстухой. Но передумал.

— Осатанела, что ль? — поинтересовался он, вытирая лицо.

Эда тут же успокоилась.

— Хитрец, ты? Чего пужаешь-то?! Я уж думала, конец, туристы по мою душу пришли! Ну ты совсем блажной, разве ж так шутят?!

Пак не стал пререкаться.

— Ты про меня молчи, дура! — сказал он коротко. — А то я тебя без туристов прикончу!

— Всё ходют, пугают, понимаешь, стращают всё! — заворчала Огрызина. — Нужны вы мне больно, да катись хоть сейчас, плакать не стану. Я б тебя еще на матрасе придушить могла б, а я пожалела на свою голову. Вот и жалея вас теперича...

Паку надоела пустая бабья болтовня. И он вернулся в комнатушку. Постоял немного, прислушиваясь, потом отодрал доску с заколоченного окна, присмотрелся. Снаружи все было вроде бы спокойно. И он вылез.

Папашу Пуго нарядили в самые лучшие одежды. Еле ссыкали в поселке дореформенные штаны — черные, широкие, на пуговках, и телогрейку, синенькую, расшитую голубыми мира. Наряд пришелся впору. Лишь длинные грабли папаша торчали из рукавов на полметра, свисали до самой земли. Но они и отовсюду торчали, не научились, видно, шить на таких, как папаша Пуго, да и когда теперь научатся.

Поселковые женщины заглядывались на передовика-красавчика, обряженного получше иного жениха.

— Гы-ы, гы-ы! — радовался сам папаша.

Буба Чокнутый носился с «народным избранником» как с писаной торбой. Дура Мочалкина и вовсе слюной исходила.

— Ну и чего мы с им теперь делать станем, едрена

вошь? — спросил Бубу инвалид Хреноредьев после того, как все было готово для сдачи избранника туристам.

— Ну и безмозглый же ты обалдуй, как я погляжу, — ответил Чокнутый. — Дурак из дураков!

Хреноредьев раздулся пузырем, из носа потекло.

— Ты при людях, едрена-матрена, мене не оскорбляй, Буба! — сказал он запальчиво. — У нас тоже гордость имеется, едрит тя кочергой!

Папаша Пуго обнял Хреноредьева и слюняво поцеловал в синие губы.

— Гы-ы, гы-ы, гы-ы!

Сколько ни поили папашу, а он оставался все таким же, как и в самом начале, не падал, не пускал пузырей из носа, не норовил притулиться где-нибудь в уголку и соснуть чуток. Видно, папаша чувствовал свою особую роль неким врожденным чутьем и потому держался молодцом. Лишь почти новехонькие черные штаны на радостях замочил, но ему это в вину не ставили. Мочалкина кокетливо отводила слипающиеся глазки, старалась смотреть поверх головы, в пространство.

— А я повторю, Хреноредьев, — сказал Буба, — при всех повторю, что тупарь, он и есть тупарь! Здесь, как верно заметил наш Коко, хер хрена не слаще.

Хреноредьев подпрыгнул и ударил Бубу в живот протезом-деревяшкой. Да так, что Буба согнулся в три погибели и застонал. Папаша Пуго дал щелчка инвалиду, и тот упал без чувств. Потом он пригнулся к Бубе и смачно, взасос поцеловал его. Мочалкина зарделась. Она все думала, когда же Пуго про нее-то вспомнит! И вспомнит ли!

Но все завершилось благополучно. Бегемот Коко разнял спорщиков, дал каждому по затрещине, в том числе и дуре Мочалкиной. Та сразу же позабыла про папашу и уставилась на Коко влюбленными глазами.

— Пора!

Буба стряхнул пыль с колен, расправил плечи.

Они стояли чуть ли не посередине площади. Но никто, кроме двух десятков местных хозяек, сгрудившихся в одну кучу, на них не реагировал. Трапы, по которым обычно ходили туристы, чуть покачивались и, казалось, протяжно и тонюсенько пели на ветру. Железная клепаная башня, проржавевшая снизу и немного покосившаяся, стояла как и обычно — наглухо задраенная. Люки не открывались. И

никто не появлялся, хотя пора бы уже, пора было появиться!

— Буба, браток, может, ты и впрямь Чокнутый, а? — спросил неожиданно Коко. — Может, про нас и думать забыли, а мы тут дурака валяем?! — При слове «дурака» он выразительно поглядел на Хреноредьева. И тот снова лишился чувств.

Папаша Пуго приподнял инвалида за шкирку, он не любил, когда обижали слабых и всегда жалел их.

— Гы-ы, гы-ы!

От липкого и слюнявого поцелуя Хреноредьев очнулся.

— Все, едрит-переедрит! — сказал он задиристо. — Все! Щас начну всех калечить! Без разбору, едрена-матрена!

Но калечить он, конечно же, никого не стал. Он и сам-то был калекой — из трех ног лишь одна своя, остальные две — деревяшки. Руки у него были с рождения кривыми, да и какие это руки! Туловище все — наперекосяк, ни сказать, ни описать. Поговаривали, что и с мозгами у Хреноредьева было не лучше.

Доходяга Трезвяк помалкивал и ни во что не вмешивался. Ему было страшновато. Правда, состояние этакое для Доходяги было привычным, еще бы, жить под этим куполом с этим народцем на трезвую голову и ничего не бояться мог лишь воистину чокнутый, тот, у кого крыша совсем набекрень съехала!

Рядом с Трезвяком стоял Длинный Джил, глухонемой мужик с окраины. Он был припадочным и на работу не ходил. Но поглазеть на всякое-разное любил.

Джилу было почему-то жалко и папашу Пуго, и инвалида Хреноредьева, в его глазах стояла такая невыраженная скорбь, что Мочалкина, случайно заглядывавшая в них, начинала реветь в три ручья. Но Джил был меланхоликом и ни во что не вмешивался. Так и стояли с Трезвяком на пару. И если Доходяга думал о том, как бы смотаться, то Длинный Джил помышлял о спасении передовика Пуго от этих ловкачей-туристов.

— Все ясно! — заявил наконец Буба Чокнутый. — Эй ты, Бегемот, иди-ка сюда!

Коко не пошевелился даже.

И Буба сам подошел к нему.

— На вот тебе разводной ключ, — он достал железку из кармана, — иди к башне и поколоти! Да погромче!

Коко вздохнул. И согласился.

— Прощайте, братишки! — сказал он грустно.

Все замерли.

Но Коко не успел подойти к башне.

— Стой! — выкрикнул неожиданно Буба.

Бегемот остановился, прижав разводной ключ к животу всеми четырьмя лапами.

— Стой! — повторил Буба. — Так не годится!

Он шепнул что-то на ухо Трезвяку. Тот куда-то убежал, прихватив с собой Джила и Хреноредьева. Через пару минут они приволокли старую, перекособоченную, оставшуюся, наверное, еще с позапрошлого века трибуну, выкрашенную в бордовый цвет. И поставили ее посреди площади.

— Уф-ф! Едрит ее через колоду, тяжеленная! — прокомментировал событие Хреноредьев. — Несерьезно все это!

Трибуна имела метра три в ширину, два в высоту и полтора в глубину. Больше пяти человек поместиться на ней не смогло бы при всем желании. Но Буба и не собирался впахивать на нее всех. Он прислонил папашу Пуго к передку трибуны. Сам забрался наверх.

— Не-е, едрена колокольня, — проворчал снизу Хреноредьев, — так не пойдет, так нескромно как-то!

Буба сморкнулся в него сверху из одной ноздри, но не попал, инвалид был увертлив.

— Граждане! — возопил Буба. — Соотечественники! Труженики!

Хозяйки как-то одновременно, кучкой сдвинулись с места и подобрались поближе к выступающему. Стекался и прочий народец, в основном, калеченный или малолетний.

— В эту торжественную для всех для нас минуту...

— По-моему, он чего-то не то говорит, — прошептала дура Мочалкина на ухо Трезвяку.

Тот хотел поддакнуть. Но не решился, мало ли чего, времена какие-то смутные пошли, еще настучит кто, что языки слишком длинные у некоторых.

— ...все как один, миром, выйдем мы на площадь и покаемся! Нам есть в чем каяться, собратья, на всех на нас лежит великий грех, тяжкий и неискупный! Мы подняли руку на самое... на самое святое!

— Эй, Буба! — выкрикнул кто-то из толпы. — Ты трепись, да не затрепывайся! На кого это мы все руку подняли! Чего болтаешь! Какой такой грех?!

— Точно, охренел Чокнутый!

— Я те ща дам, охренел, я те, ядрена вошь, ща покажу! — взвился взбалмошный Хреноредьев. — Ты у мене забудешь, как оскорблять честных людей!

На этот раз успокоительного инвалиду прописал Длинный Джил — он просто прихватил крикуна за горло, и тот покорно смолк.

— Нет! Нет, собратья!!! Все покаемся, все до единого! На колени! На колени, я говорю, олухи! С места не сойдем, пока прощения нам не будет! До второго пришествия простои́м!

— Гы-ы, гы-ы! — радовался внизу папаша Пуго.

— Все как один!

Буба вдруг осекся. Выпучил глаза.

Он вспомнил про Бегемота Коко.

Тот стоял с разинутым ртом у башни. Разводной ключ валялся под ногами Бегемота, в пыли. По щекам у сентиментального Коко текли слезы.

— Ты чего хавало раззявил?! — завизжал Буба с трибуны. — Болван! Негодяй! Предатель! А ну, стучи, дегенерат! Я для кого говорю, ублюдок паршивый!

Перепуганный Коко подхватил ключ и принялся со всей силы колотить по железному боку башни. В жутком грохоте потонули яростные вопли Бубы Чокнутого и неожиданные, громкие рукоплескания толпы. Многие уже стояли на коленях, но и они хлопали.

Доходяга Трезвяк спрятался за трибуну. Ему было не просто страшно, на него вдруг повеяло ужасом — сейчас придут о н и, и все будет кончено!

Папаша Пуго стоял на полусогнутых в луже, которую он сам и наделал перед трибуной, и с чувством ударял одной огромной ладонью о другую не менее огромную ладонь. Кто-то из малышни подбежал к нему и, подпрыгнув что было мочи, водрузил на лысоватую голову папаши большой и красивый венок, сплетенный из валявшихся тут же на площади обрывков проволоки, каких-то прозрачных трубочек и прочего мусора.

— Гы-ы-ы!!! — рев папаши Пуго перекрыл все звуки. Это был звездный час обходчика-передовика. — Гы-ы-ы-ы!!!

На такой восторженный рев нельзя было не откликнуться. Но туристы не откликнулись и на него.

У Бегемота Коко уже онемели все четыре руки, но он

продолжал наколачивать по железу. Он совершенно оглох от грохота и не слышал диких воплей Бубы.

А тот орал как никогда в жизни:

— Хва-а-атит!!! Га-а-д!! Остановись, сволю-очь!!!

Кончилось тем, что Буба свалился с трибуны прямо на папашу Пуго. Но тот не расстроился и не обиделся. Он привлек Чокнутого к себе, обхватил огромными горилыми ручищами и принялся лобызать — со всей братской и товарищеской страстью, с искренним и неукротимым желанием поведать о своих пылких чувствах...

А Хитрый Пак сидел в засаде и выжидал. Он выбрал самое удобное место — за мусорным бачком, который стоял в ряду таких же собратьев значительно левее трибуны, но зато напротив люка. Лучшей точки было и не найти.

Паку надоело бояться. И он решил, что прикончит любого, кто высунется из люка. Пусть только попробуют! Он им всем даст жару! Ну, а если и его приشلепнут, значит, так тому и быть, судьбы не минуешь.

С минуты на минуту должен был подоспеть Гурыня-предатель. Его хлебом не корми, баландой не накачивай, дай в заварухе какой поучаствовать. Но что странно, каких бы приключений ни искал Гурыня на свою собственную задницу, куда бы он ни совался, всегда из воды сухим выходил! Другое дело — это дурачье, что выдушивается на площади. Пак поглядывал на народец с презрением. Быдло! Простофили! На коленях о прощении молят! Сейчас, прямо, дадут им прощения! Как бы не так!

— Ну че, падла? — прошипело из-за плеча.

Пак даже вздрогнул, не ожидал он, что Гурыня подкрадется столь незаметно.

— Че они, суки, выкобениваются, а?!

— Заткнись! — оборвал Гурыню Пак. — Гляди!

Папаша Пуго все-таки сломался, не выдержал огромного напряжения и рухнул в собственную лужу. Уснул мертвецким пьяным сном.

Но от Бубы Чокнутого не так-то просто было отделаться. Он приказал принести веревки, и папашу, бесчувственного и счастливого во сне, подняли. Веревки обвязали вокруг кистей, концы забросили на трибуну, подтянули тело, закрепили концы. Теперь знатный обходчик висел на веревках, едва касаясь почвы ногами и мерно покачивая из стороны в сторону своей головой с реденькой рыжей шерст-

кой. В обрамлении пышного венка эта голова — пускай не мыслителя и философа, не поэта и художника, а простого труженика — выглядела внушительно, даже как-то аристократически.

А Буба не мог остановиться. Проповедь захватила его, понесла. И казалось, что вовсе не Буба Чокнутый вещает с трибуны простому люду, а некий грозный и всевидящий небесный страж, опустившийся на землю и поучающий заблудших.

— Не будет прощения! Ибо грехи столь велики и неискупимы, что прежде гора взлетит к небу и оживут статуи, чем снизойдет на вас благодать!!! Ниц! Падайте ниц! Уткните свои поганые рожи в землю, в навоз, задохнитесь в нем, захлебнитесь! И пусть это покажется вам раем по сравнению с теми муками, которые ожидают вас впереди...

— И все-таки, по моему, он чего-то не то говорит, — выражала свои сомнения Трезвяку Мочалкина.

Трезвяк думал, что смываться поздно. Что это конец! Что вот-вот из люка вылезут туристы с железяками в руках и всех тут перешелкают, никто и ахнуть не успеет. Доходяга стоял ни жив, ни мертв.

— ...приидите же! Приидите и примите покаяния наши! Или обратите нас во прах! Истребите аки саранчу и скорпионов! Огнем очистите нас, ибо сами мы неспособны! И пусть суд ваш будет неумолим и праведен!

— Нет, Доходяга, — Мочалкина наконец утвердилась в своем решении. — Буба у нас — точно, чокнутый! Пора его переизбирать, как ты считаешь?

Но Доходяга Трезвяк ничего не ответил, он сидел за трибуной и тихо трясся.

— Все вы чокнутые! — заключила Мочалкина.

Бегемот Коко вернулся к трибуне и стоял, смиренно сложив руки на животе. Ключ он потерял где-то по дороге. Не велика была потеря, чтоб сожалеть о ней. Как зачарованный Коко слушал Бубу.

Но того хватило ненадолго. Буба быстро скис и умолк, захлебнулся в собственном красноречии, выдохся. Все смотрели не на башню и не на люк, из которого должны были появиться туристы, а на умолкшего оратора.

— Спекся, болван! — процедил за своим баком Хитрый Пак.



— Шлепнуть его, и дело с концом, падла! — заявил Гурыня.

Пак не стал ему отвечать, зачем попусту нервы портить, и так уже до предела натянуты. Он неотрывно следил за люком, даже глаза болели.

— Покаемся, братья! — истошно выкрикнул напоследок Буба. И завершил на совершенно истерической ноте, обращаясь почему-то не к башне, а к небесам, воздев руки к ним и задрав голову: — Приидите же судии праведные! И покажите нас!!!

После этого Буба, уже будучи в бессознательном состоянии, снова сверзился с трибуны. И снова в ту же лужу. Но теперь папаша Пуго ничем не мог ему помочь.

— Нехорошо! — сказал Хреноредьев. — Нескромно!

Вдвоем с Длинным Джиллом они отволокли Бубу за ноги прямо к мусорным бачкам — пускай полежит, авось, прочухается. Но Пака с Гурыней они не заметили. Вернулись назад. Стали решать, что же делать.

— Разбежаться надо, — предложил Доходяга Трезвяк из-за трибуны.

— Я те разбегусь! — ответил ему Бегемот Коко. — Шкурник! Единоличник паршивый! Морда твоя кулацкая!

Трезвяк замолк. И надолго.

— Надо созвать женсовет, — предложила Мочалкина, — и поставить вопрос ребром!

Длинный Джил промычал ей нечто невнятное, постучал себя кулачищем по макушке и посмотрел в глаза — пристально, навевая тоску смертную. Мочалкина громко, с захлебом и причитаниями, зарыдала.

— Я, едрена корень, так понимаю, — важно начал Хреноредьев. Но завершить не смог по той причине, что он ровным счетом ничего не понимал.

Толпа гудела. Все ждали чего-то. Но ничего не было. И это вызывало большое недовольство и грозило перерасти в серьезные волнения, а может, и бунт — посельчане были народцем разношерстным, не всякий мог понять, что бунтовать нехорошо, у многих на это просто мозгов не хватало. Назревал большущий скандал, который мог кончиться плачевным образом и для верховода Бубы Чокнутого и для всех поселковых избранных.

— Гы-ы, гы-ы! — временами спросонья подавал голос папаша Пуго.

— К ответу! Зажрались!

— Кончай бодягу!

— Даешь всеобщее покаяние, едрена-матрена!

— Всех их пора!!!

Толпа уже бесновалась. И в любую минуту могло произойти непоправимое.

Но весь гам и шум перекрыл леденящий души вопль. Даже не вопль, а взвизг какой-то:

— Шухер, ребята! Атас!!!

Все будто по команде повернули головы к башне.

В жуткой, неестественной тишине над площадью проплыл скрип — долгий, протяжный. Люк медленно открывался.

— Я все знаю, Биг, — повторил Отшельник, — ты правильно сделал, что заглянул ко мне.

Большой выпуклый глаз, матово отсвечивая синевой, смотрел на Чудовище. И столько было в этом умном, мудром, все понимающем взгляде доброты, что Чудовище поневоле размякло и снова превратилось в того маленького и любознательного Бига, подростка, юношу, который часами выслушивал рассказы Отшельника. Когда это было! Но ведь было же!

Отшельник сильно сдал. Его тельце стало совсем немощным, хилым. Каждая кость выпирала наружу сквозь полупрозрачную сероватую кожу. Плечи совсем заострились, были сведены к самой шее. Но Чудовище не видело его тела, оно смотрело в этот бездонный глаз, тонуло в нем, растворялось. На минуту вспомнился Волосатый Грюня, безжалостно убитый туристами, и та мольба, то отчаяние и нечеловеческая тоска, что застыли в его стекленеющем глазе. Может, и он, доведись ему выжить после охоты, стал бы вот таким же Отшельником... Может, и стал бы. А скорее всего, нет. Разве предугадаешь будущее.

Грюни нет, и уже никогда не будет. А в мире все остается по-прежнему, так, будто и не было никаких грюнь, близнецов-сидоровых, бандыр и других, лежащих сейчас в подвале.

Подбородка у Отшельника не наблюдалось, нижняя часть лица как-то незаметно переходила в шею, и только малюсенький ротик-клювик обозначал этот переход. Отшельник

и говорил-то, почти не разжимая губ. И тем не менее голос звучал громко. Болезненно, старчески, но громко.

— Ты вот что, Биг, — произнес Отшельник, — сходи-ка вон туда, видишь? — он чуть повел пальцем вправо. — Я открою... А ты принеси мне, сюда...

В правом углу зала-берлоги сдвинулся с места замшелый и огромный валун, открылся вход куда-то, в темноте Чудовище и не разобрало, куда именно.

— Иди, иди, не бойся!

Чудовище прошло несколько метров, оглянулось.

— Возьмешь там пару бутылок или нет, лучше большую банку. И тащи ко мне! — сказал Отшельник. — Потом поговорим.

За валуном была еще одна пещера, поменьше, вся забитая всевозможной посудой. Там были бутылки, бутылки, бутылочки, банки, склянки, кастрюли, котлы... Наверное, раньше здесь располагалось хранилище, а может, и еще что. С самого края стояло громоздкое и непонятное сооружение, перевитое трубками, шлангами. Из сооружения выходил маленький изогнутый краник. Под краником стояла большая двухведровая банка зеленого стекла. Капелька за капелькой падали в банку — почти беззвучно, но с какой-то дьявольской размеренностью, будто отсчитывали уходящие секунды.

Чудовище хотело нагнуться за банкой. Но заметило поодаль другую, точно такую же, только наполненную доверху и закрытую пластиковой крышечкой.

— Ну что ты там застрял?!

Голос Отшельника прозвучал недовольно. И Чудовище не стало размышлять над множеством вопросов, которые возникли у него в этой пещерке, а подхватило полную банку. Вернулось к нише.

— Вот, держи!

— Спасибо, Биг. А меня что-то и ноги носить перестали. Видал, какая голова? То-то, все растет и растет, скоро ей в берлоге будет тесновато, ха-ха! — в голосе не было ни капельки веселости.

Только теперь Чудовище поняло до конца, осознало наконец, что Отшельник болен. И что он страшно болен, что он неизлечим. Оно поставило банку у ног сидящего и отошло.

Отшельник попробовал нагнуться, но у него это не полу-

чилося. Тогда он привычным движением, почти машинально протянул руку, вытащил из углубления в стене металлическую трубку и резко ткнул ее концом в крышечку. Та не поддалась.

— Помоги, Биг!

Чудовище взяло трубку в щупальце, продавило крышку. Отшельник тут же ухватился за другой конец, присосался.

Он пил долго. Чудовищу показалось, что сейчас он лопнет, разве можно влить в такое маленькое и худенькое тельце столько жидкости! Да он сошел с ума, наверное!

Отшельник оторвался от трубки, когда в банке оставалось меньше трети. Он тяжело дышал. Не мог говорить. Но когда дыхание наладилось, сказал:

— Такие дела, Биг. Не удивляйся, я теперь без этого пойла не могу. Придется, видно, перебираться туда, к агрегату, а то помру, Биг!

Чудовище смотрело и думало: «Нет, Отшельник, ты померешь в любом случае. Эко вон тебя разобрало! А ведь такой был здоровый, такой сильный! Сколько планов было на будущее, казалось, что жить тебе предстоит вечно, что ты сумеешь найти спасение для этого проклятого мира! А почему бы и нет, вон ведьловища какая! Там мозгов больше, чем у всех остальных обитателей Подкуполья, точно, больше! Что же ты делаешь, Отшельник! Зачем?!»

Чудовище пыталось заставить себя не думать об этом, оно знало, что Отшельник читает мысли — и не только у тех, кто рядышком стоит, — но ничего с собой поделаться не могло.

— Ладно, Биг, не расстраивайся, — сказал Отшельник, — я сам все знаю. Только ты меня хоронить-то не спеши. Всякое бывает ведь, может, и обойдется.

Он снова присосался. Но выпил совсем немного.

Свечение вокруг его огромной и полупрозрачной головы стало сильнее. Да и сам Отшельник как-то приободрился, голос зазвучал почти по-прежнему — ровно, спокойно, без старческого дребезжания. В глазу появилось сияние, не блеск, а именно сияние, неземное, нечеловеческое. Длинные волосы, спадающие от висков и с затылка до деревянного помостика, на котором сидел Отшельник, зашевелились, зазмеились словно живые. Дырочки ноздрей округлились — было видно, как он задышал вдруг, глубоко и ровно,

без натуги и хрипов. Лишь тельце оставалось таким же серо-желтым, изможденным.

— Все будет нормально, Биг. Давай-ка о тебе поговорим. Ведь дела твои неважные, верно?

— Верно, Отшельник, — подтвердило Чудовище. — Дела мои — хуже некуда. Похоже, крышка мне. Но сам знаешь, я за жизнь не цепляюсь. Жаль только, если задуманного не довершу, вот чего жаль!

Отшельник впервые за все время моргнул — серая кожистая перепонка на миг опустилась на огромный глаз, но тут же убралась опять наверх.

— Не время стекляшки давить, Биг, не время! Ну чего тебе в голову вступило? Так и будешь воевать с пыльными зеркалами?! Ну воюй, воюй, это дело нехитрое, любой справится.

— Да ладно тебе, чего прицепился! — Чудовище немного обиделось.

— Я не навязываю. Но ты подумай, Биг. Я тебе вообще-то не собираюсь советов давать, где я их тебе возьму! Но кой о чем потолковать надо. Ты ведь на туристов-то зол? Говори?!

— Еще бы, Отшельник! Они почти всю малышню из поселка перебили на пустыре. Я сам еле ушел! Еще бы, не зол! Да попадись они мне...

В голове у Отшельника что-то забулькало, завихрилось, закрутилось — все было видно сквозь полупрозрачный череп, сквозь кожу. И невозможно было угадать, что происходит внутри этого гигантского мыслящего котла.

— В том-то и дело, Биг! Попадись они мне... Ты заранее в них врагов видишь! А какие они враги? Они и не враги вовсе! Они просто не такие, Биг, понял?!

— И все равно, теперь коли попадется мне на пути кто из них, живьем не уйдет. Это я тебе могу заранее пообещать, Отшельник. Сам подохну, но и им жить не дам! Нет, специально искать не стану. Но пусть только попадутся!

— Совсем глупый ты мальчишка! Каким был, Биг, таким и остался. — Он вдруг тяжело вздохнул, снова моргнул. И перестал шевелить губами. Теперь его слова сами проникали в мозг Чудовища: — Ах, если бы все было так просто, Биг. Если бы это были звери или люди со звериной моралью, нелюди, Биг, разве стал бы я тебя отговаривать? Нет, никогда! Но они совсем не такие. Они там, у себя за барь-

ером добряки, каких и не сыщешь, у нас нет таких, не осталось, Биг! Они любят друг друга, верят друг другу, они никогда не оставят без помощи нуждающегося, Биг, я это знаю. Последнее с себя снимут, кровь отдадут свою, костный мозг, все, что потребуется, Биг, и не за миску баланды, не за кружку пойла, нет, так отдадут, по-человечески, по-людски... Они как за головы-то взялись, так над каждой животинкой, Биг, над каждым росточком трясутся, оберегают все, что живет, растет, движется, никого в обиду не дадут, точно! Попробуй у них там тронь кого-нибудь, задень случайно — такая шумиха поднимется, что и несдобровать обидчику. Не-е, Биг, они добрые, они хорошие, очень хорошие... Но там, Биг, у себя. А здесь они совсем другие. Не спеши их винить, может, это не вина их, а беда. Все беды, Биг, от непонимания. Мы для них не люди! И не животные даже. Любая тварь Божья для них бесценное создание, имеющее все права на жизнь, будь то червь или каракатица, слизняк или букашка какая. Все под солнцем и небом рождены! Всем места хватит! А мы, Биг, изгои, уроды, мутанты. Мы ни в какие категории не вписываемся. Мы для них ничто... Нет, мы для них лишь одно — неприятное воспоминание, раздражение, от которого лучше отмахнуться, стереть его из памяти. И они не ведают, что творят. Они думали, здесь все сами собой передохнут, не пройдет и сотни лет! А здесь приспособились, остались некоторые, да еще и потомство дают — страшное, по их меркам, жуткое, уродливое. Так-то, Биг. Их и совесть гложет — не всех, тех, кто помнит еще, — раздражение захлестывает, дескать, все во всем мире прекрасно и воздушно, ухожено и облагорожено, а эта дыра мерзкая портит дело, она поганым плевком на зеркальной сияющей поверхности. Думаешь, им обходчики нужны, работники? Нет, Биг, это все по старой традиции остается, по привычке. Им никто не нужен! Тут все на полной автоматике! Они еще качают сюда пойло, поддерживают кое-где раздаточные. Но тоже по привычке, Биг. Если бы ты знал, какие у них там дебаты шли, оставить нас здесь или усыпить всех, безболезненно, незаметно совсем, чтоб стереть наконец-то плевком поганый. Решили пока оставить. Но разрешение на отстрел тех, что полностью утратили остатки человеческих качеств, на отстрел монстров, как они говорят, добились, Биг! Под благим предлогом добились, чтоб, дескать генофонд планеты случайно не под-

портился, вот так-то! Но здесь штука такая, Биг, попробуй у нас отличи: с мозгами ты или нет, монстр ты или обходчик-передовик. Мы для них, Биг, все монстры. Рано или поздно всех отстреляют. Еще и гордиться будут, дескать, полезное дело совершили, подвиг! Попробуй-ка, разубеди!

— Они нас не жалеют. И мы их жалеть не будем! — вырвалось у Чудовища. — Не уговаривай меня, Отшельник. Это враги!

Отшельник раздвинул свой рот-клювик. Заговорил обычным способом. Большой темный глаз стал грустным, подернулся пеленой.

— Зло порождает зло, Биг. Не надо умножать зла, его и так достаточно в мире. Я заклинаю тебя, не делай опрометчивых поступков. Ты всех погубишь! Любой повод они используют для начала массовых охот, тотальных отстрелов! Понял, Биг?!

Чудовище ответило не сразу. По его телу волнами пробежала дрожь, сотрясая массивные бугристые мышцы под волдыристой влажной кожей. Горб как-то обострился, стал совсем уродливым. Чудовище переминалось с конечности на конечность, пребывало в явном замешательстве. И все же оно решилось.

— Ты, наверное, слишком много выпил из этой банки, Отшельник, вот тебе и мерещатся всякие страсти. Не пей больше, не надо, я прошу тебя!

Глаз снова засиял.

— Ничего, малыш, ничего. Мои мозги варят, дай бог каждому! И я не слишком много выпил, я отдаю себе полный отчет, Биг. Меня не берет уже эта дрянь, это паршивое пойло. Оно только возвращает мне силы, Биг.

— Ты скоро умрешь от него... — тихо проговорило Чудовище, проговорило вслух, как бы подтверждая свои мысли таким путем.

— Всякое может случиться, малыш. Но сейчас не об этом. С тех пор, как ты убил охотников, Биг, над поселком нависла угроза кары. Понял? Ты можешь не любить их, презирать. Пусть они безмозглые, жалкие, противные, подлые, мелочные, сварливые, низкие и недостойные. Но согласишься, Биг, отвечать за тебя они не должны. Это будет нечестно, Биг, несправедливо. Каждый должен отвечать сам за себя. Кончай свои игры со стекляшками! Не для них же ты появился на свет?! Ты еще не знаешь всех своих способнос-

тей, всех возможностей. Они будут открываться постепенно. И они не помешают тебе, Биг. А туристов не бойся. Я вижу будущее, верь, они не убьют тебя. Я тебе это обещаю, я вижу это, они тебя не прикончат... по крайней мере, до тех пор, пока я жив.

— Поживем — увидим, — неопределенно протянуло Чудовище, — чего гадать. Только я тебе, Отшельник, скажу прямо: я бил эту мерзость! И буду бить! А когда я расколочу вдребезги последнее, я возьму...

Отшельник тихо засмеялся — будто кашлял или задыхался.

— Знаю, знаю. Возьмешь самый большой и острый осколок и перережешь себе глотку, так?!

— Так!

— Хорошо, Биг, это твое дело. Но это будет потом, а сейчас твоя жизнь не принадлежит тебе. И не бойся, я буду помогать, не такой уж я и хилый, Биг, не такой уж и слаб! Мы еще поживем с тобой!

Отшельник снова надолго присосался к трубочке, банка пустела на глазах.

Чудовище стояло и не знало, что ему делать. Умный Отшельник так ничего толком и не посоветовал, не дал никаких инструкций, а еще говорил, что все-то он знает.

Лишь одно стало ясным и до боли понятным — хочешь не хочешь, надо возвращаться.

— Возьми-ка эту штуковину, может пригодиться!

Отшельник протянул Чудовищу трубку, точно такую, какие были в руках у туристов.

— Не надо, обойдусь, — ответило Чудовище. И отвернулось.

Крышка люка медленно съезжала вправо. Но прежде, чем она полностью освободила проход, раздался громкий хлопок, что-то с силой вжикнуло по металлу и отлетело. Полая железная башня загудела исполинской струной.

Народец заволновался, засуетился. Оцепенение с него будто рукой сняло. Все загомонили вдруг, загудели, заголосоли.

Очнувшийся Буба высунул голову из-за бачка и завопил благим матом:

— Это все папаша Пуго! Это он! Его хватайте!!!

На Бубу не смотрели.

Все ждали, кто же вылезет из башни? И когда?

Пак в четырех метрах от Чокнутого Бубы молча и сосредоточенно лупцевал Гурыню. Еще бы! Тот своим дурацким преждевременным выстрелом чуть не испортил все дело! А может, и испортил! Он бил придурка зло, метко и безжалостно, но тот не кричал и даже не стонал, сносил побои молча — знал, за дело лупцуют.

Ошалевший Буба, совершенно не понимая, что происходит, присоединился к Хитрому Паку и с остервенением принялся бить Гурыню ногами. Тот не мог стерпеть подобного, да еще не от жоака, а от постороннего, пускай и взрослого мужика, избранника. Он извернулся и вцепился своими костяшками в горло Бубе, повалил его на землю и начал душить.

На площади у трибуны били инвалида Хреноредьева, Бегемота Коко и Длинного Джила. Трезвяк куда-то смотался. Дура Мочалкина с трибуны координировала действия толпы.

— Эй, ты, обрубок, не ты, вислоухий, а вот ты, зайди с другого края! Я те говорю, с другого! Выбрось палку! Бить только кулаками! Раз, два, взяли! Опа!

Из кучи-малы доносилось:

— Едрена-матрена!

— Прощевайте, братишечки!

— Бей супостатов! Громи!

— Попили кровушку, изверги! Души его, души, падлу!

— Мы-ы! Мы-ы-ы!

— Сограждане, покайтесь немедленно, едрит вас через колено!

— Щя! Щя мы те покаимси!

— Бей!

— Эх! Ох! Ух!

— На колени, едрена вошь!

— Дави!

— И-эх! Хорошо!!!

И еще многое другое, не передаваемое, но звучное и смачное.

Лишь один папаша Пуго висел на своих веревочках, словно распятый, и ошалело, с радостным оскалом желтых лошадиных зубов, но по-прежнему не открывая глаз, выдавал привычное:

— Гы-ы, гы-ы!

Никто и не заметил, как из дыры в башне показалось нечто невообразимое — большое и страшное.

Один Пак не растерялся. Но прежде, чем навести железяку на появившегося и выстрелить, он от неожиданности закричал во всю свою луженую глотку:

— Ага-а! Вот оно что! Они все вместе!! Все заодно!!!

И несколько раз подряд нажал на спусковой крючок. Две пули попали прямо в лоб Чудовищу. И отскочили. Еще одна застряла в плече. Три или четыре прошли мимо, снова заставив полую трубу тяжело и низко загудеть.

Чудовище не ожидало такого приема. И потому растерялось. Когда Отшельник перед уходом дал ему план подземных коммуникаций и указал, по какой трубе надо идти, чтобы вернуться в поселок, Чудовище еще не знало, как оно поступит. Лишь по дороге пришла окончательная решимость. Но почему здесь столько народу? И почему вообще труба привела сюда, на площадь, ведь в плане она заканчивалась в развалинах? И почему стреляют?! Прямо вот так, в лоб, без предупреждения, без причины?!

Но больше всего Чудовище поразило то, что в сотне метров от него, там, внизу, у мусорных баков, заваленных неубираемой вот уже десятки лет всяческой дрянью, стоял живой и невредимый Пак Хитрец! Да еще с трубкой в руках! Откуда он здесь взялся?! Ведь суток не прошло с тех пор, как Чудовище держало его на собственных руках — безжизненного, холодного, с огромной дырой прямо во лбу и рассеченным надвое хоботом?!

Пока Чудовище размышляло — а это длилось не больше секунды — Пак снова навел на него трубку. Чуть левее из-за кучи мусора выскочил избитый до предела Гурыня и тоже выставил вперед металлическую трубку. Надо было спрятаться назад, в башню. Но Чудовище опешило — еще один мертвец воскрес!

— Они все заодно! Бей его!!! — выкрикнул Пак.

— Изрешечу, падла! Убью!!! — завизжал Гурыня.

— Я не виноват! Это все папаша Пуго! — закричало следом непонятное существо, представляющее собой сплошной синяк, залитый кровью, но в котором по особой стати и выправке все же узнавался Буба Чокнутый. — Это все он!!!

— А-а-а! Чудовище! Они напустили на нас чудовищ!!! — заорали из толпы, разом переставшей избивать активистов. — Спасайся, кто может!

— Собрание закрыто, сограждане! — торжественно объ-

явила с трибуны дура Мочалкина. — Прошу расходиться! — и прыгнула вниз, на покореженного инвалида Хреноредьева.

— Ух ты, едрена-матре-ена-а! — удивился тот.

Именно в этот миг Чудовище почувствовало, как в него вонзилось не меньше десятка пуль. Оно тут же полностью вылезло из люка, съехало по трапу чуть ниже. И прыгнуло на землю.

— Спасайся!

— Убивают!

— Вот она, кара! Пришли!! Праведные!!!

В давке затоптали Бегемота Коко, отдавили ему все четыре руки. Брюхо у Коко было непробиваемым. Голова тоже. Мочалкина выносила с поля боя Хреноредьева на руках, как младенца. Длинный Джил сидел на корточках, охватив руками голову, и мычал.

— На колени! На колени, грешники! Падлы! — орал какой-то сумасшедший.

Папаша Пуго очнулся наконец. Он висел и гыгикал радостно. Наблюдал, как из кармана синенькой телогрейки, расшитой голубыми мира, выбирается на свет божий котособачонок Пипка.

Вид у Пипки был еще тот — помятый и напуганный. Он полз, цепляясь всеми семью лапками за грубую ткань, полз вверх, норовил до плеча добраться и устроиться на нем. Папаша Пуго тянул к нему свои непомерные обезьяньи губы, облобызывать хотел Пипку. Но не доставал. Венок сполз папаше на левый глаз, прикрыл его. Папаша почти ничего не видел. Да, в общем, ему было и наплевать на это.

— Чудовищев напушают, бабы! Спасайся! Вот он, суд праведный!!!

— Атас!

— Шухер!

— Щя мочить начнут, падлы!

— Едрены катаклизьмы!!!

Пак стоял на прежнем месте и в упор расстреливал Чудовище. Но то и не думало падать. Оно медленно, неотвратно приближалось. Трус и балбес Гурыня удрал. А Пак все стрелял и стрелял, пока Чудовище не вырвало у него из рук железяки и не закатило затрешины. Он упал и сразу провалился во тьму.

Но ознаменовалось это мгновение и другими событиями:

— Это не я! — возопил изуродованный Буба.

Пипка добрался до плеча, уселся поудобнее и взмякнул.

Толпа замерла, как по команде, кто где стоял — так и застыли. Головы одновременно поднялись к небу, туда, откуда слышался вдруг резкий неумолкающий треск.

Над площадью, взметая тучи пыли, разгоняя мусорные валы, наводя ужас и поселяя в сердцах ледяное оцепенение, срывая шапки с голов и сбивая воздушной волной с ног ослабленных, зависли четыре большие и черные винтокрылые машины. Никто не видел таких прежде, разве что слышали от стариков, да и то не все. Но это не меняло дела — пришла она, кара небесная, нависли над головами те, кто судить их будет. И пощады теперь не жди!

Машины медленно снижались. В один миг площадь стала такой чистенькой, какой ее никто не видывал отродясь, — будто сотня дворников с метлами прошла по ней, а следом проползла сотня поломоек с тряпками в руках.

Народец, опомнившийся и трясущийся от страха, разбежался — кто куда. Только папаша Пуго распятым праведником висел на трибуне. Да котособачонок Пипка сидел на его плече. Один не мог убежать. Второй ничего не понимал, и вдобавок после папашиного кармана ему все раем казалось.

Правда, за бачками оставались еще двое: Чудовище и Пак Хитрец. Но их не было видно сверху, они притаились за опрокинутыми широченными крышками.

Чудовище приглядывалось, прислушивалось. Теперь ему было понятно, кто тархтел в небе там, возле дыры, ведущей в берлогу Отшельника. Но и оно не знало, чего ждать от этих посланцев небес. Думало, вот спустятся, выйдут, а там и видно будет, что к чему и что почем. Хитрец помалкивал, жался к холодному баку. Он только прочухался и не все понимал.

Но машины не опустились на землю. Повисели, повисели и медленно, поднимая еще больший ветер, почти ураганный, сорвались с места. Лишь одна осталась. Но и она приподнялась чуть повыше, сбросила черненький бочонок — прямехонько к трибуне.

Бочонок упал беззвучно. Из него что-то полилось, растеклось... И вдруг полыхнуло огнем — стена пламени взмыла вверх, но через секунду осела.

Боковым зрением Чудовище видело, что и в поселке — повсюду, и справа, и слева, и в глубине что-то полыхает, горит, дымится. Но оно не могло оторваться от зрелища, которое лишало воли, притягивало к себе и вместе с тем вселяло в душу нечто большее, чем просто ужас. Посреди растекшегося огня стояла утесом бордовая трибуна с привязанным к ней папашей Пуго. Она медленно, но уверенно занималась. Языки пламени колыхались, то скрывая папашину фигуру от глаз, то открывая ее. Истошно визжал, совершенно не своим голосом, котособаченок — ему некуда было прыгнуть, кругом бушевал огонь.

— Папанька!!! — заорал вдруг Пак. И выскочил из-за укрытия. — Папаня!!!

Но дым уже занавесил все. Лишь пробивалось негромкое, еле слышное:

— Гы-ы! Гы-ы-ы!

Собиравшаяся уже улетать машина подправила к бакам, снизилась — не больше трех метров отделяли ее от земли. Высунувшийся ствол нашупал орущего Пака. Но выстрелить из машины не успели — Чудовище резко подпрыгнуло вверх, уцепилось за маленькое зелененькое крылышко. Машину качнуло, ствол спрятался, раза два или три выстрелив. Но все мимо.

Пак стоял с разинутым ртом и смотрел, как машина резко поднимается вверх, унося с собой цепкое и бесстрашное Чудовище.

«А может, у них так и запланировано было? — подумалось ему. — Черт его знает, поди разберись».

Он не стал разбираться. Он первым делом подобрал свою железяку. А потом пошел поглядеть, во что превратился папанька.

Сгоревшая трибуна обвалилась, и ничего нельзя было разобрать — где что, где папанька, где доски, где Пипка... Только синенькая телогрейка, пошитая из несгораемого материала, дымилась посреди угольев. Но голубей мира на ней не было видно, наверное, выгорели вместе с нитками, которыми их вышивали.

Эда сидела на дубовом табурете, уперев лапы в бока, — победительницей сидела.

— А чего я вам говорила, а?! — торжествующе поучала она Мочалкину-среднюю и Мочалкину-старшую. — В под-

пол надо было прятаться, вот и вся наука! Дуры — вы и есть дуры!

Мочалкины согласно кивали. Инвалид Хреноредьев лежал на полу. Он был несокрушим.

— Первым делом надо Бубу посадить в подпол, — сказал он, — чтоб умных людей слушал, едрена тарахтелка!

— Да хрен с ним, с Бубой! — заявила Эда.

Инвалид взъерепенился.

— Чего-о?! Ты на кого тянешь, Огрызина?!

Та не стала обсуждать с Хреноредьевым такие сложные проблемы, а просто спихнула его самого в подпол — так, вильнула слегка своим тюленьим хвостиком. И инвалид загремел! Так загремел, как сорок тысяч других инвалидов греметь не могут! Только минут через десять изнизу раздался его приглушенно-удивленный голос:

— Вот ето едрена-матрена! Извиняюсь, стало быть!

Приблудшего Бубу Чокнутого били все вместе. Даже соседи присоединились и отвечивали Бубе тумак. Но тому, видно, было уже все равно. Да и Буба ли это был?! Никто так и не смог выяснить столь важный факт толком.

Длинный Джил сидел на земле, за хлебом, тихо подвывал — сокрушался, что не смог спасти папашу Пуго, а ведь знал, добром дело не кончится, и почему ему Бог не дал языка — он бы все им растолковал, все бы разъяснил. Да поздно!

Пак тоже пришел к Эде. Он уже побывал на месте их с папанькой хижины. Но там было все выжжено — ни стен, ни заборчика, — ровенькая насыпь угольков да пепла. Куда еще деваться?!

Огрызина погрозила Паку кулаком.

— Гляди у меня, молокосос! Я те поугрожаю! — она была отходчивой бабой.

Бегемоту Коко сломали три руки. Но он не тужил.

— Заживет к следующему покаянию, братишки. Все ништяк!

Бубу он бить не стал — себе больней.

Трезвяк пришел последним. Он был возбужден до предела. Но страха в нем уже не было. Лицо горело. Брови грозно супились.

— Две трети поселка выжгли, суки! — сказал с ходу.

— Ого! — подал голос из подпола Хреноредьев. — Едрит твою, это уже серьезно!

Остальные сидели с разинутыми ртами. Хотя и ждали погрома, но никто такой жестокости от туристов не ожидал, разве они виноваты в чем-то, посельчане-то. Ведь нет же, не виноваты! Хотя и кто разберет, может, провинились, сами того не ведая.

Бубу Чокнутого забросили в хлев. И его там со сладострастием вылизывали детеныши Эды Огрызины. Буба не сопротивлялся. Ему было все равно. Он лежал и вспоминал, как прекрасно жилось там, за барьером. Вколешь себе порцию ширева и балдеешь, витаешь в ином мире, в котором все прекрасно и сказочно, в котором существуют такие цвета и запахи, каких отродясь не водится на земле, в котором ни к чему жратва, выпивка, развлечения, бабы и уж, само собой, работа! А что здесь? Здесь все погано! И наплевать, что выжгли поселок! Выжгли, значит, его и надо было выжечь! Да не на две трети, как говорит этот недоумок Трезвяк, а полностью! Со всеми этими обалдуями! Так размышлял Буба Чокнутый, лежа в хлеву посреди вырожденков, слизывающих с него кровь. И от этих дум Бубе становилось легче.

Туристы появились неожиданно. Они выросли будто изпод земли — пять длинноногих фигур в скафандрах, в масках, с трубками в руках. Они не переговаривались, не суетились, не оглядывались. Оно просто появились.

Пак успел юркнуть в кусты. И он все видел, все слышал. Он не смог даже приподнять своей железяки, его клешни свела судорога, позвоночник оцепенел — ни согнуться, ни разогнуться! Но глаза-то, глаза были широко раскрыты! Как прикованный смотрел он на происходящее.

Обе Мочалкины завалились без крику, без стонов. Длинный Джил вскинул вверх руки, вытянулся, застыл так на секунду, а потом рухнул плашмя. Эда Огрызина завизжала, закрутилась на одном месте, обливаясь кровью, закидывая голову назад, суча жирными ножками. Ее тюлений хвост молотилкой стучал по земле. Но и она стихла. Трезвяка видно не было.

Туристы постояли немного. И ушли.

Пак вылез из-за кустов. Огляделся.

— Чего у вас там, едрена-матрена?! — громовым голосом спросил из подпола инвалид Хреноредьев. — Осатанели, что ль?!

Его и Бубу Чокнутого туристы не заметили.

Крылышко было маленьким и каким-то скользким, держаться за него было неудобно. Но Чудовище держалось, несмотря на свой внушительный вес. Держалось, обвив его шестью щупальцами, присосавшись к обшивке, оставив и свободные конечности — на всякий случай, мало ли что!

И как показало время, сделало это Чудовище не напрасно. Из-за приоткрывавшейся дверцы дважды высовывались туристы: первый, увидав незапланированного пассажира, побелел как мел — это было видно даже сквозь прозрачное прикрытие маски — и тут же скрылся, второй высунулся, выставив вперед трубку... Это был опрометчивый поступок. Чудовищу надоело за последние сутки быть живой мишенью. И оно поступило очень просто, почти рефлекторно — резко выкинуло вперед свободное щупальце, обвило трубку вместе с рукой туриста и выдернуло его из машины. Турист пропал в дымной пелене. Чудовище попробовало прикинуть, сколько же тому придется лететь вниз, до встречи с землей. Но ничего не получилось — попробуй-ка сориентируйся в этом чертовом смоге: на какой высоте они летят, куда?! И летят ли вообще? Может, зависли над поселком? Ничего нельзя было определить. Но судя по тому, что обдувало резким и вонючим ветром, и обдувало все время с одной стороны, они куда-то летели.

Надо было что-то делать. Чудовищу вовсе не светило попасть на туристскую базу или куда-нибудь еще к ним. И оно принялось потихоньку, но включая в работу почти все мышцы своего огромного тела, раскачивать машину.

Поначалу сделать это было непросто — могучий мотор и винты обладали зарядом нечеловеческой энергии, поспорничай-ка с ними! Но Чудовище не торопилось — оно медленно и ритмично переваливало свой вес, свою массу с одной стороны крыла на другую. Чего, чего, а упорства Чудовищу было не занимать.

И машина поддалась, она, вслед за живым маятником, стала покачиваться с боку на бок, все резче, все сильнее. Сидящие внутри сообразили, что так можно нарваться на неприятности, и замедлили ход, сделали отчаянную попытку выровняться. И им это, возможно, удалось бы. Но Чудовище выбрало удобный момент и забросило щупальце вверх, вбив вовнутрь боковое стекло и зацепившись за край дверцы. Теперь оно имело надежную опору!

Почти сразу же сверху полилась зеленая жижа — там отчаянно, в несколько рук, резали, пилили, рубили всем, что только имелось в кабине, это цепкое жилистое мускулистое щупальце. Но было поздно.

Чудовище не ощущало боли. Им овладело нервное беспокойство, почти азарт. Оно уцепилось за край второй конечностью, подтянулось... и чуть не упало вниз. Дверца оторвалась, слетела с петель, искореженных, согнутых. Один из туристов выскочил следом, видно, слишком усердным был. Он тут же растворился в пелене, как и его предшественник.

Но Чудовище не упало. Оно успело зацепиться за боковины. И вытянуло вверх третье щупальце, обвило его вокруг кресла. Теперь проблем не было — подтянуться на трех конечностях, даже для такой громадины, дело плевое.

Когда оно заглянуло внутрь, в кабине стало еще на одного человека меньше — пилот, сидевший в соседнем кресле, схватился руками за голову и выпрыгнул из машины. Он сорвал с себя на лету маску. И еще какое-то время был слышен его жуткий крик — крик потерявшего разум.

Внутри оставалось двое. Они забились в дальний конец машины, выставили перед собой трубки. И ждали. Чего они могли ждать, было непонятно. Но эти два туриста не решались стрелять.

Пускай мы гробанемся вместе с этой тарахтелкой, подумало Чудовище, пускай! Наверное, так будет лучше. Прав был Отшельник — незачем умножать зло в мире, его и так много. Оно отвернулось от дрожащих туристов. Наугад ткнуло щупальцем в пульт управления, попало в какую-то клавишу. Машину накренило. Моторы надсадно взвыли. Но, видно, была во внутренностях этой тарахтелки какая-то автоматика, она выправила машину. Второй раз экспериментировать Чудовище не стало.

— Эй вы, — сказала оно вполголоса, не оборачиваясь. — Охотнички! Чего ж вы растерялись, давайте, шуруйте, а то навернемся всей компанией!

Туристы явно не ожидали услышать нечто членораздельное от жуткой невообразимой твари, что заползла в их машину. И потому растерялись окончательно. Один из них упал — лицом вниз, сознание потерял. Второго Чудовище за ногу подтянуло к креслу, усадило. Надавило слегка на плечо.

— Давай! Потом будешь нюни распускать! Никто тебя не трогает, понял?!

И турист что-то понял. Может, был докой по части лингвистики, может, его предки когда-то жили на этой земле и от них он перенял немного.

— Тофай! Тофай! — повторил он возбужденно. — Мы умель! Пошла! — и вцепился в рычаги.

Тарахтелка пошла вниз.

— Где мы? — спросило Чудовище.

Турист залопотал что-то по-своему, быстро и непонятно.

— Не суетись, Биг! Я рядом! — сказал вдруг Отшельник.

Чудовище резко обернулось. В кабине никого не было. Померещилось, небось.

— Нет, Биг, тебе не померещилось, — повторил Отшельник.

И Чудовище сообразило, что слова доносятся не снаружи, что они звучат в голове.

— Ты никогда не разговаривал со мной так, издавека... — начало было Чудовище.

— Мало ли чего еще не случилось с тобой, Биг. Не удивляйся. Я помогу тебе немного, чем смогу. Правда, для этого мне пришлось высосать полторы банки проклятого пойла. Ну да ладно, Биг, мы же не будем считаться, верно?

— Нет, — ответило Чудовище.

— Ну и хорошо, малыш. Я не буду тебе надоедать. Сам все делай! Но я буду переводчиком между тобой и этим, считай, что я спутник связи, а вы два абонента!

— Ты мудрено говоришь, Отшельник, я не все твои слова понимаю.

— Если бы хоть кто-нибудь на земле все слова понимал, Биг! Мы бы жили совсем в другом мире! Ну все, хватит болтать! Не для того я себя гроблю, Биг.

Чудовище повернуло голову к туристу.

— Где мы?

Тот ответил, не разжимая губ.

— В двухстах милях от этой вонючей дыры, где погибли наши парни! Чего ты хочешь? Не смотри на меня, мороз по коже дерет! Никогда бы не подумал, что такое... — он запнулся, — что такие бывают разумными. Нет, не смотри, у меня руки дрожат. Мы навернемся, если я не успокоюсь. Хотя какая разница, все равно ведь ты меня сожрешь со всеми потрохами, когда мы приземлимся, верно?

— Верно! — подтвердило Чудовище. — Сожру и не перхнусь.

После этих слов турист как-то расслабился, вздохнул — почти облегченно.

— Куда ты сейчас правишь?

— Какая разница, где быть сожранным.

— Не шути, охотничек, ты не у себя за барьером, помни об этом!

Краска отлила от лица туриста, руки задрожали. Но он был крепким парнем, совладал с собой.

— Если ты настаиваешь, можно повернуть назад!

— Да, я настаиваю, — подтвердило Чудовище.

Тарахтелка завалилась на левый бок. В брешь стало задувать. Но Чудовище не боялось сквозняков.

— Ты можешь связаться с другими машинами, теми, что жгли поселок?

— Нет! — резко ответил турист. — Не могу!

— Врешь!

— Нет, не вру! Ты сам разгромил здесь все. Сейчас связи нет.

— Но они знали о том, что я улетел с вами, знали?

Турист усмехнулся. Сдвинул маску.

— Конечно знали! — он помедлил немного, видно, решая, говорить или не говорить. Но потом сказал все-таки: — Мы вместе смеялись. Над тобой! Они не видели, но мы все им рассказывали. А они давали советы — как тебя прижать к земле и раздавить или подняться повыше да трахнуть так, чтобы слетел. Но потом решили, что ты и сам отвалишься — повисишь немного, пока силенок хватит, да и отвалишься... Вот и отвалился, мать твою! — турист искренне и беззлобно выругался. — Лишь когда ты выдернул Сиду, они хотели сблизиться, расстрелять тебя в упор. Говорили, мы изрешетим это чучело паршивое за нашего мальчугана! Мы с него на лету скальп снимем!

— Ладно, заткнись! Слишком много говоришь, приятель! — оборвало его Чудовище.

— Ничего, перед смертью можно! — сказал турист и умолк.

— Где мы?

— Еще миль двадцать.

— Они не встретятся нам?

— А я почему знаю! Ты чего, боишься?



— Боюсь, — сказала Чудовище, — за них боюсь!

— Ну-ну! — выдавил турист с иронией. Он окончательно пришел в себя.

Чудовище выглядывало вниз. Но оно ничегошеньки не видело. Все было в дыму, в тумане. Только теперь оно осознало, в какой степени было прокопчено и загазовано Подкуполье. Но Чудовищу не с чем было сравнивать, оно не видело иных мест, знало лишь, что на востоке совсем плохо, что там земли под собой не увидишь. И все же зрелище это навевало печаль.

— Ты бы пониже спустился, что ли!

— Есть, командор! — ответил турист.

Машину накренило.

Они зависли над какими-то развалинами, еле проглядывающими в серо-желтой пелене, похоже, над тем самым пустырем, где произошло ночное сражение.

— Давай-ка еще ниже!

Теперь прямо под ними стояла гусеничная машина с погнутым стволом. Чудовище признало ее — та самая!

Турист молчал. Но по лицу у него ходили желваки, губы подрагивали.

— Любуешься? — наконец выдавил он. — Твое дело наверное?!

Чудовище еле сдержалось, чтобы не отвесить наглецу хорошую плюху.

— Это их дело! — процедило оно, почти не разжимая жвал. — Спускайся!

Тарахтелка совсем медленно, будто в нерешительности, опустилась прямо на брюхо.

— Старая модель, — оправдался за нее турист, — с ваших складов, кстати. — Он повернул голову к Чудовищу. — Но когда придут наши...

— Что будет, когда придут ваши? — поинтересовалось Чудовище.

— Сам увидишь.

— Ладно, поживем — увидим, — согласилось Чудовище. — А сейчас ты кое-что увидишь.

И оно без церемоний выпихнуло туриста из кабины. Тот упал на колени — прямо в грудку битого кирпича упал. Но не застонал, не закричал, лишь поморщился.

— Пошли!

Чудовище подтолкнуло его в направлении того самого

подвала, ставшего братской могилой для половины поселковой малышни. Им надо было проделать не более десятка-полтора шагов.

Винт тарахтелки все так же вращался. Правда, вхолостую.

— Я тебе покажу это, чтоб ты знал! Но я тебе покажу это и по другой причине, догадываешься?

— Нет, — мрачно ответил турист.

— Зря! Она очень простая — ты никому и никогда не расскажешь об увиденном, понял?

Турист промолчал. Но он все понял.

— Гляди! — Чудовище распахнуло дверцы, приподняло крышку. Потом откатило несколько камней. В глубине подвала в ряд лежало несколько отвратительных существ — мертвых, скрюченных, ничего, кроме омерзения, не могущих вызывать у нормального туриста, у землянина. — Ты видишь этих детей?!

Турист отвернулся.

— Их убили ваши... Они их расстреливали в упор, как зверей! Нет, хуже, как мишени в тире! Ты понимаешь, о чем я говорю или нет?! Не лукавь перед смертью, отвечай!

Турист сказал совсем тихо, но твердо:

— Ты можешь меня убить, знаю. И убьешь! Но мне не жалко этих тварей, понял! Совсем не жалко! Я и смотреть на них не могу, меня тошнит, понимаешь, тошнит, вот-вот вырвет! Меня и от тебя тошнит! Убивай! Но я такой падали, такой дряни даже в кошмарных снах не видал! — турист распалялся все больше и больше: — Ты бы поглядел на себя в зеркало!

Чудовище вздрогнуло. Но не стало выказывать своего недовольства. Оно принялось снова засыпать тела щебенкой, заваливать камнями. Потом затворило крышки.

— Вы все здесь уроды! Нелюди! Мутанты! Кто бы мог подумать, что на нашей Земле появятся такие гадкие твари! Ведь это же бред! Это же чудовищно! Куда мы все катимся?! Меня просто тошнит от всего этого...

— Да ладно, успокойся ты, — Чудовище снова слегка коснулось щупальцем плеча туриста, — успокойся! Не так уж все и страшно. Тебя как зовут?

Турист поднял на него удивленные покрасневшие глаза

— Хенк, — сказал другим тоном, как-то сипло и мягко.

— Ну и ладно, Хенк. Не бойся, не трону. Пока не тро-

ну! — заявило Чудовище. — А у меня и имени-то нет... позабылось что-то. Все по-разному кличут, кто чучелом, кто образиной, кто тварью, кто чудовищем...

— Не прибедняйся, Биг! — вмешался Отшельник. — У каждого есть имя. Каждого мать как-то называла в детстве.

Хенк огляделся. И Чудовище огляделось. Они не увидели Отшельника. Зато они увидали другое — тарахтелка, поднимающая пыль, взреывая моторами и покачиваясь, отрывалась от земли.

Турист кинулся к ней.

— Поздно, Хенк! — бросило ему в спину Чудовище.

— Вот сволочь! — выкрикнул турист, когда машина пропала в пелене.

Чудовище подошло ближе.

— Да, друзья у тебя верные, — сказала оно, — на таких можно положиться.

Гурыня наблюдал за странной парочкой из-за надежного укрытия — полуобрушившаяся стена загораживала его с трех сторон. К тому же, в двух шагах позади был лаз, в который можно нырнуть в случае чего. Лаз вел в подвалы, а там ищи-свищи его!

Он уже трижды поднимал свою железяку и прицеливался в туриста — то в голову, то в грудь, то в пах, не мог выбрать, куда вернее садануть. На Чудовище он даже пуль тратить не хотел, это все одно, что в воздух палить, или в стену.

Но в туриста он так и не выстрелил. Что-то подсказало Гурыне — не спеши, не надо рисковать, что у тебя — две башки, что ли?! Вон, у Блинецов-Сидоровых было две башки, а толку?! Нет, не хотел Гурыня расставаться с жизнью. Особенно после вчерашней истории, когда ему довелось уже побывать на краю.

Гурыня не один был в развалинах. Пока этот умник Пак все вынюхивал да выводывал, Гурыня набрал-таки себе ватагу. А что ему оставалось делать, всю жизнь бегать за Паком, который сам не знает, чего хочет?! Не-ет, у Гурыни тоже кое-что в башке шевелится, и он не из последних в поселке, он еще себя покажет!

Правда, ватага подобралась хилая, да и не ватага, а так, кучка — трое кроме Гурыни. Но лиха беда начало! Главное, ребята были смирные, послушные, дрожали перед ним как

былинки. Но они еще покажут себя в деле! Гурыня надеялся на них. Хотя и не слишком.

Он вчера подобрал еще две железяки возле машин туристов. Но Хитрому Паку не стал говорить о них, знал, отберет вожак железяки и еще наkostenяет вдобавок. Гурыня их припрятал. Пригодятся. Этой новонабранной сажне он не спешил раздать оружие. Перекалечат друг друга, переубивают, все дело засыпят. А дело мнилось Гурыне большим, сулящим немалые выгоды.

— Ну чего там? — поинтересовался шепотком из лаза Лопухий Дюк.

Его шарообразная голова со слоновьими ушами и тремя мутными глазами без зрачков маячила на уровне щебенки — Гурыня запретил вылезать наружу.

— Цыц, падла!

Дюк перепугался и спрятался.

— Все дело испортят, — процедил Гурыня под нос.

Он постоянно думал и говорил о каком-то деле, все намекал на что-то, обещал, сулил золотые горы. Но ничего путного в его голове не было, никакого сколь-нибудь обстоятельного плана Гурыня по своей непостоянной и вспыльчивой натуре разработать не мог. Но ему очень хотелось, чтобы все думали, будто им расписаны действия на год вперед, что все нити в его руках.

Когда тарахтелка улетела, Гурыня чуть не нажал было крюк. Еле сдержался. Не было бы Чудовища, он бы без размышлений, в первую секунду же прикончил бы туриста. Но Гурыня не знал, как поведет себя эта мерзкая тварь. Не послушали его вчера, придурки! А он один прав был! Надо было кончать эту образину! Всем вместе, сообща, когда лежала на пустыре опутанная, пойманная ими! Прикончили бы — и все пошло б по-другому! А все Умник Пак! Чтоб ему хобот оторвали!

Чудовище с туристом бродили по пустырю, осматривали машины, заглядывали внутрь. Чего они искали, Гурыня понять не мог.

— Долго нам тут еще торчать? — снова подал голос Лопухий Дюк.

Гурыня бросил в него камнем. Но не попал. Дюк быстро убрал голову в лаз.

Долго ли придется сидеть в засаде, Гурыня и сам не знал. Ему тоже порядком надоело тут торчать. Он любил быстрые

дела, заведомо выигрышные. Или такие, чтоб шлепнуть кого да и смотаться по-быстрому, пока не засекли. Вот это да! Это стоящее предприятие!

— Ну их! — прошипел он сам себе. — Падлы!

И на карачках подполз к лазу. Протиснулся в дыру, шелкнув костяшкой прямо по лбу Лопоухому Дюку.

В подвале было темно и сыро. Но Гурыне не привыкать. Он сразу увидел, что забившийся в угол Бага Скорпион жрет чего-то, наяривает всю свою тройной зубастой челюстью.

Гурыня подскочил к Баге молнией. Тот не успел запихнуть в рот остатков падали, поперхнулся, выпучил красные рачьи глаза. Железяка дважды опустилась на хребет Баги. Цепкие костяшки Гурыни вырвали комок почти из самого рта.

— У-у, падла! Втихаря жрешь?

Бага не оправдывался. Он судорожно глотал то, что успел набить за щеки. И за это получил еще разок железякой.

Гурыня бросил отвоеванный комок Дюку.

— Подели на троих, — сказал он, раздуваясь от собственного поистине царского великодушия.

Скорпион наконец прожевался, отдышался, выдохнул с натугой и прохрипел:

— Чего дерешься-то?! Там вон, внизу, скоко хошь крыс, расплодились, понимаешь, а ты дерешься!

Дюк с тщедушным Плешаком Громбылой ринулись в указанном направлении, в нижний отсек подвала. Но Гурыня их остановил.

— Вы что, салаги, хавать сюда пришли?! — грозно спросил он со свойственным ему в минуты бешенства змеиным шипом. — Жрите, что дают!

Дюк с Плешаком послушно принялись жевать свои части поделенной тушки. Гурыня спрятал жирную лапку в карман комбинезона. Присел на ступеньку. Он мог бы и посуровее наказать разгильдяев, но на первых порах не стоило пугать малышню, да и себя негоже выставить зверем. Пускай привыкнут, пооботрутся. А вот наберется когда с десятка два, тогда другое дело. Тогда ему надо будет лишь успевать их друг на друга науськивать, стравливать да колотить почаще — и они в нем души не будут чаять! А сейчас можно поласковой, поскромней, по-отечески.

— Шлындают, падлы! — поведал он о происходящем. — Как по своей хибаре. Ну мы еще поглядим, кто тут хозяин, верно я говорю, а?!

Все трое новобранцев закивали, заморгали. Они с восхищением глядели на Гурыню. А как же, герой! Отчаянный малый! Вожак!

Гурыня и на самом деле выглядел геройски. После вчерашнего, после бесчисленных сегодняшних потасовок на нем места живого не было — сплошь синяки да ссадины, кровоподтеки и шишки! Комбинезон был разодран и изгажен — такого и в мусорных кучах не отыщешь! Но Гурыня не снимал его, гордился одежкой.

На длинные речи и повествования Гурыниного терпения не хватало. И он закончил совсем коротко:

— Ничего, падла, мы их всех ухайдакаем!

Плешак Громбыла сидел ни жив ни мертв. Он впервые видел настоящего живого героя. И он уже сейчас готов был идти за своим вождем хоть куда, хоть на самый край света, и даже погибнуть там! Вот только сил у Плешака не было. Четыре хиленьких лапки с четырьмя пальчиками-коготками на каждой да кругленькое брюшко, мячиком выпирающее из комбинезона. Разве что клюв-долото! Эта штуковина еще могла как-то пригодиться. Она торчала на плоском лице совершенно лишней деталью — наградили его родители, а может, сам черт с дьяволом, этим костяным наростом. Года два назад Плешачок Громбыла, будучи еще совсем карапузом, проткнул клювиком девочку-соседку, насквозь проткнул. И не со зла причем, наоборот, ткнулся ей в щеку, обуреваемый множеством чувств восторженных и нежных, да и вышиб с другой стороны половину виска, вместе с глазом вышиб. Его, конечно, пожурили за неосторожность. Маманя высекла прутиком. Папаня дал затрещину. Мать девочки, соседская баба, погрозила пальцем. На том и позабылось все. Но Громбылу с тех пор сторонились. Никто с ним не хотел дружить. Да ему и не нужны были друзья, подумаешь! И без них обходился! Зато под чью руку попал нынче! Сам Гурыня, боец и богатырь, бесстрашный и могучий, пригрел его, приобщил, можно сказать! Это ж ценить надо!

Скорпион Бага смотрел на мир проще. Ему что Гурыня, что задница с хвостиком, лишь бы к ватаге прибиться, чтоб не одному, чтоб в стае! Скорпион был тугодумом и скрягой. Он почти не умел ходить на двух нижних конечностях, редко вставал на них, зато на шести бегал быстрее любого — только мелькали в глазах гибкие, трехсуставчатые лапы. Но башка

у Баги варила. Он умел считать и даже знал некоторые буквы. Умные люди поговаривали, что если Бага годика три-четыре позанимается без ленцы, так он и читать сможет что попросе! Но Бага думал о своем, у него другие планы были.

— Мы тут сидим, как дураки, понимаешь, — сказал он, — а там, в поселке, обогатиться можно мигом! Там скоко всего пожгли. Понимаешь?! Вот бы полазить-то по погребам, по хибаркам — точняк, обогатимся! Там скоко припрятано, понимаешь!

— Цыц, падла! — оборвал его Гурыня. — Умный, что ли?! Вон Пак, падла, тоже умным был, всю ватагу угробил! Ты, Скорпион, мне мозги не закручивай! Раздобудем железяки, падла, все наше будет! Понял?!

Бага тяжело вздохнул. По нему лучше был воробей в кулаке, чем тархтелка в задымленном небе. Но он промолчал. Он не знал, что Гурыня обдумывает, как бы научиться управлять хоть одной машиной погибших туристов, как бы угнать ее, спрятать подальше от глаз, да поскорее, сегодня, сейчас, ведь с минуты на минуту здесь могут появиться сами туристы! Вон, один уже появился! Да еще вместе с этой образиной! Прав был Пак Хитрец — все они заодно!

— Ежели чего, свистну! — сказал Гурыня и вылез наружу.

Он снова занял свою удобную позицию. Вытянул шею. Всмотрелся. Ни чудовища, ни туриста не было видно. Но они могли запросто стоять за какой-нибудь развалюхой, или же их скрывал смог. Гурыня не стал спешить, выждал несколько минут, не столько всматриваясь, сколько вслушиваясь. Но было тихо.

И тогда он по-змеиному выполз из-за стены, проскользнул между чахлым кустом и грудой замшелых камней. Подобрался к той самой западне, к каменной ловушке, где погибло Паково войско. На кирпичах и щебенке были видны следы запекшейся крови — и тут, и там, и отдельными пятнышками, и засохшими лужицами... Но Гурыня проползал мимо, ничего не ощущая, не боясь испачкаться, он не был сентиментальным.

Когда до ближайшей машины оставалось не больше четырех метров, он встал на четвереньки, еще раз внимательно огляделся. И в два прыжка подлетел к машине, запрыгнул на броню и вслепую сиганул в распахнутый люк. Больно ударился обо что-то.

— У-у, падлы! — вырвалось у него так громко, что он зажал рот обрубком.

Кресло было неудобным. Его делали для туристов, а не для Гурыни. И потому он устроился в нем на корточках, слегка привалившись к спинке.

В машине было светло. Прямо перед Гурыней торчала какая-то странная палка с набалдашником. Он потянул ее на себя. Палка с трудом поддалась. Но ничего не произошло, машина как стояла, так и оставалась стоять, не качнулась даже. Тогда Гурыня начал по очереди нажимать на кнопки. Когда дошел до третьей слева, зелененькой, машина вдруг затряслась, загудела. Но с места не сдвинулась.

— Ну, падла, щя ты у меня поедешь! — прошипел Гурыня. И ткнул сразу в несколько кнопок своими костяшками.

Дико взвыла невидимая сирена. Зажглись фары, пробивая световые туннели в стене смога. Машину затрясло еще сильнее. Но она стояла. Стояла как вкопанная!

Гурыня сжал свои обрубки и начал колотить по пульту. Потом дернул что было сил за палку.

Вой стих. Свет пропал. Машина дернулась и тихо-тихо, со скоростью черепахи, поехала. Гурыня радостно, совсем как покойный папаша Пуго, загыкал. Сбывалось! Сбывалось задуманное! Он вылез на броню, всунул в рот две костяшки и свистнул. Потом еще раз.

Первым подбежал Скорпион Бага. Он с недоверием остановился за метр от ползущей машины. Но потом, ободренный примером Гурыни, залихватски раскачивающегося на башенке, вспрыгнул наверх. Следом подскочили Дюк с Громбылой. Обоих трясло от страха. Но и они не спасовали.

— Только цыц! — предупредил Гурыня, когда они все забрались внутрь.

— А если она взорвется? — спросил Лопоухий Дюк.

— Цыц, я сказал!

Гурыня дернул на себя палку с набалдашником. И машина поехала быстрее, наткнулась на обломки стены, но перевалила через них, сильно накренившись влево.

— Щя разберемся! — зло проговорил Гурыня. И нажал еще одну кнопку.

Машина взяла правее. Стала набирать ход.

— Во, падла! Не, вы просекли?! Во ведь, падла!!! — в восторге кричал Гурыня.

Их стало сильно качать. Машина перла, не разбирая дороги. И прежде, чем Гурыня сообразил заглянуть в висящие перед ним окуляры и рассмотреть хоть что-то толком, машину вдруг резко дернуло... и она, заваливаясь носом вперед, полетела куда-то. Падение было недолгим, его даже не успели почувствовать. Зато удар оказался резким и настолько чувствительным, что все четверо заорали в голос. А тщедушный Плешак Громбыла тут же потерял сознание.

Гурыня сперва отшиб до невозможности зад при падении, а потом так стукнулся головой о бронированную переборку, что в глазах у него заплясали желтые и зеленые карлики. Он сильно прикусил свой узенький словно жало язычок. И теперь сидел и тонюсенько скулил.

Лопухий Дюк пересчитывал ребра. Но он не знал, сколько их всего должно быть, и потому затея его была обречена на провал. Ему сильно окорябало ухо о переборки. Но он терпел.

— У-у, падла! — наконец ожил Гурыня.

— Каюк! — трубно провозгласил Скорпион Бага.

Он дернул завалившегося на спину Громбылу за лапку. Тот пришел в себя.

— Где мы?

— Щя разберемся! — заверил Гурыня.

Он приподнял захлопнувшуюся крышку люка. Высунул голову наружу.

— Темно, падла!

Гурыня вылез полностью, потирая отбитую задницу и беспрестанно ругаясь. На всякий случай он сжимал левым обрубком железяку. Но стрелять, похоже, было не в кого. Он посидел немного на броне. Потом на ощупь спустился вниз, придерживаясь за траки гусеницы. Почва под ногами была твердой. Гурыня даже притопнул слегка. Нагнулся, постукал костяшками, железякой. Гул эхом разнесся вокруг и уплыл куда-то далеко-далеко. Под ногами была никакая не почва, это был железный пол.

— Чего там? — поинтересовался из машины Скорпион.

— Труба! — ответил Гурыня.

Туристы недолго пробыли на пустыре. Они подобрали трупы своих, погрузили их в машины и улетели.

Пак рассчитывал, что они будут изучать местность, вы-

искивать следы, приглядываться, принохиваться, стараться как-то восстановить картину ночного побоища. Но все оказалось значительно проще. Напоследок туристы сбросили на пустырь пару бочонков с зажигательной смесью — очистили огнем оскверненное место.

Смесь прогорела, почти ничего не изменив на пустыре. Да и чему там было меняться. Другое дело, поселок. Когда Пак возвращался, он еле отыскивал дорогу, так неузнаваема стала местность.

Неудачный сегодня выпал денек. Одно дело, что ожил! А может, и не стоило оживать-то, для чего?! Нервы у Пака начинали не выдерживать. Он с силой пхнул по какой-то деревяшке, валявшейся посреди замусоренной дороги. И отшиб ногу — деревяшка оказалась не деревяшкой, а запыленной железкой. Дальше он шел, прихрамывая, припадая на ногу, будто неистребимый и нестигаемый инвалид Хреноредьев, которому все было нипочем.

За ним увязался было трехлапый пес с длинным, волочащимся по земле крысиным хвостом. Но Пак рыкнул на него, погрозил клешней, и пес отбился. Наверняка он остался без хозяев и тосковал, не находил себе места. Только Паку было сейчас не до телячьих нежностей.

Дважды приходилось прятаться за кустами — нарывался на группки туристов, обходящих окраинные дома. Туристы не заходили ни во дворы, ни в сами хибары. Но если кто-то попадался им на глаза, они поступали очень просто — поднимали свои металлические трубки и нажимали на спусковые крючки. Паку их поведение было совершенно непонятно. Он не видел в нем никакой логики. Зачем же гробить всех подряд, что за смысл такой?! Нет, видимо, существовали на белом свете вещи, не доступные его уму.

К лачуге Эды Огрызины он подобрался к вечеру, когда начинало темнеть. Первым делом заглянул в хлев. Буба Чокнутый мирно посапывал посреди вырожденков. Да и немудрено, он устал за этот суматошный день. Выродки не спали. Они все так же тряслись, разевали пасти, рты, клювы, просто дыры посреди голов или туловищ — жрать просили. Ну чем им мог помочь Пак Хитрец? Он и сам был голоден. Правда, на раздачу идти боялся. По его соображениям, именно там должны были устроить засаду туристы — ведь куда первым делом попрутся посельчане? Конечно, к раздаче, за своей миской баланды! Да еще к краникам, за глотком поила! Вот

там-то им всем и каюк! Так думал Пак. Но уверенности в его мыслях не было.

— Эй, кто там? — подал голос из подпола Хреноредьев.

Пак не ответил. Он рыл за кустами яму. Надо было закопать трупы. Тащить их к отстойнику не было никаких сил. А от Бубы и инвалида сегодня помощи не дождешься, это точно.

— Я, едрена-матрена, кого спрашиваю? — взъярился Хреноредьев.

Он не мог вылезти на своих деревяшках из подпола. И это его бесило.

— Да пошел ты! — отозвался Пак. — Помог бы лучше, чем орать, дурак чертов, избранник хренов!

— Чего?! Ты как мене обозвал, щенок?! На что намекаешь, едрит тя кочергой?!

Пак ответил спокойно и рассудительно:

— А я тебе поясню, Хреноредьев. Остолоп ты и хрен моржовый, потому тебе и кликуху такую дали, понял? Или разъяснить?!

Из подпола раздалось яростное сопение и хрипы, перешедшие в вопль:

— Ах ты, гаденыш! Вот я щя вылезу, башку те отвинчу!

— Вылезай, вылезай! Копать поможешь.

Пак весь взмок от непривычной работы. Рыл он долго, а ямка получилась совсем небольшой. Он за ногу подтащил к ней Мочалкину-среднюю — места хватало лишь на нее одну.

Нет, так дело не пойдет, решил Пак, можно полжизни проковыряться с этими покойничками! Лучше спихнуть их всех в подпол, знатная получится братская могила! А сверху земелькой припорошить. Так он решил и сделать.

Но сначала сбегал на площадь. Собрал в мешок золу, оставшуюся то ли от папаньки, то ли от трибуны. Телогрейку, утратившую голубей мира, трогать не стал. Ну ее! Пускай валяется!

Мешок он втиснул между посиневшим и потерявшим свою величавость Бегемотом Коко и Мочалкиной-старшей. Заглянул в подпол.

— Эй, вылазь давай! — сказал он Хреноредьеву. — А то я тебе сверху сотоварищей подкину, они те бока намнут!

— Не вылезу! — буркнул Хреноредьев.

— Считаю до четырех! — выдвинул ультиматум Пак.

— И что?

— Хрен через плечо! Раз!

— Я тя за оскорбления привлеку, едрена вошь!

— Два!

Хреноредьев сопел, кряхтел. Он бы и вылез, да не мог!

— Три!

— Умный больно! Научили их, едрена, считать на свою голову!

— Четыре! Все!

Пак прыгнул вниз.

И попал прямо в инвалида, сбил его с ног.

— Ты драться, едрена?! — заорал тот. — Вот ты как?!

Но Пак не собирался с ним драться. Он просто хотел его выпихнуть из подвала.

Упрямый Хреноредьев уперся.

— Не вылезу! Хоть режь! Рви на куски! Едрена тарахтелка!

Паку вдруг все надоело.

— Ну и будем сидеть, — сказал он потухшим голосом.

— Вот и будем! — жестко подтвердил Хреноредьев. И забился в противоположный угол. Минут десять они просидели молча. Хреноредьев скрипел остатками зубов. Пак привыкал к темноте, отдыхал после трудов праведных.

Сверху кто-то просунул голову. Это был Буба Чокнутый.

— Вы чего там сидите? — спросил он.

— Пошел на хрен! — буркнул Пак.

Хреноредьев не выдержал и набросился на Пака с кулаками:

— Получай! Получай гаденыш!

Он был жесток в ярости. Пак даже не ожидал такого натиска от бессильного, казалось бы, инвалида. Но он выбрал удачный момент, отпихнул его от себя обеими клешнями, выхватил железяку, вскинул, нажал крюк — в последний миг успел сдвинуть ствол чуть левее. И пуля не попала в Хреноредьева. Она пробила старую полуизгнившую рогожу. И ударила во что-то полое, железное — от звона и гула заложило уши.

— Чего это? — поинтересовался Хреноредьев.

— Шас узнаем!

Пак сдернул рогожу, за ней была большая проржавевшая заслонка с дырой посередине. Из заслонки торчала ручка. Но не обычная, какие бывают на дверях, а какая-то круглая. Пак почесал макушку.

— Не пойму чего-то... — начал было он.

Но сверху вдруг свалился Буба Чокнутый, заехав пяткой под глаз Хреноредьеву и ударившись плечом о стоявший посреди подвала ящик с тряпьем.

— Уууу-а!!! — взвыл он.

— Так те и надо, едрена! — обрадовался Хреноредьев, потирая синяк.

Пак осторожно водил клешней по поверхности заслонки.

Оправившийся Буба отпихнул его.

— Отойди, недоумок! — сказал он. — Тут надо мозгами шевелить! Тут с головой надо.

Он дернул ручку на себя. Заслонка не поддавалась. Тогда он уперся одной ногой в стену и дернул еще, и еще раз. Заслонка со скрипом отошла. Пак удивился — какая она была толстая, с его клешню толщиной.

За заслонкой была дыра, ведущая в темноту и неизвестность.

Буба осторожно просунул в дыру голову.

Потом повернул набрякшее лицо к Паку и Хреноредьеву и сказал:

— Спокойно, придурки! Тут с умом надо!

Он подался еще немного вперед, потерял равновесие, перевалился через край и пропал из виду. Через несколько мгновений снизу послышался гулкий шлепок. Буба Чокнутый, видно, приземлился.

— Во-о, голова! — Хреноредьев погрозил Паку пальцем. — Учись, щенок, едрит тя этой заслонкой по башке!

Пак помолчал немного и сказал:

— Надо выручать Чокнутого. Веревки есть?

Хреноредьев задумался, потом ответил:

— Откуда, едрена, было два конца, так имя передовика Пуго к трибуне привязали.

— Значит, нету! — огорчился Пак. — Дожили, две веревки на поселок, и-эх!

Хреноредьев просунул в дыру голову и трагическим голосом спросил:

— Буба, где ты?!

— Бу-бу-бу-бу... — прокатилось эхом.

— Не отзывается, умник!

— Ладно, я полезу, — решил Пак.

Он понадежнее запихнул под комбинезон железяку — обоймы лежали у него в карманах — огляделся, будто про-

щаясь с родным и знакомым навеки. И шагнул к дыре.

Хреноредьева он проинструктировал:

— Ты вот чего, старый обрубок! Ежели мы вылезти не сможем, кидай туда, что под руку подвернется, да побольше — сложим горочкой, глядишь, и до края дотянемся. Понял?

— Понял, — недовольно проворчал Хреноредьев.

— Ну, тогда прощай на всякий случай!

Пак перевалился через край, повисел немного на вытянутых руках, болтая ногами, пытаясь нащупать опору. Но не нашупал. И разжал руки...

Очнулся он от вопля Хреноредьева, усиленного эхом.

— Эй, Пак! Ты живо-о-ой?!

— Живой! — отозвался Пак. И приподнялся.

Он вытянул руки, пытаясь определиться — что, где, как. С одной стороны была пустота. С другой Пак нашупал несколько железных скоб — одна выше другой. Это была лесенка. Он выругал себя последними словами, стоило прыгать, когда вот она, лестница — хошь вверх, хошь вниз... Он не сомневался в том, что лестница вела в Эдин подпол. И все же Пак оторвался от нее и пошел в противоположную сторону. Через семь или восемь шагов он наткнулся на глухую стену. Постучал. Стена была железной. Внизу она покато переходила в пол. Труба, сообразил Пак, огромная, широченная труба!

— Буба, умник, ты где? — позвал Пак. — Отзовись!

— Чего орешь! — буркнул Буба из-за самого плеча. — Тута я! Разорался, обалдуй!

Пак облегченно вздохнул. Ему уже надоели трупы за сегодняшний день. И он был искренне рад, что Буба живой.

— Эй, чего вы там! Отвечайте! — орал Хреноредьев.

Ответить ему было нечего. Надо было сперва разобраться.

— Чего там?! — не успокаивался инвалид.

Буба высморкался, посопел и крикнул вверх:

— Чего, чего! Цистерна баланды да бак поила, вот чего!

В образовавшейся тишине стало слышно, как тяжело и с натугой засопел наверху Хреноредьев. Но тут же послышался его голос:

— Не трожьте без меня, едрена тарахтелка! Эй, слышали! Я, как член поселкового совета, ответственно заявляю — не трожьте! Щя уже, лезу к вам...

Пак хотел крикнуть, чтобы Хреноредьев ощупал стены,

может, до лестницы доберется. Но не успел. Рядом тяжелым кулем шлепнулось тело Хреноредьева, расплывшееся и обрюзгшее. Только деревяшки протезов скрипнули.

— Ох, едрит твою! — заявил Хреноредьев натужно.

И тут же встал, дыша в лицо Паку какой-то дрянью. Он был явно несокрушим.

— Где здесь цистерна, едрена-матрена?! Где бак?!

Буба сунул ему под самый нос кукиш.

— Вот тебе и бак, и цистерна, и хрен с редькой!

Инвалид взвыл сатанинским воем.

По трубе раскатилось протяжное:

—Ы-ы-ы-а-а-а-угхр-ры-ы!!!

Пак сочувственно похлопал инвалида по плечу.

В это время где-то вдалеке еле забрезжил свет. Он был поначалу совсем слабеньким — так себе, не свет, а мерцанье. Но потом становился все сильнее и сильнее. Пока не перерос в ослепительный, бьющий по глазам напор фар. Вместе со светом рос гул, лязг, треск — из еле различимого до оглушительного, непереносимого.

Пак, Буба Чокнутый и инвалид Хреноредьев в едином порыве вжались в стену — ни живы, ни мертвы.

Мимо с дьявольским грохотом, невероятно гудя в полую трубу, стуча гусеницами и вся сотрясаясь, пронеслась бронированная машина... Пронеслась, высвечивая потаенные дали, поднимая пыль столбом, оставляя угарное зловоние... Пронеслась и пропала в неизвестности. Лишь долго еще дрожали стены да что-то мерно гудело. Но со временем все стихло.

— Надо вылезать отседа, к едрене фене! — предложил Хреноредьев шепотом. — Бежать, покуда нас всех тут не уконтропупили! Такая моя идея, едрит ее громыхалой!

— Похоже, мы все недоумки! — высказал вдруг интересную мысль Буба Чокнутый.

И спорить с ним не стали.

Пак еле различал силуэты сотоварищей. Он держался одной клешней за скобу и раздумывал, выбираться отсюда или не стоит пока. Наконец решил.

— Надо разведать, куда труба ведет! — сказал он.

— Не-е, я наверх, едрена феня! — заявил Хреноредьев.

Он полез по лесенке. Но тут же сверзился с нее. В руках у инвалида было маловато силенок. А ноги его и вовсе не

держали — попробуй-ка влезь на двух деревяшках по скобам.

Но Хреноредьев был упорным. Он сделал еще одну попытку, потом еще. Все они закончились плачевно.

— Не-е, с вами отседова не выберешься! — проямлил он, потирая бока. — С вами туту загнешься! Ненадежный народ пошел.

— А ты оставайся здесь покуда, — предложил Буба, — а мы с Хитрецом прогуляемся.

— Умные больно, — проворчал Хреноредьев. — Едрена труба!

И он поплелся за Бубой и Паком Хитрецом, потихоньку, в четверть голоса, проклиная судьбину, а заодно и всех на свете.

— Ты у меня будешь заложником, Хенк. Понял? — сказала Чудовище. — Я тебя посажу в бункер. Ты немного отдохнешь и успокоишься, ладно?

— Чего ты меня спрашиваешь? — возмутился турист. — Можно подумать, что, если я не соглашусь, ты меня отпустишь, Биг!

Чудовище улыбнулось. Так улыбнулось, как это у него получалось, — раздвигая жвалы, морща кожу у дыхательных отверстий и посверкивая выпуклыми, прорывающимися из влажной кожи глазами.

— Может случиться и такое. Но в следующий раз, Хенк. А пока я должен приглядеться к вам. Нет, меня правда интересует это... Почему вы такие? Откуда эта жестокость, Хенк? Ты говоришь, что тебя тошнит от местных выроdkов. Но в них нет такой слепой и беспричинной жестокости. Даже когда они мордуют друг друга по пустякам, они это делают сгоряча, у них это исходит из сердца, Хенк, а вовсе не из мозга. Ваши не такие...

— Наши разные, — буркнул турист.

— Вот и посмотрим, кто есть кто.

Они спустились на четыре яруса вниз. Спустились по опасным, практически бесперильным лестницам, сработанным на редкость грубо — из прутьев арматуры, сваренных кое-как.

Чудовище светило перед собой фонариком, взятым у Отшельника. Но фонарь был слабым, он высвечивал пространство метров на пять-шесть, не больше.

На каждом ярусе была площадка. И они останавлива-

лись, чтобы перевести дух. В основном, в отдыхе нуждался Хенк. Чудовище могло бы спускаться до бесконечности, оно не чувствовало сегодня усталости — то ли нервы были напряжены до предела, то ли нагрузка была не слишком велика для его могучих мышц.

— Как ты думаешь, полезут сюда ваши?

— Думаю, навряд ли их сюда удастся затащить на аркане, — ответил турист.

— Вот видишь, мы такие разные, а мыслим одинаково, — сделало вывод Чудовище. — И хорошо, что не полезут, им здесь будет плохо.

Хенк остановился. И чуть ли не впервые за все время прямо и долго, в упор, поглядел на Чудовище.

— Я тебе правду скажу, Биг. Запомни, что бы ты ни делал, как бы ни путал следы, как бы ни петлял, заройся ты хоть на сто миль под землю, все равно, Биг, они тебя отыщут! Можешь не сомневаться в этом. Они доберутся до тебя. И пощады не будет. Знай это.

Чудовище не выдержало его напряженного взгляда, отвернулось.

— Ладно, поглядим еще, — проговорило оно тихо. — Поглядим, Хенк, кто здесь хозяин.

Спуск закончился, и они долго пробирались по узкой, в два метра диаметром, трубе, на треть заполненной маслянистой жижей. Эта жижа противно чавкала, хлюпала при каждом шаге. Но запаха она не имела. Хенк с трудом передвигал ноги, будто по болоту шел. Но он не ныл, не просил остановиться, передохнуть. Он считал себя в любом случае обреченным и потому не боялся надорваться или переутомиться.

Туристы появились неожиданно. Чудовище сначала ощутило несколько резких тычков, кольнуло в разных местах, и лишь потом оно услышало треск выстрелов. Стреляли в упор, из-за поворота. Там маячили две длинноногие фигуры в поблескивающих скафандрах. Все это было похоже на засаду.

Первым делом Чудовище пихнуло Хенка прямо в спину. И тот упал, с головой ушел в жижу.

— Не суетись, малыш! — раздался в голове голос Отшельника.

Легко ему было давать советы, сидючи за двенадцать километров отсюда в безопасном месте.

Чудовище не откликнулось на слова Отшельника. Теперь надо было держать ухо востро. Оно припало к железному полу, выставив над поверхностью лишь голову и уродливый горб. Затаилось.

Выстрелов больше не было. Но туристы стояли с таким видом, будто ничего и никого на свете не боялись, будто они были хозяевами положения.

Хенк приподнял голову, вдохнул глубоко. И снова скрылся в толще жижи. Он понимал, что пуля — дура, она не будет разбирать, кто тут свой, кто чужой.

Еще одна очередь прошла пространство. Стреляли над головами, явно давая понять, что держат на прицеле.

Чудовище медленно повернуло голову. Позади, метрах в сорока, посвечивая тускленькими голубенькими фарами, стояла какая-то непонятная машина с хищным острым носом. Она была совсем небольшой, проходила в эту узкую трубу. И тем она была страшна. Пробкой затыкала она проход, отсекала пути назад.

— Ничего, ничего! — приободрило себя шепотом Чудовище.

Надо было решаться на что-то, пока сюда не подтянули основных сил. А то, что это лишь небольшой отряд поисковиков, Чудовище не сомневалось.

— А, была — не была! — проговорило оно вслух.

И тут же прижало двумя левыми шупальцами Хенка к своему боку, вжало его в пористую кожу так, что ни одна пуля не достанет! И бросилось вперед — самым простым приемом решив прорвать кольцо.

Туристы не ожидали ни такого напора, ни такой резвости. Их хватило лишь на то, чтобы выстрелить еще несколько раз с безопасного расстояния и тут же вжаться в стены. Чудовище, нагоняя своими порывистыми и резкими движениями волны, захлестывающие боковины трубы, живым крейсером пронеслось мимо них.

Прорвались! На этот раз прорвались, подумало Чудовище, не выпуская из шупальцев притихшего, оцепеневшего Хенка. Вот так, и в следующий раз прорвемся! Ничего им не удастся сделать! Ничего ровным счетом! Они привыкли воевать с беззащитными, расстреливать их, не подвергая себя опасности, издалека. А теперь им придется испытать кое-что новенькое! Им придется хорошенько пораскинуть мозгами, и тогда они поймут, что любая сила, всегда, везде,

пускай и не сразу, пускай не открытым образом, но непременно вызывает ответную силу, противодействие. И плевать, что на их стороне вся земная цивилизация со всеми ее механизмами и приспособлениями, со всеми машинами уничтожения. Плевать! Пусть попробуют поохотиться в здешних условиях, и мы еще поглядим — чья возьмет! Так думало Чудовище в эти короткие секунды. В тот миг освобождения, когда удалось выскользнуть, казалось, из ловушки. Но все мысли пропали мгновенно, стоило только впереди, на самом выходе из этого участка трубы, показаться острому хищному носу.

Чудовище даже оглянулось назад — не та ли это самая машина? Нет, та была на своем месте. И она приближалась, закупоривая трубу сзади. Ее двойник преграждал путь спереди. Выхода не было.

— Надо сдаваться, Биг, — вяло проговорил полусдавленный Хенк. — Ты проиграл эту партию.

— Да, дела неважные, — произнесло Чудовище, холодея. Ему не было страшно. Но безысходность давила на нервы.

— От трубоходов не уйдешь, поверь мне, — добавил Хенк. — Это такие хитрые машины, что в маленькой трубе они сжимаются, в большой расширяются, занимая почти весь поперечник, понимаешь? Они не смогут протиснуться лишь в щель, Биг! Но и ты не протиснешься в щель.

Задняя машина стояла на месте. Та, что маячила спереди, приближалась. Ну и начхать на них, как бы они ни назывались! Подумаешь, трубоходы! Мы и сами трубоходы! Который час уже по трубам ходим! Чудовище начинало наливаться злостью. Оно не собиралось сдаваться.

— Не дури! — почти выкрикнул Хенк.

— Ладно, без твоих советов обойдемся!

Чудовище медленно двинулось вперед. Заостренный нос приближался. И на своем конце, на этом хищном металлическом острие, он нес смерть.

Когда до острия оставалось с полметра, Чудовище остановилось, вжалось в стену трубы, уперлось в нее спиной и, выставив шесть щупальцев, скользнуло еще немного вперед. Острие прошло мимо. Но протиснуться между обшивкой трубохода и стеной трубы даже нечего было и думать. Там оставался зазор в три вершка.

— Ну тебя к черту, Биг! — заорал турист. — Отпусти меня, раздавишь ведь, не соображаешь?!



Чудовище промолчало. Ему было не до обсуждений. Всеми шестью выставленными вперед щупальцами и двумя нижними конечностями оно уперлось в боковину острия. Исполинские мышцы напряглись, вздулись буграми под волдыристой кожей, затвердели. Сухожилия натянулись до предела. Казалось, сам костяк трещит от страшного усилия. Волны дрожи прокатились по телу.

— Нет, Биг! Это тебе не под силу! — проговорил в мозгу голос Отшельника. — Ты все же живое существо, Биг, а это машина! Это сталь и пластик, алюминий и титан...

— Врешь! — прохрипело Чудовище, не ослабляя усилий.

— Отступись! Ищи другого выхода! Сдайся ты им, наконец! Потом выпутаешься как-нибудь!

— Ни за какие коврижки! Нет!!!

От нечеловеческого напряжения на плечах у Чудовища полопалась кожа. Потекла зеленая сукровица, заливая бока, заливая лицо Хенка.

— Ты безумец, Биг! Ты с ума сошел! — завопил Хенк, теряя остатки выдержки. — Отступись!

— Нет!!!

Чудовище подключило к делу еще два щупальца, вырвав Хенка прямо в жижу. Кожа лопалась уже не только на плечах, но и на спине и на груди. Казалось, еще немного и не выдержит сама труба — или трещину даст, или прорвется. Из-под концов щупальцев потекла зеленая — даже в полумраке отливающая изумрудным цветом — кровь.

— Прекрати немедленно, малыш! Ты угроишь себя! — заорал Отшельник. — Хвати-и-ит!!!

— Нет!!!

Чудовище навалилось на боковину острия всем телом, уперлось в него плечом. Затрещали кости. От чудовищного напряжения отказало одно щупальце, плетью повисло вдоль тела. Судорогой свело спину.

— Хвати-и-ит!!!

— Нет!

Нос машины поддался — он сначала стал чуть заметно сгибаться, все больше и больше отклоняясь к противоположной боковине трубы. А потом — совершенно неожиданно, с диким и омерзительным скрежетом раздираемого металла, отвалился от корпуса трубохода. Его еще соединяли с тем какие-то переборки, жгуты, провода, проволоочки... Но Чудовищу некогда было разбираться во всех этих внутрен-

ностях. Резким движением оно оторвало нос от машины. И тут же, отступив на пять шагов, развернуло его вертикально, заклинило проход — теперь задняя машина не могла рассчитывать на быстрое и успешное преодоление остатка трубы, отделявшего ее от Чудовища и Хенка.

— Нет, ты сумасшедший, Биг! Ты самый настоящий безумец! — облегченно проговорил Отшельник.

Хенк встал, обер жигу с лица. Он явно не знал, что делать дальше.

— Помогай!

Чудовище уперлось плечом в развороченный корпус трубохода. Нажало. И машина поддалась, медленно пошла назад. Обрывки проводов, всякие детали и прочая требуха вываливались из развороченного нутра трубохода, мешали идти. Но Чудовище давило и давило, толкало машину назад.

Хенк плелся рядом. Он не помогал. Да и какая от него помощь!

— Там внутри люди, — предупредил он. И замолчал.

— Они внутри, а мы снаружи! — отозвалось Чудовище.

Метров через четырехста толкать искореженную машину почему-то стало легче. Наверное, жижи поубавилось, подумало Чудовище. Здесь и на самом деле было посуше.

Когда до развязки труб оставалось три минуты ходу, сзади послышалось гудение. Второй трубоход, уцелевший, прорвал-таки преграду, а может, просто смял ее. И догонял теперь беглецов. Хенк заволновался.

— Самое обидное — погибать от своих! — проворчал он и принялся помогать Чудовищу.

— Не успеют! — заверило его то.

И вправду, через несколько секунд толкаемая ими машина въехала в огромную трубу, служившую переходником для нескольких магистральных трубопроводов, и загремела вниз — с лязгом и скрипом.

Чудовище еле удержалось на конечностях, чтобы не полететь следом. Но оно сумело не только сохранить равновесие, но еще и подхватило Хенка. Тут же уцепилось тремя щупальцами за железную скобу, подтянулось, потом опять и опять — в несколько движений они оказались на третьем ярусе. Где-то внизу, в темноте, заскрипели тормоза второго трубохода. Потом последовало шипение — трубоход раздувался, чтобы переползти в большую емкость. Беглецам он был нестрашен.

С десяток пуль скользнуло по внутренней обшивке трубы, и посыпалась сверху ржавчина, закапало. Видно, пули продырявили что-то. Капли переросли в струйки, а струйки в струи. Поток хлынула вода — проржавевшая, темная.

— Не завидую я тем, кто внизу сейчас! — сказало Чудо-вище.

Хенк зябко передернулся. Вода залилась внутрь его одеяния. А может, его передернуло и по иной причине.

— Я нам не завидую, Биг! — проговорил он. — Ни одна живая тварь на планете сейчас нам не позавидует!

Гурыня быстро овладел нехитрым управлением. Во всяком случае он знал, что надо было нажать, чтобы стронуться с места, остановиться, повернуть налево или направо, включить прожектора. И он был очень доволен собой.

— Во, падла! Знай нашенских!

Еще быстрее он научился палить из крупнокалиберного пулемета, что торчал из башенки, — не такое уж и сложное это было дело. Гурыня высадил в пустоту не одну очередь, прежде чем успокоился и заявил:

— Ну, кто тут еще возникать будет?!

Возникать, перечить или как-то еще выражать свое недовольство или недоверие никто не посмел. Шантрапа сидела тихо, глядела на Гурыню как на бога.

— То-то! — удовлетворился Гурыня.

Он никого не подпускал к управлению, не желал делиться опытом. Но все-таки показал Скорпиону Баге, как стрелять из пулемета. Тот с третьего раза понял. И принялся без передыху жать на гашетку. Гурыня дал ему подзатыльник.

— Я тя, падла, обучу экономии! — сказал он коротко и понятно.

Свет фар-прожекторов выхватывал пространство метров на двести, а то и на все двести пятьдесят. Беда была в том, что все это пространство состояло из одной огромной в поперечнике и, видимо, бесконечной в длину полости, что заключалась внутри трубы. И как они умудрились провалиться сюда! Гурыня ничего не понимал. Он поглядывал наверх, но там не было и следов дыры, не было даже намека на провал. Нет, видно, они не просто провалились, а соскользнули, съехали по какому-то спуску... а потом уже грохнулись вниз. Иного объяснения Гурыня происшедшему не находил. Но он и не очень-то искал объяснений. Он

ликовал внутренне и был весьма доволен собой. Еще бы, машину они все-таки захватили! А на синяки и шишки наплевать!

— Ну че, падла? Вперед?!

— Вперед! — завизжал Плешак Громбыла, очарованный жожаком.

— Разобраться бы, понимаешь, — внес смуту Бага, почесывая нос и ожидая очередного тумака. — Непонятное дело ведь.

— Вперед! — неуверенно провозгласил Лопоухий Дюк.

Гурыня нажал, чего надо, потянул на себя палку с набалдашником, врубил фары на полную мощь. И они рванулись вперед!

Чтобы не оглохнуть от жуткого грохота, сотрясающего полую трубу, они задраили наглухо люки. Стало вполне терпимо.

Машину трясло, подкидывало. Один раз ее чуть не перевернуло на повороте. Но Гурыня был не лыком шит — в последний миг он успел вывернуть броневики из опасного виража, удержал его.

— Вперед, падла! — в восторге орал он.

Его азарт и бесшабашность заразили и остальных. Они орали, визжали, хлопали друг друга по плечам и спинам. Но при всем при том Скорпион Бага был настороже. Он не отрывался от окуляров. Придерживал средней лапой гашетку, чтоб в случае чего...

— Кто это?! — спросил Громбыла удивленно, когда они промчались мимо трех смутных теней, вжавшихся в боковину трубы. Ни Дюк, ни Бага теней не заметили.

— А хрен их знает! — отозвался Гурыня.

Он произнес это очень уверенно. Может, даже слишком. Но ему самому показалось, что одна из теней была удивительно похожа на трехногого инвалида Хреноредьева. Но мало ли че-го могло показаться. Гурыня не собирался останавливаться.

— Это тебе мерещится, Плешак! — заявил он еще тверже. — Ты часом не трехнутый?!

— Да ладно, чего там, показалось, значит, — перепугался Громбыла. И решил больше не затрагивать эту тему.

— Все путем! — сказал Гурыня. — Мы им всем, падла, покажем! Попадись тока они нам! Верно?!

— Верно-то оно верно, — снова засомневался Бага, —

да вот куда, понимаешь, нас эта кишка выведет, тут надо бы помозговать!

— Молчать! — прошипел Гурыня. — Это что, бунт?!

Все перепугались и замолкли. Знали, что с Гурыней лучше не связываться. В конце концов, есть же у него какой-то план!

Никаких планов у Гурыни не было. Но он был переполнен решимостью.

— Мы их всех, падла!

Гнали на предельной скорости. Но труба была бесконечной. Лопоухого Дюка растрясло, укачало. Пришлось ему лезть в дальний конец машины. Там его долго и мучительно рвало. Но никто не обращал на Дюка внимания. Скорпион Бага уже трижды ударялся башкой о верхнюю переборку — три шишки украшали его голый череп, не считая всех предыдущих отметин и ссадин.

Гурыня пребывал в упоении.

Но через полтора часа пути и он начал скисать. Сделали остановку, маленький привал. Лопоухого Дюка рвало и на привале, ничего он не мог с собой поделать. Гурыня даже дал ему пинка, прогнал подальше от компании, чтоб воздуха не портил.

Труба в месте привала была точно такой же, как и там, где они провалились. Никаких ориентиров, никаких примет, ни черта!

— Пожрать бы сейчас, понимаешь, — сказал Бага Скорпион неуверенно. И тут же на его голой башке начала вырастать четвертая шишка — Гурыня треснул Багу железной, с которой не расставался.

— Уж и помечтать нельзя, — заныл Скорпион.

Гурыня вспомнил про крысиную ножку, лежавшую в кармане комбинезона. Вытащил ее. И по-братски дал полизать, пососать каждому, начиная с восторженного и хилого Пleshака Громбылы. Бага умудрился «слизнуть» все мясо с кости. Но Гурыня не стал его ругать. Взял косточку и в две секунды схрумкал ее, перетерев своими кривыми, но крепкими зубами.

Настроение немного поднялось.

— Ну что, рванули?!

И они рванули. Да так рванули, что труба еще долго выла и гудела и вперед и назад на несколько километров. Гурыня выжимал из машины все, на что она была способна.

— Раз они оттуда приехали, — глубокомысленно заявил Пак, — значит, там чего-то есть. А раз так, то нам надо...

— Чего это нам надо, едрена труба? — заинтересовался Хреноредьев. — Ты чего, Хитрец, мозги нам закручиваешь?!

— ...значит, надо туда и переть! — закончил Пак.

— Ну и поперли! — занервничал Буба. — Чего встали, придурки?! Поперли, кому говорю!

— Ладно, едрена громыхала, — согласился Хреноредьев, — я — как коллектив, стало быть. Поперли, едрена!

Они пошли, все убыстряя и убыстряя шаг. До тех пор, пока трехногий инвалид не взмолился:

— Потише бы, дорогие сотоварищи! Мочи нету!

— Чудовище тебе сотоварищ, — отозвался Буба, — и детеныши Эды Огрызины, упокой ее душу черт с дьяволом!

Пак ответил дипломатичнее.

— Надо поднажать, Хреноредьев, ты уж поднапрягись.

И куда было деваться Хреноредьеву — он поднапрягся. Да так, что обкостылял сотоварищей, вырвался вперед, вновь почувствовав себя незаменимой частью общества, пускай и небольшого, но все же общества.

По дороге Хреноредьев изловчился поймать трех крысосусликов, неведомо как забравшихся в трубу, а может, и живших тут постоянно. И сожрал всех троих вместе с потрохами и костями. С сотоварищами не поделился. Буба бешеным глазом сверкал на Хреноредьева, но молчал. У Пака аппетит вообще куда-то вдруг пропал. Он шел словно сомнамбула, вперив глазища в темноту, покачиваясь, размахивая клешнями. Впрочем, к темноте они уже немного привыкли, глаза попривыкали и пусть не очень хорошо, но различали многое. Друг друга они больше не теряли.

И-ех, едрена громыхала!

Хорошо на свете жить!

Нам чегой-то не достало!

И мы отправились кружить!

Насытившийся Хреноредьев бодро распевал песенку, которую сам же и сочинял по ходу дела. Песня звучала боевым маршем, звала в дали неведомые, толкала на подвиги. Буба Чокнутый с Паком поневоле начали подвывать. Так веселее шагалось.

Мы отважны труболазы!

И-ех, едрена кочерга!

Мы разведем все лазы
И доберемся до врага-а-а!!!

Буба Чокнутый тоже сочинил куплетик. И выдал его громовым голосищем, безбожно перевирая мотив:

Сокрушим мы все преграды!
Все запоры разнесем!
И-ех, Хреноредьеву на радость
Бочку хрена украдем!!!

Трехногий инвалид не выдержал подобного оскорбления и набросился на Бубу с кулаками. Они оба упали и покатились одним сплетенным комком, тузя друг друга, лягая, щипая, кусая и матерясь самым скверным образом.

Пак нагнал этот клубок. И, не разбирая, кто есть кто в нем, раз пять ткнул железякой. Дерущиеся поуспокоились, приподнялись.

Чтобы сохранить маршевый задор пришлось затянуть Паку Хитрецу:

Мы пройдем победным строем,
И-ех, всю едреную трубу
С Хреноредьевым-героем
И с надеждой на Бубу!!!

— Вот ето по-нашему, едрит тя! — обрадовался инвалид. — Вот ето истинная правда, тут мы согласные.

Буба Чокнутый долго молчал, косил налитым глазом. Потом спросил:

— А «буба» — это чего у тебя такое, я не понял?!

Пак решил, что лучше не растолковывать, — ну получилось у него так, для рифмы, для звучания — «Буба». А скажешь этому придурку, опять потасовка начнется.

— Это одна такая вещь, — сказал он, — знаю только, что хорошая, а какая именно — не знаю!

Буба повеселел, перестал психовать.

— Это точно, — сказал он, — откуда тебе знать, вы же тут обалдуи и неучи, недоумки вы тут!

Спорить с ним не стали. Затянули на три голоса свой новый марш. Так веселее шлось.

Поток становился с каждой минутой все сильнее. И Чудовище начинало не на шутку волноваться. Еще немного, и их смоев вниз — а это означало верную гибель.

— Давай живей! — бросило оно Хенку.

И подтолкнуло его, чтобы лез вверх.

Пробиваясь сквозь струи воды, мокрые, ослепшие, они продвигались метр за метром на верхние ярусы. Чудовищу приходилось поддерживать Хенка, силы того были на исходе.

Они миновали еще ярус. Но струи все били и били, сшибая с ног, грозя опрокинуть и унести с собой.

— Погляди-ка! — выкрикнул Хенк. — Здесь что-то есть!

Чудовище всмотрелось в стену, испещренную тысячами металлических заклепок.

— Да не здесь! Левее!

Теперь оно увидело очертания люка-дверцы. Ни ручки, ни ее следов на поверхности дверцы не было. Чудовище ткнуло щупальцем. Дверца не поддалась. Тогда оно навалилось плечом — резко, раз, потом другой. Все было тщетно.

— Постой, не надо! — отвлек его Хенк, державшийся обеими руками за металлический поручень. — Здесь какая-то штуковина, наверное, рычажок!

Он отпустил одну руку. И его тут же подхватил поток воды. В последний миг Чудовище извернулось и успело удержать Хенка за лодыжку. Это было спасением. Но Хенк не стал благодарить, он снова протянул руку, нажал на что-то... И произошло чудо — дверца сдвинулась немного назад, потом отъехала в сторону, открывая проход.

Чудовище впихнуло Хенка внутрь. Потом с большим трудом, обдирая и без того поврежденную кожу, протиснулось само.

Они стояли в сухом и теплом месте. И смотрели в проем — вода неслась вниз уже не потоками, а единой гудящей стеной, водопадом. Им удалось спастись в самый последний миг. И это было поистине чудом! Они стояли и не могли отдышаться. Лишь отдельные брызги залетали в их убежище.

Первым обернулся Хенк.

— Здесь еще одна дверь! — сказал он.

На этот раз из дверцы торчала рукоять — круглая, шариком.

Хенк потянул на себя. И дверца распахнулась.

Они прошли из тамбура в большое и страшно запыленное помещение, уставленное стеллажами. Стеллажи шли от самого пола и до уходящего на высоту пяти-шести метров потолка.

— Это склад, — проговорил Хенк медленно и четко.

Чудовище и само видело — все полки — и вертикальные, и горизонтальные — были заставлены, заложены, увешаны оружием. И чего здесь только не было! Рядами лежали ручные гранаты всевозможных типов, от маленьких и кругленьких до больших, бутылкообразных. В стеллажах стояли винтовки — автоматические и простые, автоматы с деревянными и пластиковыми прикладами, такие, какие выпускали, наверное, двести лет назад. В узеньких ячеечках были разложены пистолеты разных типов. Тут же хранились боеприпас и прочее, прочее... Чудовище не знало подавляющего большинства предметов, даже их названий. Но оно понимало, что это такое и для чего все это нужно.

— Вот, Хенк! А ты говорил — выродки, тошнит! Разве выродки создали все это в таких количествах? Разве они сохранили это смертоносное оружие? Нет, Хенк! Тут надо разбираться, кто из нас выродки! Тут надо еще понять, от кого может тошнить!

Турист молчал.

Они обошли стеллажи. И наткнулись на еще одну железную лестницу, спиралью уходящую вверх — в круглый проем потолка.

— Полезли! — сказала Чудовище.

— погоди, ты что, спятил? — удивился Хенк. — Уходить отсюда с пустыми руками может лишь сумасшедший!

— Значит, считай меня сумасшедшим.

— Не-ет, я так не уйду!

Хенк скрылся из виду на пару минут. И появился вновь, уже увешанный с головы до ног. Через оба плеча у него висело по автомату, за спиной торчал стволом вверх ручной пулемет конца позапрошлого века, грудь перепоясывали пулеметные ленты, на поясе висели связки гранат, карманы были чем-то забиты до отказа, в довершение ко всему Хенк волочил за собой какой-то мешок, отнюдь не пустой.

— Брось! — пробурчало Чудовище.

— Ну уж нет!

Хенк протянул ему один из автоматов.

Чудовище приняло его щупальцем. И тут же забросило далеко-далеко, за крайние стеллажи.

— Ну и черт с тобой! А я возьму!

Хенк бросил-таки неподъемный мешок. С трудом, с одышкой поднялся вслед за Чудовищем по винтовой лестнице.

Они выбрались на абсолютно ровную и голую площадку.

— Ну и что? — спросил Хенк, тяжело отдуваясь.

— Ничего! Поглядим, что здесь!

Что-то вдруг произошло. Порвалась какая-то связующая нить между ними. Они перестали понимать друг друга.

— Пошоль! Ноу! Нэ карашо-о! — выговорил вдруг Хенк не своим голосом.

В голове у Чудовища прозвучали слова Отшельника. Совсем тихо прозвучали:

— Все, малыш! Больше не могу! Силы кончаются, ты погоди немного! Мне надо хлебнуть...

Голос Отшельника пропал.

И Чудовище увидало вдруг, что глаза Хенка стали совсем другими — жесткими, злыми и одновременно напуганными.

— А-а-а!!! — заорал Хенк.

И, выставив вперед ствол автомат, принялся стрелять в Чудовище, прямо в голову, целя по глазам. Пули застревали в толстой коже. Но Чудовищу было очень неприятно. Оно шагнуло к Хенку.

— Что ты делаешь?!

Хенк отпрянул назад. Потом в несколько прыжков достиг стены, уперся в нее спиной, сдернул ручной пулемет. Теперь он палил из двух стволов — не переставая, выпуская очередь за очередью.

Чудовище приближалось.

Хенк, видя бессмысленность пальбы, бросил автомат и пулемет на пол. Сорвал с пояса большую бутылкообразную гранату, дернул за что-то и швырнул ее в Чудовище. То неумовимым движением шупальца перехватило летящий предмет и отбросило его в дальний конец. Граната рванула. Волной сбило с ног Хенка. Чудовище устояло, но и его сдвинуло на несколько шагов.

— А-а-а!!! — вновь заорал Хенк и вскочил.

Одну за другой он кинул еще две гранаты. Но и их Чудовище переправило подальше. Весь огромный зал наполнился едким вонючим дымом.

Дико вопя и безумно вращая глазами, Хенк бросился на Чудовище с огромным тесаком, зажатым в правой руке. Но он успел лишь взмахнуть — тесак тут же вылетел из его

руки. Чудовище легонько ударило Хенка кончиком щупальца по щеке. И тот полетел наземь.

— Ну, ребята, вас надолго оставлять одних нельзя! — прозвучал вдруг в голове у Чудовища голос Отшельника. — Вы чего это, с ума посходили, что ли?! Ну ладно, Биг, я малость подзаправился! Теперь уж я вас не оставлю, не робей!

— А я и не робею! — вслух ответило Чудовище.

Хенк медленно поднимался. Сначала он стал на колени, потом уперся руками в пол. Наконец выпрямился. С силой сжал лицо.

— Ничего не понимаю, — произнес он в недоумении, — что тут случилось, Биг? Я что, был в обмороке? Что ты молчишь?!

Чудовище повернулось к нему спиной, проворчало:

— Ладно, потом узнаешь! А сейчас пойдем! Собирай это все свое барахло, если оно тебе нужно. И пойдем!

Турист поднял с земли ручной пулемет. Повесил его на плечо. Рассыпавшихся боеприпасов собирать не стал. Ощупал карманы — хватит и того, что осталось. И он поплелся за Чудовищем, покачивая головой и пытаясь все же понять, что тут происходило несколько минут назад.

На ходу Чудовище вытащило из заплечного мешка план Отшельника, взгляделось в путаные, пересекающиеся линии и сказала:

— Похоже, мы с тобой, Хенк, совсем заблудились.

Отшельник помалкивал.

Они поднялись на следующий этаж. Там все было не похоже на предыдущее. Там не было ни ровных полов, ни потолков, ни стен, ни даже углов. Еще когда только Чудовище высунуло голову из дыры, оно сразу увидело какую-то мягкую, мшистую поверхность, оно ощутило ее своими щупальцами. И все вокруг было каким-то сглаженным, чем-то поросшим, все терялось в нереальном мягком свете. С потолка — если он вообще был — спускались длиннющие зеленовато-синие водоросли, а может, и не водоросли — что-то мягкое, живое или полуживое, вьющееся. Казалось, что эти водоросли шевелились, что они реагировали как-то на появление чужаков. Но возможно, это только казалось.

Приглядевшись, Чудовище заметило, что водоросли свисают не просто так, не в беспорядке. Наоборот, они образовывали непривычную для глаза, но вполне правильную

паутину — не паучью, та бы выглядела слишком простой, до скуки примитивной рядом с этой, а какую-то невообразимую, какую и сплести, казалось бы, нет ни у кого ни сил, ни возможности.

Стены также были покрыты непонятными отростками, а может, и стеблями, ветвями, переплетавшимися и расходившимися, образовывавшими диковинные узоры.

— Что еще за чертовщина?! — недовольно пробурчал Хенк.

Он стоял полупригнувшись, на согнутых ногах, выставив перед собой пулемет, озираясь. Ему явно не нравилось здесь.

— Эге-гей!!! — выкрикнуло Чудовище. — Есть тут кто?!

Его голос растворился, будто его и не было, потонул в живой мяготи помещения.

— Тра-та-та!!! — прогрехотала короткая очередь.

Чудовище быстрым движением вышибло пулемет из рук Хенка.

Тот бросился было подбирать свое оружие.

Но сверху раздался отчаянный и невероятно писклявый голосок:

— Не убивайте! Ради всего святого не убивайте! Пощадите нас.

И Хенк и Чудовище задрали головы. Но ничего не увидели. Разве увидишь что-нибудь в путанице сотен тысяч переплетенных водорослеобразных нитей!

— Не убивайте! — прозвучало уже совсем близко.

— Да ладно, не убьем! — снисходительно проговорил Хенк, поднимая пулемет. — Кто там?

Какое-то маленькое желтое существо, мельтеша множеством ножек, молнией спустилось вниз по паутине водорослей. И замерло на уровне лиц пришельцев. Разделяло их всего несколько метров.

— Я никогда не видел ничего более ужасного! — дрожащим голоском произнесло существо. — Это же ужас какой-то!

Чудовище тяжело вздохнуло.

— Можно было бы обойтись и без комплиментов, — сказало оно сухо и раздраженно.

— Нет-нет, я не вас вовсе имел в виду. Вы мне кажетесь очень милым и приятным. А вот это! То, что стоит рядом с вами! Это же кошмар какой-то! Зачем вы привели сюда это страшилище, зачем вам это чудовище!

Хенк обернулся, огляделся — никого, кроме него самого, рядом с Чудовищем не было. Его задело за живое.

— Слушай-ка, ты, паук восьминогий! Ты не мог бы обойтись без посредников и обращаться прямо ко мне?! Или у тебя с перепугу мозги отнялись?!

Существо вскарабкалось чуть повыше, затряслось еще сильнее.

— О боже! — воскликнуло оно. — Это страшилище и разговаривать умеет! Неужто в таком жутком обличье может находиться нечто разумное? Это же просто невыносимо!

Чудовище получше рассмотрело хозяина заросшей комнаты. Существо и на самом деле имело восемь длинных тонких ножек, выходящих из желтенького тельца. Было оно не больше покойного котособачонка Пипки. Но в отличие от того было явно из породы хомо мутантус. Тельце увенчивалось вполне благопристойной бородатой головкой с двумя умными серыми глазами, широким расплюснутым носом и маленькими ушками, сведенными к маковке. Это был безобидный на вид восьминогий гномик.

Но на туриста он произвел иное впечатление.

— Пристрелить его, что ли? — поинтересовался Хенк.

Чудовище пожало плечами.

Гномик сказал:

— Не надо! Лучше вы отвернитесь! Я не могу на вас смотреть! Меня от вас тошнит!!!

Чудовище затряслось в приступах тяжелого саркастического смеха. Со стороны могло показаться, что оно бьется в предсмертных судорогах и вот-вот переселится в мир иной.

Хенк отвернулся. И в знак того, что презирает гномика со всеми его нелепыми, а может, и расистскими взглядами, сел на мягкий пол и принялся насвистывать веселый мотивчик.

— Ладно, пускай он сидит, — согласился гномик, — только вы не уходите, не оставляйте меня с ним одного, ладно?

— Ладно, — ответило Чудовище.

Оно немного помялось. А потом спросило в лоб:

— Мы вообще-то заблудились, не знаем как выбраться. Не подскажете ли нам?

Гномик спустился ниже. Поудобнее устроился в паутине. Начал немного покачиваться в ней, будто сидел, развалившись, в кресле-качалке.

— Я думал вы меня пришли убивать, — сказал он печально. — Тут уже многие приходили. И все думали, что это я хранитель склада. Все требовали чего-то такого, чего там нет! Но у меня ничего такого нету, какой я хранитель. Мы с женой и детишками давно тут живем, мы родились тут. Еще наши прадед с прабабкой переселились в бункера с поверхности. Им не хватило тогда места у краников, не хватило ни работы у труб, ни пошла, ни баланды... Но может, и к лучшему?! Говорят, там, на поверхности, страшные дела творятся, верно? Говорят, там одни сплошные выродки остались, что они пожирают друг друга, что они полностью утратили и знание, и навыки, и культуру. Так это?

— Похоже, что именно так, — согласилось Чудовище.

— Вот-вот! То-то я и гляжу, если там все такие — навроде этого чудовища, что вы привели, тогда прощай, цивилизация! Нет, куда мы только катимся! Это же ужас какой-то, кошмар!

— У вас нет ничего перекусить? — спросило Чудовище.

Гномик быстро сбегал наверх, сбросил оттуда что-то сухое и гремучее.

Чудовище подняло сброшенное. Это была связка сушеных крысосусликов. Высушены они были с умением, так, что от них почти не несло крысятиной. Чудовище оторвало от связки одного, самого длинного, и бросило его туристу.

Хенк брезгливо поморщился. Отпихнул крысосуслика ногой.

— У каждого свой вкус, — философски заметило Чудовище.

И проглотило в один присест всю связку.

— Спасибо!

— Не за что, — ответил спустившийся гномик. Теперь он был красного цвета.

«Э-э, брат, да ты хамелеон, — удивилось Чудовище, — с тобой надо ухо остро держать! Да и вообще тут со всеми надо ухо остро держать!»

— Не будь таким подозрительным, малыш! — шепнул в мозгу Отшельник. — Чего тебя из стороны в сторону швыряет!

Гномик принес с собой и кое-что повкуснее — спрессованный брикет грибов-лишайников. Чудовище показало Хенку брикет издалека. Тот покачал головой. Ну и ладно,

подумало Чудовище, ходи голодным, и с удовольствием проглотило брикет.

— Нам бы дорогу уточнить, — попросило оно очень вежливо.

— Да чего ты! — разнервничался турист. — С ними надо разговаривать с помощью вот этого! — он потряс в поднятой руке пулеметом. — Тогда живо все растолкуют, живо все поймут, и накормят и напоят!

— Заткнись, Хенк! — проворчал Чудовище.

— Ладно, вы поспорьте пока, а я сбегая наверх, к жене! — сказал гномик и исчез.

— Пойдем, — сказал Хенк, — нам нечего делать в этом крысятнике!

— Здесь мне нравится, — не согласилось с ним Чудовище.

— Ты забыл, что за тобой охотятся? — поинтересовался Хенк ехидным голоском.

Чудовище засопело.

— Я все помню. Только тут они нас никогда не отыщут! Ну скажи, сколько можно бродить без отдыха?

— Он правильно говорит! — подтвердил спустившийся гномик-паучок.

— Без твоих советов обойдемся, чучело! — нагрубил ему Хенк.

— Я на вас не обижаюсь, — с достоинством ответил гномик. — Вы — перерожденец, вы — уродец! На вас нельзя обижаться!

— На тебя тем более!

— Перестаньте! — утихомирило их Чудовище.

На какое-то время стало тихо, совсем тихо.

— Нет, Хенк, что ты ни говори, а часок-другой передохнуть надо. Мы вам не помешаем своим присутствием? — поинтересовалось Чудовище у паучка.

Тот взобрался повыше.

— Нет, пожалуйста! Но мне бы не хотелось, чтобы это мерзкое идолище, чтобы это двуногое и двурукое отвратительно-пакостное существо задерживалось здесь надолго. Пожалуйста, вы оставайтесь хоть навсегда. Но его мы терпеть больше двух часов не будем, предупреждаю!

Хенк погрозил гномику пальцем. Но пререкаться с ним не стал.

— Вот и лады! — проговорило Чудовище. — Тогда мы приляжем на чуток. Спасибо вам!

— Пожалуйста! Проходите вон в тот уголок. Там вам помягче будет! — гномик широко и благостно улыбнулся.

Чудовище и Хенк прошли в указанное место. Опустились на такой мягкий, пушистый пол. Дрема уже завладела ими. И не странно — после стольких-то передрыг и тревожений, после стольких нагрузок — и физических и нервных.

— Спите спокойно, тут вы в полной безопасности, — сказал гномик. И поднялся к себе наверх.

Гурыня заснул за рулем. Проснулся от резкого удара — головой он ткнулся прямо в пульт управления. Но машина не остановилась. Она неслась стрелой по бесконечной трубе. Только потряхивало да покачивало.

— Ты чего? — поинтересовался Бага Скорпион.

— Я те щя задам, падла! — разозлился Гурыня. — Чего! Чего?! Ты на кого тянешь, поскребышь?!

Скорпион затрясся.

— Я тока спросил, понимаешь! А ты окрысился сразу!

— Я те спрошу, падла! По башке твоей лысой, скорпионьей! Ты у меня, падла, научишься старших уважать!

Лопоухий Дюк и Плешак Громбыла спали на своих сиденьях. Они вымотались за бесконечный день, к тому же их сильно укачало.

— Дрыхнут, суслики? — поинтересовался Гурыня, вытягивая шею.

— Дрыхнут! — бодро доложил Бага.

— Ну и пускай! Привала делать не будем! А ты, падла, чтоб в оба глядел! Ежели пропустишь врага, я тя собственными обрубками придушу! — для наглядности Гурыня потряс правым обрубком, блеснули его черные, вселяющие страх в непривычные души костяшки. — Нам с тобой зевать некогда! А то все, падла, прозеваем!

— Есть! — ответил Бага.

Гурыня успокоился. Он уже забыл про досадное недоразумение, обрел душевное равновесие.

— Тут главное чего? — спросил он Багу.

— Где? — поинтересовался Бага туповато.

— Да не где, падла, а чего! Понял?! Отвечай, тут главное — чего?!

— Не зевать! — ответил Бага.

— Дурак! Это и так ясно! — Гурыня начинал снова злить-

ся. — Тут главное — скорость! Понял, падла?! Штурм и натиск! Вот так! Усек?!

— Так точно! — заверил Бага.

— Во-о, умнеешь прям на глазах!

— Рад стараться!

Гурыня повернул к Баге маленькую змеиную головку.

— А ты мене нравишься, малыш! — сказал он как-то по-отечески. — Я думаю, ты верно понимаешь службу.

— Так точно! Стараемся! — отчеканил Бага.

Гурыня засопел. Чуть ли не впервые в жизни на его щеку стала наворачиваться слезинка. Но... так и не навернулась.

— Какие будут вопросы? — как бы в поощрение поинтересовался он дружелюбно и снисходительно.

Бага замялся, побаиваясь неосторожным словом снова вызвать неудовольствие начальства. Но потом осмелел.

— Скоко нам еще трястись-то?! — спросил, заранее ожидая затрещины и прикрывая глазенки.

— Не волнуйся, малыш! — ответил Гурыня уверенно. — У мене, падла, все рассчитано. Точно в назначенный час прибудем к цели! Ты мене, падла, главное врага не прозевай! Вот что! А за старания я тебе... я тебя, Бага, к награде представляю! — И немного помолчав, подумав, что представлять-то некуда и некому, добавил: — И сам награжу!

— Премного благодарен! — почти заорал на всю машину Бага Скорпион. Так, что Дюк с Громбылой с перепугу проснулись.

Машину трясло, бросало из стороны в сторону. Но Гурыня хода не сбавлял.

Орали, входя все в больший раж, притопывая ногами в такт, размахивая руками. И громче всех орал Хреноредьев.

И-сх, едрена громыхала!

У-ох, хорошо в трубе шагать!

Пак с Бубой Чокнутым подхватывали лужеными глотками, с залихватским прикриком, с лихим посвистом:

Ну-кось, гхрянем, запевала,

Тра-та-та-та-та-та мать!!!

Инвалид выводил чисто, высоко, по-соловьиному. А подхватывал со всеми вместе — басисто и разухабисто. Получалось, откровенно говоря, здорово. Знали бы раньше в

поселке про такие таланты, быть бы там своему хору. Может, и совсем иначе бы пошли тогда дела.

Мы туристов не боимся!
И-ех, едрит-переедрит!
Ежли разом разозлимся,
Ни один не устоит!!!

Буба Чокнутый старался перекричать всех. А то понимаешь, забыли, что он самый главный! что он избранник народный! Хотя все — и присутствующие и отсутствующие, хорошо помнили, что избрал-то Буба себя сам. Но он избрал, он и внушил себе идею народного избранничества, он и уверовался в ней глубоко-глубоко, так, что не разуверишь. А стало быть, во всем надо было первым выходить.

Мы пройдем огни и воды!
Сердце бьется как мотор!
Мы идем, едрит, к народу!
Хто не с нами — тать и вор!!!

Пак понимал, что Чокнутого снова заносит. Но так хорошо шагалось, что он не мешал творческой инициативе певцов — пускай выкричатся вволю, пускай выложат все заветные думы, страдания! Тогда, может, и впрямь — пробьются они, выйдут и к народу, и на простор, и вообще забрезжит, наконец, хоть что-то светлое впереди. Ну сколько же можно в потемках шагать, не зная, куда и зачем?!

Но сам Пак выводил свое, нутряное:

И-ех, едрены супостаты,
Трепещите — крышка вам!
Жди, папанька, в час расплаты
Я им шороху задам!!!

И все вместе снова ударили:

Ух, едрена громыхала!
Хорошо в трубе шагать!
Песню грянем, запевала!
Тра-та-та, едрена мать!!!

Таким образом они отмерили ровно двенадцать километров. И после этого прошли еще немного. До того самого места, где в трубе зияла огромная дырища, ведущая не в соседнюю трубу, а в сужающуюся земляную нору. В темно-



тище не было видно толком, что это за нора, куда ведет. Может, здесь вообще было гиблое место.

— Надо вернуться, едрена вошь, и выбраться по лесенке, — предложил Хреноредьев.

— Ты уже выбирался, — напомнил ему Пак.

— Да-а? — удивился инвалид. — Вот, едреный склероз! А куды ж тогда?!

— Куды, куды! — взбеленился Буба. — Туды, балбесина! — и указал в сторону норы. — Куды ж еще, недоумок хренов!

Пак сразу же втиснулся между спорщиками. И вовремя — инвалид тут же остыл.

— Вот ты и лезь первым! — сказал он Бубе торжествующе.

— А я везде первый! — заявил Чокнутый высокомерно. И полез в нору.

Пак с Хреноредьевым обождали минуты три. Вроде бы все было тихо и спокойно. Тогда они тоже приблизились к входу в нору. Хреноредьев тихо позвал:

— Буба, едреный избранник, ты где есть-то?!

— Проходите, проходите, сотоварищи! — отозвался Буба казенно. — Не задерживайтесь!

Пак пошел в нору. Хреноредьев за ним.

После железного пола было приятно пройти по сыроватой и мягкой земле, перемешанной с глиной, — ноги отдыхали, да и в позвоночник каждый шаг не отдавал.

Бубу догнали, когда он застыл над черным, матово поблескивающим зеркалом. Буба присел на корточки, сунул палец в зеркало.

— Вода! — сказал он многозначительно.

— Точно, — согласился Пак. — Это подземный ручей. А может, и целая река.

— В реку я не полезу! — заявил Хреноредьев. — У мене комплекция неадекватная!

— Какая-какая?! — У Бубы шары на лоб полезли.

— Неа-дык-вадт-ная! — повторил инвалид с ученым видом.

— Не понял, — задумчиво протянул Буба.

— А тебе, дураку, и не понять, едрит тебя через ручей!

Пак пресек разногласия.

— Ну и не лезь, раз ты такой! — заявил он Хреноредьеву. — Без тебя обойдемся.

Он зашел в воду по колени, потом по пояс.

— Тепленькая!

Пак пустился вплавь — саженками, неумело и медленно, тратя попусту много энергии. Буба тоскливо смотрел ему вслед. Но потом сделал все по-своему. Он отошел шагов на двадцать, разбежался, что было мочи, и прыгнул в воду вниз головой. Так и застрял, размахивая длинными костлявыми ногами — дно ручья было вязким и илистым, оно всосало в себя и руки Чокнутого и его башку.

Паку пришлось возвращаться. Вдвоем с Хреноредьевым они выдернули Бубу, поставили его, как положено, головой вверх. Первым делом, еле отдышавшись, Буба сказал:

— Придурки, все испортили!

Хреноредьев, зашедший в воду по пояс, решил, что ничего страшного не произойдет, если и он проплывет немного.

— Но чтобы поддерживали, едрена, — попросил он плаксиво, — а то вот утопну — с вас спросят!

— Утопнешь, — иронически заметил Буба, — народ хоть хрену с редькой вволю наестся!

С грехом пополам подземную речку удалось преодолеть. Вылезли на другой берег мокрые, взъерошенные, обессиленные. Хреноредьев рухнул на землю.

— Все! Больше ни шагу не сделаю, едрена переправа!

Пак стянул с себя комбинезон, выжал его чуть не до дыр. И натянул снова. Буба сидел, растопырив руки, уперев их в землю, сидел с высунутым языком и всем своим видом оправдывал данное ему прозвище.

Надо было как-то приободрить спутников. И Пак затащил:

И-ех! Едрена переправа!

Мы герои — хоть куда!

Хоть налево! Хоть направо!

Нам и море — не вода!

Хреноредьев с Бубой переглянулись. Пак присвистнул. И грянуло:

Хоть налево! Хоть направо!

Нам и горе — не беда!!!

В земляной норе не так отдавало эхом, как в трубе, но песня прозвучала и здесь лихо, молодецки. Настроение и силы были восстановлены.

Первым щель заметил Хреноредьев. Он просунул в нее голову и сказал:

— Там чегой-то есть.

— А ну пусти, — важно произнес Буба, напер на инвалида своим тыквообразным животом — и пропихнул того в щель. Потом и сам пролез.

Щель оказалась лазом в пещеру средних размеров. Посреди пещеры, прямо из земли торчали две плотно подогнанные створки — точно такие же, как у Эды Огрызины в подполе.

— Испробуем! — сказал Буба и встал на деревянные створки. — Ого! Гляди-ка, закрыты они, что ли! — он подпрыгнул на створках. Но они и это выдержали.

— Тут с умом надо! — заявил Хреноредьев. — А у тебя, Буба, в сегодняшних потасовках, едрена кочерыга, все мозги повышибли! Ну-ка, еще подпрыгни!

Буба подпрыгнул. Створки не поддались.

— Не-е, тут техника, — важно провозгласил инвалид.

И дернул какую-то штуковину, торчавшую возле створок.

В тот же миг Буба пропал из виду.

Створки захлопнулись.

— Ведь умеют же делать, вот черти! вот мастераюги! — восхитился Хреноредьев.

Пак смотрел на него свирепо и непреклонно.

— Ты чегой-то, Хитрец?

— Куда дел Бубу?!

— Да он сам куды-то девался, — Хреноредьев развел руками.

— Сам! Остолоп ты! — Пак сильно разозлился.

Инвалид поступил очень просто. Он встал на створки. Сказал:

— Щя разыщем избранничка! — дернул за штуковину. И пропал.

Паку не оставалось ничего иного, как повторить дерзкий эксперимент любителя технических хитростей сотоварища Хреноредьева...

Буба шлепнулся в бочонок с пойлом. Он еще на лету определил, что именно пойло, а не вода, жижа или нефть. О мазуте, бензине и прочих продуктах их производств не могло быть и речи, Буба различал их за версту. Но пойло он различал за пять верст.

Из бочонка выплеснулось изрядное количество драгоценной жидкости. И это растревожило Бубу. Он уже собрался было для успокоения нервной системы прильнуть к бочонку, испытать живительной влаги, как на него сверху обрушился толстый и нескладный Хреноредьев.

Буба уткнулся лицом в пойло и начал захлебываться. И он бы захлебнулся, если бы новый удар не завалил и Бубу, и Хреноредьева, и бочонок на бок — это сверзился с небес Пак Хитрец.

— Однако! — возмущенно произнес Хреноредьев. И ткнул Паку кулаком в хобот. — Можно было и поаккуратнее, едрена!

Они выбрались из лужи.

Пак сразу же сообразил, что надо уволакивать — хоть силой уволакивать — спутников подальше от бочонка, иначе они в три минуты перепьются, и тогда всем им труба!

— А ну! — заорал он.

И дал такого пинка под зад Бубе, что тот отлетел на два метра.

— И ты чокнулся? — поинтересовался Хреноредьев.

— Живо отсюда!

Пак отвесил Хреноредьеву своей пудовой клешней оплеуху. У того сразу отшибло и вкус, и нюх. Бубу Пак гнал пинками до выхода из пещерки. При этом он не щадил стоявшей в ней в полном беспорядке всевозможнейшей посуды, переколотил дюжины две бутылок, банок, склянок. Хреноредьев выполз сам. Правда, он зацепился своими деревяшками за какой-то непонятный и сложный агрегат, стоявший у самого выхода. Но ярость Пака сделала его проворным, он сумел высвободиться. Выполз.

Теперь они все втроем стояли посреди огромнейшей пещеры, какой ни одному из них сроду не доводилось видеть. Неожиданное зрелище заставило их позабыть о выяснении отношений и прочих вещах. Они стояли разинув рты и ждали.

А зрелище заключалось в том, что посреди гигантской пещеры, на деревянном, грубо сколоченном столе, посреди груды бутылей и больших банок, сидел, скрестив под собой ноги, карлик с телом восьмилетнего ребенка. Но у карлика была такая огромная голова, что непонятно было — как она удерживается на хлипкой и тонкой шее.

Карлик через толстенькую металлическую трубочку вы-

сасывал содержимое большой, двухведерной банки, стоявшей на полу у стола. Банка пустела на глазах.

Но самое странное заключалось в том, что, пока карлик не закончил своего дела, ни один из вошедших так и не сумел пошевелиться. Хотя Буба предпринимал все возможное для этого, просто рвался из собственной кожи, Хреноредьев пытался уползти назад, а Пак хотел просто поднять руку и поприветствовать сидящего. Ни у одного из них ничегошеньки не вышло — стояли статуями. Стояли и молчали.

Наконец карлик оторвался от трубки.

— Пожаловали! — сказал обиженным голосом. — А вас сюда звали, а?!

Пак вдруг почувствовал себя виноватым. И заплакал. Буба с Хреноредьевым тоже — вздохнули с прихлипом и зарыдали.

Одноглазый карлик сурово смотрел на них. И молчал.

— Мы сюда случайно попали, — начал оправдываться Пак, — шли мимо... вот и зашли!

— И куда же это вы шли? — поинтересовался карлик.

— Куда глаза глядят, — признался Пак, — нам теперь повсюду хорошо, лишь бы не в поселке оставаться.

— А чего у вас там?

— Пожгли все! Постреляли многих!

Пак всхлипнул, утерся согнутой рукой.

— Папаньку в золу обратили! А он ведь работник был — хоть куда!

— Это точно, — подтвердил Буба с серьезным видом, — папаша Пуго у нас был передовиком!

— Трудяга! — выдохнул Хреноредьев.

— И за что же пожгли? — спросил карлик.

— А кто их знает! — начал скрытничать Буба.

Но Пак раскрыл карты.

— Ихних уколошили! На пустыре! Это все Чудовище виновато, а нас гробят, вот такие дела!

Карлик моргнул, огромный глаз на миг затуманился.

— Так вы думаете, это месть?

— А чего ж еще, едрена колотушка! — осмелел Хреноредьев. — Как есть месть, самая она!

— Ошибаетесь, дорогие посельчане, — произнес карлик грустно. — Это не месть. Мстить можно тем, кто осознанно что-то делает. А туристы вас за таковых не почитают.

— Как это? — удивился Буба.

— А вот так! Они давно уже собирались почистить Подкуполье, такую дезинфекцию провести. Да все откладывали... А тут причина подходящая — дескать, создались условия, угрожающие жизни здоровых членов общества. Вот и почистили!

Хреноредьев обиделся.

— Дык что же это, — спросил он плаксиво, — мы им завроде вредных насекомых, что ли?

Карлик терпеливо и детально все разъяснил. Он старался сглаживать особо острые углы. Но до посельчан доходило. Они стояли навтыжку перед головастым мудрецом, ели его глазами. И не то чтобы он им открывал какие-то новые и совершенно неожиданные тайны, нет. Но у него получалось все так связно и складно, как никогда не складывалось у них в головах.

— А чего же мы тогда работаем?! — спросил Буба.

Карлик нахмурился, покачал головой.

— Вас, может, работа только и держит! Без нее вы бы стали как Эдины выродки, ясно?

— Это как сказать! — не согласился Пак.

— Ты, бузотер, помалкивай! — осек его карлик. — Без твоих стараний, может, ничего бы и не было. Зачем к Чудовищу приставали, а?!

— Оно само! — огрызнулся Пак.

— Не ври.

— Да ладно! Поиграть была охота!

— Вот и доигрались до охоты настоящей! Так что стой да помалкивай!

Пак почувствовал себя виноватым — наверное, впервые в жизни.

— Садитесь, гости дорогие! — некоторой долей иронии отдавало приглашение карлика. — Присаживайтесь, гостишки!

Все вдруг почувствовали, что напряжение спало, незримые путы, сковывавшие их, ослабли. И они опустились на пол, прямо около стола, на котором сидел головастый мудрец.

— Угостить вот только вас нечем! Но не беда, мы и с этим нехитрым делом справимся.

Буба Чокнутый, Хреноредьев и Пак Хитрец совершенно неожиданно для себя почувствовали, что их желудки и пи-

щеводы переполнены до отказа, будто они часа два кряду просидели за столом и выхлебали по ведру баланды.

Хреноредьев даже сыто рыгнул. Прикрыл рот ладошкой, сконфузился.

— Извиняюсь, стало быть, едрено пузо!

Пак ушипнул его за оплывший бок.

— Чудеса-а, — задумчиво проговорил Буба. — Со мною раньше такое бывало после двух доз! Ты случаем не наркот?

Карлик засмеялся, не разжимая маленького рта-клювика. И Буба сообразил, что сморозил очередную глупость.

— А ты сам-то кто будешь? — поинтересовался смущенный инвалид. — Тебя как звать-то?

Карлик перестал смеяться и ответил вполне серьезно.

— Кто я, вам знать не обязательно. А насчет имени... зовите меня Отшельником, не ошибетесь.

— Ладно, едрена переделка, — благодушно согласился Хреноредьев. Он начинал обретать обыденную самоуверенность. — А чего это ты отшельничаешь, а? Чего тебе среди людей не живется?

— У каждого свое место в этой жизни, — ответил Отшельник. — Ты, наверное, знаешь, какое из них лучше и удобнее?

Хреноредьев почесал загривок, задумался.

— Мене везде хорошо, — наконец ответил он. — Я мужик компанейский. А вот ты ответь все же, едреный интерес, отчего в тебе такая сила, — и не трогаешь руками, а будто за ниточки дергаешь? Сам-то ведь хилый, смотреть страшно!

Пак снова ушипнул Хреноредьева за бок.

Тот отмахнулся лапой.

— Отстань, щенок, когда старшие разговоры разговаривают!

— Не ссорьтесь, не надо, — попросил вдруг совсем мягко Отшельник. — Зачем вам эти бесконечные ссоры? Давайте я вам лучше покажу кое-что!

— Давай! — заорал Буба так, будто он только и ждал этого предложения.

— Покажи, — согласился Пак.

Хреноредьев лишь кивнул — дескать, и я не против.

— Смотрите!

Отшельник чуть откинулся назад и указал немощной

тоненькой ручкой на стену пещеры. Стена была огромна — метров сорок в длину и не меньше двадцати в высоту. Стена была не земляной и глинистой, она вся сплошняком состояла из причудливых, сросшихся друг с другом камней, в основном темных, матовых, но кое-где просверкивающих вкраплениями сланца и еще чего-то, поблескивающего, полупрозрачного. Но вместе с тем это была обычная стена пещеры, и ничего более.

— Да чего на стенку глазеть-то, едрена? — возмутился Хреноредьев.

— А там и нет никакой стены, — еле слышно прошептал Отшельник. — Вы приглядитесь-ка получше!

И произошла странная вещь. В единый миг стены не стало. Нет, она не упала, не рассыпалась, и уж, тем более, ее не заслонили и не занавесили чем-то. Ее просто не стало!

И открылось огромное, пугающе светлое пространство.

Хреноредьев с визгом и матом, на карачках, с невиданной и неслыханной скоростью, метнулся в противоположный угол, забился в него, сотрясаясь всем своим водянистым телом.

Пак упал на пол, лицом вниз. Он царапал каменный пол своими клешнями, словно решил во что бы то ни стало зарыться в него — да только в камень разве зароешься! Паку было так страшно, как никогда на свете. Он не испытывал подобного ужаса, ни когда горел живьем нелюбимый папанька, ни когда Чудовище гналось за ним, ни даже тогда, когда его травили опьяненные азартом туристы, выхватывая из темноты прожекторами его беззащитную фигурку и расстреливая ее в упор. Нет, сейчас ему было значительно страшнее!

Буба Чокнутый сидел, оперевшись на длинные и костлявые руки. По щекам его текли слезы.

— Ну чего же вы? Смотрите!

Отшельник вместе со столом, на котором он сидел, отъехал вдруг подальше, будто в столе был невидимый моторчик или его тащили незаметной нитью, привязанной к ножке.

— Смотрите! Я вам теперь не загораживаю!

Хреноредьев трясся осиновым листком, боялся поднять голову.

Пак с усилием оторвался от камня, на вершок, не больше. Открыл один глаз.

Первое, что он увидел, что ошеломило его и повергло, было необъятное и неестественно прозрачное, необыкновенно чистое, голубоватое небо. Пак и не предполагал, что можно сразу видеть столько ясного незадымленного пространства, на столько десятков, сотен, тысяч метров! И это было сказочно красиво! Но это было и чудовишно пугающе! Лишь потом он разглядел в бездонном и бескрайнем небе ослепительное солнце. Он даже не понял сначала, что это солнце, — настолько оно было непривычным, непонятным. Не тусклым, расплывающимся в туманной пелене диском, не полуслепым фонарем, а мощным прожектором, направленным прямо в глаза. И смотреть на него было больно.

— И-ех! Это ведь все мое! — простонал Буба не своим голосом. Схватился руками за плешиво-всклокоченную голову, забился в истерике. — Ведь я... ведь я там жил, и-ех!!! Ведь я же ничего не видел!!!

Хреноредьев из своего угла тоже понемногу присматривался. Его уже не так трясло.

И все-таки было просто жутко!

Паку казалось, что он сейчас упадет в эту синь, что он провалится в безоблачную и бесконечную пропасть неба. И он что было мочи держался за каменный пол, пытаясь нащупать в нем шероховатости и выемки, чтоб зацепиться, чтоб хоть как-то удержаться.

— Смотрите, смотрите!

Отшельник занимался своим делом. Он присосался к новой банке, тянул понемножечку, смакуя. Не отвлекая от диковинного зрелища гостей незваных.

— Вот те и едрена-матрена! — подал голос из угла Хреноредьев. Голосок был дрожащим и слабеньким. Но инвалид бодрился. — Ето прям как в песне, едрена, и-ех, загудели-зазвенели провода, мы такого, едрит мене, дурака старого, не видали никогда-а!

Больно было смотреть в эту чистоту и ясность, в эту синь и прозрачность. Но Пак расхрабрился — и смотрел, смотрел, да еще как! Вытаращив все свои четыре глаза, не отрываясь, боясь упустить хоть что-то! И боязно было, и мороз по хребту волной продирался, и кишки сводило, но он смотрел и смотрел.

Под фантастическим небом стояли дома — трехэтажные, двух-, одноэтажные, больших не было. Но это были дома!

Это были не лачуги и хибары, не бараки и корпуса... это были дома! Красивые, будто выписанные талантливым художником или вырезанные мастерским резцом. Дома утопали в чем-то пышном, мягком, зеленом. Паку пришлось пристально вглядываться, прежде чем он понял — это же деревья! Черт возьми, деревья, кусты! Но он никогда не видал таких деревьев и кустов, он никогда не видал такой травы! Те жалкие коряги, колючки, голые ветви и стволы, что торчали из грунта в их поселке и на окраине, не шли ни в какое сравнение с этой пышной зеленью, с этим безумством рвущейся к солнцу листвы.

— Ты нам морочишь голову бредовыми картинками, мудрец! — сказал он карлику. — Ты нам делаешь больно! За чем?!

— Смотрите! Смотрите! — только и ответил тот.

Пак подполз ближе, метров на семь или восемь. Он увидел несколько фигурок — длинноногих, стройных.

— Туристы?!

— Да, Пак, это именно туристы, ты не ошибся! Только теперь не они туристы, а вы сами! Хочешь туда?

— Нет! Ни за что!!! — завопил Пак.

— А я хочу-у, — промычал неожиданно Буба.

— И мене не забудьте, едрены торопыги! — закричал из угла опамятававшийся Хреноредьев. Он все боялся, что упустит чего-нибудь или что ему не достанется чего.

— А ты не бойся, Пак, подойди ближе, тебя никто не тронет, поверь мне.

— Нет!

Пак закрыл глаза руками.

— А я хочу-у!!!

Буба вдруг подскочил и побежал. В два прыжка он преодолел немалое расстояние, ткнулся было... но отлетел, упал. Стена, видно, оставалась на своем месте.

— Не спеши, Чокнутый! — предупредил Отшельник.

Пак убрал руку. Его как магнитом тянуло в пугающую пропасть.

— А это кто? — спросил он.

— А это дети, они бегают по лугу и играют, — ответил Отшельник. — И играют они не так, как вы, в них нет той жестокости и нетерпимости. Ну, смотри же! Ты все еще ненавидишь этих существ?

Пак видел, что и взрослые и дети вполне миролюбивы,

что они улыбаются и смеются, что они радуются жизни и любят друг друга. Но он знал и о другом.

— Да, я ненавижу их! — сказал он твердо. — Я их всех ненавижу!

— Не торопись с выводами, Пак! Подойди ближе к краю!

Пак подошел вплотную, протянул клешню. И почувствовал, что никакой стены нет.

Никогда в жизни Чудовище не спало так хорошо. Сон был легкий и невыразимо сладостен. Ему снилось, что жива еще мамаша, что не сварился возле прорвавшейся трубы отец, большой и сильный мужчина, — наверное, и страшный своим обликом для кого-то, но только не для него, Бига. Ему снилось, что он лежит в крохотной деревянной люльке — маленький, слабенький, беззащитный, но всеми любимый, что мать его нежно укрывает чем-то и напевает вполголоса старинную колыбельную, каких он потом не слышивал ни разу. Ему снилось, что оно вовсе не чудовище, что оно ребенок — он, беззаботный, что-то лопочущий по своему младенцу, безмятежно улыбающийся и матери, и отцу, и потолку в хижине, и всем заходящим, и вообще всем на этом свете... И так было приятно лежать в мягкой постельке, под одеяльцем, так приятно было покачиваться вместе с люлькой, что и просыпаться не хотелось!

Так можно было лежать вечно! Лежать и радоваться, забыв про все тяготы и невзгоды, про этот грязный и поганный мир. Зачем вспоминать о нем?! Ведь во сне все так прекрасно! И Чудовище погружалось все глубже и глубже в заволакивающую истому, его опутывала паутина дремы, вязкая и сладостная трясина засасывала, не давала вырваться, выбиться на поверхность. Да Чудовище и не стремилось никуда вырваться или выбиваться, ему и так неплохо было! На все остальное наплевать! Когда еще удастся так хорошо поспать, посмотреть-таки чудные, завораживающие сновидения?!

И все-таки в какой-то момент что-то его насторожило — слишком уж приторным, сиропным показался сон. Не могло быть такого, никак не могло! Ну и что?! нашептывало подсознание, ну и что?! мало ли чего не бывает на свете! спи, и радуйся себе! сейчас ты поплывешь по большой широкой реке, поплывешь по ней, не касаясь прохладных струй, и тебя унесет течение, и тебе будет так хорошо, как никогда

не бывало! наплюй на все остальное! спи! смотри эти дивные сны! поддайся этим чудесным грезам! не надо просыпаться! там дрянь! там мерзость! там проклятая повседневная жизнь, в которой все тебя ненавидят и все тебя гонят! там за тобой охотятся! там тебя преследуют! а здесь ты желанный гость! река вынесет тебя в огромный и теплый океан! будет светить солнце, будут плескаться волны! и ты будешь вечно по ним плыть! а там... там тебя убьют! ты не убережешься, нет! они настигнут тебя! и смерть будет мучительной, страшной! нет, тебе не нужно всего этого! зачем?! ты уже обрел все, что искал! ты плывешь... смотри, как здесь хорошо! ничего похожего ты не найдешь нигде в мире! здесь твое место! это твой путь! твоя колыбель — твой корабль, твой дом, ты сам! а будет еще лучше! ты растворишься в этом океане! весь, без остатка! ты сам станешь океаном — бескрайним и бездонным, бессмертным, вечным...

Нет! Чудовище уцепилось за краешек ускользающего сознания. Нет! Мне еще рано в океан! Я не хочу плескаться и плыть! Я не желаю быть водой! И вовсе не собираюсь жить вечно! Мне не нужно бессмертие! Я сам прерву свою жизнь, когда расколочу все эти мерзкие стекляшки! Я сам перережу себе глотку! Но не теперь! Теперь растворяться, уходить, становиться водой еще рано! Наверх! На поверхность! Вон из люльки! Вон из болота! Только туда, вверх!

С невероятным напряжением всех нервных и психических сил, обливаясь потом от этого напряжения, с рвущимся из груди сердцем оно проснулось. Приоткрыло один глаз.

Лежалось хорошо, лучше и мягче, чем в люльке. Пол был самой настоящей периной! Да и сверху прикрывало что-то мягкое, теплое. Чудовище попробовало пошевелиться. Но у него ничего не получилось — это самое «теплое и мягкое одеяло» сковывало движения. Пришлось открыть еще три глаза, с разных сторон, чтобы оглядеться толком. Понимание случившегося пришло не сразу. Чудовище не только увидело, оно и почувствовало, что все его тело опутано мягкими теплыми водорослями — или чем они там были на самом деле! Вот тебе и одеяльце!!! Переплетения были сложны и узорчаты — водоросли свивались тысячекратно и уходили в пол, стены. Сквозь них почти ничего не было видно дальше полуметра. Но зато с ними было все ясно!

Чудовище напрягло верхнее щупальце, попробовало при-

тянуть к голове. С большим трудом удалось сдвинуть его на несколько сантиметров. Тогда Чудовище попыталось резким движением подняться на конечности, выпрямиться. Водоросли спружинили, не дали этого сделать. Положение складывалось не лучшее!

Решив, что трепыхаться попусту не следует, Чудовище на время успокоилось. В коконе было тепло и приятно лежать. Его вдруг снова потянуло в сон. Сомкнулись веки, стало уплывать сознание. Но на этот раз Чудовище быстро пришло в себя. Нет! Надо не рваться, не дергаться, словно рыбина, запутавшаяся в сети, надо бить в одно место, тогда можно будет выбраться! Тем более, что до конца его навряд ли успели опутать, ведь оно проснулось раньше намеченного. Явно раньше!

И оно принялось потихонечку, но с изрядным упорством перетирать ближайшие водоросли жвалами. Те поддавались плохо, были упруги как резина. Но и челюсти у Чудовища были крепкими, жвалы и зубы острыми. Через несколько минут образовалась дыра. И к этой дыре, изнутри, с большим напряжением, удалось подтянуть два щупальца. Они довершили начатое — Чудовище прорвало кокон на уровне глаз. Дальше было проще — надо было расширять дыру и в то же время выпутывать одно за другим щупальца, нижние конечности. Но и теперь Чудовище не рвалось, не пыталось вырваться в миг единый. Кто знает, может, за ним наблюдают?! Может, ждут его реакции, чтобы наброситься, сломить сопротивление? И оно утвердилось в мысли, что спешить не надо. Лишь когда все тело почувствует возможность вырваться из кокона, лишь тогда можно будет вскопить, разорвать остатки пут. Но не сейчас!

Вот так сон! Хорошо поспали! Чудовище посмеивалось над самим собой, но на душе было гадко. Жвалы работали тихо, без остановки. Дыра разрасталась.

Чуть повернув голову, Чудовище увидало жуткую картину. Оно не поняло вначале, в чем дело. Лишь мгновенья спустя дошло. Хенк лежал метрах в восьми, весь перевитый сине-зелеными жгутами. Его невозможно было узнать — это была какая-то мумия, опутанная, оплетенная, чуть вздымающаяся в такт дыханию. Водоросли выходили прямо из пола и крепчайшими канатами удерживали тело туриста. Но не это было страшным!

Над головой Хенка, подрагивая на тоненьких раскоря-

ченных многосуставчатых лапках, навис гномик-паучок. Его полупрозрачное брюшко было на четверть красным, ярко-красным, на три четверти желтеньким — как у поганой сортирной мухи. Чудовище не сразу поняло, почему это так. Оно вообще не поняло, что он делал, этот паук. Но тот сам шевельнулся, слегка развернулся, оттопыривая две задние лапки с коготками... И Чудовище увидало, что гномик не просто так нависает над туристом, что его длинные, вылезающие из благообразного рта зубы-клыки, а может, и не зубы, а какие-то полупрозрачные острые трубки, погружены внутрь кокона, и по ним перетекает в брюшко гномика что-то красное. Кровь! Чудовище чуть не вскочило на конечности. Да, все так и было — паук-гномик, пронзив зубами обнаженное и вздрагивающее горло Хенка, высасывал из его тела кровь.

Гномик ничего не замечал вокруг. Он был увлечен. Причмокивал, почавкивал, тяжело дышал, сучил лапками, трясся. В брюшке скапливалось все больше крови — ее было уже не на четверть, а на треть брюшн ой прозрачной полости.

«Ну, хозяин! ну, гостелюб! сейчас мы разберемся!» — решило Чудовище. Его захлестнула волна ярости. Вмиг сорвав с себя остатки полуживой паутины и отшвырнув их, оно поднялось. Прыгнуло. Восемь метров остались позади, там же остался шевелящийся изуродованный кокон. Чудовище медленно, осторожно сжало щупальцем тельце гномика, так чтобы случайно не повредить Хенка.

— И-ииии! — заверещал вдруг гномик.

Но Чудовище не предоставило ему права последнего слова. Щупальце сжалось. Кровь брызнула на пол. Благообразная головка с выставленными клыками свесилась набок. Чудовище брезгливо отшвырнуло тельце, даже не поглядев, куда то упадет. И потянулось к лежавшему рядом с Хенком пулемету.

Первым желанием было изрешетить здесь все, перервать, перерубить, перебить, перегрызть, все в прах разнести!

Чудовище вскинуло пулемет и послало короткую очередь вверх. Пули увязли в водорослях. Нет! Так не годится.

Оно нагнулось к Хенку. Начало осторожно, чтобы не повредить кожи и внутренних органов, распутывать сплетения водорослей. Хенк дышал, а значит, он был жив. Лицо, проглядывающее сквозь сине-зеленую пелену, было мертвен-

но бледным. На шее красовался здоровущий синяк с двумя красными точками в центре, корочка спекшейся крови подсыхала возле них. Ранки были неглубокими. И это обнадеживало.

— Хенк! Ты слышишь меня? — позвало Чудовище.

Турист застонал, но очень тихо. Он был без сознания.

Наконец Чудовищу удалось выпутать его из кокона. Оно прижало к боку обессиленное тело, двинулось к выходу, к дыре. Но почти сразу же остановилось. Бережно положило Хенка на мягкий пол. Подошло к ближайшим свисающим с потолка водорослям, уцепилось за них щупальцами, дернуло. Две мохнатые нити оборвались, упали кольцами к ногам Хенка.

Чудовище взялось поухватистее, собрало в каждое щупальце по несколько водорослей, подтянулось. Водоросли держали. Тогда оно быстро, словно по канату, взобралось наверх. Там, под самым потолком, таким же мягким и заросшим, как и пол, была устроена широченная лежанка. Снизу ее не было видно совершенно. Но вблизи она производила впечатление. Посреди лежанки находилось сплетенное из тех же паутинообразных водорослей гнездо. И в нем мирно посапывали шесть розовеньких паучат, еще меньше, чем их папаша, раздавленный Чудовищем. Паучата, видно, и не подозревали об опасности, грозящей им. Один проснулся и в недоумении уставился на Чудовище круглым серым глазом. Наверное, он никогда не видал таких странных существ, а может, просто спросонья был не в настроении.

— Ладно, лежите, гаденыши! — пробурчало Чудовище. Паучат оно не тронуло, спустилось вниз.

Хенк так и не пришел в себя. Он лежал как покойник и даже дышал уже не так явственно — грудь вздымалась еле-еле. Чудовище нагнулось за ним, одновременно подхватывая свободным щупальцем ручной пулемет. Ему почему-то не захотелось оставлять эту штуковину здесь. Ему вообще захотелось уйти из этой гигантской «спальни» как можно быстрее. Уйти и никогда сюда не возвращаться. Вот только подберет Хенка. И пойдет!

— Вы напрасно это сделали, милейший! — прогрехотало басом сзади. — Видит бог, напрасно!

Чудовище не стало оборачиваться. Оно лишь выпрямилось, прижимая к груди пулемет.

приземлилось сразу на щупальца и конечности. Тут же перед глазами щелкнула вторая клешня.

Бежать было некуда. Но и здесь оставаться — означало верную смерть. Ведь перед ним стояло нечто неодолимое, какая-то машина уничтожения, а вовсе не живая тварь. Хорошо было Хенку, тот лежал и даже представить себе не мог, что сейчас происходит! Но паучиха не смотрела на Хенка. Он был ей, видно, безразличен.

— Ну что, милейший, еще поиграем!

На этот раз Чудовищу крепко досталось — одной клешней ему разорвало мышцу на груди, другой сбilo с ног. На минуту оно потеряло ориентацию. И этого хватило — гигантский коготь вновь подцепил его, поднял высоко вверх. Теперь Чудовище висело над головой паучихи, метрах в трех от нее. Были видны сквозь просветы железной маски спокойные серые глаза — немигающие, застывшие — и острый трубчатый клюв. Он даже высывался немного наружу.

— Ну так что же, милый друг, вы испытываете раскаяние? Или нет?! — голос проскрежетал в самые уши. Кажется, он исходил не изо рта или клюва паучихи, а из бочкообразного брюха. — Или ты, убийца проклятый, не понимаешь, что натворил?!

— Это ты убийца! — выкрикнуло Чудовище прямо в рожу паучихе. — Ты и твой муженек-кровосос, ясно?!

— Ха-ха, а мы не слишком-то вежливые! — заскрежетало сильнее. — Мы, наверное, грубияны. А ну, получи первый подарок!

Она встряхнула Чудовище, чуть не вывернув его из собственной шкуры. Одновременно второй коготь впился ему под ребра. Но не тут-то было! Ухватившись за него сразу четырьмя щупальцами, Чудовище выдержало из себя черное поблескивающее острие.

— Ах, вот мы как!

Ного-лапа подбросила его. И снова Чудовище рухнуло вниз с большой высоты. При его весе такие падения не были безопасными. Оно чудом извернулось, сберегло себе жизнь.

И тут же мощным ударом его швырнуло в стену. Потом опять подбросило. Швырнуло в другую стену, прямо сквозь паутину водорослей. Они-то и смягчили немного удар. Но гигантская клешня мгновенно перерезала нити. Чудовище вновь оказалось на полу. Голова у него гудела, не сообража-

ла совершенно, все внутренности были отбиты и сильно болели при каждом новом ударе. В глазах все мелькало и кружилось. Два шупальца висели безжизненными плетями. Из раны на груди текла зеленая густая кровь.

— Еще разок?!

Новый удар обрушился сверху. Он пришелся прямо по горбу. Кожа лопнула, изнутри брызнуло зеленой. Чудовище рухнуло на пол, покатилося в угол. Оно было полностью выбито из колеи и не могло даже защищаться. Озверевшая паучиха гоняла его пинками и ударами клешней по всему заросшему водорослями и мхом помещению — из угла в угол, от стены к стене. И спасения не было.

Когда у Чудовища уже совершенно помутилось в голове и оно окончательно обессилело, паучиха вновь приподняла его своей двенадцатисуставчатой поблескивающей ного-лапой на высоту десяти метров, заглянула снизу в глаза, вывалившиеся из-под кожи, проскрежетало громко, раскатисто, будто торжествующе смеясь, и сказала:

— Все, милейший, игры кончены. Сейчас ты издохнешь в ужасных мучениях, понял?! Я не завидую тебе. Уж лучше бы ты не просыпался!

Пак сделал шаг... и прошел сквозь стену. Но тут же остановился. Ему было очень боязно — а как же, шагнуть туда, в неведомый мир! А вдруг это западня?! Вдруг там ничего нет?! Вдруг его поджидает там расправа?! Он помнил, как за ним гнались на броневиках. Гнались те самые туристы или их близкие, что играли сейчас столь беззаботно на зеленой лужайке. Нет! Нет!! Нет!!!

И все же он сделал еще шаг. И почувствовал, что следом за ним прошел стену Буба Чокнутый. Вместе, придерживая друг друга, они прошли несколько метров по шелковистой траве. Тут их догнал Хреноредьев — он ворвался в зеленый мир, как бежал до того в угол, на карачках, с быстротой непостижимой, словно его гнали из пещеры сворой борзых. И тут же сделал заявление.

— Тока чтоб все путем, едрена!

На заявление не обратили внимания. Пак смотрел вперед, на лужайку, ничего-то он не видел и не слышал.

— Идите, не бойтесь, — проговорил Отшельник приглушенно. — Но помните, любое зло, сотворенное в этом мире, отразится на вас же, будьте осторожны! А тебе, Хитрец, я

советую выбросить эту ненужную железяку! Зачем она тебе там?!

Пак прижал железяку к груди. Потряс головой.

— Откуда ты знаешь мое прозвище? — спросил он.

— Эхе-хе, ты лучше запомни, что тебе говорят, — грустно произнес Отшельник. — Или решил вернуться?

— Нет! Теперь я не вернусь!

— Совсем?!

— Если этот мир примет меня, то и совсем! — твердо ответил Пак.

— Ну это еще твоя запойная бабуса надвое сказала! — вставил Хреноредьев. — Не вернется он, едрена вошь, не-возвращенец объявился!

Буба дал Хреноредьеву по заливку. Прижал палец к губам.

— Тихо, придурки, — сказал он почти молитвенно, — я на родину возвращаюсь.

Он неожиданно опустился на колени и припал губами к земле. Затрясся. Острые худые плечи, спина, зад ходуном заходили.

— И-ех, земелюшка, родимая! Скоко лет?! Скоко зим?!

Хреноредьев, наоборот, встал. Он долго смотрел на юродствующего Бубу. Потом размахнулся единственной собственной ногой и дал ему хорошего пинка под зад. При этом сам не удержался, шлепнулся на пузо. Но сказал:

— Че ты нам мозги вкручиваешь, Буба?! Тебя, едрена марафетчика, с этой земелюшки в три шеи вышибли! Как заразного! Как чумного! С бешеными собаками так не поступают, едреный возвращенец, как с тобою поступили! И-ех!

Буба потер ушибленный зад. Но ничего не сказал. На глазах у него были слезы.

Напоследок Отшельник дал наставление:

— Дурить будете, пропадете!

Пак оглянулся — никакой пещеры и никакого Отшельника не было. Они стояли на зеленой лужайке, со всех сторон их окружали высоченные деревья с густыми кронами. В просвет были видны бегающие туристы и их домики. И все!

— А как же, едрит этого карапуза, назад возвращаться?! — озадачился Хреноредьев.

— Может, и не придется, — вымолвил Пак вяло.

— Не бузи, шенок! Набедокурил в поселке, а назад вертаться не желаешь, так, что ль, понимать?! — взъелся Хреноредьев.

— Да нет! Я говорю, может, мы все тут и поляжем? — отозвался Пак.

— Двумя дураками меньше станет, — вставил равнодушно, как-то вскользь, Буба.

— Это почему же двумя?! — возмутился Хреноредьев. — Ты чего это, Буба, меня за человека не считаешь? Иль я для тебе, едрена гармонь, пустое место!

Буба вздохнул, потер ушибленную задницу еще раз, словно вспоминая о пинке.

— Дурак — ты и есть дурак!

Пак разнервничался, взмахнул железякой.

— Неужто вы и здесь, в этом мире, будете скандальить, а?!

Буба и Хреноредьев засмушались — они и в самом деле ощутили какую-то неловкость, какое-то несоответствие своего поведения и всего окружающего, словно наследили грязными сапожищами на зеркальном паркете во дворцовой зале. Правда, ни один из них не видал ни дворцов, ни зал, ни паркета.

— Надо разработать план, — предложил Буба.

На него посмотрели с заинтересованностью и уважением.

— Да! — Буба воспарил. — Без плана никак нельзя. Но для начала предлагаю избрать совет и его председателя.

— Совет чего, едреный возвращенец? — поинтересовался Хреноредьев.

— Совет поисковой партии! — ответил Буба, будто ожидал подобного вопроса.

— Звучит неплохо, — выразил мнение Пак.

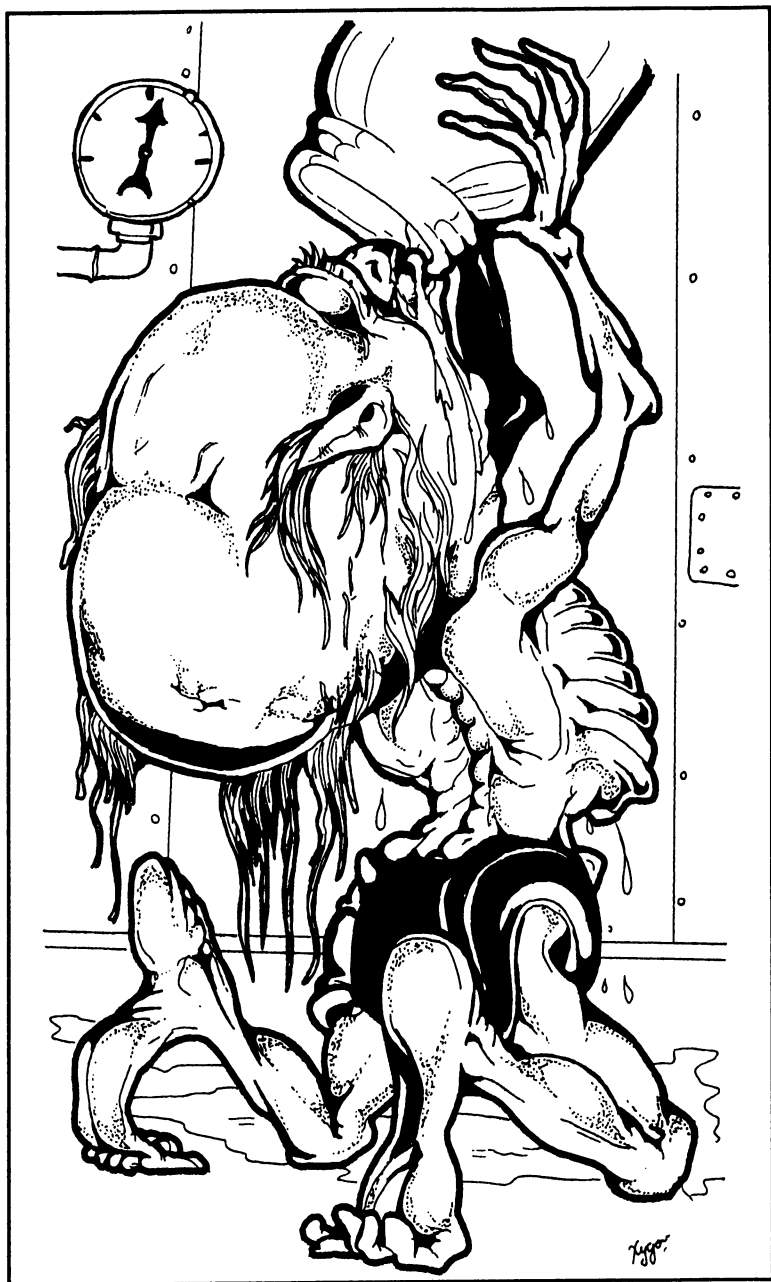
— В таком случае, предлагаю свою кандидатуру на пост председателя совета, — скромно потупив разноцветные очи, сказал Буба. И тут же добавил: — Двумя первыми заместителями рекомендую назначить Пака Хитреца и доблестного инвалида сотоварища Хреноредьева.

— Я не против, едрена!

— Тогда будем голосовать. Кто за?

Пак не дал церемонии завершиться.

— Завязывай, Буба! Принято! Не надо тут волокиту раз-



водить. Надо обстановку разведать, затаиться надо, пока не прикокошили! А ты собрание проводишь, бюрократ хренов!

Инвалид засопел рассерженно.

— Может, он и бюрократ, не знаю, едрена промокашка, а оскорблять не следует!

Пак ему не ответил. У него болела голова. И от необычайно чистого, напоенного кислородом воздуха, и от обилия красок, и от щебета птиц в ветвях, и от всего прочего, окружавшего его. Кроме того, он все так же боялся упасть в это бездонное небо, утонуть в нем, раствориться.

Другое дело, Хреноредьев! Тот освоился сразу, с первых же минут, будто он прожил за барьером всю свою полубес-сознательную жизнь, будто он не из вонючего и загазованного поселка выбрался!

Но в новых условиях самым мудрым оказался Буба Чокнутый. Как председатель совета он сразу взял нужный тон. И заявил со всей ответственностью:

— Вам, дегенератам, на люди показываться нельзя! Или пристрелят с перепугу или в зверинец отвезут. А может, и заспиртуют!

Пак взглянул на свои клешни. Потом вытащил осколок зеркальца из кармашка. Всмотрелся. Хобот почти зажил, рубец был еле заметным. Нет, Пак себе нравился! И он не понимал, с какой стати его могут посадить в зверинец или заспиртовать. Для Хреноредьева вообще вся эта проблема была недоступно сложна.

Буба оказался и самым рассудительным.

— Вы тут, придурки, затаитесь покедова, а я пойду на разведку, — сказал он.

— А я б и так, едрена, с тобой в разведку не пошел! — отрезал Хреноредьев и улегся на травку.

Пак присел у большущего дерева с корявой, но теплой и живой корой, прислонился к нему.

— Иди, куда хочешь! А я вот залягу сейчас в засаду и буду поджидать — нравится это кому-то или нет, а я угроблю из железяки столько туристов, сколько в ней патронов, ясно?!

— И всех засыпешь, недоумок!

Буба повернулся спиной, постоял. И пошел куда-то, наверное, и в самом деле он собрался чего-то разведывать. Хреноредьев ползал по траве, собирал губами красненькие

ягодки. Он не знал, как они назывались, но глотал их с удовольствием.

Пак перевернулся на живот. Выставил вперед железяку. Он без всяких шуток собирался ухлопать первого же, кто покажется вблизи. И у него, видно, были весомые основания для этого.

— Наверху неделя, небось, прошла! А мы все катимся по дурацкой трубе! — ныл Лопоухий Дюк. — А куда, никто не знает!

— Разговорчики, падла!

Гурыня был словно из кремня вытесан. Он не знал ни сна, ни усталости. Будто дьявол-егоза сидел в его груди и не давал покоя. Причем не только ему самому, но и всем прочим.

— Командор знает, чего делает! — Скорпиона Бага грозно поглядел на Дюка. И тот смолк.

Громбылу Плешака продолжало тошнить и рвать. Казалось, он уже выблевал все, в том числе и собственные внутренности, но его рвало и рвало. Помойный дух стоял в броневике, все в заднем отсеке было загажено. Но парни из Гурыниной ватаги да и он сам ничего не замечали. Их гнал вперед азарт, жажда приключений, рискованная натура и еще что-то такое, чему названия пока не придумано.

— Мы их всех, падла! — повторял через каждые десять минут Гурыня. — Еще узнают нас!

По логике вещей от машины, столько времени несущейся по трубе, подпрыгивающей, трясущейся, рокочущей натужно, бьющейся об округлые ржавые стены, давно ничего не должно было остаться. Но, видно, это была крепкая, надежная машина! Она перла и перла, и износу ей не было!

Гурыня не понимал всяких тонкостей по части горючего или наработок на отказ, он выжимал из броневика все возможное и ничего не желал знать. И броневик неслся! Скрипя, грохоча, сотрясаясь, наполняя трубу ужасающим ревом своих измученных моторов.

— Пора бы привал сделать, — пискляво попросил Плешак.

— Я тя привалю, падла! — сказал Гурыня беззлобно.

Но Плешака Громбылу затрясло посильнее, чем загнанную машину.

У самого вожака начали появляться галлюцинации. Ему

вдруг мерещились какие-то мелкие и вертлявые фигурки, пляшущие на узенькой полоске лобового стекла, то вдруг сверху, от переборок свешивались противные зеленые черви, начинали извиваться, норовя залезть в глаза. Гурыня отмахивался, отругивался, отплевывался. И наваждения пропадали. Однажды, совсем очумев, он скомандовал Баге:

— Пали, падла!

Тот так засадил из пулемета в бесконечность трубы, что еще с полчаса стояло жуткое эхо — будто миллион тонн железного гороха просыпали! Но Гурыня не расстроился и не выказал слабости.

— Молодец, Бага! Выношу тебе благодарность! Ты не то что некоторые ротозеи и разгильдяи! Молодец!

— Рад стараться! — рявкнул Бага.

Дюк с Плешаком теперь и на Скорпиона поглядывали с уважением, видели, что он в чести у шефа. Но будь их воля, они бы давно вылезли из машины, завалились бы посреди проклятушей трубы — и пропадай все пропадом!

Только раз за последние сутки машина остановилась. Это произошло, когда Гурыня увидал сбоку железную лесенку. Он затормозил так, что чуть траки гусениц не расплавились и от скрипа едва не оглохли члены экипажа, несмотря на то, что сидели под наглухо задраенной броней.

— Стоять, падла! — скомандовал Гурыня. И ткнулся мордой в щиток.

На него навалились задние, чуть не расплющили. Да только Гурыня не из того теста был слеплен, чтоб расплющиться. Он тут же отбросил назад парней из ватаги. Баге дал щелчка, Дюку с Плешаком по оплеухе. И вылез из машины.

— Бага! — позвал он.

Скорпион мгновенно выбрался на броню, застыл на четырех лапах, прижав две другие к ушам.

— Я тут!

Гурыня одобрительно потрепал его за остатки волос.

— Стой на стреме! Ежли чего, падла, свистнешь! Понял?!

— Так точно!

Бага стал бдительно озираться по сторонам, как бы показывая, что мимо него не проскочишь. Гурыня полез по железным узким скобам.

Дюк с Плешаком выбрались. Улеглись прямо на ржавом

запыленном днище трубы. Но успокоиться не могли — их все еще трясло, колотило, било.

— Щя бы в поселок, а? — протянул Дюк, расправляя свои огромные уши.

— И баланды похлебать, — продолжил Плешак Громбыло мечтательно.

Но при воспоминании о баланде его сразу же снова начало рвать. Дюк отодвинулся, брезгливо поморщился.

— Эй вы там, внизу! — Грозно скомандовал с брони Бага. А ну, молчать! Отвлекаете, понимаешь, от несения боевого дежурства!

Болтуны замолкли.

А в это время Гурыня лез и лез наверх, не зная устали, не оглядываясь. Да и что толку было оглядываться — в крошечной тьме ни черта не видно. Но вблизи он многое различал. Сумел различить и крохотный лючок, открытый, — торчавшие петли говорили о том, что когда-то лючок, прикрывался крышечкой, да видно, отвалилась или оторвали.

Гурыня по-змеиному вполз внутрь, наткнулся на что-то холодное, твердое. На ощупь продвинулся немного, перебирая своими костяшками. Все было непонятно! Тогда он вцепился в ближайшую штуковину, дернул на себя. Она легко поддалась — Гурыня чуть не завалился на спину. Но до него кое-что дошло. Он поднес штуковину к глазам, медленно провел ею перед ними — точно, это было какое-то оружие! Не такое, как туристические железяки, но оружие — большое, тяжелое, надежное! И он взялся за дело.

— Ой! Чего это! — завопил растерявшийся Бага, когда совсем рядом что-то со страшным лязгом упало.

Но он не успел толком удивиться, потому что сверху посыпалось множество тяжелых, явно металлических вещей — как будто там где-то что-то сломалось и произошел обвал.

Дюк с Плешаком подползли поближе. Но не настолько, чтобы рисковать своими жизнями.

— Видать, нашего Гурыню там пришили! — высказал мысль Дюк.

— Вряд ли, — засомневался Плешак Громбыла, — скорей, он кого-нибудь по кускам разнес — вот и сыпятся обломки!

— Мудрено все это!

— А ну, молчать! — пресек разговорчики Бага.

Через полчаса по лестнице сполз обессиленный Гурыня. Он долго сидел на броне, не мог отдышаться. Потом прыгнул, начал рыться в груде железа.

— А ну ко мне, падла! Разбирай — что кому по душе!

Тшедушному Громбыле он повесил на плечо автомат, сунул за пазуху несколько рожков с патронами. Лопоухому Дюку выделил ручной пулемет, связку гранат. Баге просто махнул рукой — бери, что хочешь! Минут двадцать они загружали трофеи в машину. И уже собирались тронуться, но Гурыня сообразил-таки, что следовало бы устроить учебные стрельбы.

И он их устроил! Половина оружия оказалась негодным — наверное, испортилось от времени или поломалось при ударах об днище трубы. Но добра было навалом! Больше, чем надо!

Дюк с Плешаком не сразу овладели мастерством стрельбы из автоматов и пулеметов. Гурыня и сам с ними проковырялся долго, техника была посложнее туристских трубок. Но не особо и хитрая! Овладели! А неясности Гурыня не любил, растолковывал все тумакami и пинками — поневоле приходилось овладевать.

Правда, чуть не оглохли от пальбы. Но это было делом житейским. Ненужное побросали и уехали. Теперь Гурыня не ведал сомнений. Если и были на белом и черном, сером и буром светах подлинныe герои, так это он и его ватага! Все им по плечу! Никого они не боятся! И не будут они никого бояться! Только попадись на пути!

Третьи сутки несли броневик по трубе. И исхода не было!

Но была зато лютая злость! Был опьяняющий азарт! И было желание перевернуть к чертовой матери весь этот поганый мир!

— Да-да! Лучше бы ты сдох во сне! Ты бы не заметил даже, что сдох! Вся твоя зеленая кровушка вылилась бы из тебя. И стал бы ты сушеным крысосусликом. Да! Но ты бы никогда не узнал об этом! Тебе бы казалось, что ты плывешь в своей люльке по теплым волнам, что растворяешься в убаюкивающем тебя океане, что ты становишься океаном — бессмертным и бесконечным! Но ты сам выбрал свой путь, и теперь... — из пасти гигантской паучихи послышался омерзительный скрежет.

Будто колья снизу воткнулись в тело Чудовища четыре острейших черных когтя; еще два, но уже с боков, уткнулись в

могучую, но такую сейчас беззащитную шею. Пятый стал нащупывать ложбинку у основания черепа. Шестой замаячил перед глазом. Паучиха опустила на колени, если так можно было назвать круглые и поблескивающие сочленения ее многосуставчатых ного-лап. И от этого у нее сразу же освободились бритвенно острые когти.

— Я не буду спешить! — пророкотала она. — Мне некуда спешить, милейший. Каждый из этих коготков будет пронзать тебя медленно-медленно, пока ты в жутких судорогах не испустишь свой поганый дух. Но я заверяю тебя, произойдет это не скоро!

Может, это и к лучшему, подумало Чудовище, вот сдохну тут в муках — и земля чище станет, на одного мутанта меньше ей придется носить! Было бы чего жалеть! Все равно кроме зла и боли, слез и крови ничего-то я не принесу обитателям этого мира. За что бы ни брался, все оборачивалось страданиями, слезами. Да, наверное, пора! Ведь каждому положен свой предел, каждому отмерено ровно столько, сколько он заслуживает в этой жизни, и ни один не знает своего смертного часа. А я-то, дурачина, собирался сам себя лишать жизни, сам собой хотел распоряжаться. Дудки! Мы все только предполагаем, а что-то высшее, неведомое располагает. Оно играет нами как бессмысленными жалкими куклами, и мы не в силах противиться этой игре. И я умру. И Хенк умрет. И эта огромная паучиха когда-нибудь умрет — захлебнется чьей-нибудь кровью! Да и весь мир когда-то погибнет! Не вечно же он будет гнилой отвратительной язвой украшать бездонную черноту Космоса! Нет, не вечно! Значит, пора! Значит, настал час!

Когти со всех сторон чуть поднажали, вонзились в тело сильнее. Чудовище вздрогнуло. Оно тоже умело испытывать боль. Оно тоже было живым.

— Ты ничего не хочешь сказать на прощанье? — спросила паучиха.

— Хочу.

— Ну так говори!

Чудовище молчало. Ему тяжело было ворочать жвалами и языком.

— Говори! Да подумай перед этим хорошенько — и может быть, я отпущу тебя. Что ты хочешь мне сказать?

— Совсем немного, — прохрипело Чудовище.

— Ну-у, я жду.

Давление когтей чуть ослабло.

— Говори!!!

Чудовище приподняло свесившуюся голову.

— Я жалею, что не раздавил твоих гаденышей! — вырвалось из его пересохшего горла.

— Что-о?!

Когти впились в бока, шею.

— Повтори!

Чудовище задрожало, боль становилась непереносимой — казалось, острия когтей вонзались прямо в печень, сердце, селезенку, почки...

— Я повторяю, — просипело оно совсем тихо, — повторяю! Мне ничего не стоило передавить твоих гаденышей прямо в гнездышке, одного за другим. Но я не сделал этого, я смалодушничал! Теперь я очень жалею об этом! Их надо было...

Когти погрузились еще глубже в его тело. И Чудовище издало тихий стон. Оно не могло больше говорить. Но и кричать, визжать, биться, просить пощады оно не собиралось. Смерть надо было встретить достойно.

— Ты еще жив, милейший? — ехидно спросила паучиха.

— Жив! — отозвалось Чудовище.

Оглушительный скрежещущий смех заполнил помещение.

— Ну так поживи, поживи еще немного. Помучайся, родимый! Тебе не так уж и долго осталось — часиков через пять мне пора будет кормить моих очаровательных малюток. А пока поживи!

Когти чуть вышли из тела, давление их ослабло.

— Как ты себя чувствуешь, дружок?

— Прекрасно!

Чудовище еле дышало, ему было больно вздохнуть — все горело, кололо, резало внутри, будто там орудовала тысяча безжалостных дьяволят.

— Ты не устал?

— Нет!

— Ну, тогда мы продолжим!

Когти вышли из ран наружу — как заостренные и шипастые гарпуны, они раздирали внутренности при этом движении. Но они вышли!

— Сейчас мы передохнем минутку и снова начнем, милейший!

Когти уперлись в неповрежденные участки кожи и тела. Вот-вот они должны были вонзиться. Чудовище поняло, что оно не выдержит пяти часов! Оно и получаса подобной пытки не выдержит! Но оно молчало. Оно готовилось. Ждало. Напрягая все силы, собирая мужество и волю, чтобы не застонать, не заорать от лютой боли.

В голове у него стоял туман. Мозги отказывались выполнять свою работу, они оцепенели, они одеревенели и превратились из мыслящего вещества в вату, в груды мочалок, свитых, переплетенных, мертвых... И все же сквозь этот туман, преодолевая одеревенелость и оцепенелость, пробился слабенький знакомый голосок:

— Ну что это такое! Опять, Биг?! Стоило мне только заиграться с этими простаками-посельчанами, и ты влип в новую историю! Нехорошо, Биг! Это просто непорядочно!

Чудовище молчало. Ему казалось, что это лишь бред, галлюцинации. Ведь никакого чудо быть не могло, его ждала смерть. Смерть, и ничего более!

— Ты здорово влип, Биг! Не знаю даже, смогу ли я выпутать тебя из этой истории! — проговорил в мозгу Отшельник. Теперь его телепатический сигнал звучал яснее, отчетливее.

Когти начали сжимать тело. Но они еще не прорвали кожи — та напряглась, вздулась, вот-вот она могла лопнуть. И тогда новая боль, новая пытка!

— Я не могу тебе помочь! Я не могу тебя освободить! Но я могу собрать воедино все защитные силы твоего могучего организма! Они есть, Биг! Ты веришь мне?!

— Верю, Отшельник! — прошептало Чудовище. — Верю! Паучиха громко захихикала.

— Да ты никак бредить принялся, милейший! Ну сейчас мы тебя освежим!

Когти надавили чуть сильнее. Вот сейчас, еще немного, и из-под них брызнет изумрудная кровь, они вопьются в мясо, в вены, в артерии, в легкие, в нервные узлы...

— Ты непроницаем, Биг! Твоя кожа стала броней, Биг!!! — голос Отшельника звучал уже не только в мозгу. Им была наполнена вся Вселенная. Но это лишь казалось Чудовищу. — Нет такой силы в мире, которая пронзит твою титановую обшивку, Биг! Ты не живое существо, ты стальной монстр! ты бронированный корабль, который выдерживает давление в миллионы атмосфер! Ты не-по-бе-дим, Биг!

Чудовище почувствовало, что когти надавили сильнее, что паучиха сжимает его тело, напрягая все мышцы, что она уже не играет с ним будто кошка с мышкой, что она начинает свирепеть. Но оно чувствовало и другое: игольно острые концы когтей не могли проткнуть его плотную волдыристую кожу — она превратилась в броню. Когти скрежета-ли по этой броне, скользили, один обломился с треском... но ни на миллиметр они не проникли внутрь!

— Держись, Биг! Я помогаю тебе! — прозвучал опять голос Отшельника.

— Я держусь! — ответило Чудовище. Оно вновь обрело волю к жизни. Оно хотело драться за свою жизнь. Но оно было бессильно против этого исполинского механизма смерти. И надолго ли могло хватить его защитных сил, надолго ли могло хватить самого Отшельника?! Ведь тот был слаб! Чудовище помнило все очень хорошо — и его высохшее тельце, и огромную распухшую голову, и то, что он был почти недвижим. И все-таки надо было бороться за себя. Надо бороться!

Еще один коготь с хрустом сломался.

— А ты крепкий орешек! — зло проговорила паучиха.

И резким движением головы скинула железную решетчатую маску. Заостренный клюв навис над Чудовищем. Глаза паучихи из холодных, стальных превратились в безумно-дикие, пылающие желтым пламенем, это были глаза убийцы.

Голова откинулась назад, для размаха, клюв сверкнул вороненым тусклым блеском и пошел обратно, набирая скорость, силу, тяжесть для удара...

И в этот миг совершенно неожиданно правый глаз, выпущенный, страшный, огромный, взорвался, словно его разнесло изнутри неведомой силой. На Чудовище брызнуло желтоватой студенистой дрянью. И только тогда раздался звук:

— Тра-та-та-та-та!!!

Чудовище еще ничего не поняло, когда то же самое произошло с левым глазом — его расплескало, разбрызгало в долю секунды. Теперь обе огромные глазницы были пусты, безжизненны. Голова вместе со смертельным своим орудием — острейшим тяжеленным клювом — свесилась набок. Жижа потекла из глазниц на пушистый ковер пола.

И только тогда боковым зрением Чудовище увидало стоящего на коленях Хенка. Он сжимал обеими руками пуле-

мет. И продолжал стрелять по этим пустым, безжизненным глазницам. Он еле держался, его водило из стороны в сторону, лицо было меловым, под глазами синели большие набрякшие круги... Но он стрелял и стрелял. До тех пор, пока магазин пулемета не опустел. Вместе с последней пулей, вырвавшейся из ствола, Хенк выронил пулемет, упал навзничь.

— Осторожно! — пророкотал голос Отшельника.

Чудовище почувствовало, как ослабло давление когтей, ного-лап. Оно выпало из них мешком, шлепнулось на заросший пол. И тут же сверху на него обрушилось огромное серо-желтое брюхо. Лишь врожденная реакция помогла Чудовищу, спасла его — оно увернулось в самый последний миг, лишь три щупальца и одну конечность придавило к полу.

Собрав остатки сил, Чудовище дернулось, вырвалось. И рухнуло рядом, сознание оставило его.

И снова — качалась люлька, пела колыбельную мать, и несли теплые игривые волны... куда несли — неизвестно, лишь покачивало, мягко, приятно, усыпляюще. А потом и это пропало. Навалилась свинцово-черная пустота. Навалилась, прижала, лишила всего.

Когда Чудовище очнулось, над ним стоял Хенк. Он был не таким бледным, как раньше, лишь круги под глазами остались.

— Ну что, продрыхся, приятель? — спросил он.

Чудовище не ответило. Оно еще не понимало, где сон, где явь. Голова была пустой и невесомой. Но когда оно перекатило глаз назад, оглянулось и увидало ужасающие останки исполинской изуродованной паучихи, память вернулась. И все стало на свои места.

— Чего молчишь? — заволновался Хенк.

— Там, наверху, в гнезде, — медленно, вразбивку, проговорило Чудовище, — детеныши этой твари. Надо бы их передавить!

Хенк задумался.

Чудовище приподнялось, встряхнулось.

— Но это же детеныши... — неуверенно начал Хенк.

— Неважно! — проворчало Чудовище.

Оно уже уцепилось щупальцем за нити-водоросли.

— Нет, Биг, не стоит! Ты потом будешь жалеть!

Чудовище выпустило упруго-мягкую зелень. Расслабилось.

— Хорошо, — проговорило оно, — тогда пошли отсюда скорее! А то и меня навроде вас всех начинает тошнить!

— Пошли! — согласился Хенк.

Бубу только за смертью посылать! Он ушел и как в воду канул. Хреноредьев сидел, поджав деревяшку под жирную задницу, и ныл:

— Ни стыда, ни совести, едрена-матрена. А еще избранник! Нет, Хитрец, надо нам промеж себя главного выбирать, а Чокнутого — к едрене фене, в отставку!

Вся маслянисто-жирная, расплывшаяся рожа Хреноредьева была красна от сока ягод, которых он на поляне не оставил ни одной штучки даже на развод — Хреноредьев обожрал все вокруг, не брезгуя молоденькими листочками, гусеницами, жучками, двумя невесть как попавшими на полянку пиявками и мышкой-норушкой, которую он проглотил от алчности целиком, не пережевывая.

— Не-е, с такими чокнутыми избранниками нам не по пути, Хитрец, они нас с тобой угробят, а сами и смоятся, едрит их наперекосяк.

Пак лежал в засаде и помалкивал. Он выжидал жертву. И его больше не манило бездонное небо. Он присмотрелся к этой голубой пропасти, привык. И теперь всякий раз, поднимая голову, он видел совсем иное — не лазурь и сияние солнышка — а пепелище, скукожившуюся телогрейку, дымы над поселком и бьющуюся в агонии Эду Огрызину.

А потому, когда за кружевом листвы показалась двуногая вытянутая фигура, Пак, не раздумывая, нажал на спусковой крюк.

— А-аау!!! — раздался короткий вопль.

И через полминуты на поляну выполз Буба. Он держался рукой за ухо. Из-под ладони сочилась кровь.

Хреноредьев шепнул Паку:

— Ты б его дострелил, что ли! Чего етому избраннику мучиться.

Пак треснул Хреноредьева железякой по башке. Хотя надо было бы треснуть за промашку самого себя.

— Ну и как знаешь, едрена! — не обиделся Хреноредьев. — А только я скажу, что он опять все забаламутит! Лучше бы его кокнуть!

Буба выразительно поглядел на Пака, но не стал выяс-

нять отношений — Хитрец все еще сжимал в руках трубку, мог ненароком прострелить и другое ухо.

— Ну и чего ты там разведал? — ехидненько поинтересовался Хреноредьев.

— Военная тайна! — важно промолвил Буба.

Хреноредьев разинул беззубый рот.

Паку тоже не понравился ответ.

— Чего дурака валяешь! — сказал он строго.

Буба внимательно посмотрел на окровавленную ладонь, потом другой рукой потрогал продырявленное ухо, сморщился, как гриб-перестарок, сплюнул под ноги.

— Нету там ни хрена! — сказал он беззаботно.

— Ну, я те щя нос отгрызу! — взъелся Хреноредьев.

Пак оттолкнул инвалида локтем.

— Как это — ни хрена?

— А вот так, ни хрена, и все.

Инвалид пригорюнился, заплакал, снова уселся на собственную же деревяшку. Он не мог переносить этих бесчисленных оскорблений, этих обыгрываний на все лады его вполне симпатичной и милой фамилии. Но что было делать! Тут даже самый «компанейский мужик» сомлеет.

— Врешь! — лицо Пака скривилось.

— Ей-богу, не вру!

— Врет он! — заорал Хреноредьев снизу. — Врет, едрена!

Глаза у Бубы стали совсем безумными.

— Ты, придурок старый, пораскинь остатками своих куриных мозгов, на хрена мне врать?!

Инвалид начал рвать на себе майку под комбинезоном. Его волнение грозило перерасти в истерику. И Пак еще раз дал ему трубкой по башке.

— Чего ты его все время по чану лупишь?! — заорал Буба. — Он и так ни хрена не соображает, а после этого и вовсе охренеет!

Хреноредьев встал. И, прищурившись, исподлобья уставился на Чокнутого.

— По-моему, — сказал он тяжело и весомо, словно превозмогая в себе что-то, — по-моему, Буба предатель и вражеский лазутчик.

Пак оглядел Хреноредьева так, как будто впервые его увидел.

— Не зыркай, Хитрец! Я давненько наблюдал, едрена

кочерга, за этим недобитком. Точно тебе говорю, враг! Подсланный он!

Чокнутый провел ладонью по лицу и перемазал его сверху донизу собственной кровью, теперь он стал похож на свирепого, но оплешивевшего и окончательно спятившего индейца, который прямо в сию минуту встал на тропу войны.

Но Хреноредьева трудно было взять голыми руками.

— Ну-у, — протянул он, — что я тебе говорил, едрена?! Иль ты, Хитрец, чутье потерял? Ты погляди, кто перед тобой стоит?! Это ж контра, едрит его благородие!

— Ты, Хреноредьев, гусеницами обожрался, вот и спятил! — заявил Буба.

Но Пак начинал чувствовать к Чокнутому непонятную, не осознанную еще ненависть. Он поддался инвалидову настроению.

— Руки! — резко выпалил он.

— Чего-о?

— Руки в гору!

— Придурок...

Пак пальнул над самой головой Бубы.

— Руки, падла!

Чокнутый неторопливо задрал над головой свои костлявые грабли. Челюсть у него отвисла.

— Обыщи, — приказал Пак Хреноредьеву.

— Это мы в момент! — ответил инвалид и засуетился вокруг Бубы, обшаривая его.

— Точно, придурки!

— Молчать, вражья морда!

Пак не спускал глаз с лазутчика. Он готов был прикончить его при малейшем движении. Да, бдительность и еще раз бдительность! И как он забыл об этом! Прав Хреноредьев, проморгали врага и шпиона, но не беда — вперед наука!

— Нету ничего! — доложил инвалид, закончив кропотливое дело. — Видать, припрятал, гад!

— Ну чего я припрятал?! — возмутился Буба.

— Чего надо, то и припрятал! — пояснил Хреноредьев тоном, не терпящим возражений. — У-у, контра недорезанная!

Глаза у Бубы бегали как у воришки, пойманного на месте преступления. Но он ничегошеньки толком не понимал.

— К дереву! — скомандовал Пак.

Хреноредьев толкнул Бубу кулаком в грудь.

Пришлось тому подчиниться. Он встал спиной к дереву, прислонился к шершавой коре.

— Так, значит, там нету ничего? — повторил вопрос Пак.

Буба покосился на Хреноредьева и дипломатично ответил:

— Абсолютно ничего.

Хреноредьев мелко засмеялся — противно, разливчато.

— Что и требовалось доказать, едрена-матрена! Враг! Скрывает что-то!

— Потом будешь разговоры разговаривать, — разозлился Пак. — А сейчас снимай с него ремень и руки вяжи!

Хреноредьев исполнил требуемое моментально. Теперь Буба стоял истуканом, со связанными за деревом кистями рук. Он так и не врубился в ситуацию, так и не осмыслил происходящего — и чего эти придурки, недоумки, дерьмом набитые, обалдуи, собираются вытворять?! Может, они его разыгрывают? А может, чокнулись здесь, пока он по округе шастал?! Все для Бубы было странным.

— Придется попытаться! — зловеще проговорил Хреноредьев, скрипя деревяшками-протезами. — Тогда, едрена, как миленький сознается!

Для начала он ткнул Бубу кулаком в живот.

— О-ойей!!! — выкрикнул тот. И дал Хреноредьеву такого пинка своим длинным мосластым костылем, что тот отлетел на середину поляны.

Пак чуть не нажал на спуск. Клешни у него дрогнули, совсем малого усилия не хватило для того, чтоб железяка выплюнула из себя малюсенький кусочек свинца и чтоб тот продырявил Чокнутого насквозь.

— Отвяжи-и! — потребовал Буба.

— Вот сознаешься, тогда и отвяжем, — мрачно сказал Пак.

— В че-е-м?

— В чем надо!

Хреноредьев приковылял к дереву. Но подойти вплотную к привязанному не решился.

— Как же мы ету контру попытать будем? — спросил он в замешательстве, почесывая набитый Паковой железякой затылок. — Вот незадача, едрена!

— Я тебя, придурок, сам запытаю! — процедил Буба.

— Разговорчики! — встрял Пак.

И, немного помолчав, добавил с изрядной долей нерешительности:

— Может, он того — и в самом деле не виновен, а?!

— Не виновен я! — бодро заорал Буба. — Пак, малыш, Хитрец ты мой разуменький, ты вспомни, кто всех призывал покаяться, а?! Кто народ спасал от беды?! Ну неужто бы враг и лазутчик стал бы таким делом заниматься?! Ну подумай же?!

— К покаянию он, точно, призывал, — согласился Хреноредьев. — Но для надежности, едрена вероятность, его все же следует уконтропупить! Я так рассуждаю, Пак, в природе и сообществе гражданском от етого дохляка ничего не убудет, точно ведь?! А порядку и благонадежности прибавится, едрена! Так что надо, Пак! Мы не имеем права быть добренькими!

— А на коленях грехи отмаливать, кто звал, а?! — не сдавался Буба. — Кто вас к спасению звал, кто на себя первый удар принимал?!

— Кто, кто! Не ты, Чокнутый! А наш доблестный обходчик, передовик папаша Пуго принял на себя и первый и последующие удары судьбы, так-то, едреный ты возвращенец!

— Может, и впрямь его шлепнуть? — замялся Пак. — Верно инвалид говорит, не убудет!

Кругом порхали какие-то небесные пташки, пели, чирикали. Одна капнула Бубе на плешь. И он плаксиво сморщился. Подступающий к нему с корявой дубиной в руках Хреноредьев укрепил в мыслях.

Буба созрел.

— Все! Сознаюсь! — торжественно произнес он. — Но прошу учесть, сознаюсь сам, добровольно, без давления и физического воздействия. Да, дорогие посельчане и сотоварищи, я матерый враг, двурушник, лазутчик, предатель, провокатор, шпион и диверсант!

Хреноредьев вместе со своей дубиной шлепнулся на мясистую задницу.

— Едре-ена простота! А мы ж ему, гаду, во всем верили! Мы ж его дважды на ответственные посты избирали! А он?!

У Пака в голове помутилось. Все перемешалось в его мозгу: и покаяния массовые, и клятвы, и мольбы, и признания Бубы, и треск горящей трибуны, и упорхнувшие в не-

известном направлении голуби мира, и предупреждения карлика-мудреца — все!

— Ежели вы сей минут не заткнетесь, — сказал он, наливаясь злобой, — я вас обоих к едрене фене! Укокошу, гадам буду!

Хреноредьев погрозил ему обрубком пальца.

— Не-е, Хитрец, тут железные нервы нужны! Иначе он нас заново обдурит! И сдаст врагам тепленькими!

— Прошу предать меня всенародному презрению, покарать сурово и на первый раз простить, — предложил Чокнутый.

— Больно мудроно загнул, — сказал инвалид.

Пак его остановил, сунул железяку под нос, чтоб не возникал. Задумался. Думал он минут шесть с половиной. Потом молвил:

— Не-е, Хреноредьев, в словах этого врага есть доля правды. Первым делом мы его предадим...

— Как ето?! — привстал Хреноредьев.

— ...презрению предадим! — пояснил Пак. — Ты его презираешь?

— Презираю, едрена вошь! — твердо произнес Хреноредьев. — Как шпиона, врага, лазутчика, диверсанта и оскорбителя честных людей презираю Бубу Чокнутого до глубины своей бездонной души. Все!

— И я его презираю! — сказал Пак. — Значит, с первым делом мы совладали, презрению его предали, верно?

— Верно, — вздохнув, согласился Хреноредьев.

— Конечно, верно, — подытожил сам Буба.

— Теперь нам остается что?

— Что? — переспросил туповатый инвалид.

— Покарать! А потом простить! — разъяснил умный Пак.

— И это дело!

— Только быстрее давайте! — Бубу охватило нетерпение.

— Ладно, щя мы тебя покараем, — Пак почесал голый лоб, поглядел по сторонам. — Ну, Хреноредьев, чего встал? Давай карай!

Хреноредьев понял все так, как, наверное, и следовало понять. Он поднял свою огромную дубину. Размахнулся. И ударил стоящего у дерева Бубу Чокнутого прямо по макушке. Тот лишился чувств, голова его свесилась на грудь, ноги подогнулись.

— Покарали, — произнес Хреноредьев важно, с чувством выполненного долга.

— Покарали, — как-то смущенно согласился с ним Пак. Они смотрели друг на друга.

— Ну, а когда прощать-то станем, едрена-матрена? — задался вопросом Хреноредьев.

Пак снова почесал лоб.

— Погодим немного, — сказал он, все взвесив и разложив по полочкам, — вот прочухается, тогда и поглядим, прощать его или нет.

— Разумное решение, едрит мя по башке! — заключил Хреноредьев. Он был уверен, что Буба не очухается никогда. А если и очухается, так уж точно чокнутым!

— И все же мы с тобой, хрен старый, поспешили! — сорвался вдруг Пак. — Такого общественника обидели. Ну и что, что он враг и лазутчик, старая ты хреноредина, зато душа-то какая была?!

Хреноредьев выпучил рачьи глаза и набросился на Пака с кулаками. Но не успел первый удар обрушиться на выпуклую Пакову грудь, как Хреноредьев вдруг замер, позеленел, схватился за сердце. И шмякнулся как подкошенный на траву.

— Ты чего? — заволновался Пак.

— Помираю, — синюшными губами простонал Хреноредьев. — От незаслуженных обид и оскорблений помираю, едрена...

Пак видел, что трехногий инвалид не шутит, что дела его плохи. Но ему до того надоела вся эта бестолковая возня и суета, из которой складывалась его непутевая жизнь, что он вместо того, чтоб оказать хоть какую-то помощь, отвернулся, плюнул под ноги. И пошел резким, все убыстряющимся шагом к той самой далекой лужайке, на которой резвились туристы — мужчины, женщины, дети. На ходу он встряхнул железяку, выставил ее стволом вперед. Бить! Всех подряд бить! Убивать! Одного за другим! Без жалости и пощады! Как мокриц поганных! Как слизней!

— Приидут праведные-е! — слышалось из-за спины. Это прочухался Буба Чокнутый. — И настанет чудный день и час! И возопят грешники-и! И содрогнутся их души, ибо откроется их взорам геена огненная, и встанет над ними страж небесный с мечом в руках! И ниспошлетсся на всех, едрена-матрена, кара!

Пак не оборачивался. Он знал, что будет делать. И ему было наплевать на всяких там Чокнутых и на их проповеди. Хватит! Наслушался! Вот когда этот мир заволокет точно такой же пеленой, когда потянутся дымы от земли к небу и от горизонта к горизонту, закрывая все, когда ничего, кроме труб и краников не останется в этом мире, а всех успокоившихся будут в нем отволакивать к отстойнику, когда придут и сюда охотники, чтобы охотиться за беззащитными жертвами, тогда и он отбросит ненужную железяку, вздохнет спокойно, встанет на колени и будет каяться хоть до конца света, будет разбивать лоб о грунт, глину, полы, паркет, мостовые, днища труб... А пока... Пока он будет сам карать. И не найдется такой силы, чтобы остановила его. Нет ее в этом мире — ни по одну сторону барьера, ни по другую!

Он вскинул железяку к плечу, поймал в прицел крохотную девочку, подождал, когда ее головка замрет хоть на миг, дождался и нажал на спуск.

— Ну все, хорош! — произнес усталый голос совсем рядом, будто из-за плеча. — Пошалили немного, поиграли и хватит!

Пак на мгновение ощутил невесомость. Ему показалось, что он падает в это бездонное небо, что он тонет в его пучинах. Пак даже закрыл глаза, зажмурился что было мочи, сжался в комок, съежился. Но трубки он не выпустил.

— Всех призываю я к покаянию! В последний раз, едрена-матрена, ибо грядет расплата! — провозгласил кто-то Бубиным голосом.

Пак открыл глаза. Прямо посреди каменного пола стоял на коленях Чокнутый. Он вздымал руки к потолку и вопил без умолку. Похоже было, что он все-таки спятил — и на этот раз окончательно.

Хреноредьев, живой и здоровый, сидел рядышком, с недоумением вертел головой, он был румян и весел.

После ослепительного, чистого, ясного, прозрачного мира казалось, что в пещере стоит мрак. Да, это была пещера карлика-отшельника. И все стены ее были каменными, непроницаемыми.

Сам Отшельник сидел на своем грубосколоченном столе и смотрел поверх голов. Вид у него был отрешенный. Но когда он начал говорить, Бубин надрывный глас сразу куда-то запропастился, исчез.

— И с этим вы собрались идти в мир? — спросил Отшельник.

Ответа он не дождался. Да и что ему можно было ответить.

— Сла-авненькие ребятки, сла-авненькие!

— А с чем они пришли к нам?! — сурово спросил Пак. И добавил, совсем зло добавил: — Может, ты за их воспитание возьмешься?! Не пора ли нас оставить в покое?!

Глаз Отшельника подернулся пеленой.

— Я вижу, вы созрели, — сказал тихо. — Ну что же, пора!

— И-ех, обдурил нас! А мы-то и поверили, едрена простота! — пожаловался Хреноредьев.

— Это была маленькая проверочка. И вы ее не выдержали! Ни по каким статьям не выдержали! — сказал Отшельник. — Но это ровным счетом ничего не значит. Я вам не судья! Это вон Буба ваш все о судьях толкует, а я не берусь судить. Не мной этот мир создан, не мне и менять в нем что-то. Так что, Хитрец, не собираюсь я вас воспитывать, была нужда! Хотел помочь, да вот не получается! Что же делать-то, как быть?! И здесь я призадумался, чего это я за вас-то решаю, как, мол, быть, то да се, третье да десятое... А катитесь-ка вы отсюда без всякой моей помощи!

Пак взглянул на него исподлобья.

— Как же мы без помощи твоей сквозь стену пройдем?

— Не надо сквозь! Я вам ходы покажу — и гуляйте! А хотите, так назад возвращайтесь, воля ваша!

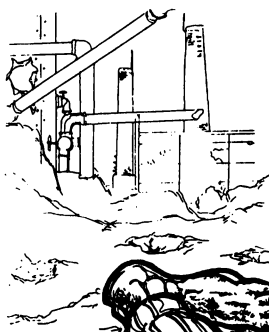
— На все воля всевышнего, — поправил его Буба и выкатил налитой безумный глаз.

— И ты, дружок, не притворяйся! Не такой уж ты и чокнутый.

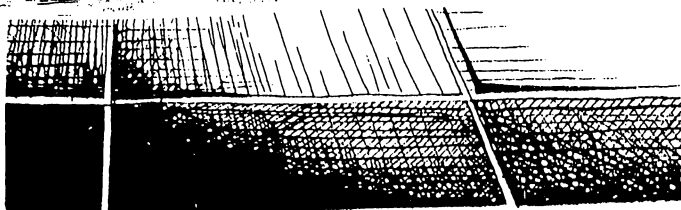
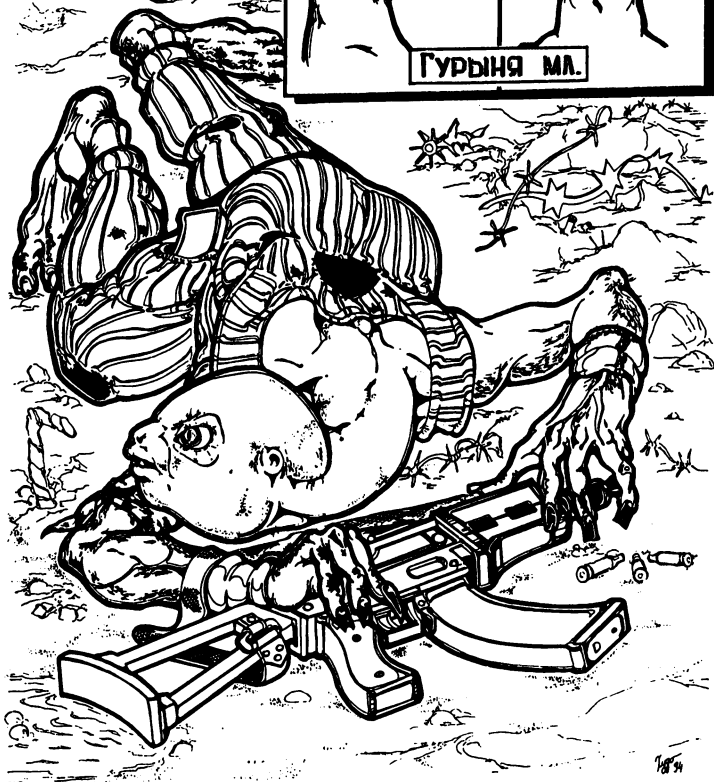
Отшельник подтянул к рту-клювику трубочку, присосался. Банка пустела, далеко не первая банка. В огромной голове бурлило, переливалось что-то, какие-то вихревые потоки гуляли в глубинах полупрозрачного непостижимого мозга. И колыхалось еле заметное розовое сияние вокруг головы. Дышал Отшельник тяжело с присвистом. Наконец оторвался.

— Как же мы дорогу-то найдем? И где выход? — спросил Пак.

— Был бы вход, Хитрец, — промолвил Отшельник, — а выход всегда отыщется.



Гурыня мл.



Хенк бодрился, старался держать спину прямой. Но все это было напускным. Его шатало из стороны в сторону.

— Может, и впрямь тебя запереть в бункер, а? — предложило Чудовище. — Посидишь, отдохнешь немного? Жратвы и пошла я тебе приволоку...

— Сам полезай в бункер! — ответил Хенк.

Чудовище вздохнуло — тяжело, с присвистом и прихлопом, с надрывом каким-то, так, что туриста обдало едким паром.

— Мне впору хоть на нижние ярусы спускаться, — пробурчало оно, — сам подумай, Хенк, поселок они все равно пожгли, людишек побили. Неужто ты считаешь, вот выползу я наверх, сдамся, и все путем пойдет?

Турист присел на корточки, привалился спиной к ржавой стене. На лбу у него выступила испарина, лицо было бледным, изможденным.

— Ни черта я не считаю, Биг! Я тебе уже говорил, они тебя из-под земли вытащат. Чего ты ко мне привязался, у меня советов нет, понял?!

Губы Хенка внезапно обмякли, глаза прикрылись, голова свесилась набок. И сам он сполз по стене на пол, скрючился в нелепой позе. Он был в обмороке.

— Ну и ладно! — сказала Чудовище вслух. — Чего будет, то и будет!

Оно подхватило туриста гибким сильным щупальцем, прижало его вместе с пулеметом к своему влажному волдыристому боку. И поплелось наверх.

Перебитые конечности постепенно восстанавливались. Чудовище чувствовало, как они оживают, как уходит прочь оцепенение. Организм его обладал способностью к регенерации, но скорее всего, помогал Отшельник. Иначе бы ушло не меньше недели, прежде чем щупальца стали прежними — мощными, хватистыми. И все же еще никогда в жизни Чудовище не чувствовало себя настолько измотанным, измученным, выжатым — и немудрено, после той трепки, что задала ему гигантская паучиха, после того безумного футбольного матча, в котором ему было суждено стать мячом, после кинжально-острых тисков, после невероятного напряжения сил.

— Ничего, Хенк, — проговорило Чудовище, проговорило опять вслух. — Сейчас мы передохнем! Мы заслужили маленькое право на маленький отдых.

Оскальзываясь и ударяясь боками о проржавевшие перильца, оно поднялось выше, почти к самой поверхности. Там была тихая бронированная комнатуха, в которой в былые стародавние времена жил смотритель. Туда-то и забралось Чудовище. Уложило туриста-приятеля на ворох полусгнившего тряпья. Осмотрелось.

Не сразу до него дошло, что и здесь может быть такое. Но было! В углу комнатухи стояло запыленное донельзя зеркало в витой деревянной, изъеденной червями раме. Было оно почти в рост человека. И потому Чудовищу пришлось пригнуться.

Оно выхватило из груды тряпок первую попавшуюся, смахнуло пыль с поверхности зеркала, потом протерло тщательно.

Тряпка выпала из шупальца.

Это было свыше данных Богом и Природой сил — смотреть на подобное. Сегодня перекошенная и измятая, полуизуродованная морда выглядела особенно страшно и особенно мерзко. Волдыри и бородавки перемежались кровоточащими язвами, казалось, из каждой поры слизистой кожи сочилась гнойная зелень. Местами она запекалась, подернулась корочкой, залубенела — но и короста была изрезана сетью мелких трещинок. У носовых отверстий кожа свисала рваной, грубо наструганной лапшой, что-то черное, водянистое булькало и переливалось внутри, полипы шевелились будто живые существа, обладающие собственной волей. Ряды жвал судорожно подергивались, цепляясь друг за друга, путались, накладывались один на другой, усики бледно-розовых рецепторов трепыхались, полужисчезая в пузырящейся желтой пене. Два острых клыка обнажились, свисали ниже заросшего седой щетиной подбородка — распухший зев не принимал их, отвергал, высовывал наружу. Глаза прорвались сквозь кожу сразу в четырех местах, глядели бессмысленно, зло, устало. Они были не просто водянисто-желтыми с красными прожилками как обычно, а налитыми, чуть не лопающимися от внутреннего давления. Нижний левый глаз был полужалеplен сиреневым подрагивающим бельмом... Нет, сегодня Чудовище не нравилось себе в стократ сильнее, чем обычно.

Удар был мощным и безжалостным. Зеркало сразу же разлетелось вдребезги. Лишь стояла, чуть покачиваясь, витая искусно вырезанная рама.

С диким сладострастием топтало Чудовище осколки, пре-

вращая их в почти что в пыль. Получайте! Так вам! Всем!!! И вам, безмозглые посельчане, вышвырнувшие собрата из поселка! И вам, охотнички, каратели! Всем!!! Сколько вас во всем мире, и здесь, в Подкуполье, и там, в Забарьерье?! Не больше, чем этих мельчайших сверкающих пылинок под ороговевшими ступнями! Так получайте! Это вам! Вам!! Вам!!!

Не удержавшись, Чудовище взревело, мотнуло головой — брызги желтой пены разлетелись по обросшим паутиной стенам.

Хенк приподнял голову.

— Что там! — проговорил он, морщась, словно от сильнейшей головной боли. — Что там?! Обстрел, что ли! Война! Пожар?!

Чудовище отвернулось от него. Не вымолвило ни словечка.

— У тебя, приятель, с мозгами не все в порядке, — протянул Хенк на одной ноте. И снова отключился.

Ладно, пускай он думает, что хочет, пускай они все думают, что хотят! Чудовищем вдруг завладело безразличие. Они такие, а я такой! Наплевать на все и на всех! Пускай громят, жгут, уничтожают... пускай вырезают всех, кто им не нравится, мне-то что, наплевать сто раз! Надо быть мудрым! Надо быть таким, как Отшельник! Надо забраться в свою пещеру, в свою берлогу, обставить себя банками и бутылками с пойлом... нет, сначала надо скопировать у него агрегат! А потом — банки, бутылки, пойло — с утра до вечера и с вечера до утра! И книги! Пока глаза глядят, книги! Жить только той жизнью, нереальной, придуманной, и представлять себя таким, точно таким, как на этих полуистлевших страничках, на изъеденных временем картинках! И все будет отличненько! Все будет нормальненько! Все будет, как говорят, там у них, о'кей! Можно год, а то и два протянуть так! А потом? Потом глаза, залитые пойлом, перестанут различать буквы, мозг перестанет впитывать эту самую нереальную жизнь со страничек, усеянных мелкими черными значками... но тогда уже будет все равно! Тогда мозг сам будет выдавать такие картины, что только держись... А потом, еще позже, во время очередного наваждения, этот пропитанный пойлом мозг, это сплетение черт знает чего отключится, угаснет! И будет очень хорошо, наступит благодать, придет нирвана! И все!!! И не надо

будет перерезать себе горло осколком, не надо будет перерывать плотку стекляшкой с рваными зазубренными краями! Все произойдет само собой. Это ведь будет к лучшему? Ведь так?! Чудовище склонилось над Хенком, полуприкрыло глаза, ряды жвал сомкнулись — плотно, с хрустом и лязгом. Да! Так лучше. Но потом, не сейчас. Мозг Чудовища напряженно работал. Сейчас нельзя! Я уйду в пещеру, берлогу, зальюсь пойлом... Ничего изменить уже невозможно, земля эта обречена, она была обречена много-много лет назад. Сколько еще пройдет времени, прежде чем вымрут оставшиеся? Десять лет, сорок, сто?! А если их всех под корень?! Как там, наверху! Тогда конец, тогда все... нет, тогда уже — ничего! Только берлога, только зелье! А наверху — никого! пустота! тьма! смог! грязь! роботы! киберы! автоматы! агрегаты! трубы! трубы!! трубы!!! И — никого, ни единой живой души! Некому будет вспомнить, что жил большой народ, что была страна, даже несколько стран с разными народами, что текли реки, что шумели леса, что радовались жизни люди, звери, травинки... А чего еще ждать?! Иного не дано! Было когда-то все! Скоро перебыют последних выродков... А там, за барьером, будут учить детей, что и не было ничего, что история их народов прекрасна и удивительна, что все создано умом и трудом поколений, живущих за барьером... Ну и пускай, пускай, это их дело! Наплевать! Может, и лучше, что они не будут знать всей этой мерзости и подлости, дряни и гнили, что они войдут в мир без ожесточения и злобы, чистыми и добрыми! Ладно! Все, хватит! Надо лезть туда, за жратвой, питьем. Это главное! Остальное никуда не денется.

И оно направилось к выходу. Перевалилось через край люка. Плотно затворило крышку, перекрыло ее внешней задвижкой — пусть турист посидит немного взаперти, ничего с ним не случится, только целее будет да и сил немного наберется, через часик у них будет все, что надо. А сейчас — наверх!

И оно полезло к выходу на поверхность — ступеньки, сваренные арматурины, прогибались под тяжестью его тела, ржавчина пылью осыпалась вниз, в пропасть, глубины которой никто не измерял.

— Цыц, падлы! Я точно знаю, еще чуток! — проорал Гурыня.

Он пресекал уже не первую попытку бунта в своем броневишке. Хотя как такового «бунта» и не было, он существовал лишь в Гурынином мозгу, в его плоской и маленькой головке. Какой там бунт! Парни из его ватаги просто устали от бесконечной тряски, от тошноты, от тесноты. И потому немного ворчали. Гурыня разрешил еще остановку. И она была удачной. Наловили с два десятка крысосусликов, набили утробы — настроение поднялось. Теперь парни до боли в кистях — у кого они были — сжимали оружие. Теперь они точно знали, что зададут кое-кому шороха! Но продолжали ворчать, бурчать, попискивать, делая это с простой целью — авось, Гурыня выложит-таки свой план!

Но Гурыней двигало одно — вперед! во что бы то ни стало, вперед!

Даже когда их броневики слишком круто взлетел на бок — вину внутренней полости трубы, и их перевернуло дважды, и они чуть не перекалечились, ударяясь о переборки, даже после этого очередного испытания решимость не оставила Гурыню.

— Шеф, пора бы и на привал, — робко пискнул из-за плеча Бага Скорпион. Ему при каждом толчке било окулярами прямо в лоб, и потому он терпел, терпел до последнего, да и не вытерпел.

— Угу! — поддакнул Лопухий Дюк.

— Цыц!

В машине воцарилась гробовая тишина.

— Только вперед, падлы! Только вперед!!!

Хреноредьев скептически поглядел на Отшельника и сказал, потирая себе обрубком пальца горло:

— Ага-а, хитрый больно! Нет уж, едрена канитель, вос-вояси мы не пойдем, не стражай! Ты мужик башковитый! — Хреноредьев постучал себя по голове, округлил глаза: — Я б стока поила выхлебал бы за свою трудовую жизнь, и я б не глупей был, едрена, у меня тоже мозгов в башке целая куча, один за другой заплетаются, на трех Чокнутых Буб хватит! Только я тебе скажу одно, показывай свой ход в светлую жизнь, в Забарьерье, едрена тарабарщина, и не вымолвишь!

Отшельник поглядел на Бубу.

— Ну да! — промычал тот неопределенно.

Пак сказал прямо:

— Показывай — не показывай, я пойду туда!

Отшельник спрыгнул со стола, чуть не ударившись огромной головой об пол. Еле устоял на хиленьких, детских ножках. Добрел до ниши в каменной стене пещеры-берлоги, долго не мог взобраться на деревянный помостик. Но залез, уселся. Свечение вокруг его полупрозрачной головы угасло.

— Ну и валите отсюда! — проговорил он совсем старческим бессильным тенорком. — Валите, воздух чище будет! Я вам покажу скоростную ветку, сядете там в кабинку — и тю-тю! Только, ребята, ежели вас за барьером пришьют, чур, не обижаться, лады?

— Лады?! — отозвался Буба.

— Договорились! — заявил Пак.

— Ты не тяни! — подал голос Хреноредьев. — Опять обдуришь!

Что-то хрустнуло в голове у карлика-мудреца, зашипело — протяжно и нудно. Сам он подался вперед, уперев ручки-былиночки в колени. И одновременно из стены пещеры выдвинулся валун, открывая проход.

— Ну, пока! — сказал Отшельник. — Топайте, други! Там сами все увидите!

Все оказалось именно так, как и говорил карлик-мудрец: подземная ветка, кабинки, тьма, посвист, потряхивания, подрагивания. Пак пучил свои глаза, пытался осмыслить происходящее и не мог этого сделать.

Они ничего не трогали, ничем не управляли... но их несло куда-то. Куда? А кто это знал! Может, карлик совсем не тот, за кого пытался себя выдавать? Может, он их на верную гибель отправил?! Но было поздно, они сами решили свою судьбу. Да и возвращаться на пепелище не хотелось.

И-ех, едрены труболазы!

Что-то ждет вас впереди?!

Снаряд пронесся над самой головой. Волною воздуха обдало плечи и горб. Чудовище даже не поняло вначале, что случилось. Но инстинкт самосохранения сработал, оно успело увернуться, нечеловеческая реакция выручила. Первым желанием было броситься вниз, туда, в темноту труб, затаиться, спрятаться. Но в мозгу голосом Отшельника прозвучало: «Спокойно, Биг, спокойно, не суетись, не дергайся, раз уж ты попался, значит, попался!»

И точно! Снизу ударила очередь. Видно, где-то на промежуточных площадках среди сварных конструкций и неведомых нелепых сооружений затаились туристы — засада.

Одна из пуль попала в незатянувшуюся рану. Ту самую, что осталась от когтя паучихи. Болью пронизало все тело. Но Чудовище знало — это не смертельно, это всего лишь боль, обычная, досадная, но боль, которую можно перетерпеть. И оно уже собралось прыгнуть на нижнюю площадку, чтобы разделаться со стрелявшими. Но вдруг почувствовало, что начинает задыхаться, что горло и легкие заполняет жгучая горечь. Глаза защипало, из них покатились слезы, застилая все, весь белый свет и всю тьму подземелья. Но остановить их было нельзя, они лились и лились, затекали в носовые отверстия, падали на подбородок и грудь... Приступы кашля овладели огромным телом, сотрясли его, ослабили. Снизу поднимались ядовито-желтые клубы дыма. И этот дым был не следствием случайного пожара. Нет! Они вытравливали его наружу, как вытравливают дымом хорька из норы. Они все рассчитали, значит, они следили, значит, они знали! Прав был Хенк! Все дороги к отступлению отрезаны!

— Тра-та-та-та-та-та!!!

Теперь уже несколько очередей слились в единую канонаду, вонзились десятками капель свинца в кожу. Да, пора!

Одним махом Чудовище выпрыгнуло наружу. Тут же упало на спину, волчком перевернулось несколько раз вокруг собственной оси, оставляя на земле сырой след от сочащейся из кожи зелени. Второй снаряд разорвался в двух метрах — осколками пронзило уродливый кривой горб. Но важных жизненных центров не задело. И это было сейчас главным. Что там будет впереди, Чудовище не знало, да и не заглядывало оно далеко вперед. Ему нужно было сейчас выжить, уцелеть.

Сначала оно метнулось к развалинам зданий, под их укрытие. Но потом поняло, что укрытия эти хороши от пуль, но не от снарядов — засыпет так, что не выберешься из-под обломков! И оно припало к земле, огляделось. Метрах в шести, но немного левее, чернело что-то похожее на дыру, овраг или яму. А может, это был вход в подвал. Чудовище не стало выяснять, оно осторожно, вжимаясь в перемешанные глину, щебень, песок, поползло в сторону укрытия.

На этот раз разорвались сразу два снаряда — один справа, другой позади. Осколки пронизали нижнюю конечность, плечо. Одним, особо крупным, оторвало наполовину левое среднее щупальце — оно извивающейся змеей взмыло в воздух, на какой-то миг застыло почти над самой головой, потом шлепнулось вниз безжизненным обрубок. Чудовище отвернулось.

Но оно ползло вперед. Тихо, осторожно, распластываясь, казалось, до невозможности, но ползло.

Следующая партия снарядов взметнула вверх столбы щепня и пыли, когда Чудовище уже сидело в полуподвальной заросшей мхом дыре и задумчиво рассматривало культю щупальца. Кровь удалось остановить сразу, культя на глазах покрылась твердеющей, подсыхающей коркой. От огромного психического усилия Чудовище чуть не потеряло сознания, но приходилось идти на такие вещи, ведь если бы кровь хлестала струей, как сразу после ранения, оно истекло бы ею в первые же минуты, тогда конец. Отрастет щупальце не раньше, чем через две недели. Но и это было не столь важно. Сейчас надо разобраться — кто нападает, откуда, какие силы у противника и где можно отыскать место для прорыва. Рассчитывать на пощаду и снисхождение не приходилось.

Чуть передохнув, Чудовище высунуло голову наружу. Снова просвистел над нею снаряд. Вдобавок воздух разодрали пулеметными очередями.

Тогда Чудовище решило сделать проще. Оно приподняло голову на уровень поверхности, не высовываясь, и вытянуло на гибком длинном стебельке один глаз — получилось что-то наподобие перископа. Видно было очень плохо, но все же кое-что удалось рассмотреть. В трехстах метрах от развалин стояли семь больших бронированных колесных машин. Колеса они имели почти шарообразные, невероятно толстые, с выпуклым резным протектором — по восемь колес на каждую. И все же машины были довольно-таки приземистыми. Плоские башенки, из которых торчали стволы орудий и пулеметов, почти не возвышались над броней.

Но это было не все. С другой стороны, к тому же гораздо ближе, метрах в полуторах, среди чахлых желтых кустиков стояли еще четыре точно таких же машины, возле которых в открытую, ничего не страшась, прогуливалось семь или восемь туристов в скафандрах, с трубками в руках.

Но самым страшным было то, что в небе, наводя «гончих» на жертву, зависли две тарактелки.

Чудовище глубоко и прерывисто задышало, выгоняя остатки ядовитого газа из легких. Слезы почти не текли из глаз, правда, их еще пощипывало, особенно тот, что был вытянут перископом вверх. Но что же делать, приходилось терпеть.

— Держись, малыш! — еле слышно прозвучало в мозгу. — Держись сам! Мне что-то совсем плохо, вот-вот загнусь, не успеваю даже следить за тобой и этими охотничками... Но ты ничего не бойся. Рассчитывай, Биг, на себя. Ну, а будет сложный момент, может, смогу собраться, может... если не окочурюсь до того. Совсем плох стал, малыш.

— Ты сам держись! — ответило вслух Чудовище. — Еще не хватало, чтоб ты, Отшельник, из-за меня загнулся! Нет уж, не надо, мне все равно подыхать, обложили.

— Ну-у, как знаешь, — прозвучало будто из бесконечного туннеля, еле слышно, глуховато-прозрачно.

— Ничего, мы еще поглядим! — сказала Чудовище. И было непонятно, к кому оно обращается.

Летающая тарактелка, одна из двух, сорвалась с места, стала прямо на подвал заходить, но высоты пока не снижала. Заурчали моторы броневиков. Пешие туристы взобрлись на броню, размахивали трубками. Трое из них постоянно водили отверстиями каких-то штуквин, лежавших у них на плечах, должно быть хотели запечатлеть всю облаву на память. Чудовище не знало, как это делается, оно не знало ни техники съемки, ни даже того, как назывались эти штуквины. И сейчас им не владело любопытство. Надо было что-то срочно предпринимать.

Но мозг успел отметить — вот же гнусные создания! им мало просто убить, растерзать, им надо еще и заснять все это, чтобы потом любоваться, чтобы смаковать! чтобы показывать детям и женам — вот, дескать, какие мы герои! вот с какой жуткой тварью совладали! гордитесь нами! любите нас! таких героев поискать! ай да мы!!! Внутри что-то перевернулось от омерзения. Но эта перемена не расслабила, наоборот, она придала сил.

Броневики приближались — эдак неторопливо, надменно, как будто были не железными банками, набитыми всякой дрянью, а живыми существами. Стволы орудий будто горделивые носы были задраны вверх.

Тарахтелка и вовсе обнаглела. Она висела над самой головой Чудовища, в каких-нибудь пятнадцати метрах. И оттуда, сверху тоже снимали, тоже водили этой дурацкой штуковиной — видно, туристам хотелось запечатлеть картину во всех ракурсах. Все это было и подло, и погано. У Чудовища начинали пропадать остатки жалости к стройным двуногим существам. Пускай Отшельник сам будет гуманистом, пускай он распускает нюни... только не у себя в берлоге, а здесь! Вот тогда и поглядим, кто человеколюбец, а кто и не совсем!

И опять два снаряда пронеслись над подвальным укрытием, врезались в кирпичную стену, развалили ее в долю секунды, подняв клубы пыли в воздух.

Ждать, пока вся эта «свора гончих» приблизится, возмет его в кольцо, Чудовище не хотело. Но у него не было ничего с собой, абсолютно ничего! Пулемет остался в клетушке зрителя, он, видно, и сейчас валяется в ногах у Хенка. Вытащить из карманов приятеля-туриста парочку гранат, Чудовище не догадалось. Да и как оно могло догадаться... Нет, нечего оправдываться! Злость накатила волной. Но не погасила рассудка, не лишила способности трезво оценивать ситуацию. Пора!

Одновременно тремя щупальцами Чудовище ухватило три булыжника, припасенные кем-то в подвале, а может, и просто валявшиеся там случайно. Булыжники были совсем легкими, небольшими, с голову туриста, и потому бросать их было не слишком-то удобно, Чудовище предпочитало кое-что повесомее. Но на безрыбье...

Гибкими катапультами щупальца откинулись назад. Но тут же выпрямились, опустились — все три камня полетели в разные цели в одно мгновение, словно их бросили три разных, но сильных и метких бойца, бросили по единой команде. Двое туристов с переломанными хребтами сразу свалились с машин — так могли падать не живые существа, даже не пораженные, но только мертвые или же набитые мякиной куклы. Третий остался лежать на броне. Рука его все еще сжимала поблескивающую трубку, тело покачивалось в такт движению машины. Ни один из тех, кто держал снимающие штуковины, не пострадал. Чудовище било лишь по потенциальным стрелкам. Теперь в нем не оставалось жалости.

Уцелевшие туристы заволновались, засуетились... Они не

бросились подбирать погибших, они устроили сутолоку у люков, стремясь побыстрее попасть внутрь, под защиту брони. Машины почти остановились, они ползли черепашым ходом.

Чудовище напрягло мышцы, вырвало из кирпичной кладки полуподвала два блока, сцементированные и угловатые. Оно могло бы перебить, передавить суетившихся у люков — хватило бы тех нескольких секунд, что были дарованы образовавшимся затором. Но оно поступило иначе. Обхватив каждый блок тремя щупальцами, поочередно, оно швырнуло эти рукотворные глыбы в машины. Удары пришлось по башенкам — грохот сотряс окрестности, будто некий исполин ударил в гигантское пустое ведро.

Чудовище не знало, что там ощущали при этом сидевшие внутри броневики. Но оно явственно видело, что стволы больше не стволы, что это искривленные и бесполезные железяки, от которых толку ноль. Можно было считать, что две машины выведены из строя. Правда, оставались еще две с этой стороны и целых семь с другой. Силы были явно неравные. Кольцо продолжало сжиматься.

Сверху ударила пулеметная очередь. Чудовище успело спрятаться под перекрытием. Но вечно сидеть под ним оно не могло, тогда туристы подберутся вплотную и расстреляют его снарядами в упор. Пальбу из пулеметов можно было терпеть, пули застревали в плотной коже. Но от снарядов кожа не защитит.

Чудовище выглянуло. И вовремя! В днищах тархтелки, висевшей над подвалом, раскрылся люк. Из него вывалились два бочоночка. Чудовище уже знало, что это такое. И потому оно не стало выжидать.

Прыжок вверх был молниеносным — Чудовище подскочило на двенадцать метров. Почти сразу же с боков и снизу просвистели снаряды. Но ни один из них не попал в эту живую мишень, прыжок был не только молниеносен, он был и совершенно неожиданным, а стрельба из машин, судя по всему, велась вручную. Это и спасло!

С бочонками Чудовище встретилось в наивысшей точке своего прыжка. И тут же, пока эти небольшие резервуарчики с горючей смесью не набрали ходу, облепило их щупальцами и швырнуло в уцелевшие две машины. Оно не видело результата, по той простой причине, что от мощного толчка перевернулось в воздухе — взрывной волной разорвавшего-

ся неподалеку снаряда Чудовище отбросило немного в сторону. И оно упало в трех метрах от зияющего отверстия своего укрытия. Еще два снаряда, но уже с другой стороны пронеслись совсем близко, чуть не прогладив стремительными утюгами сырой и пористой кожи.

И только почувствовав себя в относительной безопасности, добравшись до подвала, укрывшись под переборками, Чудовище выставило наружу глаз. Все четыре броневики — и те два, что были искорежены, и два других, целых, стояли в море бушующего пламени. Из всех люков, и боковых, и верхних, выпрыгивали туристы, пытались спастись, орали, вопили, стонали... немногим из них удалось преодолеть огненную стену.

Кольцо разомкнулось. Но семь машин, бывших с другой стороны, увеличивая расстояние между собой, охватывая все большее и большее пространство, одновременно надвигались на загнанную в капкан жертву. Похоже, сидевших внутри них туристов ничуть не смутило то, что произошло с их товарищами. А может, им просто не верилось, что живое и совершенно безоружное существо оказывает такое сопротивление, что с ним надо считаться всерьез!

Еще два бочонка Чудовище отбросило в самый последний момент, когда те почти коснулись земли — оставалось не более полутора метров. И все же они мячиками отскочили, разлетелись беспцельно, заливая землю огнем, но не причиняя никому вреда. Усилие было поистине титаническим, все тело Чудовища свело судорогами. И оно даже вспомнило про Отшельника, на мгновение вспомнило... да только в ушах отголоском эха прозвучало: «Рассчитывай на себя! Рассчитывай на...» Чудовище упало на заросший мхом камень подвала и принялось биться об него, о стены, о перекрытия всем телом, чтобы хоть как-то усмирить судорогу, снять оцепенение.

Со всех сторон слышались разрывы снарядов. Подвал то и дело засыпало обломками каменных и кирпичных стен, щебнем, песком, заволакивало пылью. Чудовище почти потеряло слух. Но оно не собиралось сдаваться. Да и мышцы отпустило, удалось избавиться от внутренних оков судороги.

И вовремя! Обнаглевшая тарактелка зависла на шести-метровой высоте. Створки люка снова распахнулись... На этот раз Чудовище взлетело вверх ракетой! И оно не стало

расшвыривать бочонки по сторонам, пружинистыми ударами сложенных вместе щупальцев оно подбросило бокастые «подарки» — один проскочил мимо, ударился о днище и полетел под наклоном вниз, зато другой залетел точно в дыру люка.

Взрыв был мощным. Чудовище ничего не услышало, не увидело, не почувствовало. Оно просто как-то сразу, вдруг, оказалось на земле, прижатым к ней, даже боли не было, лишь одно ощущение удара. И ему показалось, что вот сейчас обломки тарактелки посыпятся на голову, что жидкое пламя поглотит его, сожжет живьем.

Но машина упала совсем в другом месте — заклинившие винты отнесли ее на полсотню метров правее. Горящие обломки рассыпались, один, самый большой, рухнул прямо на крайнюю колесную машину. Та еще проехала метров с двадцать, неся перед собой и на себе огненный вал. Но потом остановилась, покачнулась. Что-то ухнуло внутри нее самой.

Броневигов оставалось ровно шесть.

Да в небе болтались пока что хищными выжидающими птицами две тарактелки. Почему их снова было две?! Чудовище не видело, откуда пришла подмога. Если это будет повторяться вновь и вновь, никаких сил не хватит, никакая выдержка не спасет. Положение было отчаянным.

Но в отчаянном положении надо было и действовать отчаянно. Во всяком случае, теперь смерть грозила лишь с трех сторон, а не отовсюду. И Чудовище решило больше не мешкать. Оно в два прыжка достигло развалин. На секунду притаилось за ними. Но тут же отскочило в сторону — развалины разнесло метким выстрелом орудия, так, будто их и не бывало. Но это не имело никакого значения. Теперь расстояние было вполне приемлемым — до ближайшей машины метров сорок, не больше. Чудовище резко подпрыгнуло вверх, в полете изменило направление движения, приземлилось на все конечности, тут же упало на спину, бешено вращающимся колесом пронеслось по земле... Следующий прыжок стал решающим — четыре снаряда разорвались одновременно и совсем рядом — но поздно, Чудовище уже сидело на броне одной из машин!

Крышку люка оно оторвало резким рывком, еще не успев толком упасть на самую броню, еще не почувствовав жесткого ее удара. Крышка отлетела словно смятая картон-

ка. Два щупальца проникли внутрь, уцепили что-то живое, шевелящееся — ну, держитесь, ребятки, сами напросились! — два тела будто пружинами вытолкнуло из броневи-ка, следом за этими еще два, потом еще одно. Чудовище даже не глядело, куда оно вышвыривает туристов, ему это было безразлично в данную минуту, ему было наплевать и на их судьбу — уцелеют, так уцелеют, нет, так нет! Оно с огромным трудом протиснулось внутрь — люк был рассчитан на двух туристов. Но все равно он был слишком тесен!

— Не торопись, малыш! — прозвучало неожиданно в мозгу. Это Отшельник, видно, вспомнил про своего приятеля. — Не надо дергаться, Биг! Ну чего ты устраиваешь здесь побоище?! Это тебе не кино, малыш, надо быть поосмотрительнее!

Чудовище его не слушало. Оно дергало за рычаги, нажимало на клавиши — машину чуть ли не на дыбы вздымало, она взрывалась, кренилась, раскачивалась, и казалось, вот-вот перевернется!

— Ведь ты все равно не знаешь, чего тут надо тянуть, чего дергать, малыш! На фига ты полез в нее!

— Отвяжись! — буркнуло Чудовище.

— Вылезай!

— Нет!

— Они зажарят тебя в этой консервной банке!

— Не вылезу, нет!

Ему удалось развернуть машину носом к другим машинам, удалось пальнуть раза два из орудия, но выстрелы были неудачные. Пока оно будет так учиться, точно, зажарят, как куренка, как жалкого птенца.

— Вылезай, я тебя прошу!

— Нет!

Отшельник закашлялся, захрипел.

— Хуже будет!

— Хуже не будет! — ответило Чудовище.

— Ну ладно, — голос Отшельника помягчал. — Слушай меня, тяни вот это, ага, вот так... нет, лучше расслабься, я буду сам управлять твоими щупальцами! Ну давай, Биг, не прямничай!

Чудовище расслабило часть тела. Совершенно независимо от его воли щупальца начали вдруг нажимать какие-то клавиши, тянуть рычаги, дергать за что-то... И машина пошла так, словно ей управлял опытный ас-водитель.

— Ты гляди в окуляры, Биг! Так лучше будет, в смотровую щель не разберешь ни черта!

Чудовище прильнуло двумя глазами к окулярам, остальными продолжало наблюдать за происходящим сквозь смотровую щель.

Ствол орудия как бы сам по себе приподнялся, машину качнуло раз, другой. И Чудовище увидело, что одна из тархтелок вдруг дернулась, завалилась набок, перевернулась вокруг оси. И совсем неестественно, по ломаной кривой, упала на землю. Ствол пошел левее, нащупывая вторую летающую машину. Но та, словно предчувствуя недоброе, вдруг сделала совершенно невообразимый вираж и стала удаляться.

— Ладно, черт с ней! В спины не стреляем! — прохрипел Отшельник. — Ну что, Биг, не будешь вылазить, а?!

— Нет, — ответило Чудовище.

— Гляди, прикокошат они тебя!

— Здесь?!

Отшельник вздохнул, словно сидел совсем рядом, так отчетливо прозвучал вздох.

— И здесь, и там, и повсюду... куда ты от них скроешься, куда денешься? Повсюду отыщут, Биг. Лучше тебе в глубины уйти, там сам черт ногу сломит, а тут найдут и укокошат!

— Ладно! — проворчало Чудовище. — Укокошат! Заладили все как один! Чего это вы, сговорились, что ли?! Чего это вы меня все отпеваετε?! Может, рановато еще, а, как ты думаешь, Отшельник?! Я ж еще не сдох пока, ну чего вы панихиду устраиваете? Еще поглядим!

Между делом и разговором они подбили три машины туристов. Оставались еще две, самые проворные, к которым никак нельзя было подступиться.

— Охо-хо, Биг! Ну ладно, тебе лучше знать, поглядим, так поглядим!

Вместе с последним словом Отшельника прогремело страшно, разрывая барабанные перепонки. Машину дернуло, и она остановилась.

В мозгу будто отключилось что-то. Щелк. И все! Чудовище поняло — снаряд попал-таки в его броневичок. Нельзя было терять ни мгновения. Оно мощнейшим ударом левой конечности вышибло крышку бокового, десантного люка. Вывалилось.

Машина только-только начинала гореть. И Чудовищу удалось отползти от нее на десяток метров, прежде чем внутри рвануло. Тут же врезались в землю перед самым носом два снаряда, подняли целые земляные фонтаны вверх. Осколком вышибло глаз, тот самый, болезненный, полузалеplенный бельмом. Но и в эту секунду Чудовище не почувствовало ни боли, ни досады. Слишком многое стояло теперь на карте. Любая промашка могла стоить жизни!

Оно откатилось на несколько метров левее, затаилось. В оседающем облаке пыли и песка его не было видно. Машины приближались. Теперь любое попадание снарядом могло стать последним, смертельным.

Бурое облако позволило одной из машин приблизиться почти вплотную. Мягкие, круглые шины совсем не шуршали не скрипели, моторы работали мерно и плавно. У Чудовища все обмерло в груди, когда хищный нос качнулся совсем рядом, башенка повернулась и ствол стал опускаться... совсем медленно, будто дело происходило не в жизни, а в каком-то нелепом сне. Но Чудовище знало, что никакого сна нет и быть не может, что это самая что ни на есть настоящая жизнь, что просто его реакции убыстрились настолько, что все кажется медленным. Медленным, но и неотвратимым ведь! Жуть охватила его с головы до пят, от кончика горба и до присосок щупальцев. Прямо в глаза уже почти смотрела смерть. Да нет, что там почти! Она смотрела прямо в глаза! И была на этот раз смерть в облики круглого, зияющего чернотой дула.

Чудовище не успело ничего решить, ничего предпринять по воле разума... Инстинкт бросил его вперед, прямо под колеса, точнее, между них, под днище, — это был бросок чемпиона! Казалось, что тень промелькнула... Но уже в сам след этой тени ударил снаряд! потом другой! Да только поздно, поздно они ударили, сея вокруг осколки, сея смерть. Чудовище почувствовало спиной, горбом прикосновение холодной брони, его вжало в эту броню ударной волной. Еще миг — и его бы расплющило между брюхом броневика и глинисто-кремнистой землей. Но в этот миг Чудовище выпрямилось, конечности его задрожали, горб вздулся, щупальца — все, даже обрубок, уперлись в броню. И машина стала медленно, нехотя, через силу, сопротивляясь, но все же вставать на дыбы. Последним толчком Чудовище перевернуло ее!

Теперь броневичок напоминал гигантского жука, лежащего на спине и никак не могущего встать, перевернуться. Колеса бешено вращались, разбрасывая по сторонам прилипшие к ним камешки, кусочки глины, грязь. Брюхо поблескивало. Машина покачивалась. Внутри что-то хрипело и стонало. Ствол орудия был не виден, он был наверняка основательно поврежден.

Чудовище присело рядом с этим уродливым «жуком», расслабилось. Оно видело, как удирает последняя машина. И вовсе не собиралось бросаться в погоню. Была охота! Оно сидело и отдыхало. Еще не веря до конца, что избавилось от смерти, что гибель и на этот раз миновала его. Все было хорошо! Все было нормально! Голова постепенно очищалась. Мысли приходили неторопливые, незлые. Вот, говорили все, уколошат да уколошат, угробят да угробят! Нет! Не вышло! И не выйдет, дорогие мои охотнички! Жаль, конечно, что кое-кто из вас тут останется лежать. Но так если разобраться, по-честному разобраться, кто вас сюда звал? А никто не звал! Никому вы тут не нужны! А мы там никому не нужны! Вот бы и оставить друг друга в покое, самое верное дело бы было!

Чудовище приподнялось. И, потирая опустевшую нижнюю глазницу, массируя кожу над ней, чтобы быстрее заживала рана, побрело к тому месту, где оно вылезло из подземных трубосплетений.

Прежде чем спуститься вниз, оно заглянуло в зев входного люка. Опасности вроде бы не было. Оно наполовину опустило свое тело в люк, когда послышался отдаленный гул — с северо-запада в несколько рядов, от горизонта к горизонту, шла целая армада летающих тарактелок.

Чудовище не стало их поджидать. Оно быстро растворилось в темноте входного отверстия, накинуло сверху крышку. Ступени снова заходили ходуном под его тяжестью.

Хенк сидел на груде тряпья живой, веселый, перебирал пулемет. Когда входная железная дверца скрипнула, отворилась и в смотрительскую вползло Чудовище, он улыбнулся, помахал рукой.

— Ну что, разведчик, принес чего похавать, а? — спросил он и подмигнул.

Чудовище недовольно проворчало:

— Себя еле принес! Ты бы знал, чего там творилось, тогда бы и не спрашивал!

— Засада?

— Было дело!

— Вырвался?

Чудовище посмотрело на него выразительно. И Хенк сам понял глупость вопроса.

Несколько минут они сидели молча. У каждого сводило желудок. Да пить хотелось. Но где найти еду и питье? Как уберечь себя от неожиданных встреч? Ни один не знал ответа.

— Придется на крысосусликов переходить, — сказал Хенк.

— Успеется, — Чудовище откинулось к стене, размякло. — Ты лучше скажи, здесь их не было?

— Кого?

— Ладно, можешь не отвечать! Значит, не было!

Хенк прищурился.

— Что, круто приходится, приятель? Прижали?

— Прижали! — коротко и ясно ответило Чудовище.

Хенк встал. Он наконец-то собрал свой пулемет. Закинул его за спину. Подошел ближе. И сказал совсем тихо, но с нажимом:

— Я знаю, что надо делать.

— Что? Уходить в глубины?!

— Нет!

Чудовище отвернулось, перевалилось на бок. Груда тряпья под ним начала буреть от слизи, сочащейся из ран.

— Надо идти туда, где тебя никто и никогда искать не будет, понял?!

— Это куда же, на тот свет, что ли? — вяло переспросило Чудовище.

— На тот свет успеешь, Биг. А сейчас нам надо идти в Забарьерье, к нам! Усек?!

Чудовище встрепенулось было. Но тут же снова обмякло.

— Знаешь, сколько топать? — проговорило оно. — Пока доберешься, сто раз засекут и прикончат.

— Нет, Биг, я придумал все! Тут есть скоростные трассы. Соображай давай, шевели своими мозгами, если они у тебя есть! По трубам шел, а кое-где и сейчас идет нефтепродукт, понял, газовая всякая гадость, сжиженная. А рядом есть трассы для людей. Я знаю, где! Если они исправны, если там не растащили все, мы через пару часов будем за Барьером, Биг!

— Это дело! — ответило Чудовище, приподнимаясь. Ему не надо было растолковывать подробностей. — Пошли!

Пак выставил вперед железяку. И лишь после этого просунул в дыру голову. Никакой опасности не было. Только глаза защищало. Да голова закружилась — небо тянуло в себя, как там, в отшельниковском мире. Но этот мир был взаправдашний!

— Ну чего застрял, едрена! Застрял, понимаешь, как пробка в бутылке.

Хреноредьев ткнул Пака в спину, и тот вылетел наружу. Как был, так и вылетел, — настороженный, ошетиненный, зажмуренный. Ноги у него дрожали. Железяка вываливалась из руки.

Сам Хреноредьев вперся в новый мир, в Забарьерье, как в собственную халупу. Даже ног не вытер! Точнее, ноги и двух своих деревяшек. Он сразу же огляделся деловито, прикидывая, что и почем. Но вывода пока сделать не смог. Лишь произнес глубокомысленно:

— Вот она, где жисть-то!

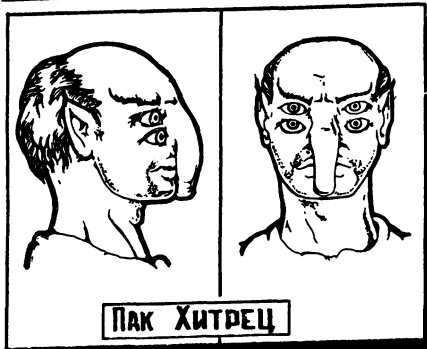
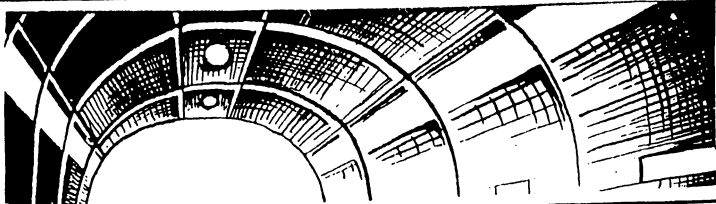
Буба вылез последним. Он как-то сразу смирился с ролью «врага и диверсанта». И потому не навязывался в председатели, предводители и прочие преды. Он вылез, оглянулся назад, в темноту дырищи, словно желая вернуться обратно. Скривился, сморщился, отчего все синяки, ссадины, наплывы на его лице заиграли, запереливались. И только потом уже выдавил с натугой:

— Вот это уж точно! Это родимая земелюшка! И-и-и, скоко же лет...

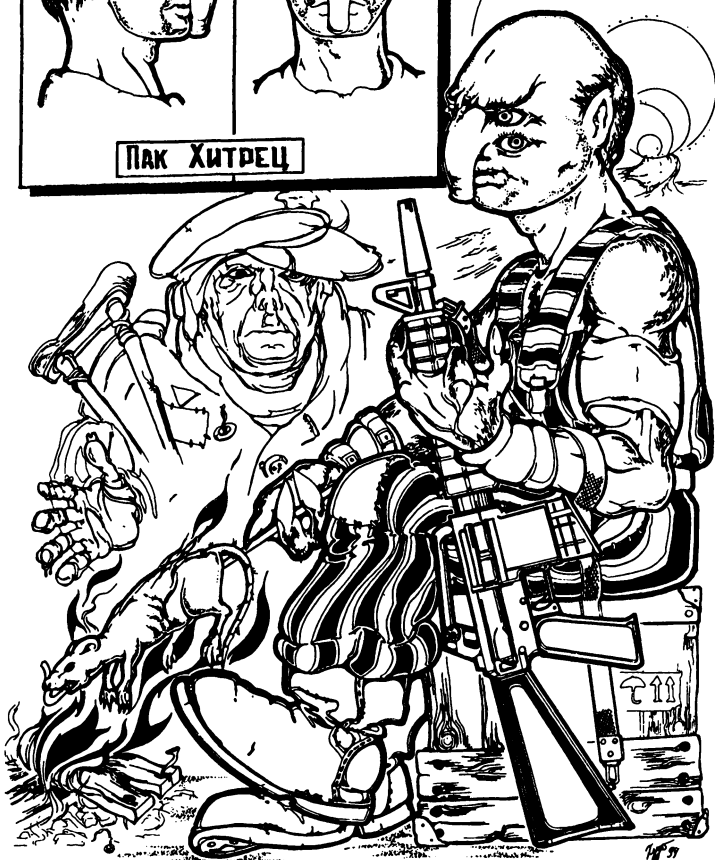
Буба собирался было снова упасть на колени, уткнуться лицом в траву... Но, во-первых, никакой здесь травы не было, а во-вторых, Пак дал ему по заливку, чтоб не юродствовал, а Хреноредьев ткнул в бок, чтоб прямее держался. Буба все понял.

Они стояли на асфальтовой дорожке посреди чудесного парка. Парк этот был пустынен. Но даже отсюда вся троица видела, что парк совсем маленький, что за ним, сразу за деревьями начинается то ли городишко какой-то, то ли поселок — торчали дома, какие-то непонятные длинные штуковины.

Со стороны поселка-городишки доносился слабенький



ПАК ХИТРЕЦ



шум, там явно шла обыденная жизнь. Но спешить вливаться в нее не стоило, это понимал каждый, даже урожденный в Забарьерье Буба Чокнутый.

— Ладно, нечего раскисать! — проговорил Пак Хитрец. — Вы как хотите, я пойду залягу в засаду и шлепну кого-нибудь... Для начала! А там будем разбираться понемногу.

— Быстрый какой, едрена, — отозвался Хреноредьев, — шлепнет он! А нас всех и повяжут, дурачина!

При слове «повяжут» Буба вздрогнул — еще живо было воспоминание о том, как его «вязали, карали и миловали». Бубе хотелось назад. Кто-кто, а уж он-то знал, что в этом мире им не прижиться! Только сейчас лучше было помалкивать.

— Во! — обрадовался вдруг Хреноредьев. — Стоит кто-то!

Он подковылял к какой-то огромной белой фигуре, которую они по ее масштабности и неподвижности поначалу совсем не заметили.

— Ух ты, едрено изваянье! — удивился Хреноредьев, пуча глаза. — И когда ж они успели-то?! Ну, дела!

На белом метровом пьедестале стояла белая пяти- или шестиметровая фигура какого-то могучего существа с огромными ручищами, короткими ногами, маленькой, почти безлобой головкой. В руке фигура держала что-то непонятное, напоминавшее то ли топор, то ли молот. Казалось, сейчас она сорвется с места и пойдет со страшной силой что-то крушить или вырабатывать, выдавать на-гора.

— Вылитый! — заключил Буба. И утер скупую мужскую слезу.

Пак долго стоял с разинутым ртом. Потом вдруг всхлипнул, припал к пьедесталу.

— Папанька! — плечи его затряслись. — Папанька, родимый! Не ценили-то при жизни, а потом, после...

Пак голосил недолго. Он вдруг вспомнил, что этими самыми ручищами «родимый папанька» его изо дня в день мордовал, ни спуска, ни прощения не давая. Да и приглядевшись внимательнее, убедился, что никакой это не папаша Пуго. Тот был живее, добрее на вид, волосатее. И руки у него были почти до земли, а у этого всего лишь до колен, и лобик уже, и глазки меньше... Но главное, папаньку всегда качало, а этот стоял несокрушимо.

Эх, сволочи! И здесь надули.

Пак отскочил на пять шагов от изваянья. Вскинул вверх трубку. Грохнуло! Псевдопапаньке оторвало ухо. Грохнуло еще раз. Отбило нос. Но сам-то он стоял. Стоял все так же несокрушимо и непоколебимо. И Пак успокоился.

Оглядевшись, он не заметил возле себя ни Хреноредьева, ни Бубы. Те давно лежали в кустах, притаившись. Но Пак их обнаружил. Подошел, склонился.

— Вы чего? — спросил он шепотом.

Хреноредьев отлягнулся от него протезом.

— Пошел вон, дурак! Пускай тебя одного, едрена, гребут! Чего нас тянешь?!

Но, похоже, на грохот выстрелов никто не среагировал. В парке было по-прежнему тихо и безлюдно.

Чокнутый Буба оказался самым умным среди всех.

— Надо дожидаться темноты, — предложил он, — а потом уже нос высовывать!

— Вот его дело, — согласился Хреноредьев.

— Ну, нет! Я — в засаду!

Пак ушел. Залег у самого заборчика, под кустиками. Стал приглядываться.

То, что он видел перед собой, было для него ново и непривычно. Но после мира Отшельника не шокировало. Видно, прав был старый карлик, устроив им небольшое испытание. Только не на правоте мир держится, Пак знал эту простую истину. А на силе и наглости, на том, кто кого вперед! И он хотел опередить любого, пускай только попробуют! Он им еще задаст! Всем задаст!

Сквозь кусты проглядывала улица. С одной стороны шли дома — по три, четыре этажа. Вдалеке возвышался один восьмиэтажный, совсем для Пака дикий. Но Хитрец дал себе слово ничему не удивляться. По улице проезжали машины. Но не такие, на каких охотились туристы за поселковой малышкой и подростками, а какие-то очень красивые, необыкновенные. Совсем рядом с кустами прошел маленький туристенок, лет пяти—шести, наверное, он Паку показался неземным созданием — до того симпатичным, кукольным, вымытым, чистеньким, ухоженным, разодетым, что Пак растерялся. У него руки опустились, железка уткнулась в землю. Туристенок вел на веревочке за собой маленькую пушистую собачку. Собачка эта тоже была словно с картинки: четыре лапки, хвостик, мордочка!

Таких Пак не видал. Да и вообще она вела себя очень доверчиво, какая эта собака! Ладно, решил Пак, шлепну следующего, этих пока пропустим...

Потом мимо пробежала девочка в голубенькой юбочке и беленькой кофточке. Потом прошли две старушки — тоже невероятно ухоженные, двурукие и двуногие, одноголовые, картиночные. Пак пропустил и их. Но ведь надо было на ком-то выместить свою злость и обиду, все свои невзгоды, тяготы. Пак встал. Пошел к каменному «папаше Пуго». И дал такую очередь, что изваянию оторвало-таки голову, а Хреноредьев с Бубой уползли вообще в неизвестность. Пак их не сумел найти. Сами они не откликались.

Темнело.

Но темнело не так, как это бывало в поселке. Там серо-желтая пелена за несколько минут становилась непроницаемой, все обволакивала тьма, лишь в отдельных окошках высвечивались огоньки лучин. Темнота бывала всегда жуткой, пугающей и всегда неожиданной. Здесь же все происходило будто в нереальном сказочном мире, будто в сновидении: небо постепенно темнело, наливалось сначала синевой, густой и плотной даже на взгляд, потом чернотой, какие-то белые и голубоватенькие огоньки посверкивали на этом ненастоящем небе, словно в бархатной ткани продырявили крохотные отверстия, сквозь которые и пробивался занавешенный ею свет. Но не это было основным, другое растревожило Пака — небо темнело, в парке становилось темно, а на улицах и возле домиков по-прежнему оставалось светло. Там было все как на ладони. Ну куда, спрашивается, пойдешь, как проберешься-прокрадешься?! Нет, не нравилось все это Паку.

— Ну чего? — слышалось из-за спины.

Пак обернулся.

— Чего — чего? — переспросил он.

— Я спрашиваю, придурок, не захомутали тебя еще?! — разнервничался вдруг Буба. А это был именно он.

— Как видишь!

Для остротки Пак все же треснул Чокнутого железякой по лбу. И спросил у него:

— Ты-то чего боишься? Ты ведь тут жил когда-то, все знаешь, чего у тебя поджилки трясутся?!

Буба поглядел на Пака сверху вниз, как учитель на ученика.

— Обалдуй, — сказал он, — тут тебе не поселок, тут сразу подзалететь можно, только высунься!

Пак врезал Бубе еще раз. И тот стал менее надменным.

— Я о чем толкую-то, — проговорил по-приятельски, как-то даже задушевно, — нам ведь чего, Хитрец, надо, сечешь?

— Чего?

— А-а! Не сечешь, значит! Нам надо перво-наперво, дубина, из этого садика пробраться через город, понял?

— А на хрена? — поинтересовался Пак.

— Я те вот щя дам «на хрена»! — прозвучало грозно у самого уха. Это незаметно подкрался Хреноредьев. — Я те скоко раз-зов, едрена, говорил, чтоб тружеников не оскорблять, а? Я тя, Хитрец, в последний раз предупреждаю, понял! Я тя в порошок сотру! Я из тя чучелу набью и напоказ выставлю!

— Да заткнись ты! — прервал его Пак.

Хреноредьев сразу же заткнулся.

— А ты отвечай, зачем нам через городишко-то прорываться надо, чего пудришь мозги?! — Пак чуть не за грудки схватил Бубу.

— А для того, — ответил тот спокойно, — чтоб залезть в такую глухомань, где нас сроду не отыщут, усек? Будем первое время в шалаше жить, жратву в городе воровать или в поселках. Главное, на глаза не попадаться! Они тут дотошные, черти бы их побрали, но размягченные, усек? Они бдительность-то утратили... Но ежели сам в лапы полезешь, так прихватят, что ты, Хитрец, потом из зоопарка не выберешься! А дурака Хреноредьева в какую-нибудь богадельню запрут на всю оставшуюся жизнь, усек? То-то! Надо уметь понимать мудрых людей!

Хреноредьев на «дурака» не обиделся. Его заинтересовал Бубин план. Хреноредьев был готов и в шалаше прожить «оставшуюся жизнь», лишь бы здесь, а не в поселке, не под Куполом. И его вовсе не прельщало удайство и геройство, он не собирался ни за кого мстить, тем более, лежать с Паком Хитрецом, порастратившим свою хитрость, в засаде.

И потому он предложил свой план.

— А чего тут, едрена, думать! Днем еще светлее будет! Надо от дома к дому, от заборчика к заборчику — глядишь, и выберемся! — Хреноредьев помолчал для солидности. И

добавил с мстительной подозрительностью: — А Бубу на прицеле держать будем, чтоб снова не продал...

— Чего?! Когда это я продавал-то! — возмутился Буба.

— Молчи, агент! — осек его инвалид. — Заведешь в западню, мы с Хитрецом из тебя лапши настругаем, едрена вошь!

Буба только рукой махнул. Ему надоело уже оправдываться. За него вступился Пак:

— А чего ты, старый хрен, привязался к Чокнутому? Он заслуженную кару понес?

— Понес, — нехотя согласился Хреноредьев.

— Стало быть, искупил?

— Не знаю, может, и не до конца, едрена канитель! Может, затаился до поры, до времени, выжидает моменту. Нет у мене к нему доверия!

Пак долго думал. Потом предложил самое простое решение вопроса.

— Давай его тогда шлепнем здесь, и дело с концом!

Буба упал на карачки и пополз к заборчику.

Хреноредьев бдительно следил за ним, подмигивал Паку, дескать, выдал себя агент и провокатор, вон как забеспокоился за свою продажную шкуру! Но вслух сказал:

— Не-е, Хитрец, шуму разводить не надо. Надо его просто связать, пускай полежит, пока свои не подберут! А мы пока что, едрена-матрена, смотаем удочки!

Они настигли беглеца, схватили его за длинные мосластые руки. Подняли. Обессиленный от бесконечных побоев за последние сутки Буба покорно поплелся меж своих стражей. Вели его недолго. До изваяния псевдопапаньки. Там же привязали Чокнутого к короткой толстой ноге белой статуи. Хреноредьев пару раз ткнул Бубу в брюхо кулаком. Потом сообразил, что без кляпа оставлять Бубу опасно, разорется еще! И, содрав с ноги «продажного агента» сапог, долго и старательно запихивал его в Бубин рот. Наконец справился с поставленной задачей, радостно и удовлетворенно потер руки.

— Ну, чего, Хитрец, потопали, что ли?

Пак стоял в раздумии.

— А как же мы без него-то пойдем? Он хоть порядки тутошние знает, а мы вообще ни хрена...

— Но-но! — погрозил пальцем Хреноредьев. — Чего это мы вдруг «ни хрена»?! С хреном! — он сам запутался, раз-

вел лапами. — Короче, едрена, со всем, с чем полагается!

И пошел было к заборчику. Но тут и до него дошло, что поступили не слишком-то умно, сами своего же единственного проводника и связали.

Буба дико вращал выпученными глазами и пытался языком выпихнуть сапог изо рта. Разумеется, это была напрасная затея, Хреноредьев сработал на совесть.

Они еще около сорока минут препирались с Паком. Дело чуть не закончилось дракой. Потом поуспокоились, решили отвязать Бубу-мученика. Но кляпа не вынимать, руки связать за спиной — пускай идет вперед их, дорогу указывает, к этому самому — к шалашу.

Они подобрались к заборчику, улеглись в тени кустов. Решили передохнуть малость перед отчаянным броском сквозь неизвестность. Хреноредьев, отвернувшись, дожевывал припасенного полуразложившегося крысосуслика. Пак ронял слюни, облизывался, но не просил, терпел. Буба лежал на спине — ему было очень неудобно, мешали свои же связанные в кистях руки. Но и он терпел. За заборчиком было почти светло и спокойно. Никто не собирался, похоже, их травить и вылавливать, сажать в зоопарки или в богадельни.

— Чего это, едрена? — поинтересовался вдруг Хреноредьев.

— Где?

— Да вона, тама! — Хреноредьев указал в сторону извьянья, в глубину парка. — Шумнуло чего-то? Или слышалось?

Пак всмотрелся. От напряжения даже глаза заболели.

Нет, им не слышалось и не показалось, там кто-то был. Неизвестно кто, но точно, был! Оттуда, прямо из дыры, через которую они вылезли сюда, в Забарьерье, вылезал еще кто-то. Сначала мелькнул желтенький лучик, словно ощупывая пространство, потом высунулась какая-то странная конечность — то ли нога, то ли лапа, очень большая, потом лучик стал ярче... Но он освещал не вылезавшего, а то, что было перед ним. И все же Пак рассмотрел целую кучу рук, ног, лап... из-за этой кучи вдруг выглянул самый обыкновенный турист. Слышались неразборчивые голоса.

— Ты пока не стреляй, едрена! — предупредил шепотом Хреноредьев. — Спугнешь еще!

Пак думал, что стрелять не следует совсем по другой

причине. Он вдруг сообразил, что эта самая «куча» лап, ног, рук принадлежит одному существу, причем существу, хорошо ему знакомому. Да, это было то самое Чудовище, виновник всех бед и напастей! Непобедимое, несокрушимое, не боящееся пуль и камней Чудовище! Стрелять было просто бесполезно!

— Видал? — спросил Пак у инвалида.

— Чего?

— С туристом вылез, гад! Все они заодно! Я давно подозревал, что заодно! Помнишь, дурья башка, как эта тварь из башни на площади выползла, а? И как сразу все началось! И пальба, и огонь, и расстрелы...

— Тихо ты! — испугался вдруг Хреноредьев. — Тихо, едрина, авось не заметят!

Но их никто не видел. Чудовище с туристом почти сразу же подошли к изваянию псевдопапаньки. Турист долго чего-то показывал, лопотал, убеждал в чем-то. Потом Чудовище навалилось на пьедестал, загудело, заохало, закрипело... и изваяние сдвинулось метра на три. Почти сразу же и турист и Чудовище пропали. Видно, залезли в какое-то потайное место, а может, и в лаз, в подземный ход! Пак разинул рот, глядел, ничего не понимал. Изваяние медленно, будто его подталкивали снизу, вернулось на свое место. И снова в парке стало тихо, спокойно, будто ничего и не произошло. Снова в нем оставались лишь Пак Хитрец, инвалид Хреноредьев и Буба Чокнутый.

— Пора! — произнес наконец Пак трагически.

— Пора, — заговорщицки отозвался Хреноредьев.

Они перекинули через заборчик Бубу. Перемахнули сами, и вся троица побежала к домам, через улицу, побежала, стараясь не попадать под лучи фонарей... Но все равно они были видны до тех пор, пока не затаились между домами, пригнувшись у палисадничков, переводя в темноте дух.

— Все! — заявил Лопоухий Дюк. — Лопнуло мое терпение! Я щас или перестреляю всех, кто попадется, или вылезу и пойду назад!

Гурыня, не оборачиваясь, закатил Дюку затрещину. Навесил для убедительности еще одну, сверху. Но ругать не стал, напротив, почти проорал, бодро и весело, с прищипом:

— Парни! Чует мое сердце — мы у цели! Все, падла, добрались! А ну, все по местам! Бага, падла, докладывай!

Бага Скорпион вытянулся в струнку — ровно настолько, насколько ему это позволило сделать внутреннее пространство броневика. И отрапортовал:

— Все в полной боеготовности, шеф! Парни ждут с нетерпением, понимаешь, так и рвутся в бой!

— Отлично!

Гурыня был взвинчен до предела. Он и чувствовал себя теперь не шефом, не вожаком, не Гурыней, а дрожащей стрелой в натянутом луке. Вот-вот пальцы стрелка разожмутся, и...

— Вперед, падлы! Полный вперед! Эй, Плешак?!

— Я!

— Лопухий?!

— Я!

— Бага?!

— Я!

— Никто не спит?!

— Никак нет!!! — рявкнули одновременно три глотки.

Гурыня затрясся в предвкушении, маленькая головка задрожала на вытянутой длинной шее.

— Последняя инструкция, падла! Чтоб с ходу! С лету! Поняли, падлы?! Штурм и натиск! Туда — обратно! Налетели, перебили, похватали, чего надо, в машину — и сразу назад! Лихо! Смело, падла!! Молодецки!!!

— Так точно!!!

Гурыня был доволен парнями. Но он сам не знал, что будет тогда, когда эта чертова труба кончится. Да и ладно, лишь бы она кончилась, а там разберутся!

— Полный вперед!

Снопы фар-прожекторов уперлись где-то совсем далеко в какую-то преграду, уперлись одним желтым кругом.

— Эй, шеф, притормозить бы! — завершал Бага.

— Ни за что! Полный вперед!! К бою!!!

Хенк обливался потом, но не отставал, полз за Чудовищем по узкому земляному лазу. Он удивлялся, как само Чудовище не застревает в нем. Казалось, они тут находятся целую вечность. Но на самом деле они проползли не больше двух сотен метров.

— Во! Просвет! — невольно вырвалось у Чудовища.

Они выбрались в какое-то темное помещение, заваленное мешками, заставленное коробками и ящиками. Дышать стало легче. Первым делом Хенк осмотрел свой пулемет — все было в порядке, лишь немного земли набилось в пазы. Но в дуле ее не было.

— И чего дальше? — поинтересовалось Чудовище.

— Чего-чего, — передразнил Хенк, — будто я сам знаю. Посидим немного, потом выберемся. Ты мотай, куда тебе вздумается, — лучше в леса какие-нибудь, там можно скрываться сто лет, а я уж до своих доберусь!

— Ладно, так и сделаем, — согласилось Чудовище.

На мешках было удобно сидеть. И вообще здесь было спокойно, хорошо. Не хотелось отсюда уходить.

— Я пойду на разведку, — сказал Хенк. И полез по лесенке наверх.

Чудовище осталось в темном помещении. Осмотрелось. В мешках и коробках было съестное. Это оно сразу определило по запаху. Проковыряло один из мешков. В нем лежали кругленькие шутовинки, совсем темные снаружи и белые внутри, — Чудовище разгрызло одну. Подержало во рту. Проглотило. Потом, не раздумывая долго, вытряхнуло в пасть содержимое всего мешка, перетерло жвалами, проглотило. То же оно проделало со вторым мешком, третьим. Сразу стало веселее. Даже сил вроде бы прибавилось. В коробках стояли бутылочки с желтенькой сладковатой дрянью. Если бы не жажда, Чудовище ни за что бы не стало глотать ее. Но пришлось опустошить десятка два бутылочек. Кровь сразу же забурила в жилах.

Теперь Чудовище не могло сидеть сложа руки. Оно было готово действовать. И оно полезло по лесенке наверх. Столкнулось со спускающимся Хенком. Тот чего-то жевал, запивал на ходу.

— Нам повезло! — проговорил невнятно из-за набитого рта. — Прямо в склад вылезли, продуктовый!

Они поднялись вместе. И оказались в чистом и уютном зале, заставленном всяческой снедью. Чудовище не стало отвлекаться на съестное. Оно было сыто. Сейчас надо было подумать о том, чтобы не угодить прямо в лапы туристам. Впрочем, туристами они были там, за Барьером, в Подкуполье, здесь они были просто людьми. Но это ничего не меняло.

— Пошли!

Хенк подвел его к небольшому круглому окошку. Подтолкнул рукой.

— Гляди! Обзор, лучше не надо!

— А толку-то?!

Хенк замаялся. Но быстро нашелся.

— Главное, сейчас все видеть, а самим оставаться невидимыми. Не бойся, здесь твои противники совсем другие, здесь они не палят направо и налево! Даже если кто и попробует, так на него быстренько таких собак навешают, что не отмоется потом. Но это не значит, Биг, что тебе нечего опасаться.

Чудовище передернулось.

— Я это понимаю, Хенк, — сказала оно с иронией.

Они проверили все двери. Никого в помещении, да, видно, и на всем складе не было.

— Время ночное, все спят, — сказал Хенк. — Но тут, Биг, не поселок! Тут ежели какая заваруха — с шумом и треском, сразу же спецотряды нагрянут! Чихнуть не успеешь! У нас умеют поддерживать порядок. Не поверишь, но с преступностью почти покончили...

Чудовищу трудно было понять, что имел в виду Хенк под словом «преступность» — у них в поселке не было ни преступности, ни законности, там все вперемешку было. Но здесь, за Барьером, наверное, любили порядок. Что же, в чужой монастырь со своими уставами не суются. Надо приглядываться, принюхиваться, привыкать — хотя бы на время, пока не прекратятся облавы. Лишь одно Чудовище сразу приняло — это воздух, чистый приятный, без всякой взвешенной дряни, без паров и газов, какой-то необыкновенно прозрачный и даже вкусный. От этого воздуха кружилась голова. Но он придавал силы.

— Гляди, — Хенк указал пальцем в окошко. — Вон там, рядом с парком, это старые ангары. Они наверняка заброшены, даже при фонарях видно, что петли все проржавели... нет, оттуда опасности не может быть. В парке все тихо, сам видал! — Он повел рукой влево. — Там дома, пара ночных развлекалок, кабак, бордель... Биг, а ты вообще-то знаешь, что такое бордель?

Чудовище покачало головой, ему было наплевать на содержимое этих домиков, тем более на их предназначение. Лучше бы их вообще не оказалось тут.

— Ну и ладно, тебе это ни к чему! Тем более, что все

девки разбегутся и помрут от одного твоего вида, ха-ха! Та-ак-с, дальше... дальше — вон, гляди, большая башня. Там может быть охрана, а может, и нет. Туда надо поглядывать. Ты следишь?

— Ага, — ответило Чудовище.

У него все в глазах мельтешило от горящих вывесок, ярких светящихся букв, от фонарей и светильников. Оно не привыкло, чтоб по ночам было так светло и празднично. Все это сбивало с толку, расслабляло, от этого можно было лишиться бдительности.

— Да ты не бойся! — Хенк чувствовал теперь себя хозяином положения. — Сюда ни одна душа живая не припрется до утра. Если только роботы. Но на них можешь наплевать, у них свои программы — им нет до нас дела. Гляди дальше! Вон там участок, до него метров шестьсот, оттуда тоже могут... Но это все ерунда, Биг. Чего у них там, пулеметы, автоматы, пистолеты, с десятков винтовок дальнего боя. Тебе это все как песчинки, сам видал, так что будь спокоен!

Хенк говорил без умолку. Но было похоже, что он успокаивал самого себя. Чудовище не было настроено столь радужно. И ему казалось, что идти надо прямо сейчас, сию минуту, не теряя драгоценного времени. Ведь ночь скоротечна, а ему надо уйти как можно дальше от людских глаз, он не Хенк, его сразу приметят, его сразу возьмут на мушку, а может и сделают проще — вколют издалека какую-нибудь гадость, усыпят, и возьмут тепленьким!

— Пошли?

— Да погоди ты, — заорал Хенк, — дай хоть немного отдохнуть.

Он опять что-то жевал, запивал все той же желтенькой гадостью. Ел с аппетитом, за обе щеки наминал. Отрывать его от приятного занятия не хотелось. Чудовище решило, что несколько минут игры не делают.

Хреноредьев зловонно дышал Паку прямо в ухо. Буба сопел вниз, под ногами. Он все пытался вытащить из рта кляп-сапог. Но это ему никак не удавалось. Они уже перебежали к четвертому домику. Еще через два проглядывалась спасительная чернота, там, наверное, был или глухой тупик, или же неосвещенная маленькая улочка, ведущая к окраинам городка. Во всяком случае, Буба кивал в ту сторону, пучил туда глаза. И ему верили.

— Ну чего, побежали, что ль? — предложил Пак.

— Дыхалка барахлит, едрена круговерть! — пожаловался Хреноредьев. — Да и боязно чего-то! И-ех! Хитрец, может, назад вернемся, пока не поздно, а?

Пак треснул Хреноредьева железякой.

— Сам ты — продажная шкура и агент! — сказал он зло.

Буба под ногами ожил, зашевелился, закивал. Пак выдернул у него изо рта сапог. Минуты две Буба дышал, как выброшенная на песок рыба. Потом заявил.

— Точно! Я тоже да-авненько подозревал, что подлый наймит и враг трудового народа не я, а вот этот гад! Я лишь попал под его тлетворное влияние, Хитрец! Да ты сам знаешь, я ж избранник, меня все уважали в поселке!

Пак развязал руки Чокнутому. Тот сел, прислонившись спиной к деревянному заборчику. Смотрел Буба бодро и нагло.

Хреноредьев ему пригрозил.

— Клеветник ты и доносчик, едрена!

— Ага! Испугался!

— Да заткнитесь вы! — прекратил распрю Пак. — Тихо!

По улице шел какой-то покачивающийся турист. Пак его взял на прицел. Но стрелять не собирался, так, на всякий случай. Турист был явно навеселе. И Паку вновь вспомнился папанька. Слезы потекли из всех четырех глаз — в темноте они поблескивали маленькими росинками. Хоть и злющий был папанька и драчун, а все-таки родней его у Пака никого на свете не было. Вот жив был папаша Пуго, Пак все ему отомстить клялся, все злил себя, разжигал... а как помер в мучениях, так стал видаться Хитрецу совсем иным, добрым и ласковым. Да что там вспоминать!

Турист прошел мимо. Стрелять не пришлось. Но почти сразу же с другого конца улицы подъехала машина. В ней сидело четверо туристов в синих форменках, с касками на головах. В руках у двоих были металлические трубки, такие как у Пака. Они поговорили с тем, который проходил мимо, отпустили. А сами встали почти напротив троицы — метров шесть разделяло их. Но машина стояла на свету, а три поселчанина затаилось во тьме.

— Все! Какую нам! — прошептал каким-то мертвецким шепотом Буба. — Влипли! Все влипли: и враги народа и друзья... Пак, ты сам-то — друг? Или кто? Все влипли: и агенты, и диверсанты, и честные труженики!

— Не ной, едрена! — Хреноредьев зажал Бубе рот. — Цыц!

Машина стояла и, похоже, никуда не собиралась уезжать. Туристы лениво переговаривались — двое прохаживаясь возле машины, двое сидя внутри, развалившись в креслах. Ни Пак, ни его сотоварищи не слышали, о чем речь шла. Да и если бы слышали, навряд ли бы разобрали, что к чему, — все-таки языки за двести лет раздельной жизни существенно изменились, будто и не были родственными в приграничье.

— Шас кокну хоть одного! — не выдержал Пак.

Буба и Хреноредьев одновременно с двух сторон схватили его за руки. Пригнули к земле.

— Гляди, едрена, а то и тебя повяжем! Не шебурши!

— Да ладно! — Пак дернулся и легко высвободился.

И, по всей видимости, это резкое движение не осталось незамеченным — легкий шумок привлек внимание туристов. Они сначала насторожились. Потом те двое, что сидели внутри, вылезли, встали по бокам машины, выставили вперед трубки.

— Все! Кранты!!! — процедил Буба.

Двое остались стоять возле машины. Двое медленно, не очень уверенно, даже с опаской стали надвигаться на затаившуюся троицу. Они еще ничего не видели. Но, судя по всему, они догадывались уже, что в кустах кто-то есть — и не просто кто-то, а прячущиеся, те, кто желает остаться незамеченными... Туристы приближались, тихо, словно вслепую, ощупывая подошвами башмаков каждый сантиметр под ногами.

Пак приподнял железяку. Указательный отросток клешни лег на спусковой крюк. Надо было бить, пока туристы находились в освещенном месте, потом будет поздно! И Пак уже почти нажал на крюк, как произошло нечто совершенно непонятное...

Оглушительный грохот разорвал тишину мирного городка. Не просто грохот — это было адское соединение рева, гула, лязга дребезга, звона, треска... Что-то словно обрушилось или лопнуло. В глаза ударил свет. Что-то с невероятным напором вылетело из темноты на освещенную площадь, заливая ее снопами света...

И почти сразу же упали трое — те, что оставались у машин, и один из приближавшихся. Дернулись, переломи-

лись тела, их даже подбросило немного, прежде чем опустило на землю. Из машины полетели разбитые вдребезги стекла, сама она качнулась. Пак услышал свист пролетевших мимо пуль. И он не стал выжидать, он выстрелил прямо в лицо четвертому. Их разделяло не больше трех метров, и потому Пак не промахнулся. Четвертый вздрогнул, запрокинул голову, осел на землю.

Из-за машины было плохо видно, что происходит на площади. Но что бы там ни происходило, рисковать не стоило. Пак бросился на землю. Хреноредьев с Бубой уже лежали пластом.

Дьявольский шум, треск, лязг не смолкали.

Гурыня рванул рычаг на себя, выжимая из броневика последнее — мотор взвыл, машину затрясло. Скорость была бешеной. Преграда приближалась.

— Бага, сучонок! Жми гашетку!! У-у, падлы-ы!!! У-у-у, полный вперед!!!

Ни один из них не расслышал ни звуков очередей, ни ударов пуль о преграду — все! ее больше не существовало! труба кончилась! Мощнейшим ударом вышибив проржавевшие двери ангара, броневик вырвался на простор.

Гурыня стукнулся головой о переборку, потерял ориентацию. Но он вслепую притормозил, умерил ход машины — завизжали траки, задребезжало железо под гусеницами.

Зато Бага Скорпион не сплеховал. В окуляры он сразу увидел, кто может доставить всем им неприятности. И, не разбираясь, так саданул из крупнокалиберного пулемета, что троих туристов срезало мгновенно. Четвертый упал чуть позже. Для острастки Бага развернул башенку, не переставая палить — пусть впустую, сейчас главным было ошеломить возможного противника, потрясти его. Лопухий Дюк лупил из автомата в ночное небо — он ничего, кроме него, из своей бойницы не видал. Плешак Громбыла тоже выпустил очередь, но тут же опустил ствол. Стрелять было не в кого!

— А-а-а!!! Падлы! Всех перебью! Суки, заразы, чего смолкли!!! — взвыл бешено Гурыня. Он уже очухался и разворачивал машину к ближайшим домам. — Огонь, падлы!!!

Багу не надо было упрашивать. Он принялся стрелять по освещенным окнам, не разбирая, что к чему, зачем. Дюк и Плешак, отбросив страхи, поддались общему азарту.

— Вперед!!!

Гурыня вновь рванул рычаг. Броневи́к прошиб стену дома, выскочил через другую, крутанулся на месте, чуть не перевернувшись. И сразу же снова выехал на площадь.

— Огонь! Огонь!! Ни секунды им не давать! Огонь, падлы!!!

Гурыня видел, как выскакивали из домов туристы — голые и полуголые, как они бросались во тьму, но бежать им было некуда, всюду их настигали пули. Туристы падали, корчились, ползли, все еще цепляясь за жизнь. Три дома уже горели, занимались и еще два, соседних с ними.

Броневи́к, порождением самого сатаны, вертелся посреди площади, сея по всей окрестности смерть, ужас, панику. В воздухе стояли вопли, стоны, плач, чей-то безумный смех.

Откуда-то слева выскочили еще две машины с туристами в синих форменках. Они ринулись наперерез броневи́ку. Но Гурыня и не пытался ускользнуть от этих жалких преследователей на их жалких полуоткрытых машинах. Он все отлично помнил! Он помнил, как его самого срезала очередь из броневи́ка, в котором сидели туристы, срезала там, в развалинах, когда он их вел к опутанному Чудовищу, когда он ждал награды и похвалы, а его изрешетили чуть не в упор, изрешетили, высветив мощными прожекторами. Нет, он все помнил! И он не был слюнтяем, он знал, как надо мстить! Он резко развернул броневи́к — и одну за другой смял машины вместе с сидящими в них. Ни малейшей жалости не промелькнуло в его душе.

— Вперед! Штурм!! Натиск!!!

Разгромив еще два дома, но уже по другую сторону, броневи́к остановился напротив того места, где были убиты первые туристы в синем. Гурыня крикнул назад:

— Дюк, Плешак — быстро наружу! Бага, прикрывай их! А ну, парни, проверьте-ка вон те кусты, что-то они мне не нравятся! Ну! Живо, падла, живо!

Лопоухий Дюк и Плешак Громбы́ла выскочили наружу. Их трясло одновременно от страха и от азарта, от жажды побоища; они вкусили плодов безнаказанной и кровавой потехи, они были готовы на все! А Плешачок, хилый Громбы́лка, и вовсе дрожал в экстазе, он был готов тут же отдать жизнь за героя, вождя, предводителя ватаги, за самого Гурыню! Погибнуть, лишь бы на его глазах, в этом сказочном

упоении, в этом яростном взлете! Они выскочили и бросились к кустам не переставая палить.

Бубе оторвало последнее ухо и ноготь на мизинце ноги — сапога он так и не успел натянуть. Но Буба вовсе не собирался помирать. Он прополз в палисадник, потом через маленький садик на задворки. Там все полыхало. Тогда Буба встал в полный рост и побежал к большому зданию. Он позабыл про все и про всех. Пусть калечат друг друга, пусть сжигают, уродуют, убивают, а он залезет на крышу этого местного небоскреба, упадет на жестяную кровлю, в том месте, куда не долетит никогда ни одна пуля, заткнет дырки ушей пальцами и будет лежать, пока все это не кончится!

Буба бежал, не разбирая дороги, наступая на трупы и на еще живые тела, на булыжники, обломки, вывороченные внутренности... Он бежал — у него была цель.

А Пак лежал на прежнем месте, выставив трубку. Он уже расстрелял трех беззащитных жильцов, выпрыгнувших из горящего дома. Ждал, когда можно будет достать следующих.

Он так и не разобрался, что же происходило. Но теперь ему было все равно. Он знал, что погибнет или попадет в зоопарк, в клетку. И он старался утащить на тот свет за собой как можно больше этих подлых охотников, их жен, детей, неважно, все виноваты! пускай все отвечают! они там не миндальничали в поселке!

От грохота и рева Пак совсем оглох. Хреноредьев лежал, не поднимая головы, стонал, рыдал, клялся, божился. Толку от него не было, только воздух портил.

Когда из броневика выскочили две странные и чем-то знакомые фигурки с пулеметами наперевес, Пак не удивился. Мало ли что может происходить в этом сказочном мире! Может, это вообще не мир никакой, не реальность, может, это опять мудрец-карлик их испытывает! Ему что в своей берлоге! Ему там хорошо! А как здесь пришлось бы! Пак злился. Но вместе с тем он был как-то странно, рассудочно спокоен! Он уже не мог уловить ту грань, что отделяла все придуманные миры от настоящего, наваждения от яви. И все-таки фигурки были знакомы.

Одну из них, круглоголовую и лопаухую, Пак сбил почти сразу — она рухнула за семь или восемь метров. Вторая подбежала ближе, и Пак узнал... Но было поздно. Нападав-

ший выпустил очередь прямо по земле, по лежавшим. Одна пуля зацепила Пака, прошила ему плечо. Он встрепенулся и... промазал. Еще очередь полоснула перед самыми глазами, взметывая фонтанчики песка вверх.

И тут Хреноредьев, смертельно раненный, с пробитой насквозь головой дико заверещал, завопил, вскочил на ноги и вслепую бросился вперед. Видел ли он в этом своем прыжке убийцу или уже нет, был ли он пока в рассудке или просто дернулся в припадке агонии... неважно. Хреноредьев с лету обрушился всей тушей на врага, опрокинул его, подмял. Что-то острое вышло сквозь его толстую и багровую даже в темноте шею.

Пак лежал, морщился от боли, потирал плечо. Теперь он точно знал, кто стрелял. Он подполз поближе к труп Хреноредьева. Да, он не ошибся — под многопудовым телом трепыхался еще живой, но хилый и беспомощный Плешачок Громбыла, один из поселковых парней, тихоня и нелюдим. Пак видел и другое — Плешак мог бы извернуться, выскользнуть из-под расплывшегося тяжеленного тела. Но его острый и длиннющий клюв-долото пробил Хреноредьеву шею насквозь. И вытащить теперь собственного носа из трупа посельчанина Громбыла никак не мог. Он дергался, елозил, сучил лапками, пищал, хлюпал и сопел. Но ничего не получалось.

Пак уже собрался было перевернуть тело Хреноредьева, помочь Плешаку выбраться. Но вдруг подумал — а зачем? для чего? чтобы снова все это продолжалось? чтобы и еще кто-то придавил бы Плешака и сам бы погиб на этом острие, чтоб снова палил пулемет, для чего? Нет! Пусть все будет, как оно и есть.

И Пак прополз мимо умирающего, полураздавленного Плешака, мимо трупа Хреноредьева, прополз, оставляя за собой кровавые капли на земле. Он твердо верил в то, что второй раз из объятий смерти ему не вырваться, что на этот раз он влип накрепко! Но он полз. Он хотел умереть не посреди улочки, а среди кустов, на траве — на настоящей зеленой, мягкой, вкусно пахнувшей траве, которую он увидел впервые в жизни в этот свой последний день.

Чудовище видело все — от начала до конца. Это было похоже на безумие. Какой ненормальный сидел в этом чертовом броневику?! Только сам дьявол мог вершить такое.

Когда на глазах у него двери ангара разлетелись в стороны, визжа, скрежеща, когда из тьмы выскочила наружу ревушая машина, Чудовище было готово броситься назад, в погреб, в земляной лаз, в трубные полости... Но что-то удержало его. Оно смотрело на происходящее словно замороженное, не могло пошевелиться даже кончиком щупальца. Не слышало, как что-то орал в самое ухо Хенк. Потом он убежал.

Чудовище увидело его через окно, на площади. Хенк как одержимый палил из своего пулемета по броневику, потом бросил одну гранату, другую. Обе разорвались, не причинив машине вреда, лишь заставив ее дважды вздрогнуть. Он стрелял до самого последнего мига, до тех пор, пока дребезжащие гусеницы не смяли его, не превратили в безжизненный, кровоточащий мешок.

Чудовище увидало двоих, выпрыгнувших из люков. И оно все поняло. Это были поселковые парни, из ватаги Пака Хитреца, а может, из другой какой, но точно, поселковые. И оно не могло сидеть на месте, не могло допустить этой кровавой и бессмысленной бойни. Это было уже сверх его сил. Оно рванулось к выходу.

— Не лезь, малыш! Не впутывайся в это дело! — голос Отшельника прорвал расстояния и преграды. — Это не твое дело, малыш!

— Отстань!

— Я не пущу тебя туда!

Чудовище вдруг почувствовало слабость — мышцы размякли, спина прогнулась. Оно упало на пол. Щупальца, трепыхнувшись, застыли на кафеле плиток.

— Я не пущу тебя на смерть! Все равно ты никому не поможешь! Лишь себя погубишь!

— Я сам собой распоряжусь, — прохрипело Чудовище, — сам!

Оно напрягло все силы, собрало волю, заставило себя привстать на колени, опираясь щупальцами на пол. Тело не слушалось. Но Чудовище превозмогало слабость, оно становилось сильнее собственного тела, собственных мышц, крепче собственного хребта и костей, прочнее собственных сухожилий и связок. Оно вставало.

— Биг, я тебя прошу, не лезь в это дело, — почти умоляюще проговорил в мозг Отшельник.

— Это мое дело!

— Наплюй! Забудь!

— Нет!

Чудовище встало. Оно бросило взгляд в окно — там бушевал сильный пожар. Броневи́к стоял возле огромного полупрозрачного дома, его пулеметы работали без умолку. Дом уже занимался снизу, его начинали лизать языки пламени. А пулемет все строчил и строчил. С верхних этажей сыпались обломки, со средних начинали выпрыгивать люди. Пламя разгоралось.

— Стой, Биг!

— Нет!

Чудовище почувствовало, что тело налилось силой. Оно рванулось к двери. Вышибло ее одним ударом. Выскочило наружу. Споткнулось, упало, перевернувшись раза три через голову. Но не остановилось. Тут же вскочило на конечности. И бросилось к броневику, к пылающему дому.

Пожар становился все сильнее. Броневи́к заезжал то с одного края, то с другого. Теперь очереди били не в сам дом, а в людей, выпрыгивающих из окон. Крики раненых, горящих заживо были нечеловечески громкими, пронзительными.

В десять прыжков Чудовище подскочило к броневику. Но тот тут же подался назад, башенка развернулась — и грудь Чудовищу пробороздила очередь из крупнокалиберного пулемета. Пули попадали в незажившие раны, боль была лютой, непереносимой! Пули сыпались градом, но все в одно место, почти в одну точку, будто опытный и умелый стрелок задался целью пробить-таки непробиваемую толстую кожу. И он почти достиг своего — Чудовище чувствовало, что пули начинают проникать внутрь, что они вонзаются в кости, в мясо, пробивают вены... И оно прыгнуло в последний раз. Уже теряя сознание, оно вцепилось всеми щупальцами в саму башню, уперлось конечностями в броню машины, рвануло на себя — выворотило башню с корнем, вместе с сидящим под нею... и упало назад. Так и упало с зажатой в щупальцах бронированной башней, упало на спину. Вороненый ствол воткнулся в землю, застрял в ней. Бронированная машина, еле перебирая траками, наползла своим плоским брюхом на Чудовище, расплющила его, придавила вместе с собственной башней... Нос машины задрался, застыл над придавленным. Но Чудовищу уже было все равно, кто на нем, что, и сколько оно весит. Чудовище ничего не чувствовало.

Из раскореженной машины выскочило наружу какое-то полубезумное шипящее существо с пулеметом в руках. Прямо с брони оно послало в пространство несколько очередей. Потом спрыгнуло наземь и, отстреливаясь от невидимого противника, побежало в сторону ангаров.

Свидетелей последней схватки Чудовища не было. Или почти не было. Пожар долизывал тела их.

Толпа зевак собралась значительно позже. Любопытствующие стали появляться, когда приехали с дальнего конца городка пожарные машины, когда пеной затопило половину местного небоскреба.

Зеваки стояли, судачили, давали советы, ругали пожарников, а заодно и власти. Это было неплохим развлечением.

Через полчаса огонь удалось усмирить. Но толпа не собиралась расходиться. Она глазела на то, как по длиннющим металлическим лестницам вытаскивают с верхних этажей раненых, обожженных. Мертвых укладывали прямо на землю. Живых тут же увозили машины «скорой помощи».

Лишь один из спасаемых никак не хотел даваться в руки пожарников. Видно, спятил совсем — решили зеваки, не вынес ночного происшествия, трехнулся!

Он стоял на самом краю крыши. И ругал весь белый свет почем зря! Плевал вниз, показывал кулаки, кукиши. Был он длинный, мосластый, изможденный, весь покрытый синяками и ссадинами. Зеваки, даже почтенные старожилы, никак не могли узнать безумца. Да и откуда!

Ведь это был сам Буба Чокнутый. Снизошедшим с небес пророком парил он в светлеющей выси. Указующий перст упирался, казалось, в облака. Лицо было исступленным, окаменевшим, горделиво застывшим. Только орал Буба совсем не по-пророчески. Он прямо-таки визжал, брызжа слюной, захлебываясь, пытаясь выкричать все сразу.

Но до зевак доносились одни обрывки:

— И придут судьи праведные и грозные... Кайтесь, подонки и негодяи... Все на колени! Нет! Поздно! Поздно!!! Все вы недоноски и выродки! Не будет вам прощения! Точно, не будет! И никто к вам, дуракам, не придет! Понятно?! Потому что все вы тут недоумки безмозглые, кретины, олухи, дерьмом набитые!



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Пак Хитрец

— Никогда в жизни не встречал уродяга и отвратительней!

Лот Исхак выронил окровавленный скальпель. Нагнувшись за ним, крича и ругаясь, резким движением стряхнул клочок прилипших к лезвию рыжих волос. Брезгливо ткнул острием в рану.

— Что ты делаешь? — Дан Злински недовольно поморщился.

— Эту мразь ни одна зараза не возьмет!

Лот полоснул бездыханное тело поперек груди. Руки у него дрожали.

— Ему надо отрезать башку, только тогда он сдохнет! — прошипел он себе под нос.

— Да успокойся ты, — улыбнулся ему Дан, — в питомнике Бархуса за него выложат кучу монет!

— Я бы их всех убивал! Всех до единого! Чтоб и на развод не оставалось! Выродки! Дегенераты! Ты представь себе, что будет, если этот малый сбежит от Бархуса и

ненароком повстречает твою дочку, Дан?! Не-ет, лучше бы их всех сразу...

— Ладно, заткнись! — оборвал его Злински.

Он пришлепнул к зияющей ране инфопластырь. Отвел лампу. Молча кивнул Исхаку.

Тот вонзил в волосатое предплечье здоровенный шприц, надавил. И не вынимая его, с размаху ударил лежащего по щеке. Злински вздрогнул от звонкого шлепка и снова сморщился. Ему тоже не нравился этот отвратительный урод. Но он предпочитал лишний раз не дотрагиваться до него.

Пак осторожно приоткрыл два верхних глаза. И тут же зажмурил их. Свет карающей молнией ударил в просыпающийся мозг. Что это? Где он?! Ох, как болит грудь... и живот!

Он повернул голову набок, втянул хоботом воздух, потом еще. Травой — душистой, пряной и свежей — и не пахло. Но ведь он точно помнил, что дополз до травы, что уткнулся в нее лицом, что хотел умереть именно в этой душистой траве. Траве, которую он увидел собственными глазами впервые в этот свой последний день.

Значит, его перетащили. Точно, это подлец Гурыня отволок его за ноги... Нет! Гурыня вытащил его из склепа, там, на пустыре — это было давно. Пак все помнил. Помнил, как визжал Плешак Громбыла, придавленный сотоварищем Хреноредьевым, как он сучил ножонками, но никак не мог извернуться и вытащить из жирного тела свой клювик-доло-то. Пак помнил, как трещали пулеметы и подымалось страшное красное зарево. Он помнил, как сорвался с места и с дикими воплями и стенаниями убежал Буба Чокнутый... Но как он оказался здесь, под этим ослепительным огнем?!

— Сволочи, — просипел он еле слышно.

Оперся на руки. И сел. Какая-то штуковина выскочила из плеча, со звоном и дребезгом упала на пол. Оборвались две прозрачные кишки. Сползло вниз что-то белое и мягкое.

— Сволочи! — повторил Пак громче.

Он увидел сквозь белесый туман, как от него шарахнулись два туриста с перекошенными лицами. Глаза у них были испуганные, рты разинуты.

— Сволочи!!! — в третий раз изрек Пак.

И повалился назад. Тьма медленно обступила его, и он утонул в ней.

Железный пол гудел под ногами, глухо отзывался на каждый шаг. Гурыня зажимал уши обрубками пальцев и упрямо брел вперед. Он уже знал, что никакой погони не будет. Но мелкие и острые зубы все еще выбивали дробь, в глотке было сухо и погано.

— У-у, суки! Падлы! — шипел Гурыня. — Еще разберемся!

Он был зол на весь белый свет, на Забарьерье и на Подкуполье, на каждого туриста и на любого из мутантов. Он шел к складу оружия. И верил, что найдет его, что не прошлепает мимо. Только бы найти! Гурыня представлял себе чудовищный гибрид станкового пулемета с огнеметом, представлял, как он из этой дьявольской «железяки» будет жечь и расстреливать всех подряд, всех до единого, как стометровый язык пламени будет истреблять все на пути, сжигать, а вылетающие бесконечным веером пули станут добивать тех, кто не погиб в огне... Багровое зарево стояло в воспаленном мозгу Гурыни.

— У-у, падлы! Ра-азберемся!!!

Временами он присаживался у округлой стеночки, поднимал вверх ногу, удерживая ее обеими обрубками, и выливал черную глубокую рану возле пятки — какой-то меткий стрелок угодил ему прямо в ногу, когда Гурыня стремглав неся к трубе. Он тогда упал, перекувырнулся раза четыре, взвыл от пронзительной боли, но тут же вскочил на три оставшиеся конечности и шмыгнул в спасительную трубу. Пулю он выгрыз сразу. Бежал вперед по железному гудящему аду вслепую — кровь застилала глаза. Тогда еще злости почти не было. Был страх. Лютый и безмерный.

Эти ублюдки, гаденыши, щенки — все передохли там, в Забарьерье. И Лопоухий Дюк, и шустрый недоумок Скорпион Бага, и тупарь Плешак Громбыла. Ну и хрен с ними! Разве с такими слабаками сделаешь дело?! Не-ет, с такими в налет идти нельзя! Вот Пак Хитрец, тот бы не подвел. Даже Волосатый Грюня, и тот был бы полезней. А если бы еще и Близнецов Сидоровых прихватить... Нет! Все они падлы и суки! Надо набирать новых! Надо в подземелья идти, вот чего надо! Гурыня скрипел зубами, не замечая, как обламываются острые концы, как хрустят обломки черных клыков.

Ему бы только до склада добраться!

Тогда он король!

Тогда ему все нипочем!

Гурыня представлял, как он обвешается оружием, наберет во все карманы и мешки гранат, как потом войдет в поселок, в это жалкое полувыжженное селение уродов и недоумков, как на глазах у посельчан пришьепает двоих-троих самых горластых. А потом... Потом он им скажет, что надо делать. Из поселка в банду можно взять не больше десятка детин. Он их будет бить, дубасить с утра до ночи, и с ночи до утра, но он сделает из них бойцов, он научит их пользоваться «железяками», стрелять, бросать гранаты, водить машины-громыхалы, броневики... И вот тогда... Нет, они еще не пойдут в налет. Еще рано. Гурыня хоть и не такой умный как Пак Хитрец, но он тоже не последний дурак. Тогда он с бандой пойдет по другим поселкам, он спустится в подземелья. Он будет убивать всех подряд, бить, жечь, терзать, он заставит всю эту сволочь пахать на него. Но он наберет себе такую банду, такую... что можно будет вернуться в Забарьерье и посчитаться кое с кем. Вот это будет добыча!

— Еще разберемся, падлы! — шипел Гурыня.

Только бы добраться до складов.

Он поднял маленькую змеиную головку. И обомлел. Посреди трубы, шагах в тридцати стояли два туриста с железяками в руках.

Гурыня машинально оглянулся. Позади, на таком же примерно расстоянии, стояли еще двое. Как и первые они были в круглых прозрачных шлемах и с тяжелыми двойными пулеметами, которые держали наизготовку.

— Иех, падлы-ы-и-и!!! — неистово взвыл Гурыня на одной ноте. Он понимал, что обречен, что пощады ему не будет, что это конец и не будет вообще ничего: ни складов, ни банды, ни налетов, ни торжества победителя-мстителя... ничего!

Гурыня повалился ничком в пыль и ржавчину, забился в истерику. Он грыз обрубки пальцев и захлебывался густой желтой пеной, вырывавшейся из глотки. Ему очень хотелось жить, просто очень!

— Ну, а с этими уродами чего делать будем? — спросил как-то вяло Злински.

Он отбросил зеленое полотняное покрывало и помор-

щился. Под тряпкой, пропитанной черной высохшей кровью, лежали рядком пузатый трехногий дегенерат с перекошенным землистым лицом и дырой в горле, невероятно противный карлик с огромной головой и полуметровым костяным носом, на конце которого присох обрывок чьей-то кишки, и еще какое-то невообразимое месиво — передавленное и перерубленное.

— Эту погань — собакам! — брезгливо выдавил Лот Исхак, указывая на месиво. — А из красавчиков выйдут прекрасные чучела для папаши Бархуса.

— Ими интересовалась метрополия, — напомнил Дан Злински.

— Кто не успел, тот опоздал, — отрезал Лот. — Ты думаешь, мы тут торчим на порубежье — и своего не возьмем? На-ка, выкуси!

Злински не терпел грубости. Но и возразить ничего не мог, он лишь хмурился да морщился, ежился да куксился. Уроды редко вылезали из-под черты, из-за Купола. Их предполагалось сдавать в центр. Но сам центр никогда не преследовал послушников, поглядывал на все сквозь пальцы. Да и кому нужны эти мутанты?! Ни-ко-му! Это первые десятилетия был интерес — что еще выкинет мутация в Подкуполье, какие новые формы жизни создаст, чего учудит в Резервации? Все прямо-таки уснуть не могли не увидав на сон грядущий новенького монстрика, невообразимого уродца... потом приелось, обрыдло, опротивело.

— Детишки будут в восторге! — добавил Лот Исхак. — Ты только погляди, Дан, на протез этого уroda — он его, небось, зубами выгрызал из полена, ха-ха! А у коротышки такой рубильник, что каждому захочется подергать...

— Брось!

Злински накинул покрывало на трупы. И пошел к ширме, кашляя, словно внезапно подцепив чахотку.

— Ну чего ты там возишься, Дан! — не вытерпел через минуту Лот. — Чего ты там ковыряешься?! Как с тобой можно работать?!

Он резко развернулся, вместе с тяжелым креслом на тугой телескопической ноге. И разом успокоился, смолк.

Прямо перед ним стоял четырехглазый урод с хоботом, левой клешней он теребил инфопластырь на груди. Старик Злински лежал на сером пластиковом полу с неестественно вывернутой шеей. На лице у него застыла жалостливая улыбка.

ка, правый глаз был прикрыт, левый остекленело смотрел в потолок.

Лот Исхак не почувствовал удара, просто голова разрослась вдруг до размеров комнаты, наполнилась кипятком, а сам он оказался лежащим в углу, под навесной полкой с препарированными уродцами. Сквозь багровую пелену он видел, как медленно поднялась вверх правая клешня четырехглазого... и как она опустилась вниз, урод не счел нужным добивать его.

— Все равно попадешь к Бархусу — одурело прошептал Лот Исхак вслед выходящему из комнаты мутанту.

Тот задержался у самой двери, вернулся к разделочному столу, откинул зеленую тряпку... и сдавленно прохрипел нечто непонятное. Лот Исхак не сразу сообразил, что это ругань, обычная ругань подкупольных уродов. Когда он услышал продолжение, более злобное и еще более хриплое, он утвердился в своей догадке.

Мутант набросил тряпку на мертвецов. Подошел к Лоту и с силой трижды пнул его ногой в бок и голову. Четвертый удар пришелся в подбородок, чуть не свернув его. Лот видел, как дрожала нижняя челюсть у четырехглазого, как тяжело и возбужденно вздрагивали пористые ноздри его морщинистого хобота. Смачный плевок пришелся Лоту прямо в глаза.

— Русская свинья! — прошипел Лот Исхак, пытаясь поднять руку.

Но мутант его не услышал, его уже не было в комнате.

Третью ночь Пак отлеживался в канаве. Днем он спал. Как только начинало темнеть он потихоньку высовывался, выползал, куда-то брел чуть ли не на карачках, боясь каждой тени... и снова утыкался лицом в канаву. Мир Забарьерья, такой светлый и радостный, сверкающий и сказочный, был для него черным миром, миром сумерек и теней, миром страха и боли. Раны заживали медленно. Спасало лишь то, что с едой и питьем не было проблем: пил он прямо из луж, ел зазевавшихся жирных крыс — да и какие это были крысы! одна крыса из Резервации передушила бы всех местных, не крысы, а цыплятки с хвостиками.

Несколько раз мимо с воем и миганием проносились пестрые машины. Может, это его разыскивали. А может, и нет. Хитрый Пак был готов ко всему. Он жалел только об утерян-

ной железяке. И еще об одном — он заблудился, безнадежно заблудился и даже не представлял в какой стороне теперь труба, где Резервация, куда бежать.

На четвертую ночь, часа через три после того, как стемнело, на Пака сверху свалилась какая-то пьянящая баба. Он не успел увернуться и она прямо рукой ухватила его за хобот, придавила, тут же перевернулась, высоко задирая голые ноги в какой-то мелкой и тонкой сетке.

— Ого! — вскрикнула упавшая. И визгливо захохотала. Ей было очень весело.

Она что-то лопотала без передыху, но Пак не мог понять ни единого слова. Он только успевал уворачиваться от ее рук, шаривших по его израненному телу и причинявших боль. Баба хохотала и норовила стащить с Пака комбинезон... Паку это не нравилось. Он с таким трудом натянул его на себя там, за дверью комнаты, где лежало все его и не его тряпье. А эта опять стаскивает! У него совсем не было сил противиться наглющей и безумной бабище. Хотя какая там бабища! Вот дура Мочалкина — это бабища! И Эда Огрызина — бабища! А это — хлипкая туристочка, потрепанная девочка. Таковую и не треснешь по сусалам, клешня не подыметься. Короче, Пак был в прострации. Он не знал, что надо делать. Ему хотелось одного — бежать. Но вот как раз бежать ему она и не давала. Ей удалось стащить с него наполовину разодранный и ветхий комбинезон. Пак и сам не заметил, как она повалила его на спину, взгромоздилась сверху и принялась елозить, дергаться, сопеть и сдавленно прихихатывать. Ему уже расхотелось бежать. Ему было приятно, он даже помогал ей... вот только раны горели, саднили. Но Пак не обращал на них внимания. Какая-то острая, жгучая, внутренняя сила, таившаяся в нем самом, вдруг приподняла его, вывернула наизнанку. Никогда еще он не испытывал такого удовольствия. Он даже сбросил с себя всадницу, выгнулся. Но та тут же подползла к нему, впилась горячим ртом в его хобот, застонала, придушила, обслюнявила. Она вся дрожала крупной, рваной дрожью — и эта дрожь передавалась Паку.

— Отпусти, сука! — не выдержал он, процедил ей прямо в ухо.

Бабища-девочка отпустила его не сразу. Она опять чего-то пролопотала. Потом дернула его на себя, ткнула кулачком в грудь.

— Чего надо? Отпусти, говорю! — Пак не на шутку разозлился. Но он вовсе не хотел, чтобы она ушла совсем. Он хотел только, чтобы она дала ему отдышаться. — Пусты, сука!

Глаза у пьяной превратились в блюдца — Пак хорошо видел в темноте.

— Их говорили русски?! — тоненько вытянула она вдруг.

— Говорили! — тупо повторил Пак.

— Их оттуда?!

— Чего? — не понял Пак.

Тонкие руки вцепились в его плечи, тряханули. Лицо, нежное и горячее, прижалось к бугристой щеке.

— Майн гроссбаба биль русски, — пьяно икая, проговорила насильница, — я есть немного говорить русски. Ты есть оттуда?! Ты есть — черта, барьер. Ты есть русски?

Пак ни хрена не понимал. Что значит «русски»? Чего она лопочет? Нахлебалась пошла, вот мозги и запузарились. А еще туристочка, в светлом мире проживает. Хотел он все это высказать ей, да не сумел. А сказал только:

— Поселковые мы.

— Ой!!!

Она вздрогнула, отшатнулась от него, прижала ручонки к груди. Разинула ротик.

— Чего ты? — заволновался Пак.

— А-а-а-а... — она тыкала пальцем в лицо Паку, но не могла вымолвить и слова.

Пак все понял сам. И прикрыл два верхних глаза.

— Ты есть оттуда... — отрешенно и без вопросительных интонаций протянула бабища.

Впрочем Пак уже не мог так ее называть про себя. Он еще никогда не видал столь красивых баб — глазища в поллица, губки бантиком, носик маленький, вздернутый, кудряшечки по плечам рассыпаются, грудки-мячики, не то что у Мочалкиной — два мешка помойных до коленок. Красивая-я, просто страсть!

— Как есть твой имя? — неожиданно спросила красавица.

Пак промолчал, соображая. И сказал:

— Ты вот чего — давай кончай выдрючиваться, говори нормально. А нето я тебе... — он не досказал, не захотелось досказывать, все равно ничего бы он ей, такой хорошенькой не сделал бы.

— Моя зовут Леда, — красавица заулыбалась, — Леда Попрыгушка... да, примерно так есть перевод.

— Тут я согласен, — важно заметил Пак, вспомнив, как она скакала и подпрыгивала на нем.

Леда залилась мелким рассыпчатым смехом. Минута протрезвления, видно, прошла. И опять ей стало беспричинно весело и лихо.

— А меня зовут Пак, Хитрый Пак!

Он нежно обхватил ее клешнями за талию, привлек к себе. Теперь Пака не надо было тормозить и раздевать. Он чувствовал, как жгучая внутренняя сила, сладостный огонь собираются, разгораются в нем. И погасить этот огонь, усмирить силу могла она — красавица Леда Попрыгушка.

Пак подмял ее под себя, облапил. И ощутил как она снова впилась своим влажным и горячим ртом в его хобот.

Через полчаса они не просто устали друг от друга, а изнемогли. И лежали по разные стороны канавы, тяжело дыша, сопя и глядя в черное прозрачно-звездное небо.

Машина с мигалками и сиренами подкатила неожиданно. Две серые одинаково плотные фигурки выскользнули из нее, пошли к канаве.

Леда опомнилась первой, она встала, уперла ручки в свои пышные бедра, изогнула тонюсенькую талию и просипела каким-то замогильным голосом:

— Чего надо, менты вонючие?!

Пак не понял ее слов. Но смысл уловил.

— Ты гляди, Попрыгушка, договоришься! — предупредил ее левый.

Правый спросил без обиняков:

— Урода с хоботом не видала?

— Это какого еще уroda?!

— Из Резервации сбежал, вот какого. Да ты опять накачалась, Попрыгушка. Может, прихватить тебя в участочек...

Леда скривилась и плюнула левому под ноги.

— Испугал! Волчара позорный, мент поганый. А ну вали отсюда.

Полицейские переглянулись. Левый ослабил, подмигнул напарнику.

— А чего нам ее в участок тащить, приятель! Она нас и тут обслужит. Верно я говорю, подружка-Попрыгушка?

Леда не успела и словечка вымолвить, как он ухватил ее

за руки, вывернул их так, что ее голова в миг оказалась у ширинки его синих форменных брюк.

— Укусишь, сука, я тебе буркалы выдавлю и головушку откручу, ты меня знаешь! — Он кивнул напарнику. — Да не тяни ты, времени мало!

Тот подошел к Попрыгушке сзади, деловито задрал поблескивающий подол, натянул его чуть не на голову. Трусиков на ней не было, зато кружева на чулочках... у блюстителя порядка голова закружилась. Да только в себя придти он не успел — мощнейший удар сбил его с ног и лишил сознания.

Второй блюститель открыл было рот, но не издал ни звука — быстрая черная клешня, хлестнувшая его по затылку, вышибла струйку крови из носа, только клацнули зубы.

Пак не стал дожидаться, пока обидчик Леды упадет, удар пришелся в солнечное сплетение — скрюченное тело дернулось и застыло под ногами.

— Бежать!

Попрыгушка ухватила Пак за руку, дернула. И в ту же секунду над их головами просвистела пуля. Выстрел был еле слышным. Стрелял водитель машины, стрелял, укрывшись за ней. Две несчастные жертвы были словно на ладони.

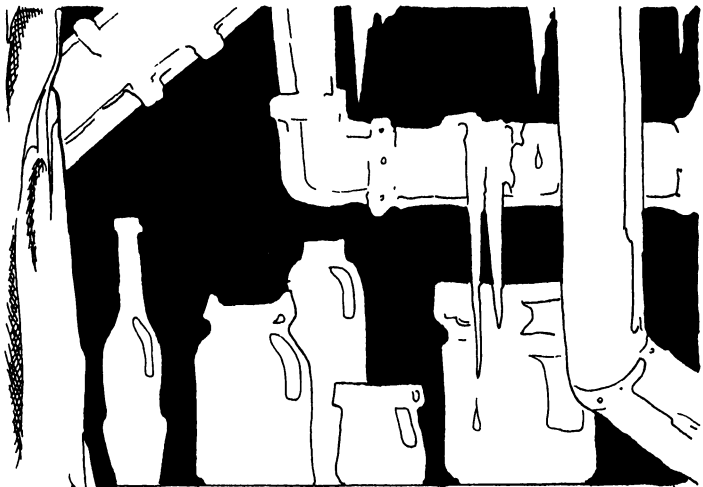
— Уйди! — Пак с силой оттолкнул Попрыгушку. Она полетела в канаву, вновь высоко задирая ноги. Но теперь она не хохотала.

Он встал в полный рост, махнул клешней. Пуля не заставила себя ждать, она железной осой вонзилась в плечо, разрывая кожу в ошметки. Пак вскрикнул и повалился прямо на скрюченного. Вытащить железяку из кобуры было минутным делом. Теперь ждать. Набраться терпения и ждать. Очень хочется дать деру, подхватить ноги в руки, но надо ждать! Леда тоже ждала. Но еще ничего не понимала. Она боялась высунуть нос из канавы.

Водитель оказался осторожным человеком. Он вышел из-за укрытия минуты через две, не раньше.

Когда он склонился над лежащим Паком, тот решил, что нечего стрелять, нечего лишний раз шум наводить. Одним ударом он вышиб пистолет и сломал челюсть блюстителю. Что делать, тот сам попросился!

Все три железяки Пак рассовал по драным карманам комбинезона. Вытащил Попрыгушку из канавы. Получил от нее



увесистую затрещину. Но сдачи не дал, удивляясь самому себе.

— Вот теперь надо бежать! — просипел он ей в ухо.

В небе мигала разноцветными огнями и выла на все лады невесть откуда взявшаяся тарактелка. Значит, они успели вызвать. Водитель вызвал!

— Бежать! — подхватила Леда.

Она прекрасно понимала, что дело добром не закончится, что им крышка. Одна надежда на быстрые ноги.

И они побежали. Во тьму. В неизвестность.

То ли глаз совсем ослаб, то ли в пещере стало темней. Мрак! Что же происходит, что же все-таки происходит, черт побери, со всеми на этом поганом темном свете?! И-эх, старость... вот и подкатила, гадина. Скоро придет пора окунуться, раствориться во тьме... навсегда! Нет, это просто с глазом что-то.

Отшельник сполз с грязной занозистой лавки, покрытой полуистлевшей мешковиной, ударился лбом о мокрый и скользкий пол. Ноги его совсем не держали. Тонкие хлипкие ручонки дрожали, никак не хотели слушаться. Мертвое тело! Да, это тело давным-давно умерло, в нем живет только мозг — огромный, разбухший, разросшийся мозг. Будто исполинский светящийся гриб. Нечеловеческий!

В пещере никого не было. Да что там в пещере. Отшельник не ощущал присутствия живой души в округе верст на тридцать. Забыли! Все забыли про него. Ну и плевать. Он прополз в мокроте и слизи три метра, снова уронил голову. Пить! Как хочется пить! Если агрегат заглох, сломался — ему крышка. Он сдохнет без пойла. Сдохнет самое большее через час. Надо ползти. Темно. Сыро. Погано. И страшно. Ему было непривычно это состояние страха. Он никогда не боялся умереть, все опостылело донельзя, его собственный гипертрофированный мозг убивал его самого... Нет, его убивало пойло, и нечего тешить себя байками!

Минут сорок он боролся с собственным немощным телом, преодолевая жалкие метры во мраке и сырости — метры, отделявшие его от ниши. Он ничего не видел, не слышал. Он был только в себе. Поднимался, проваливаясь в полуобморочное состояние, в еще больший мрак, чем был снаружи, но полз, полз, лез к банкам. На его счастье в од-

ной мутнело живительное пойло — больше половины банки поила! Жизнь! Спасение!

Без трубочки пить было тяжело. Две трети он пролил мимо. Но главное — треть-то через клювик влилось в его полумертвое нутро, оживило его. Сразу стало светло. И не только в пещере. Он увидел мир — на многие версты и мили, на километры и стадины, переходы и парсеки. Тьма ушла. Сердце забилося ровно. И все же, первым делом, едва отбросив от себя опустевшую банку, он шагнул к агрегату, дернул за шланг, пнул в ржавый бок рахитичной ножкой, чуть не упал... но увидел — набухает капелька! услышал — урчат внутренности! все нормальненько! все в порядке! просто заело немного! Он подставил под краник самую большую банку. И отошел к краю ниши. Теперь можно было и осмотреться...

Промелькнувшую было картину обугленного, уничтоженного карателями поселка он прогнал сразу. Надоело! Хватит! Еще поселки — и все в гари, копоты, головешках. Долой! Что-то случилось с головой. Он потерял ориентацию, он совсем не улавливает направления! Еще разок. Ну! Они ушли туда, за Барьер. Там их и надо искать. Эх, Биг, малыш Биг! Разве можно было его оставлять?! Что же он натворил? Где он?! Отшельник ничего не понимал. Мозг отказывался выполнять его команды, он не подчинялся ему — в глаза и уши лезло все, что угодно, кроме нужного. Где же ты, Биг? Отзовись! Неужели... Мозг пронзил истошный, полуживотный визг, перемешанный с дикой руганью, стонами, всхлипываниями, угрозами, мольбами и омерзительным зубовным скрежетом: «Суки! Падлы! И-и-и-и... все равно уйду, мать-вашу-перемать! Падлы! Это все они, падлы, они все! Не я, падлы! И-и-и-и... За что?! Не я это, сукой буду, не я-я-а-а-а!!!» Голый, избитый, ободранный и полубезумный выродок со змеиной головой катался по полу в какой-то непонятной клетке со стенами и решетками, раздирали корявыми когтями кожу на своей гладкой морде, царапал грудь, исходил желтой пеной, сучил ногами, потом вскидывался, бросался на решетку, плевался, рычал, мычал, бился головой о прутья, и снова в истерическом припадке валился на пол, в кучи мокрых опилок. Нет, это не то. Мимо! Отшельник бросил косой взгляд на банку. Там было поила на доньшке — в палец, не больше.

— Биг! — закричал он вдруг в голос, хрипя, срываясь. —

Да где ж ты, малыш, отзовись?! Ой, старый дурак, упустил, оставил! Оставил одного за Барьером! Би-и-иг!!!

Даже эхо не прокатилось под сводами пещеры — не криком под ними прозвучал голос Отшельника, а прошестел еле слышным сипом.

А перед внутренним взором уже плыло иное: зеленоватые стены, зеленоватые матрасы, даже потолок — зеленоватый. А в углу мешок. Нет, не мешок. Это человек, он забился в угол и тихо дрожит, бормочет под нос чего-то, не разбираешь: «Никто к вам, ублюдкам и негодьям, не придет, никто! Ибо погрязли... И грядет суд последний! И ангел божий уже среди вас!» Человек вдруг вскочил, попытался расправить руки, но не смог — они у него были связаны, как расправишь? Не то!

Отшельник сунул палец под краник, слизнул каплю. Ага, вот она! Трубочка лежала за третьей слева пустой банкой. Отменно! Он тут же подхватил ее, опустил в пойло, зачмокал, засосал... Еще немного и все придет в норму. Он прозреет окончательно. И тогда он отыщет Бига, он найдет этого непутевого молокососа! В голове просветлело. Да и пещера сразу наполнилась голубоватым сиянием. Нет, врешь! Это от его головы исходит сияние, это его сверхмозг начинает оживать. В пещере нет иных источников света. Только он сам. Это другим кажется, что пещера освещена, они мнят, им можно. Но он знает все! Свет идет только от него. Это ему Силы Зла, рекомые в простонародье мутацией и прочей мурой, дали больше, чем другим. Так уж устроен этот темный свет — у одних убывает, к другим прибывает. За Барьером нет такого. Там живут миллиарды. Там выжили все. А тут из трехсот миллионов осталось не больше сорока тысяч, да плюс еще тысяч двести уродов и преступников, вышвырнутых в Резервацию из Забарьерья. Это за сто с лишним лет! Вот тебе и мутация! Никто не ожидал, что из каждого десятка тысяч обычных людишек выживет один, приспособится, обустроится как сможет. Они думали — все передохнут за тридцать—сорок лет, за срок, который был нужен для полного перехода на полную автоматику. Вот вам и не передохли! Правда, сейчас уже меньше, значительно, меньше. Отшельник тяжело вздохнул. Оторвался от трубочки.

Перед глазами стоял Пак. Этот вечный, неубиваемый Пак Хитрец! И его наградила мать-мутация, так-ее-перетак! Че-

тырехглазый сидел за столом и за обе щеки наворачивал из белой плоской миски какую-то белую в крапинках дрянь.

— Эй, Хитрец! Ты слышишь меня? — спросил Отшельник, не раскрывая клювика.

Пак вздрогнул и чуть не подавился. Он явно услышал вопрошающего. Рука с ложкой застыла у рта, медленно опустилась.

— Где Биг?

— Откуда я знаю?! — прохрипел Пак. — Не трогай меня! Я не хочу назад!!! Уйди! Уйди добром! Или я расколочу свою башку!!!

— Вас ис... Что эт-то? Что-о?! — вдруг вплелся перепуганный женский голосок.

И Отшельник увидел сидевшую напротив Пака размалеванную, лихую девицу с пегими, пышно взбитыми волосами и торчащей из-под халата увесистой грудью. Это лишнее. Ну их всех.

— Не надо говорить вслух, — сказал он жестко. — Ты что, Пак, забыл, как со мною надо разговаривать? Говори про себя, не бойся, я все услышу. Не надо пугать свою подружку. Ведь ты, как я погляжу, неплохо там устроился?

«Я не хочу в Резервацию! Я лучше сдохну!»

— Никто не собирается тебя тащить назад, чего ты переполошился, щенок?! Жри свою баланду и не дергайся! Гляди, подружку зайкой сделаешь! И отвечай, когда старшие тебя спрашивают — где Биг?

Пак насупился, набычился, уставился в тарелку. Есть он явно не мог. В голове у него стояли потемки. И на вопрос он ответить не мог при всем желании, теперь Отшельник это ясно видел.

«Была заваруха, бойня была, — Пак ворочал мыслями как булыжниками, — дикая бойня! Меня всего издырявили, до сих пор шум в ушах. Ни хрена я не помню, отвяжись, я не хочу вспоминать! Я хочу забыть про все! Я никогда не вернусь! И мне незачем вспоминать все это, понял?!»

— Понял, — ответил Отшельник. — Катись, Пак, куда хочешь. Мне до тебя дела нету. Только помни, это еще не бойня была. Бойня впереди. Ну ладно, прощевай, Хитрец, опять ты всех перехитрил. До встречи!

«Нет уж, прощай навсегда, Отшельник! Навсегда!»

Из хобота у четырехглазого потекла кровь. Видно, не совсем еще оправился после передряги, слабенький, дохо-

дяга. Жаль его. Ну да ладно! Отшельник напряг мозг, но ничего не смог разглядеть. Тот сектор, где обычно присутствовал Биг, молчал. Там было пусто. Не темно, не пестро, не светло... а просто пусто. А означать это могло одно — Бига нет. Его нет на Земле. Он ушел в заоблачные выси. А может, окунулся в океан мрака, перекинулся, уплыл в своей колыбели к исходу. И ему теперь все равно, он там, где всем и все все равно. Эх, малыш, малыш!

Отшельник взглянул на каплю, повисшую над грязной, давно непрозрачной банкой. Сегодня он еще поживет. А потом? Да чего уж там, прожить бы хоть сегодняшний день! Острая мысль вдруг резанула под сердцем... да-да, не в голове, не в мозгу, а под сердцем: он не имеет права уходить, он обязан убедиться, что малыш мертв, он должен его разыскать... но как?! Надо идти туда! Но он стар и немощен. Он не может уже ходить по пещере. Надо идти! Нет, ни за что! Он не пойдет на переселение, он не бросит своего тела, это гибель, это лютая смерть вдалеке от самого себя! Никогда! Он снова присосался к трубочке, поило побежало внутрь, исцеляющим огнем побежало. Надо замкнуть. Вот и все! Он отбросил трубочку. Отпихнул ножкой банку. Попытался заглотнуть шланг. Вывернуло желчью и вонючим пойлом. Еще раз. Он ощутил, как кишка прошла пищевод, застряла во внутренностях... вот и хорошо, вот и хорошо. Другой конец он натянул на краник, примотал проволокой. Попробовал дернуться — нет, держало крепко. Он привалился к шершавому камню стены. Закрыв глаза. Теперь можно идти. Если агрегат не забарахлит опять, все будет в порядке, он не даст дуба. Идти, идти к Бигу, искать его! Переходить... но в кого? Безумный идиот, беснующийся в клетке? Этот безмозглый убийца Гурыня? Нет. Буба? Похоже, Буба Чокнутый все-таки спятил окончательно и бесповоротно. Грех тревожить его мятушуюся душу. Да, заперли Бубу, судя по всему, накрепко, невелика радость сидеть в дурдоме. Пак? Это был бы неплохой вариант. Но надо дать парню немного пожить, нельзя в него сейчас, нельзя... две смерти за два месяца, это не каждый выдержит, а третью и сам Пак, неубиваемый Пак Хитрец, не перенесет. Мелюзга вся перебита, Хенк — турист, в туриста нельзя. А где, кстати, Хенк? Чернота. Тяжесть в висках. Хенка нет, они убили его. Или он сам напоролся. Бойня. Нет, это еще не бойня. Все еще впереди. Эх, бедолага Биг! Нехорошо тревожить

мертвых, Биг, очень даже нехорошо. Но ради тебя придется...

Низенький и пузатый турист долго звенел связкой ключей. Потом открыл дверь, бормоча что-то маловразумительное под нос и глядя на ключи, как на невесть откуда взявшуюся диковинку. Затем он сунул их в карман. Вытащил из прозрачного пакетика розовый кругляш, помахал перед самым носом узника.

— Ну что, очухался, ублюдок? — спросил он с вежливой улыбкой.

Пахло завлекательно. У Гурыни из пасти потекла вдруг едкая и обильная слюна. Он шумно облизнулся, клацнул зубами. Турист говорил вполне понятно, не то что раньше, когда они лопотали на жуткой тарабарщине. Только малость пришептывал... и улыбался все время. Гурыня не доверял тем, кто все время улыбался — обжулить хотят! — в поселке улыбчивых не любили, чего это вдруг щериться перед каждым, может, он тебе сейчас в рожу даст, а сам щерится?!

— Чего надо, падла? — спросил он задавленно и глухо.

И тут же получил кулаком в нос. Упал, вывернулся затравленным красным глазом, не понимая ничего.

— Это тебе за падлу, — пояснил низенький.

Гурыня заскрежетал зубами, обломками и остатками. Истерика, трясучка, вот-вот найдет, только этого не хватало еще.

— Да я ж не тебя, я ж к слову, падла...

Второй удар — теперь уже ногой — чуть не вышиб ему челюсть, отбросил к стене.

— Это тебе еще разок за падлу!

— Понял! Все понял! — Гурыня приподнялся на четвереньках, ему третий урок не был нужен, дошло. И вдруг ляпнул то, что давило душу: — Когда кончать будете?!

— Чего кончать? — не понял низенький.

— Как это — чего? — Гурыня подполз ближе. — Меня, стало быть, когда кончать будете?

— А чего тебя кончать? Ведь сам же вопил тут — не я виноват, не я, другие виноваты! — На лице у низенького опять застыла улыбочка.

— Точняк, не я! — истово заверил Гурыня и ударил себя кулаком в грудь. — Я вам еще пригожусь. Только не кончайте!

— А может, для порядку и кончат тебя, дело обычное. Гурыня зарыдал.

И опять получил в лоб.

— Ты вот чего, не психуй! Там решат, кончать тебя или начинать. А я переводчик, понял? Меня из-за тебя за сто миль отсюда притащили. Ты чего, думаешь, все ваш ублюдошный язык знают, да?! Да я б вас всех, мутантов поганных, передавил еще сто лет назад! Ну ладно, хватит! Помни — слово не так скажешь, в зубы! Тут порядок, понял?!

Гурыня предано, снизу вверх заглянул в глаза переводчику.

Тот швырнул под ноги розовый кругляш. И ухмыльнулся как-то особенно широко.

— Жри... падла.

Гурыня вежливенько прихихикнул, подполз к кругляшу. И не утерпел, вцепился в него осколками зубов, чуть не подавился, чуть не захлебнулся — такой вкуснятины он отродясь не едал, кочерыжки погрузились в сочную мякоть, горло свело судорогой.

— Жри, жри, — приговаривал низенький, — колбаска вареная, добрая, ее специально для таких свиней делают. Моя б воля — я б к вам в кормушечки по всему свинарнику вашему такой колбаски заложил, да для смазки кой-чего прибавил, и вопроса не было бы! Жри, падла!

Гурыня не вникал, ему было плевать на слова туриста, он давно уже понял главное: чего б ни болтали, врут! А коли врут, так слушать не хрена. Огромный кус, проглоченный наспех, застрял у него в глотке, из воспаленных, невымытых глаз побежали желтые мутные слезы. И все равно — ништяк! клевая шамовка! еще бы!

Однако просить добавки он не осмелился.

— Сейчас пойдем к начальству, понял? — строго сказал низенький, без улыбки, даже несколько озлобленным тоном. — Будешь себя плохо вести, кончат. Прямо там и кончат!

Гурыня затрясся. Он уже готов был просидеть остаток жизни в клетке — в сырости и тепле, с колбаской и... и даже с побоями, не привыкать, мало, что ли, его били? Один Хитрец так бил, так бил, что как только и не убил вовсе, только богу известно. Из плоской головенки напроць вылетели все блистательные планы, радужные грезы и прочая дребедень.

По дороге Гурыню сунули в какую-то клеть, сунули голышом, одежонку оставшуюся сорвали, бросили на пол.

Когда сверху хлынула вода, Гурыня все понял — вот так они тут кончают всяких, топят — и все, и концы в воду. Сейчас водичка поднимется до коленок, потом до груди, до подбородка... и прощай, Гурыня, отпрыгался-отбегался.

— Падлы-и! За что-о-о?! — вопил он истошно.

И никто его не бил, не терзал. Только ударили вдруг тугие струи и сбоков, и снизу, обдало противной, скользкой пеной, ошпарило чуть не кипятком. Тяжко было Гурыне. Никогда он прежде не мылся и желания такого не испытывал, ой, тяжело!

Выволокли его наружу совершенно измочаленного, выдохшегося, но свежего и благоуханного. Обрядили в новехонький комбинезон. Дали глоток едкого пойла. И в морду дали. А потом двое каких-то здоровяков подхватили под белы ручки да втащили в светлую большую комнату. Низенький шел впереди, не оглядывался даже.

Гурыня с перепугу ослеп и ни черта не увидел в первые секунды. Ноги его подогнулись, и упал он на колени, не дойдя метров семи до резного темного стола, за которым сидели трое.

Упал, зажмурился, сощурился и заплакал горько — авось, пожалеют еще.

Тарабарщина непонятная прогрохотала сверху, наводя своей непонятностью ужас. Здоровяки встряхнули, поставили на ноги. А низенький с улыбкой пропел в ухо:

— Тебя спрашивают: кто такой, ублюдок? Отвечай без промедления, нето хуже будет.

— Гурыня! — выпалил Гурыня, глотая слезы. — С поселку я.

Низенький протарабарил что-то. И сидевшие за столом закивали, заулыбались.

— Им нравится, что ты был смелым вожаком банды, понял, ублюдок?! Ведь ты был вожаком, верно?!

У Гурыни все окончательно помутилось в голове. Дело шьют! Кранты! Еще бы — им нравится, расколоть хотят, чтоб он всю вину на себя взял, подписался чтоб! Нетушки!

Гурыня выскользнул из объятий охранников, рухнул на ковровую дорожку и стремительно, извивающимся червем пополз к столу, мелко трясая головою, тоненько лопоча:

— Не виноват! Ей богу, не виноват! Не был я вожаком,

вообще не замешан, я все покажу, всех заложу — это Пак Хитрец, и Бага Скорпион, и еще Плешак Громбыла... о-о, этот заводила, этот пахан — Громбыла, это он все затеял! Я их остановить хотел, они все падлы и суки, но главный — Хитрец, я вам его с потрохами сдам, не уйдет, это он вожак банды! Он!!!

Гурыня дополз до стола, просунул голову под гнутые ножки и принялся облизывать черный ботинок, биться головой об пол. Только бы не кончили, только бы!

Охранники-здоровяки выдернули его за ноги из-под стола, отволокли к двери, поставили. Низенький зловеще прошептал прямо в морду Гурыне:

— Убью, падла! — черные глаза его сверкали гневом и злобой. — Твое дело кивать и соглашаться! Им виднее! Еще раз закосишь, падла, кончу прямо здесь!

Гурыня кивнул. Он вдруг сам понял, что никакие его раскаяния, поклепы и все прочее никому тут не нужны. Им другое нужно. Но что?! Хрен их знает. Гурыне захотелось в сырую клеть.

Из-за стола опять протаробарили. Любопытные.

— Сколько человек было в банде? — перевел низенький, грозно шевеля бровями.

— Четверо, — угрюмо ответил Гурыня.

Недоумение, вопрос, возглас, приглушенный смех... Хрен их поймешь, сами не знают, чего хотят.

— Болван, тебя спрашивают: это что же, вчетвером, вы ублюдки, эдакий переполох умудрились наделать, столько кровихи пролили, весь город перевернули вверх дном, от-вечай!

— Вчетвером! — огрызнулся Гурыня.

За столом закивали.

Все, будут кончать, решил Гурыня. На него накатило вдруг дикое безразличие, захотелось спать. Он даже прикрыл глаза кожистой пленкой, то ли змеиной, то ли черепашьей. И зевнул — нарочито громко и протяжно.

— А в поселке тебя знают?

— Знают.

— Все?

— Все!

— И в Резервации знают?

— И в Резервации все знают!

Низенький осклабился.

— Так ты, ублюдок, что это — ты там у себя, в свинарнике гадюшном, в зоне поганой, авторитет, что ли?! Ты там чего — в законе, что ли, будешь!

— В законе! — тупо повторил Гурыня.

Сидящие за столом переглянулись, покивали друг другу, протарабарили что-то, пошептались. И снова покивали.

— А не хотел бы ты, ублюдок, — зловеще поинтересовался низенький переводчик, — оказать небольшую услугу большим здешним начальникам, посотрудничать с ними и всем цивилизованным сообществом ради одного большого и нужного дела, а?

Гурыня совсем обалдел. Похоже, его не будут пока кончать. Он сразу расправил плечи, выпятил живот, отставил вбок лапу.

— Ты узнай у них — чего мне дадут за это дело? — нагло вато спросил он.

Низенький побагровел.

— Я тебе, ублюдок, дам в морду. А они добавят, коли у тебя есть какие-то вопросы и расхождения по обсуждаемой проблеме, понял?

— Так точно! — Гурыня вытянулся по стойке смирно. — Так бы прямо и сказали, а то все вокруг да около, все, понимаешь, мозги пудрят, а чего пудрят — сами не знают.

— Заткнись, ублюдок! И отвечай.

— Я согласный! — выпалил Гурыня.

Низенький перевел. И снова они долго говорили меж собой, все совещались да советовались.

Последний вопрос озадачил Гурыню.

— Ну, а ежели не четверо в твоей... кх-м, в твоём отряде будет, а, скажем, сорок? Или десять раз по сорок — вытянешь, управишься?! — спросил низенький, подмигивая, кривя губы и всей мимикой жирного лица давая понять, что отрицательный ответ не годится.

— Так точно! — рывкнул Гурыня молодецки. — Управляюсь!

Сидевший посередине огромный и важный седовласый румяный старец встал, вышел из-за стола, подошел к Гурыне. И нежно похлопал его по небритой щеке.

— Гу-уд! — проговорил с растяжкой. Еще потрепал Гурынину щеку. И с прищелкивающим акцентом добавил: — Кар-ра-шо-о! Ты есть кар-роший бой. Слуши — не туши!

И они все ни с того, ни с сего расхохотались.

Когда мутанта вывели, бригадный генерал Эрдхай Манун прошел в ванную комнату за раздвижной стеной-дверью и долго, с мылом и губкой отмывал руки, напевая себе под нос что-то нервно-суетное то ли из Шостаковича, то ли из Альфреда Шнитке. Он был доволен.

Довольны были и двое других из департамента сношений сообщества. Они сидели и выпивали — натуральная русская водка с черной икоркой, ломтики прозрачной лососины. Теперь все это делалось здесь, вовремя успели перевести, наладить, размножить, спасти. Да, спасти! В зоне все такое давно передохло и вывелось, в зоне были только мутанты. И вопрос надо было решать. Затяжка грозила серьезными осложнениями. Правые в парламенте и конгрессе уже в сотый раз ставили вопрос о Резервации, о спасении всех выживших, о реабилитации их в сообществе и о закрытии зоны. Допустить этого было никак нельзя! Пойти на поводу у правых, у консерваторов, означало загубить демократию и усложнить себе жизнь. Гуманизм хорош для толпы и только до определенного предела. Надо уметь жертвовать малым ради большого.

— Еще два-три десятка таких парней — и мы покончим с этим делом, — смачно протянул после проглоченной рюмки Ирон Хэй, жилистый, худощавый мужчина неопределенных лет. — Помяните, сообщество нам еще памятник поставит!

— Тоньше надо, тоньше, — вяло возразил Сол Модроу, советник президента по делам зоны, — коричневые отслеживают каждый наш шаг, господа.

— Вот с них бы я и начал! — вернувшийся Эрдхай Манун рубанул воздух огромной ладонью. — Тогда и с ублюдочной братией не пришлось бы церемониться. Батальон, господа! Решение всех проблем и вопросов — в одном батальоне, поверьте старому вояке! В августе девяносто первого мой прапрадед отстоял демократию там, у них! — Манун трагически понизил голос, указывая пальцем в сторону Резервации. — Он был настоящим героем, господа! Трое суток непрерывных боев у стен белого дома, трое суток осады, господа! Мы обязаны им! Обязаны всем! Я предлагаю тост за героев героической обороны...

— Да бросьте вы! — оборвал генерала Ирон Хэй. —

Сейчас героями должны быть они. — Он ткнул пальцем в дверь, за которой исчез Гурыня. — Именно они. Сами!

— Я согласен с вами, мой друг, — добавил лысый и обрюзгший Сол Модроу, — все должны сделать они сами. Никакого вмешательства со стороны сообщества, никакой поддержки... я повторяю, никакой! — Он вдруг перешел на полусшепот: — И кстати, это личное пожелание... — поднятый указательный палец явственно намекал на некие высшие сферы, то ли на самого Господа Бога, то ли на тех, кто имел на Земле власть отнюдь не меньшую.

— Вот и выпьем за это, господа! — заключил бригадный генерал Эрдхай Манун и лихо запрокинул голову. Старость не брала генерала. Был еще порох в пороховницах у правнука героя героической обороны.

На пятый день Леда Попрыгушка, судя по всему, добилась своей цели — извела-таки несчастного. Пак стал похож на собственную тень и еле ползал от стены к стене в убогой халупе, которую Леда сняла у отвратительной и скупердяистой бабки. Главное, бабка обещала молчать. Все остальное чепуха!

Ни четыре глаза нового любовника, ни морщинистый хобот, ни рысьи уши, похоже, ничуть не смущали Попрыгушку. Только поначалу она трясла головой, все казалось ей, что это от пьянок, она даже прикрывала один глаз, брала Пака за уши и долго, в упор глядела на него. Потом хохотала. И волокла в постель. Наслаждение переходило в муку, в пытку. Леда явно переоценивала силы Хитреца, дважды воскресавшего из мертвых.

На пятое утро он отпихнул ее от себя. Отобрал бутылку и выбросил ее в черную дыру под крышечкой. Дыра была на кухонке, и Паку представлялось, что дыра эта ведет в самую преисподнюю. Он вообще видел все в мрачном свете.

— Вот найдут и прибьют сразу, — говорил он через каждые полчаса. — Точно, прибьют.

Позавчера он допился до того, что примерещился вдруг Отшельник — будто живой. Сидел Отшельник не за столом, и не в углу, и даже не на подоконнике заколоченного окна, а прямо в голове у Пака. И удивило Пака не то, что Отшельник пробрался в его башку, а то, что она у него вдруг стала такой огромной — заходи кому не лень, расслаживай, болтай, понимаешь. Леда ему терла виски и

совала под нос какую-то едкую дрянь. Помогло, Отшельник из головы выскочил и пропал, умотал, небось, в свою пещеру...

— Дурачок, скоро все успокоятся, утихнут, — уговаривала его Леда, — позабудут про нас. Нужен ты им! Таких красавчиков в зоне пруд пруди!

Пак слушал, кивал, он уже не замечал ее акцента, привык, да и сам выучил слов тридцать — смешил ее произношением.

Никаких планов у Пака не было.

У Попрыгушки Леды тем более. Она знала — ни хрена с ней легавые не сделают. В худшем случае, отсидит пару ночек в участке, выпится хоть по-человечески, прочухается малость.

В этот день Пак дрых до самого вечера. А как открыл глаза, сразу заявил:

— Пора сматываться.

— Сдурел, что ли? — вяло отозвалась Леда и томно потянулась, вываливая из распахнутого халата наружу все свои прелести.

— Не хочешь — оставайся! — отрезал Пак.

Он не стал пить, смахнул со стола бутылки. Вылакал полчайника заварки, отупело глядя на потолок, ргнул. И стал натягивать на себя неумело заштопанный, но почти чистый комбинезон.

— Ну куда ты пойдешь, обалдуй?!

— Найду куда, — после недолгого раздумья ответил Пак, — в лес пойду. Банду наберу. Будем в землянках жить... и жирных трясти.

— Робин Гуд хренов!

Попрыгушка рассмеялась громко и вызывающе.

— Ты чего это? — не понял Пак.

— Чего?! А меня ты тоже в землянке будешь держать?! — завелась она. — Или ты решил избавиться от надоевшей подружки? Не больно-то и горевать будем! Нам и двуглазых хватит! И без хоботов! Понял?

Пак влепил Леде оплеуху. И та разом пришла в себя.

— Уматывай! — буркнула она.

В дверь и в окно одновременно ударили чем-то тяжелым. У Пака челюсть отвисла.

— Поздно!

Первой вылетела заколоченная досками рама окна, сле-

дом рухнула дверь. Пак от полнейшего отупения принялся было подсчитывать, сколько полицейских с железяками в руках лезет в комнатенку, но быстро сбился со счета. Крышка! Теперь ему не уйти!

Дико и страшно визжала Леда Попрыгушка. Ее куда-то волокли. А Пак не мог шелохнуться, руки поднять. Так и сел на корточки посреди комнаты, опустил голову. Крышка.

Доходяга Трезвяк вылез наверх глухой ночью. Он бы и вовсе не вылезал, да голод не тетка. Особенно мучила жажда. Доходяга не мог языком шевельнуть — тот разбух и занял весь рот.

— Эй, — тихонько просипел Доходяга, — есть кто живой?

Никто ему не ответил. И он пополз на брюхе к дороге, там было спасение — большая лужа, не высохавшая много лет, не лужа, а целый пруд, в который сваливали всякую дрянь.

Он вполз прямо в жижу и долго хлебал ее, не разбирая вкуса, запаха, ни черта не соображая, глотая слизистые комочки и личинки червей. Он чуть не лопнул. Брюхо раздулось, отвердело. А потом по нему вдруг побежала судорога — и половина заглоченной жижи изверглось наружу. У Трезвяка глаза на лоб полезли.

В поселке было тихо. Ни звука. Уцелевшие, небось, сидели по норам да подполам, тряслись. А может, никого и не осталось? Может, туристы всех извели, под корень. Трезвяк содрогнулся.

И все же он собрал остатки мужества и добрел до раздачи. Все понял на месте — краник выворочен, раздача разворочена, искорежена... сухо и пусто. Они отключили подачу поила и баланды. Доходяга Трезвяк похолодел — это страшнее любых пожаров, любых карательных операций. Теперь всем выжившим хана. Надо идти в другой поселок. Или лезть под землю, в лабиринты.

— Мать их забарьерную! — озлобленно процедил тихоня Трезвяк.

И в тот же миг ощутил, что некто сильный и шумно сопящий ухватил его сзади под ручки, вывернул и дал хорошего пинка.

— Вякнешь, пришибу! — предупредил незнакомец баском.

— Чего надо-то, — залебезил Трезвяк, — я и сам пойду, тутошний я, Доходяга я, все знают...

Шумное сопенье прервалось смехом — будто по сковороде топором прошлись. Слова прозвучали двусмысленно и страшно:

— Нам и доходяга в самый раз будет!

Сильный удар в затылок вырубил Трезвяка.

Очнулся он в странной позе — висающим на какой-то ржавой трубе, руки и ноги привязаны, тело в метре над землей, чуть повыше. Внизу мусор какой-то, палки, сучья. Трезвяк ни черта не понял.

Но зато он узнал обидчиков. Вот ведь гады! Подвесили, понимаешь, односельчанина и лыбятся, выродки. Внизу сидели Однорукий Лука, Тата Крысоед и Марка Охлябина, лучшая подруга покойной дуры Мочалкиной. У стеночки стоял Додя Кабан. Трезвяк сразу сообразил — это он его прихватил, его смех был, его поганый голосок, его ручищи корявые.

— Поджигай, — Охлябина поглядела на Кабана и облизнулась.

— Щя, успеется!

Кабан долго возился с трутом, ничего у него не получалось.

— Вы чего это, мужики? — с ужасом в голосе поинтересовался Трезвяк. Он был ни жив, ни мертв, он вдруг понял все — никакая это не труба, это вертел, и его собираются жарить. Проголодались, небось, а раздача закрыта.

— У меня в одном месте припрятана шамовка, — начал Трезвяк тихо, — все отдам. Вы чего, мужики?!

— Надо его сначала прирезать! — посоветовал Однорукий Лука, огромный детина, ходивший всегда голым, в одних драных клетчатых трусах. Рука у Луки торчала прямо из груди, плечей вообще не было, зато уши свисали чуть не до ягодиц. Лука был мужик неглупый, но робкий, таких в поселке не любили.

— Остолоп ты и болван, — озлобился Додя, волосатый и круглый как бочонок, с замотанным под самый подбородок горлом, — прирежешь, дровишки-то вообще отсыреют, хрен их разожжешь потом. За такие советы убивать надо!

Лука забурчал обиженно, отполз в тень, к стеночке.

— А ну-ка, крутани! — вновь подала голос Марка Охлябина.

Она точно знала, что ее очередь подойдет последней, слишком уж любвеобильные мужички попались, они скорее с голодухи сдохнут, чем ее на шамовку пустят. За свою самоуверенность, переходящую в наглость, Охлябина частенько получала по затылку, благо он у нее заплыл жиром непробиваемым. Она была худой и мосластой, затылок совсем не вязался с изможденным лицом, а волосы росли только по вискам, пейсами.

Додя Кабан крутанул трубу, и Трезвяк с невероятным скрипом и лязгом описал вокруг собственной оси три оборота.

— Плоховато держится, — заметил Тата Крысоед, четвероукий карлик, одетый в полосатую тельняшку. — Надо было насквозь просунуть!

— Насквозь не пролезет, — оборвала его Марка. — И вообще, ты мне аппетит не порть, обезьяна!

— Поджигаю, — уведомил всех Кабан и опустил на карачки.

Трезвяк завизжал, тут же получил в зубы. Но это не подействовало.

— Вы чего, мужики, — хрипел он, неся околесицу, — ведь веревки-то сгорят, я и не дожарюсь ни хрена, отпустили бы, я вам крыс наловлю. И вообще — ядовитый я, передохнете ведь...

— Доселе не сдохли, так и потом не сдохнем, — философски отметил Кабан. — Помалкивай, сука. Общество решило тебя скушать, ты что, вражина, супротив общества идешь! У нас демократия — все «за» проголосовали. Верно я говорю?

— Верно-верно, — подтвердила Охлябина. — Виси, Трезвяк, и не дергайся.

Снизу начинало припекать. Кабан разжег-таки маленький огонечек-костерочек.

— Надо его дня на три растянуть, — подал голос Лука.

— Протухнет, — не согласился с ним Тата Крысоед. — Это дерьмо известное, сразу не сожрешь, точняк, протухнет.

— Не протухну-у-у! — истошно завопил Трезвяк. Ему совсем не хотелось помирать. Он был готов на все. — Вы

вот чего, мужики. Не жрите всего сразу, загубите мясо. Раньше вона как было, даже скотину живьем держали, сразу не ели.

— Так то раньше, эка хватанул! — добродушно ухмыльнулся Додя Кабан.

— Вы вот чего, мужики, вы не спешите! Ведь сперва можно одну ногу оттягать. А я полежу, помучаюсь. Мало будет, потом еще оттягаете. Да на неделю хватит!

Марка Охлябина с сомнением покачала головой.

— Дело говорит, — буркнул вдруг Кабан. — Может, за топором сходить? Ну, чего примолкли? Я — как общество скажет!

— Мы за будем! — однорукий Лука поднял свою граблю. Тата Крысоед его поддержал.

— Все одно этот прохиндей от нас никуда не денется — ну как он на одном костыле убежит?

Додя Кабан расстегнул ширинку и затушил костерок.

— Вот был бы у нас погреб! — мечтательно протянул он.

— Вспомнил! — завопил вдруг на всю пещеру Доходяга Трезвяк. — Жратвы навалом, мужики. Землю жрать буду! Свяжите, чтоб не убег! Меня вам на неделю хватит, а там, в холодном погребе мяска на год, точняк!

— Врет! На понт берет! — фыркнула Охлябина и повернулась к Трезвяку тощим задом.

— Похоже, не врет, — протянул Кабан.

— Не вру, мужики! Крест на пузе, не вру! Зуб отдам! Я сам видал, как Пак Хитрец Огрызину и Бегемота в холодный подпол бросал, прятал, наверное, для себя! Их туристы пришили, свежачок! Там в погребе лед даже все лето держится. Точняк!!!

Поселковая братия не была кровожадной. На грех пошли от одной голодухи. Раньше в поселке случаев людоедства почти не случалось, смирный был народец. И потому, потолковав немного и обсудив деловое предложение Доходяги Трезвяка, они всей братией решили проведать погребок Эды Огрызины.

Шли цепочкой. Доходягу вели на толстой веревке с кляпом во рту. Зачем был нужен кляп, никто толком объяснить не смог бы.

Трупы нашли рядом с подполом, в ледяной, промерзшей земле — Хитрец их почти не успел присыпать, Хреноредьев ему помешал.

— Все, не могу больше! — прорычал Тата Крысоед. И вонзил зубы в тюлений хвост Эды Огрызины. В носы шибануло гнильцой.

Но остановить голодных уже ничто не могло.

— И все-таки мы гады, — процедил Однорукий Лука, прежде чем последовать примеру Крысоеда. — Гады мы, нелюди!

Марка, остервенев и распахавшись, набросилась на него с кулаками, расцарапала рожу.

— А чего, — визжала она, — думаешь, туристы твои чистенькие и холененькие, жрать бы не стали?! Врешь, Лука! Врешь!!! Их бы четыре недели голодухой поморить, их бы, сволочей проклятущих! Эх, Эда, подруженька, товарочка хлебная, прости ты меня... прости. Может, и нас сожрут еще с потрохами.

— Да заткнись ты! — осек ее Додя Кабан. — Жри давай, тута и жарить-парить не надо, подмякло мясо, нормальное.

Рядом с жующими на земле тихо бился в идиотически-радостной истерике Доходяга Трезвяк. Пронесло!

Когда старика Злински увезла «скорая помощь», Лот Исхак, измученный и побитый, но державшийся молодцом, подошел к столу. Еще раз откинул тряпье, прикрывавшее трупы. Сделал он это неслучайно — почудилось вдруг легкое, еле приметное шевеление.

И он не ошибся.

Трехногий жирный урод дышал.

Лот закинул голову назад и беззвучно рассмеялся. С этими погаными мутантами не заскучаешь. Ну да ладно. На этот раз он не оплошает. И нечего выжидать. Он прошел в хозблок и принес синие пластиковые ремни — слон не порвет. Примотал трехногого к столу. Затянул узлы. Ошметки, чтобы не раздражали, сгрел в большой чан, что стоял рядом — из них уж, точно, никто не возродится.

— Ну что, свинья, продрыхся? — спросил он жестко, глядя в рожу выродку. — Сейчас ты у меня очухаешься.

Он поднес баночку с нашатырем к уродливому широченному носу инвалида, плеснул в ноздри.

Ничто не изменилось в лице лежащего. Лишь медленно поползли вверх мясистые, синюшные веки. Лот вздрогнул — все же это был труп, форменный разложившийся местами труп, навык и знания своего дела не могли подвести его.

— А ты у меня сейчас вырубись, — еле слышно прошептали черные, опухшие губы мертвяка.

Лот отшатнулся... и замер. Прочнейшие пластиковые ремни рвались один за другим. Это было невозможным делом. Но Лот видел это собственными глазами.

Трехногий отбросил обрывки и сел на столе, тяжело вздохнул, обдав трупной падалью и зловонием. Потом пома- нил Лота пальцем.

— Не бойся, я не буду тебя бить, Лот Исхак. Не бойся.

Словно зачарованный Лот сделал два шага вперед, потом лег на освободившееся место, тяжело выдохнул и закрыл глаза. Он уже спал.

А Отшельник стоял, чуть покачиваясь на трех расплзавшихся ногах, опираясь в основном на грубый протез, который инвалид Хреноредьев смастерил самолично. И прощупывал пространство — километр за километром, милю за милей.

Буба словно заведенный бился лбом о мягкую, упругую стену и тихонько выл. Обрубки отстреленных ушей почти не болели. Зато душа болела. Ох, как болела! Ублюдки! Недоумки безмозглые! Кретины, дерьмом набитые! Разве ж они могут понять?! Ни хрена в них, сволочах, святого не осталось! Таких гадов разве ж к покаянию призовешь?! Нет, не будет им прощения, не будет! И весь мир сгорит в геенне огненной! Туда ему и дорога!

Буба поднялся на полусогнутых, отступил на три шага — и бросился головой в стенку. Отскочил и рухнул на столь же упругий и мягкий пол. Минуты две лежал в обалдении. Потом уселся на корточки и снова завыл.

Дверца в стене отворилась беззвучно. И в проеме появился некто лысый и обрюзгший с жуликовато-добродушным лицом сановного человека. За спиной у него маячила тень с крохотным автоматиком. Но обрюзгший махнул на нее вальяжно рукой, и тень исчезла. Сам же он шагнул вперед. И представился:

— Меня зовут Сол Модроу.

Буба Чокнутый не ответил. Но выть перестал.

— Я советник президента по делам зоны... — продолжил было представляться непрощенный гость.

Буба его осек коротко и ясно:

— Ты жид!

— Ну и что? — ничуть не растерялся советник.

— Жиды Христа распяли! — истово выдал Буба.

— Ну и что?

Буба опешил. Он ждал оправданий и извинений. Но их не было — распяли, мол, и распяли, чего тут такого, ежели надо, мол, и тебя разопнем! Все нормально... Буба тихо и горько заплакал.

— Я слышал ваше выступление, э-э, точнее, вашу проповедь. Она потрясла меня! — прочувствованно сказал советник и шагнул еще ближе. — Вы обладаете блестящим даром оратора, вождя...

Буба насторожился. Мяко стелет лысый, жестко спать будет... однако, правду-матку режет, заслушаешься, наверное, не такой уж он и гад, хотя и жидовская, судя по всему, морда. В Резервации, эти олухи безмозглые и знать не знали, что есть всякие жиды, русские, немчура и прочая братия, они там дураки, но он-то все знал, его-то за Барьер отсюда сослали, он разбирается, еще как разбирается, с этими ухо остро держи, эти в миг облапошат! Однако речи лысого Бубе понравились. И он не утерпел:

— Чего ж такого хорошего в дурдом усадили?!

— Ну-у... — советник развел руками и заулыбался, — какой же это дурдом? Клиника! Первоклассная клиника! — Он приложил отекий палец к губам и прошептал как заговорщик: — Скажу вам по секрету, у моего большого друга, миллиардера, между прочим, тут дочурка курс лечения проходит... прелестная девочка!

— Допилась, небось, до чертиков, — угрюмо пробурчал Буба, — вот и проходит.

— Не говорите, — охотно согласился лысый, — нынче молодежь такая, сами хуже чертей. Но... богатым, знаете ли, все дозволено. Они ведь в таких шикарных клиниках могут и всю жизнь свою прожить, в ус не дую. А мы с вами, — лысый фамильярно, но заботливо похлопал Бубу по плечу, — люди бедные нас тут долго держать не станут, нас упекут в какую-нибудь клоаку, к буйнопомешанным, знаете ли. Как пить дать — упекут! И пропадут пропадом и божий дар, и таланты все, и молодость!

Буба недоверчиво покосился на лысого. В доверие втирается, подлец! Однако упечь могут запросто. В прошлый раз, еще до выдворения в Резервацию, Буба сидел в каком-то вонючем клоповнике с дюжиной психов, один даже приду-



шить его хотел, насилу отбился. А здесь, в одиночной палате... не так-то уж и плохо.

— Не продажный я! — наконец выдал Буба. И насупился.

— О чем речь, — бодро согласился советник, — нам продажные и не нужны. Вы же почти святой! Проповедник вы!

Буба снова покосился на лысого. Тот говорил все верно. А кто ж он, как не святой? Конечно, святой! Да и, к слову сказать, Буба Проповедник звучит получше, чем Буба Чокнутый. Вот ведь хитрый жид! Только святые да проповедники одному Богу служат, зря лысый соломку стелит.

— Не буду я вам благую весть нести, — отрезал Буба, — грешники вы тут и гады. Я гадам не проповедую!

— И не надо! — тут же согласился лысый. — Не надо гадам! Вернетесь к заблудшим овцам своим и наставите их на путь истинный.

— Чего-о-о?!

Буба вытаращил свои безумные налитые кровью глазища и начал мелко трястись, будто собираясь впасть в падучую. Обратно? К овцам, едрит их в бога-душу! Не-ет уж, куда-куда, а обратно к овцам он не хотел! Лучше в дурдоме до скончания века.

— При полной нашей поддержке! — вкрадчиво заверил лысый. И добавил многозначительно, с пафосом: — Им нужен проповедник. И пророк!

Буба Чокнутый надул щеки. Ежели б он мог, шариком воздушным взвился бы под своды. Как верно усек лысый, как правильно, не в бровь, а в глаз. Пророк! Конечно, он пророк, а кто ж еще?! Только понять это могут одни умные люди, такие, как он сам и этот лысый. А тем вырождакам, стаду безмозглому разве оценить его по достоинству? Нет! Им лишь бы пойлом накачаться. Ублюдки! Гореть им всем в геенне огненной! А тутошние, забарьерные, зажрались, их проповедями не возьмешь — сытое брюхо к учению глухо! и легче верблюду в игольное ушко пролезть, чем зажавшейся сволочи и гадам всяким... Буба снова скис. И совсем уныло, еле слышно завыл.

— Не нужен им никто, — выдавил он из себя после того, как нутряная боль излилась в пространство, — обалдуи они все!

— Верно, — согласился советник, — обалдуи. И дураки, каких свет не видывал. Но посудите сами, разве они могут быть такими... мудрыми, скажем попросту, гениальными, как вы? Нет! На то она и паства, овцы заблудшие, что дураки и

обалдуи. Вот вы им глаза-то и пооткрываете! Вы их просветите и спасете... аки сам новый мессия, аки Иисус Христос новоявленный, снизошедший с небес к этому быдлу, чтобы отделить агнцев от козлиц да и покарать всех... без разбору!

— Без разбору? — оступело переспросил совершенно очумевший Буба. — Покарать?!

— По делам их и воздастся, — уверенно и безапелляционно утвердил лысый, — как и предречено было, буква в букву!

— Как и предречено, — эхом отозвался Буба. Он почувствовал ни с того ни с сего, что у него отрастают новые уши. — А я, стало быть, аки Иисус? Это очень верно вы заметили... Только ведь опять бить будут. А вы... — Буба Чокнутый страдальчески закачал головой и скривился, будто лысый его уже смертельно обидел и приговорил к чему-то, умыв руки, — а вы опять же и разопнете!

— Ну зачем же, — Сол Модроу заулыбался плотоядно и игриво, — нынче времена другие, можно и без распятий обойтись. Мы же с вами культурные люди.

Мяса хватило надолго. Две недели грызли, рвали, жевали его, зажимая носы и дуря от мертвечины. Нажравшись, приставали к Охлябине, уминали ее тут же в подполе, по очереди. Марка похотливо щерилась и материлась. Ей нравилось внимание поселковых мужиков, лишь на один миг она утратила благодушие — когда бестолковый Лука, видно, спутав ее с Эдой Огрызиной, вцепился зубищами в жирный загривок, за эту промашку он получил затрещину прямо в лоб и полдня пролежал прислоненным к дощатой пыльной стене. А так все шло на славу.

До тех пор, пока Додя Кабан, разбухший от дармовой жратвы еще больше, вдруг не завопил в истерике:

— Хватит! Зажрались, суки! Зажрали-ись!

— Чего ты? — тихо поинтересовался Тата Крысоед, хватая Кабана за рукав. — Чего тебе еще не хватает?!

Тот вырвался. И пояснил без воплей и визга, но обиженно, сквозь слезы:

— Правды!

— Чего-чего? — проснулась осоловевшая Марка.

— Правды не хватает! — угрюмо и твердо повторил набычившийся Додя Кабан. — Душа остервенела без правды. Болит!

Доходяга Трезвяк на всякий случай отполз поближе к про-

ходу, чтобы в случае непредвиденности какой улизнуть. Однако, дело обернулось иначе. Зараженные Додиной слезливостью, зарыдали в голос Однорукий Лука и Марка Охлябина. Видно, им тоже невтерпех захотелось правды.

Один Крысоед ничего не понимал.

— Какой еще, на хрен, правды? — недоумевал он. И чесался всеми четырьмя лапами. — Совсем охренели!

— Молчи, обезьяна! — осекла его Марка, окончательно разнюнившись. — В тебе души нету, потому и дурак ты такой... Гляди, мужики-то тебя, гаденыша, уму-разуму научат, обезьяна проклятая, ирод ты поганый!

— Сама ты обезьяна! — завопил как резанный Крысоед. — Сама поганая! У мене души побольше вашего будет! Мне тоже правда нужна. Позарез! Да где ж ее сыщешь-то? Где?!

— В городе, — вдруг глухо и отрешенно возвестил Додя Кабан.

— Чего-о?!

— В город идти надо, — пророчески и истово произнес Додя.

Первой очухалась Охлябина, оглядела себя хмуро и заключила:

— Мне и надеть-то нечего в город... как я пойду, срам один и стыд.

— Дура! — оборвал ее Крысоед. — Мы тебя еще подумаем, брать или нет.

От подобной наглости Охлябина онемела, только налитые глазища выпучила. Соглашатель Трезвяк, почуяв, что жрать его живьем и на этот раз никто не станет, осмелел, подполз на карачках к Охлябине, прижался щекой к тощей груденке и приторно заверил:

— А мы тебя там, в городе, и приоденем, красавица ты наша.

Теперь Марка утратила дар речи от набежавших чувств. Лишь молча облобызала Доходягу Трезвяка.

Вопрос был решен. В город хотели все.

Лупоглазый черненький мальчуган хихикал, поплевывал через зуб, вертел в вытянутой руке чем-то съедобным в сверкающем красками фантике и пиялился на Пака.

Тот уже знал, что там под бумажкой. Сладкое! Приторное! Противное! Но все же съедобное. А голод не тетка. Здесь, в этом поганом зверинце, его не кормили. На пропи-

тание надо было зарабатывать самому. Он знал, чего ждет нагловатый малец. Хочешь есть, надо служить. Ну и ладно, ну и черт с ними! С туристами жить — шакалом быть.

Он скривился, потер клешней отбитый при задержании хобот, вжал голову в плечи. Потом опустился на четвереньки и, прихрамывая, прошкандыбал три круга вокруг фикуса в бадье, что стоял посреди клетки. Потом подбежал к решетке, согнул руки перед собою, подобно служащей болонке и принялся подпрыгивать на полусогнутых, умильно заглядывая в глаза мальчугану.

Тот не хихикал. Тот надменно кривил губы.

И когда Пак протянул к прутьям раскрытую, просящую руку, мальчуган быстро убрал конфету за спину, плюнул в протянутую ладонь. И зашелся в оглушительном хохоте.

Пак отвернулся. Он уже не реагировал на насмешки, плевки и тычки. Слава богу, что не швыряют камнями, что не стреляют из каких-то дурацких, причиняющих острую боль пистолетиков и рогаток. Чего он только не натерпелся в зверинце Бархуса, куда его сбагрили за гроши продажные легавые, сбагрили, разлучив с ненаглядной подружкой, Ледой-Попрыгушкой. Пак страдал, проклиная всех подряд, проклиная свою жизнь горемычную. Голод и обиды доводили его до умоисступления, до истерики, а потом бросали в безвольную вялость. И тогда Паку грезилось родное Подкуполье — серое, гнусное, мрачное, вонючее, безвылазное как омут, но родное. И Пак тихо и надсадно выл. Сволочи! Все они подлые сволочи... а когда-то казались неземными длинноногими красавцами, самым совершенством, ангелами небесными... Туристы!

В этот день он еще трижды «служил». Трижды ему бросали какие-то тягучие и сладенькие резинки, совсем не похожие на еду. Он жевал их, выплевывал. Ругался. Потом он перестал «служить». Забился в угол. И пролежал, не вставая, еще четыре дня. На пятый пришел мужик в серебристом комбинезоне, высек его колючей, оставляющей глубокие раны плетью, а потом впрыснул под кожу какую-то дрянь.

Всю ночь Пак катался по клетке, скрипел зубами, матерился и беззвучно рыдал. Его трясло, колотило, бросало то в жар, то в холод. Уколотое место на заднице адски болело, будто под кожу запихнули крохотную злую крысу. Кости выламывало из суставов, жилы тянуло в разные стороны, сердце заходило в бешеной скачке... и вдруг пропадало совсем. Муки были нестерпимы!

К утру Пак оклемался. Но «служить» он не стал и на этот день. Пускай лучше совсем убьют. Он бы и сам повесился — да не на чем было!

Посетителей в этот день оказалось мало, и все они уходили недовольными, отводя душу швырянием в немыслимого уroda камнями, что услужливо были разложены под их руками служителями зверинца. В основном приходила малышня, и потому скрючившийся в своем углу Пак почти не вздрагивал от ударов, он мог терпеть боль и посильнее. Лишь один раз ему засветили острым осколком прямо в затылок с такой силой, что он чуть не полез на стенку — еле сдержался, зная, что любая подобная слабость вызовет целый шквал камней.

Вечером его снова били. И снова кололи. Ночь превратилась в нескончаемый ад. Измученный, истерзанный, трясущийся, бьющийся в судорогах, он плыл в кроваво-черном мареве, проваливаясь в небытие, возвращаясь из него в клетку, посреди которой стоял почему-то согбенный и страшный трехногий инвалид Хреноредьев, глядел из глубоких глазниц пустыми глазищами и что-то нудно вещал голосом Отшельника. Пак ничего не понимал. Хреноредьев проходил сквозь него будто тень и все спрашивал про Чудовище. И Пак отвечал вслух, хриплым дрожащим голосом, что Чудовище сдохло, что сдохли все кроме него, что он тоже желает только одного — сдохнуть!

А утром его выволокли из клетки в стойло, окатили водой, кричали в лицо какие-то угрозы. Потом усадили на принесенный откуда-то стул. И двое шустрых малых в белых костюмчиках и голубеньких галстучках все допытывались от него чего-то, суля горы золотые. Пак соображал туго, почти ничего не понимал, мычал неразборчиво, нечленораздельно. Но малые не сдавались, им что-то было очень и очень нужно. Только к концу бесконечной, изнурительной беседы Пак наконец понял: они хотят упечь его обратно, в Резервацию, они дадут жратвы, пойла, наберут ватагу похлеще былой, они дадут железяк и патронов сколько хочешь... и ничего не попросят взамен, ни-че-го! кроме одного — выполнить парутройку их дружеских просьб и малость потормошить сородичей в Подкуполье. Всего ничего!

— Хрен вам, — просипел Пак, теряя сознание, — больше вы меня служить не заставите!

Два дня его откармливали и отпаивали. Тело от этого болеть не переставало, но мозги понемногу прояснялись. Пак

начинал соображать, недаром в поселке его называли Пак-Хитрец или Умный Пак, да, он был потолковее многих, даже тут, в Забарьерье, тут они обленились от жирной жизни, мозги паутиной обросли — Пак злобно ухмыльнулся, и старые, расстрепанные раны на хоботе заныли, кольнуло в затылке. Эти гады хотят уничтожить поселковых их же руками, не пачкаясь, они хотят стравить их... и не только поселковых, всех... всех в Подкуполье! Сволочи! Но зачем им это нужно? Зачем?! Кто им мешает? Доходяга Трезвяк, который своей собственной тени боится? Или, может, дура Мочалкина? Нет, Мочалкину уже убили, чего ее бояться, и Бегемота Коко убили, и Хреноредьева, и Пеликана Бумбу, и сямских близнецов-Сидоровых, и безмозглого и безъязыкого перестарка Бандыру, и коротышку Чука, и Волосатого Грюню... ну кому мешал этот несчастный, вечно спящий, одноглазый Грюня — они поубивали почти всех его парней, они выжгли поселок, они не пожалели распятого на трибуне папашу Пуго, родного отца Пака, передовика-обходчика! Но в Подкуполье не один поселок, и не один город, там тьма-тьмушая народу — больного, увечного, горемычного, живущего своей и только своей, проклятой жизнью. Нет! У них есть тарактелки и громыхалы, у них есть броневики и железные птицы, бросающие с черных небес растекающиеся огнем бочонки, у них есть пулеметы и пушки, у них есть все... пусть они сами убивают несчастный народец. Сами!

Пак рванул цепь, тянущуюся от его ошейника к стене, разорвал ее. И в это время дверь отворилась. Двое дюжих молодцов подхватили его под руки, поглядели на обрывок цепи, покачали удивленно головами. И предупредили:

— Сейчас мы тебя отведем кое-куда. С тобой будет говорить один большой человек. Гляди, урод! Ежели чего...

— Ты у нас на мушке, понял? Шелохнешься — труп!

Пак поглядел на сказавшего последние слова. И понял — этот шутить не умеет.

Комнатенка, куда его привели, была чистенькой и уютной. Пак огляделся, увидал за спиной и по бокам множество ниш, отдушин, решеток и вообще непонятно чего. Прихлопнуть его смогут с любой стороны, запросто. Но ведь еще проще им прихлопнуть его прямо в лоб. Или просто удавить цепью — надежнее и дешевле. Мудрят, сволочи!

Он не заметил, как в комнату проник вальяжный, улыбающийся отеческой улыбкой тип, как он уселся прямо перед

ним в огромном мягком кресле и ощерился еще шире, будто был несказанно рад видеть клешнерукого и хоботастого, четырехглазого пришлеца из-за черты, разделяющей миры.

— Мы их примерно накажем, — сказал тип вместо приветствия. — На самого Бархуса уже заведено дело...

— Чего надо?! — грубо перебил улыбчивого Пак.

— Вот это хорошо, — засуетился тот, ерзая и шевеля кустистыми бровями, — это по-деловому, прямо-таки быка за рога. А надо нам с вами наладить вашу жизнь. Тем более, что за вас просит одна молодая особа, вы понимаете, о ком я говорю?

— Понимаю! — отрезал Пак и поглядел на свои трясущиеся руки, они еле слушались его, иначе бы он давно пришиб этого разговорчивого старикана. — Отпустите меня, мы сами разберемся с этой... с особой!

— Отпустим, — поспешно заверил тип, — честное слово советника президента. Подлечим, подкормим, приоденем и отпустим. Только встретитесь вы с ней там, за Барьером. И не сомневайтесь, Леда согласна, она сама завершила меня — с милым хоть на край света! Это будет вашим коротким и полным приключений свадебным путешествием. Туда и обратно. А потом... райская жизнь, хорошая должность, свой домик, куча детишек и пенсия, да-да, вы еще молодой и не думаете об этом, но только приличная пенсия дает человеку... — советник оценивающе поглядел на мутанта, — ...полный покой. Вам будут завидовать! А взамен...

Пак передернулся, скривился и опередил типа:

— А взамен надо будет послужить?

— Да, совсем немножко, — не растерялся тот, — не в службу, а в дружбу, как говорят там, у вас в России.

— Где? — не понял Пак.

— Простите, я и забыл, что в Подкуполье вся эта устаревшая национальная терминология давно отжила свой век, да-да, во многом вы опередили даже нас, во многом... и теперь еще рывок, светлое будущее не за горами, мы вам поможем, надо только немножко потрудиться.

— Я видел ваше светлое будущее, — угрюмо вставил Пак, — очень даже светлое.

— Да? И где же это, когда? — не понял советник.

— Когда наш поселок жгли огнем, — пояснил Пак, — было очень светло. Очень! Я чуть не ослеп. Папанька... — он невольно всхлипнул и потупился, — сгорел папанька, заживо!

Улыбчивый тип тут же нахмурился, стал олицетворением скорби.

— Памятник, — сказал он проникновенно, — мемориал, мы возведем мемориал жертвам. И центральной фигурой будет ваш благородный отец.

— Благородный? — переспросил Пак. И вспомнил, как папаша Пуго лупцевал его — беспощадно, почему зря. — Гад он и падла... но все равно жалко!

Советник развел руками. Он ощутил, что еще немного, и этот выродок сломается, главное, не пережать. Но он не знал Умного Пака.

— И ты падла! — прошипел вдруг тот. — Но тебя мне не жалко... И себя не жалко! Я вам служить не стану. Не стану!

Он встал. И увидел, как в глазах у этого самоуверенного старикана промелькнула тень испуга, почти ужаса.

— Ну что вы... — примиряюще пропел советник. И протянул к Паку руки — ладонями вверх.

Где-то за спиной, один за другим, вызывая громко щелкнули два затвора. Но Пак не слышал этих щелчков, он слышал торжествующий и наглый смех того самого черноглазого мальчонки, он видел его раззявленный рот, который вот-вот сомкнется, из которого вот-вот вырвется тонкая струйка сладенькой от жвачки, липкой слюны. Нет, он не будет больше «служить»!

— Тебя мне не жалко! — процедил Пак, надвигаясь на старикана. — Это ты их убил... Ты!

Две пули вошли ему в спину, прямо в сердце почти одновременно. Третья пробила лобовую кость, отбросила голову назад, сломав шейные позвонки.

Сол Модроу покачал головой и спрятал пистолет в боковой карман. Ему уже предельно надоело возиться с этими выродками. Разом, их надо уничтожить разом, всех до единого! Но политика... есть политика, красно-коричневые во Всеевропейском парламенте поднимут дикий вой, того и гляди «зеленые» переметнутся к ним, народ взбаломутится... конечно, все средства массовой пропаганды в наших руках, но ведь репортершиски эти, продажные, всегда найдется пара-другая щелкоперов-неврастеников, которые ради красного словца не пожалеют и самого отца-президента, поднимут шумиху... жечь их всех! выжигать каленым железом! но рано, пока рано, час еще не пришел, сначала с Резервацией надо покончить, а потом поглядим... политика!

Сол Модроу осторожно пнул мыском лакированного штиблета труп. Готов! Наповал! А ведь интересный был экземплярчик, забавный.

— Ну что ж, дружок, — вслух сокрушился советник, — мы и без тебя обойдемся.

Через два часа, как только стемнело, мертвого Пака, засунутого в толстый черный пластиковый пакет вынесли из «зверинца», сунули в потрепанный автобусик и отвезли на загородную свалку.

— Чучело бы из него набить, — предложил один из двух мордovorотов, волоча труп к чернеющему провалу, — вот бы детишкам забава была!

— Исполняй приказ! — обрубил его мечтания другой.

И они, раскачав тяжелый мешок, зашвырнули его подальше. Постояли немного, дождались глухого шлепка со дна исполинской выгребной ямы, вздохнули разом с чувством исполненного долга. И убрались восвояси.

Отшельник не помнил, сколько времени он просидел на невысоком холмике посреди огромной помойки, которой хватило бы на десять тысяч поселков. До его прихода сюда над холмом высилась груда гниющих отходов, мусора и всякой дряни. Он испепелил ее, не доходя двадцати метров, протискиваясь меж остовами железных колесных повозок.

Еще тогда он знал — Биг лежит под грудой. Но не весь, а только его часть: половина раздавленного туловища, шупальца-руки, раздробленные ноги, левый предплечный мозг... Отшельник видел. Останки Бига были изрезаны, исполосованы, превращены в кровавую и уже высыхающую лапшу. Основной мозг вместе с правой частью туловища и еще одной рукой увезли куда-то далеко... будут снова резать, просвечивать, исследовать. Погиб малыш! Дурацкой, никому не нужной смертью пал в этом дурацком и никому не нужном мире! Отшельник не плакал, не стонал, не скрипел зубами. Он просто сидел на холме подобно выброшенной на помойку драной трехногой кукле. И молчал. Теперь он знал точно, что никто его не сменит в Пещере. Биг был последней его надеждой, про остальных и говорить нечего, остальные без его воли, без его полей, без его сверхъестественной и могучей незримой силищи вымрут лет через пятьдесят-шестьдесят. Да, он не протянет долго. И тогда труба. Полная, полая и длинная! Им всем! Всему Подкуполью!

— Эх, малыш! — выдохнул он сипло в ночную тьму.

И ощутил, как в полумертвом мозгу чужого тела, которое он занял, не спросив разрешения, просыпается хозяин. «Чего там, едрена?» — проскрипело где-то внутри затылка. «Молчи!» — приказал Отшельник. И оживающий Хреноредьев немедленно заткнулся, оцепенел.

Живучие, думал Отшельник, невероятно живучие. И ничего тут странного нет. Они выжили из сотен миллионов — тысячи. И среди них уже не осталось обычных, нормальных, они или болезненные, мрущие, не дожив до двадцати лет, или сверхживучие, середины нет. Но что толку? Слабые вымрут сами. Живучих изничтожат без жалости и пощады вот эти, считающие себя человеками, отгородившиеся от них. Чему быть, того не миновать. И зря Биг полез на рожон, его смерть никому не принесет счастья, никому не даст покоя. Эх, малыш, малыш!

Боковым зрением Отшельник видел, как ворочается в полуверсте от него в огромной ямине запеленутый в прочный, толстый мешок Пак Хитрец. Он видел даже крохотные кусочки свинца, которые медленно, очень медленно выдавливались оживающим телом в запекшиеся кровью дыры — одна зияла на покато лбу, две другие — под левой лопаткой. Пак опять обдурит старуху-смерть. Да что толку-то?! Чудовище, родного, милого Бига не оживить! А от прочих пользы не будет! Пора проваливать отсюда!

«Помер я, что ли? — глухо спросил снова пробудившийся Хреноредьев. — Чтой-то ни хрена не пойму?!» Отшельник не стал усыплять хозяина корявого, изрезанного шрамами тела. Он не хотел дольше задерживаться в нем. Пора назад, в берлогу. Надо было бы сказать инвалиду, что без него, без Отшельника, тот давно бы уж отдал концы и даже успел бы сгнить. Да зачем его лишний раз расстраивать. «Не помер еще! — отозвался Отшельник. — Рано тебе помирать. Слушай! Как очухаешься, пойдешь прямо, вон туда, до ямищи, потом вниз слезешь, там найдешь Пака Хитреца. Он в мешке большом. Сам не вылезет. Ты ему поможешь. Понял?!» Хреноредьев долго выжидающе молчал, потом сказал: «Угу! Нам все понятно. А ты кем будешь, едрена?»

Отшельник вздохнул, оглядел помойку пронизывающим взглядом.

— Никем не буду, — ответил он. — Ну, ладно, прощай!

Через миг Отшельник сидел в своем собственном, окосте-

нелом тельце с огромной просвечивающей одноглазой головой дистрофичного карлика-циклопа и тянул через тонюсенькую трубочку пойло. Его собственное тело еще было живым, он все верно рассчитал. И в пещере ничего не изменилось. Он вернулся! Вернулся в хилую, немошную, умирающую старческую плоть. Вернулся, чтобы хоть немного продлить собственную агонию. И агонию тех, ради кого он еще цеплялся за жизнь.

За месяц Гурыня отъелся и заматерел. Теперь он точно знал, что его тут и пальцем не тронут... ну, разве, что морду набьют, но это не просто так, а для порядку, чтобы не зарывался... а так нет, не обидят, он им нужен. Очень нужен. И Гурыня старался, не давал покою своей новой ватаге.

— Бегом! — орал он блажным матом. — Бегом, падлы!!! Тяжело в ученье — легко в бою будет!

Ватагу понабирали из всякой сволочи: наполовину из беглых уродов, думавших, что их тут, в Забарьерье, ждут с распростертыми объятиями, наполовину из урок, собранных по ближайшим тюрьмам. Гурыня не жалел братву, гонял почему зря и драл семь шкур. И вовсе не ради того, чтоб «в бою легко было», нет. Гурыня знал одну простенькую вещь — ежели всю эту шепутную шоблу не выдрессируешь здесь, «в учении», ежели не повышибаешь из нее духа и не приучишь дрожать при одном только голосе своем — то там, под Куполом, они из тебя же веревки вить будут. И потому он старался на совесть.

— Живей!!!

Шобла носилась по кругу в полной выкладке. Большинство из нее уже света белого не видело. Пот ручьями лил из-под пятнистых кепарей. Ноги подкашивались, тряслись. Руки висели плетями... Но Гурыня спуска не давал.

— Лечь! Встать! Лечь... — частил он, наслаждаясь своей властью над этим покорным быдлом, то падающим в пыль, то послушно вскакивающим и бегущим все по тому же кругу. Двоих слабаков для науки прочим он уже забил насмерть, затоптал кованными башмаками. И его не ругали за усердие, напротив, в тот вечер ему принесли большой жбан хмельного пива. И Гурыня понял, что от него ждут службы, а не сюсюканий. — Встать! Встать, падлы!

Еще один немошный никак не мог подняться. Он давно не нравился вожаку. Это был местный. Вор. бродяга, четырежды

судимый и дохлый на вид. Звали его Ганс Чучело. Сейчас он лежал мордой в почерневшей от его собственного пота пылище и захлебывался от частого, чахоточного кашля. При этом несчастный Ганс был бледнее мертвеца, а руки, будто в уже наступивших предсмертных судорогах царапали пальцами пыльную, утопанную землю заброшенного плаца. Он мог отдать концы прямо сейчас, здесь, у всех на глазах. У него не было никаких сил встать. Гурыня просек все сразу. Ведь если этот ублюдок сдохнет сам, его начнут жалеть, пойдут разговоры, начнется болтовня, пересуды... нет! этого нельзя было допустить!

Гурыня козлом подскочил к лежащему.

— Вста-ать!!! — заорал он во всю глотку. И пнул Ганса под ребра.

Тот дернулся, чуть приподнял тощий зад над землей... и вдруг скрючился, забился в агонии.

— Встать, падла! — взъярился Гурыня. — Это что, бунт?! Встать!

Выждав не больше секунды, он ударил Ганса сапогом в висок, потом резко опустил тяжелый каблук на мокрый и жалкий затылок «бунтовщика».

— Так будет с каждой падлой! — заверил он бегущих по кругу, когда скрюченное тело, дернувшись пару раз, застыло в пыли.

Но усердствовать надлежало в меру. И через три-четыре минуты Гурыня остановил измученную, выдохшуюся шоблу, уже безмерно благодарную ему за прекращение мучений и презирающую слабака Ганса. Собрал всех вокруг себя в курилке и заверил:

— Ничего, братва, будет и на нашей улице праздник. Дайте срок! А на меня зла не держите. Бог терпел и нам велел. Еще спасибо, падлы, скажете!

Сорок издерганных, загнанных рецидивистов и выроdkов глядели на него в упор. И верили. Им больше некому было верить, этот кособокий малый с длинной шеей и плоским лбом был для них и богом, и чертом. Они еще не знали своей судьбы. Они знали одно — назад возврата не будет. И потому им не оставалось ничего другого как верить.

По утрам, когда все еще дрыхли, «дрессировали» самого Гурыню с семьей такими же как он вожаками. Учили серьезно и истово, чтобы злей были. Ни один посторонний глаз не видел их мучений. Но каждый из семи знал — от него требу-

ется полное и беспрекословное послушание, и тогда все будет хорошо, тогда они выполнят свое дело и вернутся обратно, сюда, отдыхать заслуженно, вернутся, нагулявшись всласть и вволю, накуражившись и отведав душу... но если что не так, найдут и накажут — это им уже вбили, вколотили в мозги, даже малейшие сомнения на этот счет развеялись.

— Я б тебя, ублюдка, убил сразу, вот тут, вот этими руками! — откровенничал с Гурыней сержант-инструктор, потрясая перед его мордой огромными мохнатыми лапами. — Но молись на начальство, ему виднее. Вот зона твоих действий, гляди, тварь! Ты вообще-то видал хоть раз карту в глаза?

— Никак нет, господин сержант! — лихо отвечал Гурыня, зная, что в случае промедления можно схлопотать по зубам.

— Ну так я тебе втолкую, ублюдок. Ты у меня с первого раза поймешь, без повторений и экзаменов... вот здесь, здесь и здесь! — палец сержанта тыкался в какую-то цветную картинку на столе и звучали названия поселков и городков, сызмальства привычные для Гурыниного слуха. — Отряду будет придан наш человек, он проведет, покажет, он будет держать связь. За него головой ответишь! Понял?!

— Так точно, господин сержант!

Инструктор довольно ухмылялся. А потом начинал орать:

— Встать! Лечь! Встать! Лечь...

Конца обучению не было видно. Гурыня падал носом в грязные плиты, вскакивал. И думал: на хрена ему такое Забарьерье! скорей бы на дело! скорее бы в края родимые! уж там-то он не оплошает! И матерел, матерел на глазах.

Когда в мозгу сделалось пусто и гадко, инвалид Хреноредьев растерянно оглянулся, задрал голову к черным небесам и горько зарыдал. Ноги у него подкосились, руки обвисли плетьюми, и рухнул он прямо залитым слезами дряблым лицом в какую-то слизистую дрянь и мерзость. От этой дряни жутко воняло. Но еще больше воняло от него самого. Хреноредьев был непритязательным мужичком по части запахов, но сейчас его начинало выворачивать наизнанку от собственной вони. Да еще память проклятушая все мешала в одну кучу: и подпол с хитрым и наглым Паком, и треск какой-то оглушительный, вой, визги, стоны, дым, молнии и одноглазого головастого уроды, поучающего жизни, и какое-то муторное мыканье по ночным свалкам, и прочую дребедень. Никого знакомого или хотя бы живого рядом не было. Хреноредьев и сам не пони-

мал, жив он или нет. Брюхо сильно болело, будто его продырявили в нескольких местах одновременно.

Измученный и несчастный инвалид готов был лежать в вонючей мерзости до второго пришествия. Но странная и неведомая сила приподняла его словно за шкурку, встряхнула и поволокла куда глаза глядят. Совершенно очумелый Хреноредьев пер вперед, спотыкаясь, падая и снова вставая, натываясь на огромные кучи смерзшегося и слипшегося хлама, пер нетопырем в ночи, выставив вперед свои костыли, увязая в месиве протезами, рыдая и скрипя обломками редких зубов.

Потом он упал с какого-то обрыва и долго кубарем катился вниз. На ходу, в этом безумном крутеже и вертеже он вдруг вспомнил где находится — в Забарьерье! в раю земном! в том дивном и сладостном крае, о котором у них, в Подкуполье, складывали легенды! Повезло! Привалило, мать их, счастье!

— Вот те и рай, едрена! — ошалело выдохнул Хреноредьев, когда его наконец перестало крутить и вертеть.

Надо было отдышаться, но неведомая сила поволокла его дальше. Пока не ткнула в большой черный шевелящийся и извивающийся мешок.

— Ты кто? — осведомился Хреноредьев, тыча костылем в мешок.

В брюхе у него вдруг заурчало, забурило — и накатил такой лютый и нестерпимый голод, что тут же представились три жирных, сучащих ножками поросенка по полтора пуда каждый — лоснящихся, аппетитных, розовеньких, которых можно жрать прямо с костями. И слюни потекли по небритому черному подбородку. Они! Непременно они! Кого ж еще в мешок посадят?!

Хреноредьев вскинул над головой костыль, взревел медведем:

— И-ех, едрена!!!

И хорошенько приложил своим орудием рвущегося на волю «поросенка» — а как же иначе-то, прорвешь мешок-то, а они, заразы, и разбегутся кто куда, лови их потом!

Удар получился веский, добрый удар. И мешок разом стих.

Теперь можно было приступить к главному. Хреноредьев на карачках подполз вплотную к мешку, разинул пасть пошире и впился острыми кочерыжками в скользкую и неподдающуюся ткань. Минут семь он рвал и терзал край мешка, как терзает и рвет злобный цепной пес брошенную ему тряпку, — чуть голова не оторвалась. И все же он продырявил мешок,

сунул в дыру грязные, корявые и цепкие пальцы, поднатужился, истекая липкой слюной и уже предвкушая пиршество, разодрал плотную оболочку... И обомлел.

Прямо в глаза ему смотрел мутным и жалостливым взглядом никакой не поросенок, и даже не кот в мешке, не козел... а вредный, нахальный, изводящий его своими вечными издевками Пак Хитрец.

— Нет. Не-е-ет! — захрипел Хреноредьев, пытаясь осенить себя крестным знамением и одновременно маша на Пака. — Чур! Чур меня!!!

Он даже попытался соединить разодранные края мешка. Но чуда не случилось, мешок не сросся и Хитрый Пак не исчез. Теперь от него не отделаешься, это точно! Все пропало! Хреноредьев зарыдал еще горше, чем прежде. Правильно говорил Отшельник, нечего им было вообще соваться в этот, едрена, светлый мир.

А Пак медленно, неотвратимо приходил в себя, воскресал. Мозг его выдавливал кусочек свинца, выплевывал из себя через отверстие, в которое тот и проник под черепную коробку. Пак хотел, более того, страстно желал умереть, откинуть концы, издохнуть. Но не мог!

Еще слабая, почти не слушавшаяся его клешня вскинулась помимо воли самого Пака, ухватила Хреноредьева за ухо, притянула к телу.

— Ты что, живой? — спросил Пак, еле шевеля губами.

— Не знаю, — искренне ответил Хреноредьев.

— Вытащи меня!

Хреноредьев отдернулся, скривился.

— Щяс! Выташу, едрена! — забубнил он. — А ты меня снова поносить учнешь и хаять!

— Да на хрена ты мне сдался... — начал было примиряюще Пак.

Но инвалид взвился чуть ли не к черному поднебесью.

— На хрена?! Опять намекаешь! Убью!!!

Он с усердием пуще прежнего, с яростью вскинул свой пудовый костыль. Но ударить на сей раз все же не решился. Пожалел доходягу.

— Ладно-ть, — процедил он примиряюще, — выташу, едрена, но в последний раз.

Ума у Хреноредьева было и так немного, а после передрыг и вовсе не осталось. И потому, ухвативши Пака за голову обеими руками, растопырив протезы, он принялся тянуть его

из мешка — и таким образом проволочил мученика саженой двадцать по прутьям, банкам-склянкам и торчащей арматуре. Инвалид готов был тащить и дальше.

Но Умный Пак взвыл:

— Стой! Всю спину изодрал, ирод старый! Брось!

Хреноредьев послушно бросил голову, и та глухо стукнулась о растресканную бетонную плиту, лишая Пака сознания, а заодно и всех неприятных ощущений.

— Нехорошо, чегой-то, получилось, — философски изрек Хреноредьев.

И взялся за мешок с другого конца. Через две минуты он вытряхнул тело наружу. На всякий случай потряс мешком, будто тая надежду, что «поросенок», пусть какой-нибудь завалящийся, но все же выскочит оттуда. Нет, не выскочил. И Хреноредьев со злостью отбросил мешок.

— Ну и воняет от тебя! — просипел очнувшийся Пак.

— Что есть, то есть, — деловито согласился Хреноредьев.

— Контузило меня, понимаешь. Ничего не помню, едрена! Домой хочу-у!

Пак вдруг напрягся, приподнялся на локтях, уставился на инвалида всеми четырьмя глазищами, в которых отразилось ни с того, ни с сего совершенно нелепое и неуместное здесь, на мрачной свалке — крохотная девочка в воздушном платьице, не девочка, а прямо ангелочек в беленьких кудряшках и с бантиком. Отразилось. И пропало.

— Рано нам домой! — сказал он, как отрезал.

Дорога в город оказалась долгой и непростой. Больше недели коптили и солили харчи. Воды решили из поселка не брать, воды завсегда можно из луж напиться, слава богу, лето выпало дымное, душное, но промозглое и дождливое, точно такое же, какими были осень, зима и весна.

Из поселковых к паломникам прибилось еще трое — Длинная Лярва, Кука Разумник и Мустафа. Остальные, кто поживал, были увечные, немощные или совсем тупые, таких брать с собою не с руки. Марка Охлябина дико приревновала Лярву сразу ко всем мужикам и в первый же вечер навешала ей крепких тумачков. Лярва ныла, скулила, огрызалась, но сдачи давать не смела, после погрома она стала тихой, пришибленной, не то что при прежней жизни.

Так все и выступили из поселка, длинной и странной вереницей. Так и шли полтора месяца по подсчетам Доди Каба-

на, пока не оказалось, что шли-то в другую сторону и потому уперлись в глухую, аж до небес стену.

— Добрались! — обрадованно заорал Тата Крысоед и всеми четырьмя руками разодрал тельняшку на своей груди. — Полундра!

— Чего орешь, обезьяна! — охладила его пыл Охлябина. За время странствия она совсем отошчала, еще больше облысела и уже почти перестала ревновать Длинную Лярву, без этой кривой образины поселковые мужланы ее бы ухайдакали, пригодилась Лярва. А вот Тата Крысоед совсем дурак. — Где ты тут город увидал?!

— Как это где? — не понял Тата. — За стеной, а где ж ему еще-то быть?!

— За стеной труба, — глубокомысленно изрек Однорукий Лука. — Это каждый знает. Бо-ольшая труба.

— Значит, надо по стеночке и идти, тогда, точно, к городу попадем! — уверенно завершил прения Додя Кабан.

Мустафа затряс маленькой обритой наголо головой. Лярва захлопала в ладоши, Трезвяк приуныл, не решаясь возразить, а Кука Разумник развел руками — дело было выше его разума.

Так и пошли вдоль стены.

И шли еще сорок четыре дня. Харчи давно кончились. Питались колючками, крысосусликами и всякой падалью. Хотели наложить лапу и на Доходягу. Но пожалели, решили не есть его до города, перебиваться на подножном корме. Трижды на паломников набрасывались огромные, жуткие и ужасно бестолковые твари. Но поселчане сбивались в ком и отражали нападения. У одной твари даже сумели оторвать хвост. Его съели тут же, не поджаривая на огне, так, что ни костей, ни кожи не осталось.

На пятидесятый день, сообразив, что стена никуда их не приведет, встали к ней спиной, выискали через пелену густейшего туманного смога еле угадывающееся солнечное пятнышко — благо денек выпал погожий — да и побрели на закат.

Додя Кабан шел хмурый и побитый. Он давно понял, что завел ватагу совсем не туда, куда собирался завести, теперь до города вдвое, а то и втрое дальше, чем от поселка. Но сказал он об этом только Доходяге Трезвяку, знал, тот не выдаст. Трезвяк, и впрямь, будто воды в рот набрал, совсем тихим сделался. После Додиного сообщения он только голову в плечи втянул и глаза закатил — вероятность быть сожженным

посельчанами увеличивалась. Но говорить им об этом было только себе во вред.

Тихий и смирный Мустафа шариком катился за Кабаном — хоть и глупый начальник, а начальник! Мустафа уважал больших людей, уважал он и не очень больших, главное, чтобы хоть чуть-чуть над прочими возвышались. А вот Кука Разумник все ворчал и матерился. Он боялся, что в город проход закроют, он знал, что ежели где проход открыт, там ничего хорошего нет, а вот где хорошо, там обязательно проход закроют, особенно если не поспеть вовремя. Кука подгонял компанию и за это его частенько колотили. Однорукий Лука брел угрюмо, свесив голову и покачивая слоновыми ушами, шел, будто на каторгу. Марка Охлябина висела на руке то у одного, то у другого. А безмозглая Лярва плелась позади и глуповато хихикала. Весь день Лярва вспоминала и обсасывала то, что с ней проделывали за ночь, никогда ей не было так хорошо как в этом великом походе, Лярва вовсе не жалела поселковых баб, сгинувших в огне, туда им и дорога, стервам-разлучницам! Тата Крысоед то забегал вперед, то отставал, он все время сопел и чесался — гниды вконец заели. Тата мечтал найти трубу поменьше, чтоб без стены была, возле таких труб всегда черные или цветные лужи — искупнешься, всю гнусь как рукой снимает, а хлебнешь глоток другой — башка набекрень и розовые черти перед глазами, благодать!

Еще две недели они шли без приключений, продираясь сквозь развалины, обходя пустыри — на пустом месте всегда страшно, на пустом месте как на ладони, хлопнут другой — и поминай как звали. Населенные поселки и городишки обходили стороной — свалками да помойками, промзонами и высохшими канавами, позаросшими черными хрящеватыми лопухами. Знали, чужаков тут не любят, и ежели чем и приветят, то оглоблей или арматуриной. К тому же в поселках запросто можно было нарваться на туристов-карателей, на этих «праведных судей», как говорил Буба Чокнутый, чтоб ему ни дна ни покрывки! «Праведные судьи» мочат всех направо-налево, это теперь понимал каждый несмышлениш в Подкуполье.

— Карта нам нужна, вот чего, — уныло изрек Однорукий Лука, когда они окончательно заплутали и выдохлись.

— Чего-о-о?! — попер на него Додя Кабан, чтобы в корне пресечь недовольство. — Ты на кого тянешь, чучело?!

Додя вломил бы Луке хорошенько, по первое число. Но круглоголовый Мустафа, все крутившийся рядом, вдруг плюхнулся прямо перед Додей в пыль и упрямо заявил:

— Все, начальник, моя устала. Моя домой хочет!

Это начинало походить на бунт. Додя растерялся, сумрачно поглядел на Тату Крысоеда — тот закатывал рукава своей драной, просаленной тельняшки, и непонятно было, кого Тата будет бить в случае разногласий. Марка Охлябина заныла, запричитала и уселась в пылищу рядом с Мустафой. Доходяга Трезвяк на всякий случай спрятался за ржавым помойным баком. Длинная Лярва влюбленными глазами глядела на Додю, но толку от нее ждать не приходилось. Один лишь Кука Разумник пошел было к Кабану, намереваясь поддержать его и еще издавека щеря гнилозубый рот в улыбке, но и он вдруг застыл на полпути, скосоротился, надулся и принялся чесать плоскую тыквообразную голову... никаким он не был разумником, а был полным идиотом — Додя даже плюнул в сердцах под ноги. Разве ж с такими уродами дойдешь до городу!

— Без карты пропадем, — подытожил Лука.

Никто кроме Доди не понимал, что это такое «карта», но все дружно закивали головами.

— И жрать охота. Пузо трещит! — заверещал Тата Крысоед, озираясь в поисках Трезвяка. Взгляд его, тупой и настырный, не обнаружил искомого и вдруг уперся в самого Додю.

— Все вы козлы и падлы, — на одной ноте выла Охлябина, — никуда не пойду больше, буду с Мустафой тут сидеть, пушай Лярва поганая в город прется, а я не пойду-у-у...

Длинная Лярва подкралась к Марке сзади, изловчилась и треснула ее большущей полусгнившей палкой прямо по жирному затылку. Палка разломилась, обсыпалась трухой. А сама Охлябина зарыдала пуше прежнего.

Додя Кабан приготовился к худшему. Теперь запросто могли сожрать его самого. Сожрать вместе с потрохами. Стоит этой четверорукой обезьяне, этому ублюдку Тате Крысоеду только намекнуть — и все набросятся гуртом, даже Мустафа не откажется куснуть «начальника»!

Додя надул щеки, угрожающе осклабился, взъерошился, выставил вперед волосатые руки и собирался уже заорать во всю глотку на шebutную братву свою... Но тут прямо из-за его спины, отчетливо и пугающе, будто раздирая низкое серое небо напололам раздался такой треск, что Додя, натянув дра-

ную и сальную шляпу свою на уши, согнулся в три погибели, пропищал испуганным фальцетом:

— Ложись!

И сам шлепнулся плашмя в пыль.

Уговаривать паломников не пришлось. На памяти еще свеж был кошмарный погром в поселке — там тоже все трещало, бухало, рвалось и горело. Перепуганные до смерти, они расползались кто куда, надеясь укрыться за жалкими, обросшими вонючим мхом развалинами, и каждому казалось, что стреляют именно в него, что вот-вот пуля вонзится в затылок, под лопатку, вот-вот сверху ошпарит жидким и страшным огнем — они помнили, как бегали горящими свечами посельчане, как падали, дергались, корчились, но не переставали гореть.

А прогремело-то не больше четырех очередей. Да, видно, эхо, порожденное внезапно нахлынувшим ужасом, размножило их и усилило до полнейшей нетерпимости. Тата Крысоед в бессильном остервенении грыз землю. Кука Разумник бился об нее лбом и причитал себе под нос что-то бессвязное и дикое из проповедей Бубы Чокнутого. Лярва засунула голову в какую-то нору и не дышала. Мустафа потел и трясся. Трезвяк лежал оцепенелой колодой, понимая, что на этот раз ему не уйти живым. Марку Охлябину рвало в сырой и гадкой канаве. Однорукий Лука лежал рядышком и тихо молился какому-то выдуманному им самим богу, такому же однорукому и унылому, но заступнику и спасителю. Один только Додя Кабан начинал потихоньку соображать, что стреляют вовсе не в них, что где-то там, довольно-таки далеко, идет своя, не имеющая к ним, паломникам, разборка. Но еще Додя понимал, что идти-то им надо именно туда, все остальные направления давным-давно пройдены. И потому, пролежав еще с полчаса, Додя подполз к Доходяге Трезвяку сунул тому в зубы волосатым кулаком и сказал:

— Ты вот чего, бери Куку Разумника — и в разведку ползи! Да чтоб живо, одна нога здесь, другая там!

Трезвяк совсем расстроился. Но возражать не стал, сейчас Додя Кабан запросто пришибить мог, со злости и прочим в острастку. Лучше ползти под пули, авось, не приметят, не попадут. Вместе они переметнулись к Разумнику. Додя проинструктировал и того, дав хорошенько по загривку, так, что Кука разбил в кровь свой отекий и красный нос о глину. Разумничать и философствовать ему не дали, по одиночке

Додя мог справиться с любым, тем более с таким обалдуюем как Кука.

— Сбежите, гады, — понапутствовал разведчиков Додя, — совсем убью!

Кука полз и матерился. Трезвяк на него шипел испуганно, еще услышат, Трезвяк вообще был с детства малость пришибленный и всего боялся. Трезвяк знал то, чего не знали очень многие — чем больше шума и треску, гомона и пальбы, тем проще затеряться и улизнуть. Но сейчас, как назло, совсем стихло. Спереди доносились только хриплые и неразборчивые голоса да тянуло едкой гарью.

Трезвяк с Кукой переползли заросший лиловой колючей осокой пустырь, почти вплавь преодолели отстойную канаву — трясина была подернута бурой тягучей ряской, но под ней кто-то хлюпал и охал, пуская пузыри. Обвалялись для просушки в пыли. Потом долго ползли по ржавой, давно отключенной трубе, причем Кука все время кусал разутого Трезвяка за пятки, пользовался тем, что в трубе не развернешься и не дашь по ушам. Наконец выбрались наружу, прорвав метровый слой паутины. И поняли, что отклонились от курса, зашли не спереди, а сбоку, но не расстроились — тише едешь, дальше будешь! Тем более, никакой пальбы давно не было слышно, может, туристы ушли, может, пора вставать в полный рост.

Кука Разумник так и предложил:

— Ты подымись-ка, Доходяга!

— Чего-о?! — не понял тот.

— Встань, говорю!

— Зачем еще?

Кука поглядел на Трезвяка как на полного идиота. И пояснил:

— Для проверки! Может, вовсе стрелять перестали?

Трезвяк долго думал. Потом изрек мрачно:

— А ежели нет?

— На нет и суда нет. Не бойсь, прибьют тебя, я назад сползаю сам, доложу все как есть, не подведу!

В доводах Разумника был свой смысл. Но Трезвяк сказал:

— Рано еще назад! Давай вперед ползти!

И они поползли, прячась за дырчавыми и позеленелыми до мшелости бетонными стенами, поползли, норовя вдавиться в эту несчастную, горькую землю, на которой уже давно не росло ничего путного кроме черных лопухов и лиловой осоки, поползли, в тайне надеясь, что в этом поселке при удаче

посчастливилось разжиться чем-нибудь съестным... ну а если попадутся местным, что ж, быть битыми, не привыкать.

Хриплые голоса становились все громче — как ни петляй, а никуда не денешься! надо еще немного вперед! чуть-чуть! Трезвяк навтыкал в путанные колючие волосы больших лопухов и от этого стал похожим на лешего, только что выбравшегося из немыслимой дикой чащобы. Кука сразу смекнул — для маскировки! Но на его голом плоском черепе мог удержаться только один лопушиный лист, и то с трудом. И от этого Кука ощутил вдруг как комок свинца, выпущенный из железяки, впивается в его темя. Но и он пересилил себя. Все равно подыхать с голодухи!

Поселок был хороший, зажиточный поселок. Получше их прежнего. Да и пепелищ не было видно, значит, его еще не карали «судьи праведные». Трезвяк с Кукой умудрились забраться по кривой каменной лестнице на какую-то развалину поросшую желтым кустарничком, с торчащими зубьями изъеденных временем простенков. Затаились, озирая покосившиеся крыши, заваленные мусором улочки, убегающие во мрак серой пелены. Прямо перед ними была площадь, отгороженная от развалин грудой ржавых и битых контейнеров да помойных баков. На том конце площади торчала покосившаяся колоколенка с пробитым черным куполом, изрисованная сверху донизу похабными, грубыми и неумелыми рисунками. Видно, в поселке имелся даже свой живописец. Из окошка на третьем этаже колоколенки торчала над землей огромная черная балка. С балки свисало несколько веревок. Под каждой из веревок стояло по поселчанину с завязанными за спиной руками. Но это было не главным.

Вся площадь по краям была запружена разношерстным народцем: стояли мужики, бабы, дети, толстые, тонкие, длинные, коротышки, носатые и безносые, многолапые и вовсе безрукие, двухголовые и обычные, корявые, уродливые, пустоглазые, трясущиеся и бормочущие, безъязыкие и кривые, одуревшие и напуганные, нормальные и чокнутые... простой, обычный люд подкупольный, туго соображающий, но себе на уме. Трезвяк даже всхлипнул. И у них в поселке так было — и народец такой же, и площадь. Потянуло чем-то родным. Захотелось спрыгнуть с заросшего кустарником перекрытия, побежать туда, встать в очередь за баландой на раздачу, за плотком пошла... да, сейчас Трезвяк не отказался бы от этого плотка, хотя и зарекся пить. Туда! Быстрее! Немедленно!

Кука Разумник, скрючившийся рядом, тоже глотал слюнки и ерзал.

Но было одно обстоятельство, которое мешало исполнению страстного желания обоих. Площадь была оцеплена изнутри и снаружи — и вовсе не длинноногими туристами, а какой-то корявой и разномастной братвой, выраженной в пятнистые фуфайки. У каждого на голове была кепка с длинным козырьком, а на плече или в руках железяка. Держались пятнистые по-хозяйски, народец их явно уважал и побаивался. На глазах у Трезвяка и Куки одного мужичка, выбившегося из толпы с пьяненькими стенаниями, встряхнули за шкирку, надавали по мордасам и впихнули обратно.

— Ой, мать моя! — вдруг выдохнул Кука. — Там же петли!

— Ну и чего? — не понял Трезвяк.

— Давить будут! — просипел побелевший Кука. — Я сам видал, как у нас такими собак давили.

До Трезвяка доходило с трудом, хотя и был он на редкость смышленным мужиком.

— Где ж ты тут собак углядел, дурень?!

— Не собак... вот этих давить будут, что под петлями стоят!

Теперь и Трезвяк пригляделся к связанным. Их было четверо — все тощие, кособокие, свесившие головы, на полных выроdkов совсем непохожие.

— Давить? А народ зачем собрали-то?!

— Болван ты, Доходяга, — вместо разъяснений выдал Кука Разумник.

Трезвяк примолк обиженно. Он не верил Куке, не желал ему верить. Тем более, что на площади было и кое-что другое.

На высоком помосте перед балкой в окружении ладно стоящих пятнистых прохаживался от края до края какой-то молодой еще мужичок с маленькой головкой на длинной шее и весь увешанный тускло посвечивающими железяками. Был он в такой же пятнистой форменке, с прутиком в руке и без кепаря. Это его натужный голос разрывал хрипом и сипом затишье Подкуполья.

— Братаны и сеструхи! — орал оратор. — Мамаши мои родные и папаши! Бабки и дедки! Все вы видали, как вчера горела северная труба. Все, я вас спрашиваю?!

Недружное мычание встревоженного стада прокатилось над головами загнанных в оцепление. Кука сам чуть не замычал, хотя ничего он вчера не видел. А Доходяга Трезвяк ни с того ни с сего насторожился.

— Все! — подбил итог горлопан. И понес дальше: — И тогда, когда мы, лучшие сыны ваши, поднявшиеся на смертный бой за обновление этой поганой дыры, не шадим своих жизней, когда все мы готовы до единого сдохнуть прямо хоть щас за демократию, какие-то падлы, окопавшиеся в вашем вонючем поселке, устраивают диверсию! Ну посудите сами, дурьи головы, для того разве ж наши друзья из Забарьярья, кормящие и поящие нас, проложили здесь трубы, чтобы какая-то падла дыривила их и жгла? Нет, братаны, не для того, чтоб мне сдохнуть у вас на глазах...

— Гурыня, — вдруг еле слышно выдохнул Трезвяк.

— Чего? — не понял Кука Разумник.

— Гурыня это, младшенький! — выпалил Трезвяк, как гвоздь вбил. И пояснил уже нерасторопно, с дрожью в голосе: — Землячок наш, баламут и козел, ты его знаешь! Куда ж это мы забрели?

Кука вжал голову в плечи. Когда-то давно, года три назад он дал Гурыне хорошего пинка, чтоб под ногами не путался — тот еще совсем молокососом был. А когда Гурыня развернулся в обиде, залепил ему зуботычину и обозвал как-то, теперь уже и не помнил. Но Кука знал, это он не помнит, а Гурыня злопамятный, он все помнит... он и его удавит как пса паршивого. Кука замер.

— ...вот за все за это мы и будем казнить гадов по всей справедливости! — крик начинал переходить в истошный, благой визг. — Во имя демократии и прогресса! И никаких границ! Никаких!!!

— Откуда он эдаких слов-то набрался, — недоумевал Трезвяк. — Ведь был оболтус оболтусом, тупее не отыщешь!

— Но прежде вы все увидите своими бараными глазами, чего еще натворили эти падлы! Давай, неси сюда! Живей!

Гурыня принялся размахивать руками — и откуда-то из-за помойных баков начали выскакивать одна за другой пятнистые пары. Каждая волокла за собой, прямо за ноги, по изби-тому до синевы телу. Кука усердно загибал пальцы.

— Восемь, — наконец сообщил он Трезвяку.

Тела побросали посреди площади, у колоколенки, чтобы было видно всем. И сразу запричитали плаксивые бабы, заныли малыцы, насупились и подались назад угрюмые мужики.

Гурыня сбежал к трупам, пнул один сапогом в бок, воздел руки к небу, будто желая засвидетельствовать, что все восемь безнадежно мертвы. И стремглав взлетел на свой помост.

— Да! — завопил он пуще прежнего. — Эти были еще лучше нас! Это они хотели помешать диверсантам, падла! Это они встали грудью... И каждого, падла, каждого из них ухряли! Вы видите слезы на моих глазах, — Гурыня и впрямь размазал нечто незримое по щекам, — я скорблю вместе с вами! И я знаю, что суд наш справедлив! Наш народный суд!

Последние его слова заглушил грохот сверху. Трезвяк обомлел и чуть не помер тут же со страху, а Кука Разумник не сдержался, обмочил штаны. Над поселком зависла тарахтелка. Непуганные и глупые посельчане задирали головы вверх, пялились на диковинку, показывали на нее пальцами и гоготали. Они еще не знали, что начнется сейчас...

Но ничего не началось. Тарахтелка повисела немного, потом прошлась кругом над площадью. И улетела в муть серого неба.

— Да! — вновь завопил Гурыня. — Они с нами! Они помогут нам и никогда не бросят, падла!

Он вдруг остолбенел ни с того ни с сего, будто вспомнил нечто важное и страшное, перекосясь, сторбилсь, задрожал. И кинулся к стоявшему тут же на помосте пьянющему, пошатывающемуся пятнистому коротышке, который держал в красной лапе что-то черное с хвостиком. Они отошли оба к краю, долго тыкали друг дружке кулаками в грудь, скалились, шипели в лицо, тряслись... но не кричали. Наконец коротышка перестал шататься, начал облизывать свою черненькую игрушку. А Гурыня схватил за грудки здорового рыжего детину в форменной телогрейке, с минуту то ли кусал его за ухо, то ли шептал в него нечто неслышимое Кукой и Трезвяком, а потом резко пихнул вниз. Дитина рухнул с помоста мешком, но тут же вскочил и опрометью побежал с площади.

Ошарашенный неслыханными прежде чудесами народец совсем растерялся. Многие поглядывали по сторонам, норовя удрать. Но не тут-то было — из такого оцепления не удерешь, могут только вынести, да и то вперед ногами.

Гурыня же метался по помосту, грыз ногти и дергался. Наконец он обрел голос.

— Братаны! Сеструхи и бабки! Падлы, мать вашу! — визжал он. — Пока мы тут вас уму-разуму учим, еще одна диверсионная банда рвется к трубам, теперь к восточным! Чтoб взорвать их, понимаешь! Полундра, мамыши! Кругом, падла, все окопались! Недобитые, падла! Недорезанные!

— Да у нас отродясь никаких-таких не было! — выкрикнул из толпы смельчак. — У нас тихо тут!

— Провокатор! Пособник! Вот они, падлы, где окопались!!! — Гурыня только обрубком своим ткнул.

И уже с десяток стволов разом повернулись на голос смельчака, ударили очередями. Завизжал покалеченный народец, попадали убитые. Кука начал было снова загигать пальцы, но бросил это пустое занятие — все равно дальше восьми он считать не умел.

Выстрелы отгремели быстро. Но народу не дали разбежаться, даже раненым. Трупы выволокли на площадь, да и побросали в кучу «самыми лучшими сынами».

Тем временем Гурыня малость успокоился. Было лишь заметно, что он к чему-то прислушивается, к чему-то принимает, чего-то ждет. Только Кука Разумник и Доходяга Трезвяк совсем ничего не понимали. Они лишь видели сверху, как бежит куда-то сломя голову рыжий детина — вот он упал, пополз, сорвал с плеча железяку здоровенную, вот хряпнуло, ухнуло, вздыбило пыль, а потом вдруг ударила в серое низкое небо горящая струя, ударила снизу, взметнулась, прожигая свинцовую пелену, и исчезла в клубах черного дыма. Нет, смотреть в ту сторону было еще страшнее, Трезвяк с Кукой разом отвернулись.

— Ага! Ага-а!!! — истерически орал с помоста Гурыня. — Вон они, падлы!!! Окопались! Они везде окопались! Они взорвут всех нас! Падлы! — Гурыня бесновался как одержимый. — Староста! — Где поселковый староста, падла?! Сюда! Сюда его!!!

Пара дюжих парней за шиворот, пинками и затрещинами, затащила на помост дородного седого старика с длинными, свисающими к коленкам усами. Старик с лету плюхнулся на колени, завыл, заныл, заслюнил, будто его уже убивали.

— Пиши, падла! — заорал Гурыня, совсем стервенея, но явно не собираясь обижать старосту. — Пиши, тебе говорят!

Коротышка с черной штуковиной резво подошел к перепуганному старцу, сунул ему чего-то под нос.

— Не обученные мы, — снова запричитал старец, — не вразумили дураков...

— Я тя щас вразумлю! — зашипел Гурыня. — Пиши, мы, поселковое общество, в полном составе, как есть, призываем добрых людей из-за Барьера внять мольбам нашим горьким, защитить нас от врагов наших...

— Не умею я!

Гурыня пнул старика сапогом прямо в розовую мутноглазую рожу с мясистым синим носом. Но тот явно не вразумился и не обрел чудесной способности складывать из букв и словеса. Теперь Трезвяк явно видел — старцу конец, Гурыня не остановится, пока не забудет его, Гурыня псих известный, от такого жалости не жди.

Но протрезвевший коротышка ухватил Гурыню за локоть, оттащил, сунул какой-то листок под нос. Потом они оба вернулись к старосте, тыркали его, теребили, заставляли делать чего-то непонятное. Трезвяк задыхался от клубов черного дыма, они валили прямо на поселок, развеиваясь над ним, выпадая на кривые крыши хлопьями копоты.

Наконец Гурыня столкнул старосту с помоста. Вскинул над головой листок.

— Единогласно! — торжественно и звонко объявил он. — Решением всего поселкового совета... виноват, муницип... мацанипа... а хрен с ним! Нар-род порешил напрямую обратиться к мировому сообществу, все как один! Кто против, падлы?! А ну, руки вверх! Все руки вверх!!!

Перепуганный и задыхающийся в налетевшей гари народец принялся вздымать вверх руки, лапы, клешни, обрубки, у кого чего было.

— Ура, падлы!!! — заходилась Гурыня. — Демократия, падлы!!! Всенародная!!!

Где-то в небесах опять тарахтела тарахтелка. Пятнистые гомонили и трясли железяками, бабы заполошно визжали, мужики гыгыкали и хохотали, зараженные торжеством оратора. Коротышка прижимал к губам свою черную шутовинку, все обцеловывал ее. Трезвяк приглядывался, может, это пузырек, бутылочка, может, он тянет оттуда дурманящее пойло? Нет, совсем непохоже. Ну и плевать! И что ж теперь будет с несчастными? Кука Разумник чесал свою безволосую тыкву и потел. Он хотел бежать, но пока не знал — куда.

Народец начали распускать. Многие падали от усталости тут же, в пыль и грязь, прямо под ноги более стойким.

Побрел куда-то от помоста и Гурыня.

Одни только приговоренные понуро стояли на колодах под балкой.

— А с этими-то чаво-о?! — закричал во всю глотку пятнистый охранник от колоколенки.

Гурыня вздрогнул. Обернулся.

— Повесить! — прошипел он.

— Так тут же одного не хватает! — не смолкал дотошный вертухай. — Сбег тут один!

Гурыня устало улыбнулся.

— Никуда он не сбег. У нас враг народа, падла, меж пальцев не проскочит. Вон он! — Гурыня вслепую ткнул обрубком в какого-то покачивающегося у контейнера ушастого хмыря.

Пятнистые подскочили мигом, связали орущему мужичку руки за спиной, поставили на колоду.

— Всем стоять! — грозно заорали над площадью с помоста. — Глядеть, мать вашу!

Вконец одуревший народец застыл, обернулся сотнями взъерошенных, лысых и бугристых голов, с равнодушием глядя, как выбивают то из-под одного диверсанта, то из-под другого массивные колоды, как начинают раскачиваться под черной балкой дергающиеся тела, как затихают... Раз надо, значит, надо, тяжело ворочались мысли в голове у каждого, в том числе и у Трезвяка с Кукой, без дела не удавят, за просто так не повесят.

Глядеть, однако, было больше не на что. Пора и возвращаться с разведки. Теперь у Куки с приятелем сомнений не было, раз в поселках эдакое творится, надо, точно, в город идти — правду искать!

«Нет света. Нет потемок. Да и тьма какая-то странная... такой даже во снах не бывает. Во снах бывают сновидения всякие, белиберда, мешанина. Нет, я не сплю, нечего себе голову морочить, тут что-то не то! Тут другое! Может, провалился в подземелья, когда шел к Отшельнику, разбился, ослеп... но ведь ничего не болит! Говорят, такое бывает: когда шарахнет по-настоящему, так не то что чутье и зрение отшибет, вообще ни черта не чувствуешь. Шок! Предположим, вот шел из поселка к Отшельнику — и упал вниз, в одну из бесчисленных труб, в колодец, лежу на дне, во мраке, искалеченный, издыхающий, ни ног, ни рук не чуя... да какие там, к дьяволу, руки-ноги!»

Чудовище попробовало шевельнуться, подтянуть конечности к телу, к голове, к глазам. Ничего не вышло. Зато пришла дикая боль, будто на щупальца каток накатил.

«Ох-хо-хо-о! Совсем хреново! Перебиты, видать, руки-ноги! Придется здесь загибаться, в дыре проклятой... Нет! Я ведь шел к нему за советом, значит, надо кричать, надо звать

его, он обязательно услышит. Отшельник! Ты все видишь и слышишь на расстоянии, сквозь стены и скалы, сквозь трубы и заборы, услышь меня! Отшельник!! Отзовись!!!»

Чудовище не знало, сколько времени оно кричало, вопило, зывало к далекому спасителю. Вечность! Но когда эта вечность закончилась, никто не пришел, никто даже не отозвался. Было так же темно и страшно.

«Не слышит Отшельник. Значит, все! Значит, труба! А я еще собирался бить зеркала по всему серому подкупольному свету, тысячи зеркал! Теперь не придется, отгулялся... Нет, все не так, память шалит, я же был у Отшельника, а потом вернулся в поселок. И в меня стреляли — этот носатый придурок стрелял, а потом другие, а потом была тарахтелка... значит, с нее и сверзился, дело ясное, тарахтелка высоко забралась, а эти гады все дубасили по шупальцам, рубили, кололи... так вот почему они так болят, все ясно. А глаза вышибло при падении. Господи! Почему я не разбился насмерть? Ну почему!»

Чудовище готово было зареветь, зарыдать, застонать. Но ни сил на это, ни голоса не было. Ничего не было. Только накатывающая временами боль... и все! Оно и так было бесконечно одиноко в этом подлом, ублюдочном, бессмысленном мире. А теперь его вообще превратили в ничто — в страдающее, слепое, глухое ничто. И бесполезно кричать, звать, бесполезно ждать помощи, ее не будет. И ничего не будет, кроме страха, боли, ужаса и одиночества.

«Нет, все было не так, я не падал с тарахтелки. Я залез в нее, а потом был Хенк, был трясущийся кровосос, были трубоходы, была паучиха с ее безжалостными когтями... И был бой там, за Барьером! Был бронированный монстр. Да, был броневик! И были тысячи пуль — как больно! невыносимо! дьявольски больно! И я вырвал из него башню с орудием, выдрал с корнями! И все! Вот тогда и накатила, вот тогда и навалилась тьма... Они убили меня! Точно! Я не мог выжить! Чудес не бывает... Значит, и впрямь есть душа. И это она страдает и болит. Да, конечно, только так, а тела нет, его расстреляли, раздавили, сожгли, его нет. Господи, почему я не сдох тогда?! Почему так больно?! Разве душа не может сдохнуть совсем, разве душа должна так болеть во мраке и пустоте! Нет!!!»

Напрягая исполинские внутренние силы, изнемогая, вновь и вновь умирая от адской боли, Чудовище пробуждало свое

тело, заставляло его сначала мелко трястись, дрожать, потом подергиваться, потом обрело силу — совсем небольшую, силу умирающего — в правом верхнем щупальце, провело им по голове, по бугристой надбровью. Другие щупальца и конечности не слушались, будто их и не было. Веки! Не такие как у людей, глубокие, сомкнутые дыры клапана... надо было их размять, расшевелить, заставить слушаться.

«Я смогу! Я все смогу! Я сильный и здоровый! Нет ничего на свете сильнее и здоровее меня! Глаза! Пробуждайтесь! Я должен видеть! Я должен все видеть и все знать! Я сильнее себя самого! Ты еще спишь, моя сила! Но ты есть! И ты просыпаешься! Я вижу, я уже вижу...»

Мутный, усеянный лиловыми набрякшими прожилками глаз, раздвигая дрожащее, трепещущее веко, из глубины огромной уродливой головы пробился наружу, вздрогнул от яркого, причиняющего боль света. Этот глаз начинал видеть. Не сразу, постепенно — из сверкающего белого марева выплывали серые пористые стены, прозрачные, сверкающие хрустальным блеском решетчатые ячеи, что-то далекое и непонятное.

«Вот так-то лучше! Я вижу, я начинаю прозревать! Нет, это не дно заброшенного колодца, это не труба, не подпол, не склад и не ангар, это вообще не похоже на Подкуполье, это что-то другое... Еще немного. Главное, не спешить, главное, дать глазу приглядеться, привыкнуть к свету... Солнце? Нет, это не солнце, это светят лампы какие-то, прямо из стен... нет, это сами стены и светятся. А что там за трубочки, что за гирлянды висят? Что-то невозможное! Такого в жизни-то и не бывает! Красотища, мать их! Я смогу! Я все смогу... Еще немного! Я уже пробудился! Я вижу-у-у!!!»

Зеленый зрачок в толстом мутном стебле подвижного белка прояснился, обрел четкость. Глаз стал выдвигаться — подобно перископу подводной лодки. И никто не стрелял в него, никто не бил, не навалился, не наезжал, не давил, не рубил. Вообще было тихо, покойно и светло. Стебель еще плохо слушался. Но Чудовище изогнуло его книзу... и почему-то не увидело своих толстых нижних конечностей, не увидело оползающего, слоновьего тела. А увидело лишь странную серую тумбу, округлую, полупрозрачную, с просвечивающимися будто кишки, жилы и вены трубами и трубочками разной длины и толщины — они свивались, переплетались, расходились внутри тумбы и пропадали в таком же полупрозрачном матовом настиле пола. Это был просто бред какой-то! Чудовище

изогнуло стебель кверху — бугристый череп, изъеденная, больная, сырая кожа, бельма залепленных глазниц, выдранное с корнем ухо и большой шов на его месте, а дальше... дальше ничего не было, будто четверть черепа срезало начисто. Стебель глаза вытянулся на полную длину — Чудовище хотело видеть себя. Но не видело. На округлой тумбе, поддерживаемая прозрачными сверкающими хрустальным блеском ячеистыми решетками, опутанная трубками и шлангами, неживая и омерзительно гадкая, будто отрубленная вместе с частью правого плеча и болтающимся, свисающим вниз безвольно правым щупальцем, торчала его собственная изуродованная огромными рубцами голова — страшная, невозможная, потусторонняя в этой ослепительно светлой и прекрасной комнате.

Ирон Хэй приканчивал вторую бутылку виски, когда в его кабинет пропустили очередного просителя из жаждущих приключений на свою голову за свои же деньги. Хэй никогда не пьянел от выпитого, он только дурел, наливался непрошибаемостью и свинцовой самоуверенностью. Вся эта возня вокруг зоны давным-давно ему надоела. Азартным охотником он тоже не был и не понимал, почему его заставили заниматься именно этими вопросами. Большие деньги? Да, денежки с богатеев лупят приличные, на такие они бы могли развлечься получше, на взгляд Ирона Хэя, но ничего не попишешь, как заметил шустрый Сол: «надо совмещать приятное с полезным». А его б воля — запустить бы в Подкуполье газа чуть побольше, а через годик все вычистить, полмиллиона киберов наладят дело в зоне... и ни одного ублюдка!

— К вам можно, сэр? — прервал раздумья государственного мужа крепкий малый лет тридцати с серыми пустыми глазами и выбритым по последней моде черепом. В руке он держал голубенькую бумажку.

— Чего там у вас? — недовольно буркнул Ирон Хэй, скривив худое лицо и играя желваками.

— Лицензия! — коротко и ясно ответил посетитель.

— Вижу, что лицензия. На сколько голов?

Молодой человек засмушался было, но пересилил себя, подошел к большому дорогому столу, положил перед вопрошающим свой голубенький листочек и пояснил:

— На пятьдесят шесть.

Ирон Хэй забарабанил костлявыми пальцами по столеш-



нице, но не нервно, а как-то машинально, будто показывая как ему скучно жить на этом свете и как ему надоели всякие посетители.

— Я знаю, что многовато, — начал оправдываться бритый малый, — но все по правилам, по закону, я выкупил... и налоги уплачены. Раньше вообще проще было, там такая девушка сидела, она и не спрашивала, карточку вставляй... и готово дело, — он осекся, решив, что болтает лишнее. Но тут же поспешно добавил: — О неразглашении я подписал, все как положено, не первый раз. Вы только не думайте, что я этих животных отлавливаю и батрачить на себя заставляю, нет, я же не прохвост какой, я законы уважаю, только на отстрел...

— На отстрел! — прервал его мрачнейший все больше Ирон Хэй. — Вон в прошлом году в Пенсильвании три невольничьих рынка накрыли, в Лондоне пару, в Кейптауне один и под Парижем один... какой там батрачить! От этих вырожденцев пользы не добьешься, в домашние зоопарки берут, в шу-ты, детям на развлечение... А правые, гады, фашисты, сволочь патриотическая, понимаешь, шумиху раздувают, дескать, эти вырожденцы такие же люди, наши, мол, братья и сестры, ни черта они, доложу я вам, в демократии не понимают. Ну, какие эти ублюдки мне братья? Вредные и грязные животные!

— Господом клянусь! Не торгую! — затараторил бритый. — Во, Христом-Богом! — Он истово и размашисто перекрестился. Тут же полез во внутренний карман желтого френча, достал несколько больших и плоских объемных карточек, разложил их перед государственным мужем по широкой столешнице.

Ирон Хэй хмыкнул, покачал головой. На карточках были охотничьи трофеи законопослушного малого: по стенам огромного, прямо-таки дворцового каминного зала висели отрезанные и хорошо выделанные головы уродцев-мутантов из Подкуполья, каких там только ни было — и с хоботами, и с лошадиными челюстями, и с огромными слоновьими ушами, и кругленькие как бильярдный шар с тремя и пятью глазищами, и вообще похожие больше на монстров преисподней... а один урод стоял целиком, во всей своей красе — безрукий, хвостатый и двухголовый. Особенно поражали глаза мутантов — они горели живым огнем, казалось рты, пасти, клювы вот-вот раскроются и эти «трофеи» заговорят.

— Да-а, хорошая коллекция, — многозначительно протянул Ирон Хэй, сгреб карточки в кучу, подтолкнул их к краю стола.

— Хорошая! — резво поддакнул посетитель. — Таких нынче мало. В основном бьют зазря, впустую... по пьянке да с куража. Настоящих охотников — по пальцам пересчитать!

Ирон Хэй внимательно поглядел в серые глаза.

— Похвально, вам есть чем гордиться, — он придвинул к себе голубенький листочек, сузил и без того заплывшие веки. — Айвэн Миткофф? Странная у вас фамилия. А вы сами, случайно...

Посетитель покраснел, потупился, но быстро вернул себе прежнее душевное равновесие, даже вздернул голову выше и выпятил грудь.

— Как можно, сэр! Я рожден в свободном мире. Предки малость подкачали — они, и впрямь, оттуда, с зоны. Только ее тогда не было, зоны этой, страна была какая-то, не помню... они смотрелись сюда вовремя, еще в конце двадцатого века. Да, сэр, — голос у малого вдруг напыщенно задрожал и в глазах заискрилось что-то далекое, возвышенное. — Цивилизация, демократия... они сделали свой выбор!

— И не ошиблись, — подытожил Ирон Хэй. — Похвально, похвально! — Ему было абсолютно наплевать на родню этого малого, и дальнюю, и ближнюю. И если бы не установка сверху о задействии всех этих непрофессионалов, всех этих любителей-дармоедов, он бы и на порог не пустил настырного малого, такими должны заниматься «девушки». И потому Ирон Хэй помрачнел еще больше. — Все о'кей! — сказал он. — Но есть маленькая загвоздка...

— Понял! — опередил его малый. — Многовато будет? Десяток можно срезать... на пользу государства, так сказать!

Ирон Хэй сумрачно рассмеялся.

— Эх, вы! Думаете, кому-то из нас нужны крошки с вашего охотничьего стола? Ошибаетесь, молодой человек. И не многовато будет, а маловато... ну что это такое, пятьдесят шесть, в масштабах всей Резервации?! Я вам могу сказать по большому секрету... — он поманил малого пальцем, и тот чуть не на карачках подполз ближе, заглянул в глаза. — Вы ведь смотрели новости последнюю неделю?

— Ага!

— Ну и как?

— Буянить малость начали, — легкомысленно отмахнулся охотник, — пошумят, побесятся и все опять тихо станет. Им там, этим вырождакам, делить-то нечего!

— Как это нечего?! — Ирон Хэй посуровел и строго поглядел на посетителя, не понимающего всю ответственность и важность момента. — В Резервации пробуждаются здоровые демократические силы. Наша задача их поддержать. Но вместе с тем, как вы догадываетесь, на пенной волне демократии и гласности выносит наверх и реакционно-консервативные отбросы...

— По-моему, там все отбросы! — осмелел малый.

— Это верно, — согласился как-то машинально высокопоставленный наставник, — но мы должны отделять агнцев от козлий. Сейчас прорабатывается вопрос о введении в Резервации особого положения и ввода туда миротворческих сил для поддержки демократической общественности и подавления реакции.

— Общественности? — тупо переспросил Айвэн Миткофф. Во времена своих охотничьих сафари в Подкуполье он что-то не встречал там никакой общественности, может, просто не до нее было — гон, травля, облавы, лихость и ловкость, завалить с первого выстрела, а то и выйти на особого дюжего мутанта с рогатиной, как делывали встарь — вот это да! а про общественность? нет, не слышал.

— Короче! — Ирон Хэй треснул жилистым кулаком по столу. Виски начинало выветриваться из головы, и потому беседа с этим малым становилась слишком уж долгой. — Короче, охотничий сезон закрыт! Единственное, что может вам предложить госдепартамент, вам и многим другим охотникам-любителям, спланировать в стройные ряды добровольцев. Да, широкой мировой общественности будет приятней, если в Резервацию сначала будут переброшены миротворцы-добровольцы, а только потом уже регулярные части быстрого реагирования. Вы меня поняли?!

— Понял, — чистосердечно признался Миткофф. — Только какой я миротворец? Я мирить не умею...

— Вы не миротворец, это точно! Вы болван! — взъярился Ирон Хэй. — С чем вы прежде ходили на охоту в Резервацию?

— Как с чем... у меня много ружей, три охотничьих винчестера и гарднеровская трехстволка.

— А теперь вам дадут ручной пулемет последнего образца, три

парализатора, еще кучу всяких замечательных штук, да в броневику на выбор — огнеметы, синхроплазмомет, микронейтронные пушки, лазерные скорострельные винтовки и всякое такое прочее.

— И что я должен буду делать? — ошарашенно поинтересовался посетитель, теряя остатки выдержки, то блея, то багровея.

— То же самое, что и прежде, болван! — Ирон Хэй вскочил с места. Разодрал на клочки голубенький листок, бросил обрывки в лицо остолбеневшему Айвэну Миткоффу. — И никаких лицензий! Пятьдесят шесть голов ему давай! Щенок! Надо мыслить по-государственному — пятьсот пятьдесят шесть... тысяч... на каждого! Мы не собираемся там вое... проводить мирную миссию двести лет! У нас нет для этого средств в казне! Вам доверяет сам президент! Мальчишки! Щенки! Болваны!

Вытянувшийся в струнку охотник Миткофф держал руки по швам, блаженно улыбался, пучил серые глаза на благодетеля и не мог поверить выпавшему на его долю счастью — в Резервацию! без лицензии! без ограничений! миротворцем! с синхроплазмометом!

— И помните хорошенько: вы солдат демократии! Нечего там цацкаться со всякой красно-коричневой сволочью! А нето я из вас чучело набью! Я вашу голову повешу в своей гостиной! Ясно?!

— Так точно! — восторженно проревел солдат демократии.

Три дня Пак отлеживался на свалке. Инвалид Хреноредьев ходил вокруг него кругами и недовольно бурчал.

— Иисусик какой, едрена, нашелся! Его убивают, понимаешь, а он воскресает! Его убивают, а он воскресает! Непорядок это. Ты вот сам рассуди, Хитрец, ведь тебя ж убили, едрена?

— Убили, — вяло соглашался Пак.

— Ну и нечего оживать-то! Раз убили, значит, так надо, значит, такой, едрена, порядок вещей. Я так понимаю!

По свалке бегали жирные и ленивые крысы. Хреноредьев приноровился бить их своим костылем. Но с Паком по врожденной жадности делился редко, почти всех сжирал сам — давился, кашлял, чихал, храпел и сипел от лезущей в глотку, в нос и в глаза поганой шерсти, хлюпал, хрюкал, рыгал, плевался, матерился несусветно, но ел. За эти три дня Хреноредьев заметно окреп и больше не спотыкался.

Он настолько осмелел, что совершил дальнейшее путешествие — по немыслимо ржавому каркасу, по гнутым черным арматуринам он вылез из ямы и начал плутать в узеньких проходах посреди огромных куч мусора. Плутал, вынюхивая чего-нибудь съедобное, разгребал завалы, пыхтел и оглядывался, пока не наткнулся на какого-то странного мужика. Мужик этот сидел на перевернутой вверх дном большой кастрюле, головы его не было видно из-за высокого воротника черного засаленного пальто, в которое он зябко кутался... Но поразил и напугал инвалида не сам дрожащий мужичонка, а сундук с картинками, который стоял перед ним и на который этот плюгавый мужичонка глядел, не отрывая глаз.

Хреноредьев, постояв соляным столпом с пару минут, опрометью бросился назад. Из мусорных лабиринтов он выскочил как ошпаренный, края ямищи не заметил — и покатился вниз, отшибая бока и скрежеща зубами, кричать он не смел.

Умный Пак сидел на том же месте, сидел, обхватив голову руками и тихонько покачиваясь. Паку виделась в грезах Леда Попрыгушка. Где она теперь? С кем мыкается? Помнит ли про него несчастного?! И кто еще из них несчастней, неизвестно! Пак набирался сил. Он здорово отошал. Но слабости не чувствовал. Голова почти не болела. Зато на душе было тошно и пусто.

— Сидишь, едрена?! — с ехидцей поинтересовался подкравшийся Хреноредьев.

— Сижу, — равнодушно отозвался Пак.

— А там картинки, понимаешь... прыгают и скачут!

Пак пристально поглядел на инвалида и заключил:

— Совсем ты одурел, старый хрен.

Оскорбленный до невозможности инвалид долго тарашил глаза и глотал воздух, он был не в силах выразить своего возмущения. Потом треснул Пака костылем по башке.

— Еще раз мою фамилию заденешь, убью-у!!! Я тя оживил, едрена, я тя и убью...

Хреноредьев вздел костыль во второй раз. Но добивать охальника не пришлось. Пак как сидел, так и откинулся на спину, затих. Инвалид даже перепугался, оставаться в эдаком страшном месте без компаньона ему не светило.

— Ей, Хитрец, миленький, — Хреноредьев подполз ближе, приложил ухо к груди. Сердце не прослушивалось. — Ты живой, что ли? Ну, вставай, Хитрец, я ведь только пошутил, едрена!

— Пошутил?! — прямо в ухо инвалиду прошипел Пак. И пребольно ухватил его за обвислый синий нос. — Это шутка у тебя — костылем по башке со всего маху?! Я вот щас тоже пошучу!

Он с такой силой крутанул нос Хреноредьеву, что тот и сам перевернулся на спину, завизжал, даже слезы полились из мутных глаз.

— Ладно, говори, чего видел, — смилостивился Пак и отпустил нос.

Хреноредьев тут же вскочил, закрыл лицо руками, захныкал — нос горел, будто его в расплавленное олово сунули, дело понятное — клешни у Хитреца, дай Бог! Но лучше не нарываться повторно.

— Ка-арти-инки-и там, — прогундосил он, размазывая грязь по лицу, — живые! Прыгают, ходят, говорят чего-то, о-о-о...

— Какие еще картинки? Где?

— В сундуке!

— Где?!

— В сундуке! — повторил Хреноредьев и отступил на всякий случай.

Пак встал, потянулся, хрустнул суставами, стряхнул с колен какую-то прилипшую дрянь и смерил инвалида презрительным взглядом с головы до ног.

— Сам ты сундук... с дерьмом. И с хреном!

Инвалид зарыдал горше прежнего, в драку лезть не посмел, только подумал, что лучше б Хитрец вовсе сдох в своем черном мешке! ведь никто в поселке не издевался так над его прозвищем, никто и никогда! а еще втрое моложе!

— Ни хрена ты старших не уважаешь! — пробубнил он отечески.

Пак расхохотался.

— Сам ты, Хреноредьев, свою фамилию задеваешь. Вот и тресни себя по лбу костылем. Тресни, тресни! — Он подошел вплотную похлопал растерявшегося инвалида по плечу. — Ладно, пойдем твой сундук смотреть.

Умный Пак почти сразу догадался, что инвалид говорил про телевизор. Он и сам раньше ни черта не знал, спасибо подружке—Попрыгушке, много чего показала, многому научила. Зазноба любимая, где же ты?!

На этом восхождении Хреноредьев дважды падал с карка-

са, набил себе две шишки на лбу и стал похож на рогоносца. Но Пак ему помог выкарабкаться наверх.

Мужичонку с сундуком нашли не сразу. Да тот на них опять же не поглядел. Только спросил по-своему:

— Выпить есть?

Инвалид ничего не понял, он языками, кроме подкупольного, не владел.

А Пак ответил:

— Самим бы кто дал!

И уселся без спросу перед сундуком-телевизором.

На экране несколько голых мясистых баб елозили друг по дружке, облизывались плотоядно и томно шурили крашенные глазища. Хреноредьев сразу обильно вспотел и принялся тяжело дышать. Пак смотрел хмуро, бабы его не возбуждали, голова была забита всякой всячиной, да и где им сравниться с Ледой!

— Во! — хвастливо прохрипел плюгавый мужичонка из-за огромного воротника. — Сам нашел тут, сам отладил, антенну приспособил... — он показал грязной рукой на какую-то длиннющую проволоку, избегающую вверх по мусорной куче. — Ну, ладно. Теперь выключать можно, интересное кончилось, теперь дрянь всякая пойдет, новости, политика.

— Чегой-то он тарабарит все время, — переспросил у Пака инвалид, — никак не разберу, едрена!

— Не разберу, — передразнил Пак. — Языки знать надо, а ты не знаешь ни хрена... потому что редьки мало ешь!

Хреноредьев раздулся, побагровел, закатил глаза и приготовился было заорать. Но вдруг увидел, как на его ноги смотрит мужичонка. И проглотил язык.

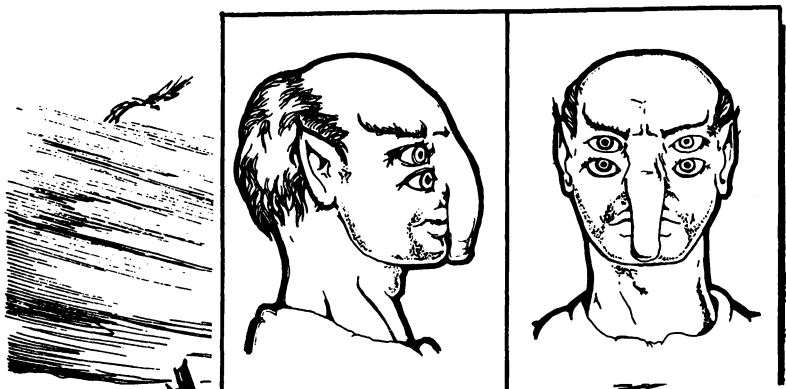
А плюгавый тем временем перевел взгляд на лицо Умного Пака и совсем обалдел. Таких он еще не видывал — с хоботами и четырьмя глазами. Он даже протер воспаленные веки свои. Но урод с хоботом не исчез.

— Чего перепугался? — вежливо спросил Пак и почесал шрам над переносицей опухшей клешней.

— Да не-е, я ничего, — тут же развеял его сомнения плюгавый, — все путем. Вы тут глядите пока, а я за пузырем сгоняю. Выпьем по чутку?! — И сделал выразительный жест, шелкнув себя пальцем по горлу.

— Это мы завсегда, едрена! — кивнул сообразительный Хреноредьев.

Плюгавого как ветром сдуло.



ПАК ХИТРЕЦ



— Не нравится мне он, — процедил Пак. И сплюнул себе под ноги.

Он пересел на пустую кастрюлю с рваной дырой на боку. Уставился в экран телевизора. Пак почему-то думал, что непременно покажут Леду, что он убедится — с ней все в порядке, а может, и адресок подскажут, где она обитает ныне, ведь должна же она где-то жить, коли в тюрьму не посадили. Эх, Леда, Леда! Только и было во всей горемычной жизни Умного Пака одно светленькое маленькое, быстро потухшее пятнышко, одна-единственная беленькая полосочка — это она, любушка ненаглядная.

Но Леду не показывали. А показывали, как и наобещал плюгавый, всякие новости, большую часть которых Пак не понимал — какие-то ухоженные, холеные туристы, которые здесь у себя и вовсе не туристы, жали друг дружке руки, притворно и белозубо улыбались, говорили чего-то, дергал бровями ведущий, раскатывали машины, толпились нарядные и сытые толпы... и все это перемешалось полуголыми бабами, которые вертели в руках беленькие тряпочки, подносили их к лицам и удовлетворенно вздыхали, будто только что слопали по три миски баланды. Пак знал, что тут баланду никто не ест, тут жратвы навалом, а пошла еще больше, но только не для хоботастых и четырехглазых, да и не для трехногих инвалидов. Пак даже чуть не задремал. Но от вида появившихся на экране полуразрушенных труб и колючей проволоки у него будто молния под черепной коробкой полыхнула, сразу прояснилось, он стал понимать почти все, сердце забилось неровно и судорожно.

— ...обстановка в Подкуполье продолжает оставаться напряженной, — равнодушно, слегка вскинув бровь, поведал диктор. — Наиболее разумные и прогрессивно настроенные мутанты, желающие перемен к лучшему, продолжают создавать по всей территории Резервации народные демократические движения и фронты, они требуют отмены всех ограничений на свободу слова, перемещений по Резервации, свободу собраний и построения правового государства. На митинги под знаменами демократии выходят десятки тысяч, они не хотят жить по-старому...

Пак глядел во все глаза. И не верил себе. Прямо посреди бесконечных развалин, в копоти, грязи, дыму бестолково толпились, шли, мешая друг другу, наступая на ноги, падая, толкаясь и спеша будто к раздаче, сотни, а может, и впрямь,

тысячи родных до боли существ — разноликих и непохожих, кривых, кособоких, пузатых, тощих, немощных, здоровенных... но это был не поселок, не их поселок, и не какой-то другой, это было как сто поселков вместе, Пак никогда не бывал в таких местах, болтали, правда, разные про всякие там города, но Пак не верил. А теперь вот гляди и думай, хочешь верь, хочешь нет. Тут и там толпы собирались вокруг крикунов, которые залазили на руины и кричали что-то яростно и призывно. У многих в руках, лапах, конечностях трепыхались на палках тряпицы и бумажки с надписями: «Даеш димакрацию!», «Мы ждем примирения!», «Свободу!!!», «Западным трубам — низависимость!» и прочие, Пак не успевал прочитывать их. Ему казалось, что смиренные и тихие, никогда ничего такого особого не желавшие обитатели Подкуполья, белены объелись и посходили с ума.

Хреноредьев, и тот, перестал сопеть и чесаться, подполз к «сундуку» вплотную и только вздыхал изумленно. Хреноредьев читать не умел, но своих он узнал сразу, захотелось туда, в гущу событий, в родимые края.

— Чего ж они, едрена! — взвыл он. — Да нешто так можно, Хитрец?!

— Заткнись! — оборвал его Пак.

А бровастый диктор верещал свое:

— ...передовые слои населения Подкуполья начинают прогревать, тяжело и медленно идет прогрессивный слом в сознании. Но... — голос ведущего стал суровым и праведным, обличающим, — но не все в Резервации желают перемен. Окопавшиеся тут и там ревнители дедовских традиций и старого тоталитарного порядка тут и там устраивают поджоги, взрывы, диверсии! Окопавшаяся реакция не дремлет...

Дыму и смрада на экране стало еще больше. Загрохотали выстрелы, за клубились черные дымы, ударило к серым небесам ярое пламя из трубопроводов. И тут же, на поселковой площади — трупы, искореженные тела, выломанные руки, застывшие в смертной тоске глаза, кровь, пепелища, повешенные, расстрелянные, забитые, и снова пепелища, развалины, черные клубы и смрад. Пака затрясло. В страшных дымах он видел то, чего не было, что давным-давно прошло — покосившуюся трибуну, распятого папаньку в новехонькой телогрейке с вышитыми на ней голубями мира, огонь, корчи, муки... Папанька давно на небе, вознесся вместе с черным дымом. А все преследует его, Пака, все не дает покою!

— ...перед нелегкой дилеммой стоит мировое сообщество, — накручивал слово на слово диктор, пугая зрителей, — или оставить нарождающуюся демократическую общественность пробуждающейся Резервации один на один с силами реакции, с этим красно-коричневым тоталитарным оплотом мракобесия и глухого зоологического шовинизма окопавшихся выроdkов, готовых, как вы видели, на самые жуткие и кровавые репрессии по отношению к инакомыслящим, алчущих затоптать ростки молодой демократии своими кованными сапожищами... или ввести в Резервацию миротворческие силы, способные оказать всеобъемлющую поддержку идущему процессу обновления... Президент склоняется к последнему. Во имя мира, во имя процветания и гуманизма! Во имя демократии! — С последними словами у бровастого диктора на глазах выступили слезы.

И тут же вновь затрещали пулеметы, загрохотали пушки, что-то мельтешаше-пятнистое задергалось, забегаю в черных дымах, проявилась на миг знакомая, хамоватая рожа Гурыни-младшего, снова ударили очереди, запричитали раненные бабы над трупиками скрючившихся и безвольно обвисших на их руках детей. Пака уже трясло крупно, неостановимо, зло. Он готов был сам ринуться в этот дым, в этот смрад, в этот непонятный бой, где убивали и умирали неизвестно за что, где воцарился сам ад! И это тихое, позаброшенное, мирно вымирающее Подкуполье?! Пак сжимал голову клешнями. Нет! Тут что-то не так! Он вспомнил ту, самую первую бойню на пустыре, когда туристы обложили его ватагу. Они беспощадно расстреляли всех: Блинецов-Сидоровых, Бумбу Пеликана, Грюню, Гурыню-старшего, балбеса Бандыру, Коротышку Чука... никто не ожил, они были хилые, больные, они бы и сами долго не протянули, лет по пять — по десять, но их били в упор! Пак помнил тот смертный ужас, когда его гнали на броневике в свете прожекторов, потом настигли... это была лютая смерть. Они никого не жалели. Верно! Но Пак не помнил, чтобы сами посельчане, и с их поселка, и с других, дрались так остервенело, не щадя животов... нет, никогда такого не было, могли врезать по лбу, промеж ушей, могли передрасться после принятого из краников пойла. Но до смертоубийства никогда не доходило. Почти никогда. Смерть и кровь принесли в поселок туристы — красивые, длинноногие, холеные... И вот опять смерти, много смертей. Тут что-то не так.

Даже Хреноредьев, отползший от «сундука» подальше, сидел мрачный и нахохлившийся, качал головой, цыкал, кряхтел.

— ...только что поступило сообщение, — вдруг заверещал зайцем ведущий, — полтора часа назад в Подкуполье в районе наиболее оголтелой реакции окопавшихся ранен наш специальный корреспондент! Это трагическое сообщение не может оставить нас спокойными! Мы требуем от президента срочного и безотлагательного принятия мер!!!

— Шас приму, — глухо прохрипел Пак.

Он подобрал здоровенный булыжник и с размаху засадил им в экран.

Взрыв был оглушительный.

Инвалид Хреноредьев подумал, что и здесь, в Забарьерье, на свалке началась самая настоящая война. Потом пришел в себя, недовольно поглядел на Пака.

— Ты чего?!

— Хрен через плечо! А через другое — редьку!

Инвалид подскочил вверх мячиком, замахнулся костылем. Но ударить не успел.

— Стоять! — пророкотало басом от ближней кучи.

— Руки!!! — прокричало голосом пожиже.

Пак оглянулся. Трое здоровенных полицейских держали их с Хреноредьевым на прицеле. Три пулемета смотрели черными дырами стволов им в лица. А из-за спины самого здорового копа выглядывал плюгавенький мужичонка, тот самый.

— Чего это они? — тихо спросил у Пака одуревающий от избытка впечатлений инвалид. Костыль он так и не опустил.

Пак не ответил.

— Мордой к стене! Живо!

Плюгавый засуетился, чуть не повис на локте у обладателя баса. Было видно, что он испуган до полусмерти.

— Стреляйте! Их надо бить сразу, поверьте, я знаю, я слышал, я видел, господа фараоны, ну хоть пару выстрелов, ну хоть один! Вышибите им мозги!

— Заткнись! — коп отшвырнул от себя плюгавого.

Он уже шел к Паку, который послушно уткнулся лицом в мусорную кучу. Двое других не сводили стволов с мутантов. Они и сами знали, что всегда лучше стрелять первым. Но оба выродка были явно безоружными.

— Ноги! Ноги шире! — коп ударил Пака по больной, простреленной ноге.

Тот стерпел, раздвинул подошвы. Хреноредьев стоял в такой же позе, но не знал, куда какую ногу девать, у него их было целых три, хоть и неполных, но все же. Полицейский тоже задумался на секунду, соображая, что к чему, а потом отвесил инвалиду внушительный пинок, тот еле удержался на своих протезах.

Ствол уперся Паку в спину, тяжелая ручища принялась хлопать по бокам. Пора... Нет, еще немного. Пак подождал, пока коп чуть пригнулся, ощупывая карманы его комбинезона. И резким ударом клешни проломил ему голову — синяя форменная кепка так и застряла в треснувшем черепе. Полицейский умер мгновенно, не успев нажать спуска. Но Пак уже развернул труп, прикрылся им, ухватил пулемет.

Две очереди ударили разом. Пули вязли в мясистом теле. Но недолго. В два прыжка Пак налетел на стрелявших. Одного он сбил с ног, пихнул на него восьмипудовый труп. Другому прострелил горло, кровь фонтаном ударила ему в грудь. Пак и сам не ожидал, что все получится так скоро. Пак был зол и взвинчен.

И все же он нашел в себе сил немного успокоиться. Собрал пулеметы, содрал с ремней убитых пистолеты, разжился патронами — их было немного, ну и ничего, не до жиру.

Проваливать с этого проклятого места надо было немедленно. Пак завертел головой в поисках инвалида — Хреноредьева нигде не было. Неужто убили старого хрена?! Какой-никакой, а свой, посельчанин, земляк, бросать, не разузнав, что с ним, нельзя. Пак побежал вдоль кучи.

Но сзади вдруг раздался хрипатый тенорок:

— Ты куда, едрена?!

Пак задрал голову. Хреноредьев стоял на невысокой, в два роста, мусорной кучке и держал за шкурку плюгавого мужичка, который навел на них полицию.

— Убечь хотел, — пояснил инвалид. И потряс корявым кулаком перед носом у мужичка. — Ты мене сперва сундук наладишь, едрена, а потом беги куда хошь!

— Без сундуков обойдемся, — крикнул снизу Пак. — А ну давай сюда гада!

Хреноредьев послушно спихнул плюгавого вниз. Тот упал камнем.

И разговор с ним вышел короткий.

— Вот так вот! — процедил Пак, вытирая клешню о черное замызганное пальто. — Собаке собачья смерть.

— Зря ты его, — расстроился Хреноредьев.

— Ты себя пожалей! — огрызнулся Пак. — Нам тут крышка. На-ка вот, лови! — Он бросил один пулемет инвалиду.

Тата Крысоед долго бил Трезвяка, требовал от него правды. Додя кивал и грозил пальцем Куке Разумнику. Ни один из паломников не поверил бредням разведчиков. Точнее, верили во все до тех пор, пока Трезвяк с Кукой не заявили, что большим отрядом пятнистых карателей командует Гурыня-младший, известный в поселке шкодник и мелкий хулиган.

Рассудила всех Охлябина.

— Да какая разница кто там воду мутит, — выкрикнула она, — главное, что нам пути туда нету. В обход переть придется!

— Дело говорит, — поддержал Охлябину Однорукий Лука.

— Тогда тем более Доходягу резать надо, — распахиваясь Тата, — резать и копить, впрок, не то пропадем без шамовки!

Трезвяк перепугался до полусмерти, его уже почти и без ножа зарезали. Но смекалка не подвела Доходягу.

— Не спешите, мужики! — запротестовал он. — Там же битых навалом, выбирай любого и лопай! И эти... которые висят!

— Тьфу! — Длинная Лярва скривилась и сплюнула. Со всем, на ее взгляд, мужички измельчали, все о жратве да о жратве, одним словом, мерины. Сама Лярва питалась черными лопухами, от них не растолстеешь, фигурка будет ладная и все прочее... И потому Лярва нашлась первой: — Хватит уже! — рывкнула она неожиданно громко и нахально. — Мы все дороги прошли, одна осталась, одна сторона. Надо топтать быстрее, вот до городу и дотопаем. А там и шамовка, и чего душе ни захочется. Город!

И так она это хорошо и красиво сказала, что все вдруг опамятавались — в город! в город!! в город!!! там все есть!

Трезвяку вlepили последнюю зуботычину и, обходя стороной лихой поселок, бодро зашагали вперед.

И опять они шли долго-долго. Шли, обходя горящие деревни, из которых доносилась дикая пальба и нечеловеческие вопли. Шли потаенно, прячась от чужих взглядов, от недоброго глаза, зарываясь в дыры и вползая в норы при еле слышном из далекого поднебесья рокоте тарактелок. Шли сосредото-

ченно и истово, как подлинны паломники идут к святым местам. Шли, не теряя веры в спасительный, радужный, почти нереальный, заоблачный город, которого, может, и не было вовсе. По дороге окочурилась Длинная Лярва, так и не дождавшаяся исполнения мечты, наелась вместо лопухов лиловых поганок да и померла. Отстал и потерялся где-то Однорукий Лука, может, его пустырные шакалы съели, а, может, пятнистые в расход пустили — никто не знал. Сломал ногу Тата Крысоед. Его оставили на окраине очередного горящего поселка — авось, подберут, выходят, коли не оторвут и второй ноги вместе с головой. Но через неделю Тата нагнал компанию, прикостылял, хромая и матерясь, с прикрученной проволокой к бедру деревяшкой. Обложил всех почем зря да и побрел дальше.

А еще через месяц пути прибил к ватаге шустрый старичок — лысый как булыжник и горбатенький.

— Куда путь держим, народ честной? — спросил он нагло-вато, без церемоний.

Подозрительный Тата хотел старичка прибить. Но Додя Кабан отвел четверорукого в сторонку да пригрозил, что ежели еще встрянет поперек вожака, то самого его прибьет.

Додя ответил прямо, хотя и настороженно:

— В город идем, правду искать. А ты кто такой будешь?

Старичок захихикал и сказал:

— А я и есть городской, я вам дорогу укажу. А звать меня Мухомор.

— И все?

— А что еще надо?

— Фамилию надо! — потребовал подозрительный Кука Разумник.

— Фамилия у мене Московский...

Додя поскреб затылок рукой.

— Непонятная фамилия.

— Вот и я говорю, непонятная, — согласился старичок, — потому и не говорю людям, только смеются все, переспрашивают, мол, каковский-каковский? Я им — Московский, а они пуще прежнего хохочут! Веселый у нас народ, хороший.

Старичок не соврал, он бодро бежал впереди, вприпрыжку и вприхромку, напевал под нос веселую песенку без слов, да дороженьку показывал.

Все чаще им навстречу попадались какие-то люди с фла-

гами и тряпицами. Они шли кучками, и глаза у них горели. На паломников эти люди смотрели как на ненужный никому мусор.

— Кто это? — спрашивал Додя у старичка.

Тот объяснял:

— Городские. Раньше не ходили, а теперь все ходят и ходят.

— Видать, правду знают, — заключил Додя.

— Почему это? — не понял Мухомор Московский.

— Глаза у них правдой горят, будто ничего кроме правды и не видят!

Старичок покивал, похихикал, обругал Мустафу, чтоб вперед не забегал. Ему самому в ватаге среди паломников веселей было, и не так боязно. Чем ближе оставалось до города, тем меньше стреляли, палили, жгли да вешали. Видно, у города и в окрестностях диверсанты не водились.

Наконец из смрада и смога начали выступать неясные, но огромные развалины, каких в поселке никогда не видывали. А вот труб становилось все меньше. И проволоки колючей убавлялось.

— В городе благодатно, — приговаривал Мухомор, улавливая настроение, — город, это место непростое, я вам много чего про город расскажу, дай только бог, добраться! Я грамоте разумею, много читал да и с людьми толковыми общение имел, со мной не пропадете. Эх вы-и, провинциялы!

Додя кряхтел, поправлял толстый шарф на шее, но не препирался. Старичок им сейчас ох как нужен был.

— Это не город еще, а пригород только, — вещал Мухомор, — а вы уж и рты поразевали, село!

Издали, сквозь туман паломники узрели и вовсе непонятное для них и величественное, одним словом — чудо света! На площади, на самом чистом месте, вдалеке от развалин стояли два огромных ржавых почерневших шара. И прямо от них вверх шел несусветно великий и толстый столб, увенчивающийся набалдашником. Эдакое великолепие можно было только в сказке увидеть.

— Стоит, — важно сказал Мухомор, — и еще тыщу лет простоит.

— Да ну?! — изумился Мустафа. — Моя не верит!

— Вот тебе и да ну! Одним словом, из титана сработано! — торжественно заключил умный старичок.

— А чиво это — тытан? — не понял любопытный Муштафа.

— Не знаю, там не было прописано, — не моргнув глазом, ответил Мухомор. — Сказано только — на века, любые бури, холода, войны и катаклизмы, мать их, перестоят!

Додя Кабан выразительно покачал головой. Город! Вся правда в нем. А вокруг вранье да дурь!

Они прошли еще немного, и стало видно, что увенчивает столб вовсе не набалдашник, а чья-то лысая, лобастая голова с утино торчащим носом, перекошенной челюстью да вдобавок в очках.

— Кто ж это, — восхищенно выдохнул Тата Крысоед, — небось, генерал? Или министр?!

— Сам ты генерал, обезьяна! — сказала Охлябина и ткнула Тату в бок. — Мынистр хренов!

Старичок Мухомор смерил обоих презрительным взглядом, будто смотрел не с высоты своего вершкового росточка, а с верхотуры грандиозного монумента. Но все же растолковал неучам-деревенщинам.

— Это гений всех времен и народов, олухи, родной отец всей подкупольной демократии, учитель и просветитель. А зовут-то его, как прописано было в умных книгах, Андрон Цуккерман, понятно?! Не вам чета, не Кабан какой-нибудь, и не Кука Обалдуй, и не Охлябина... Сейчас и имен таких давать людям не могут, разучились. Он всем глаза открыл, знатный был человечисше — матерый, подковы в кулаке гнул и трактаты писал, кого куда посадить и где резервации делать, а где нет. Сам-то так и помер, сердешный, а по его заветам Барьер поставили, чтоб, значит, все поровну, чтоб два полушария — с трубами и без труб. Ой, матерый, едрит его! Весь город сгнил да рассыпался, а он стоит... потому что учение верное, вот так!

Додя Кабан благоговейно сдернул драную шляпу с головы, прослезился. Кука Разумник начал было осенять себя крестным знамением, но потом сообразил, что монумент на икону не очень похож, да и среди святых один только лысый был, но звали его не Андроном, а Николой, и про барьеры он ничего не проповедовал, наоборот, учил грешных людишек, что никого разделять не надо... разве сравнишь с этим — этот вон, выше небес, стоит утесом в облаках, как об него только тарахтелки не стучаются.

От памятника гению всех времен волнами расходился

шумливый, гомонливый народец. Вокруг чугунных шаров кипело и бурлило. Паломники сразу сообразили, что если и есть где-то в городе правда, то только там. Народец шел возбужденный и взбудораженный, будто ему вот только сейчас, там, у подножия этого вселенского столпа демократии, открылась чистая и абсолютная истина. Додя Кабан даже не решался подойти к идущим, порасспросить — с грязными сапожищами-то да в их светлые души! Мухомор вслух читал надписи на транспорантах, и от них кровь начинала бить в виски, хотелось закричать на весь мир, во всю ивановскую: «Долой!!!» Еще не дойдя до источника правды, паломники начали ощущать такой зуд в сердцах, такое жжение, что становилось ясным — не так жили, неправильно, и все вокруг неправильное и гнусное!

В одной из кучек, кучковавшихся у столпа, кто-то вдруг в пылу завязавшейся дискуссии заорал, завизжал, сцепился, упал под ноги остальным и закрутился клубком из нескольких пар рук и ног. Обступившие драчунов били их древками флагов и плевались. Но утихомирить спорящих не удавалось.

— Горячий народ-то в городе, — философски заметила Охлябина.

— Молчи, сука! — прошипел на нее Додя Кабан. — Чего ты можешь понимать в этом! Тут, дура, борьба идей! Тут судьба Подкуполья решается!

Охлябина надулась и отвернулась от Доди. Она пока ни черта не понимала и не хотела скрывать этого, строить из себя широко умную.

Мустафа все качал бритой головой и цокал языком. Он тоже ничего не понимал, но делал важный вид, пока не попал под ноги хрому Тате Крысоеду. Тот дал Мустафе подзатыльник, и вся важность куда-то улетучилась.

Наконец они подошли настолько близко, что прогорклый ветер начал доносить обрывки слов:

— Обалдуи! Недоумки безмозглые... процесс пошел! Выродки... набитые! И не будет вам... Свобода, равенство, братство, мать вашу!

Ничего понять было невозможно. Но старичок Мухомор задрал нос, закатил выцветшие глазенки и сказал с придыхом:

— Как по писанному загинает. Одно слово — пророк! Внемите, деревенщины!

Тата дал подзатыльника и Мухомору, чтоб не зазнавался. Тот кубарем полетел с ног. Но тут же встал, отряхнулся и

захихикал, как ни в чем не бывало. За свою некрасивую выходку сам Тата получил затрещину от Кабана, прямо на ходу, не время было останавливаться, ведь слова правды звучали все отчетливей.

— И как богатому верблюду, мерзавцы, не пролезть в игольное ушко, так и всякой окопавшейся сволочи не проползти на своем скользком брюхе в рай демократии! Я вам говорю! Ибо погрязли!

Трезвяк замер как вкопанный. Он не мог поверить своим ушам.

Мустафа дал ему пинка.

— Чиво стоиш!

— Это же Буба, — еле слышно пролепетал Трезвяк.

— Какая ишо буба! — не понял Мустафа.

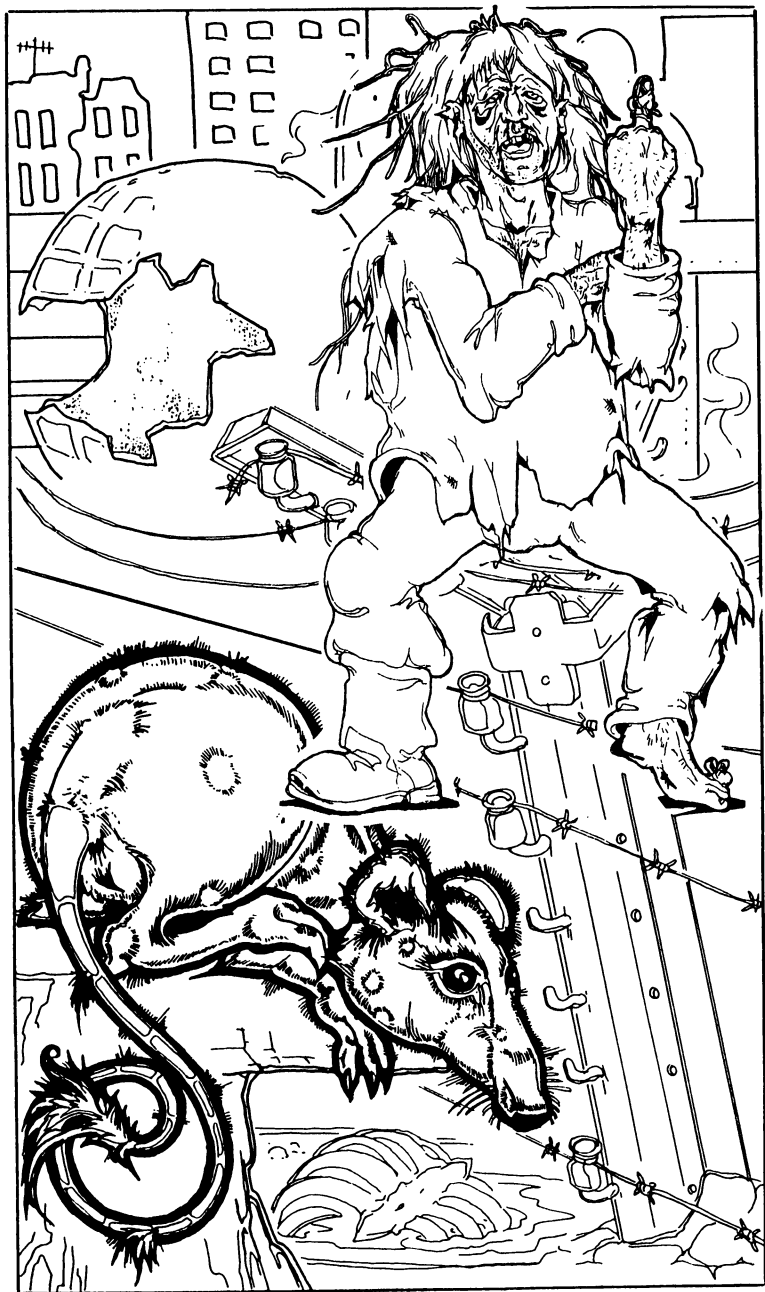
— Чокнутая... тьфу, Чокнутый! — от волнения язык у Трезвяка начал заплетаться. — Буба Чокнутый, односельчанин наш!

— Молчи! — вдруг оборвал его Додя Кабан. Он чего-то внезапно перепугался, зрачки расширились, ноздри раздулись — вот-вот пар повалит.

Трезвяк смолк, от греха подальше. Один только старичок Мухомор поглядел на него сочувственно, пожалел, но сказать ничего не сказал, лишь слезу смахнул с дряблой, поросшей старческим мхом щеки.

Пламенный оратор стоял на хлипкой, трескуче-покачивающейся, но высокой трибуне прямо меж огромных шаров. Отсюда, снизу, лобасто-ушастой головы гениальнейшего мыслителя видно не было, она терялась где-то в заоблачных высях, там, где ей и надлежало пребывать. Но рука оратора, воздетая к небесам, указующим перстом напоминала о незримом божестве.

— Разве так он завещал жить вам, ублюдки?! Аки тупая и богомерзкая саранча бродите вы тут, у стоп моих, и не разумеете ни хрена! Разве так живут в цивилизованном мире?! Нет! Не так! Где свобода у вас, выродки, где лавки, где магазины, где рынки свободные, вас я спрашиваю, отступники и негодяи, где... колбаса?! Нет! Нет у вас колбасы! Ибо господь оставил вас... и прах Учителя вашего, — перст снова вонзился в небеса, — корчится и стонет во гробе своем! Ибо порушены заповеди! Ибо нельзя так больше жить! Без колбасы! Без демократии! Без права каждого на самоопределение! Без суверинитета, мать вашу! Простым пилигримом — странником



с посохом в руке моей прошел я по святым местам Забарья!

Народ разом затих, все затаенно, ожидая неведомого и сладостного, воззрились на оратора. Трезвяк осторожно вертел головой и все видел: горожан была целая уйма, разливанное море голов — круглых, продолговатых, плоских, прекрасных, уродливых, в шляпах, кепках, касках, простоволосых... И хотя Буба постоянно обзывал слушателей своих уродами и выродками, Трезвяк не замечал среди собравшихся таковых, напротив, горожане были и повыше, и поплотнее, глаза их сверкали живей... одним словом, видно было, что со жратвой и пойлом у них пока полный порядок, а хотели они чего-то иного, непонятного.

— ...вы мне не поверите, ибо дураки неверующие. Но захожу я в огромный сверкающий дом... а там висят гроздьями, лежат связками... тысячи, сотни тысяч колбас! Маленьких, больших, кругленьких, длинненьких, розовеньких... аки во храм попал я небесный! аки в райскую обитель! и упал я без чувств, кретины, от великолепия этого, кое вам не узреть никогда! от благовония и изобилия! И откачали меня люди добрые, ибо там все добрые и праведные, и накормили семью колбасами, и испытал я блаженство неземное, и понял я как жить надо!

Напряжение в толпах достигло молитвенного экстаза, многие тряслись, роняли на животы и землю слюну, чмокали, цокали, присвистывали... и внимали, внимали.

— Но вернулся я в обитель мою, болваны! И узрел, что вокруг меня слепые, глухие и тупые! Ибо кого наказать Господь желает, тому из его дурной башки остатки мозгов он вышибает! Во мраке живете и в мерзости! Муравейником скотским и бессмысленным! Где движения у вас, где партии?! Нет ни хрена! Вот гляжу я на вас, незрячих и неслышащих, и вижу одних баб тыщи, аки муравьев в отстойнике! А где бабское движение?! Где борьба за равные права с мужичьем?! Где эмансипация, я вас спрашиваю, дуры?!

Над площадью под столпом загудело, закружило, забурлило пуще прежнего. Бабы и девки завизжали, закричали, набросились с руганью на стоящих рядышком мужей и братьев, любовников и прохожих, особо пылкие вцепились когтями в рожи... и такое пошло было.

Но величественным жестом оратор остановил накатывающую бурю.

— Нет! — завопил он оглашенным пророком. — Не место и не время! Остановитесь, сестры мои! И вы, братья! Слушайте и зрите лишь! Запоминайте и открывайте сердца свои, чтобы нести дальше! Ибо каждый из вас пойдет и понесет! В городища и веси! Аки апостолы нового мирового порядка! Аки архангелы переустройства Подкуполья! И воздастся вам по делам вашим! И будет вам с избытком и демократии, и воли, и колбасы! А придя в селища свои и норы, поднимайте люд одуревший от спячки! Записывайте в партии! Создавайте бабские сходки! Вздыхайте молодежь! И изменим мир наш проклятый и дикий! И вольемся в семью народов! Вольемся, я вас спрашиваю, убудки?!

— А-а! Вольемся-я!!! А-а-а!!! — заревело со всех сторон, загудело, запищало, замычало, затопало и захлопало в порыве всенародной поддержки.

Трезвяк тоже захлопал в ладоши и заорал, на всякий случай, а то еще примут за чужого или, не дай бог, за провокатора. Бить начнут, могут и вовсе пришибить. Народ! Рядом заходились из всех сил пузатый и замотанный своим вечным шарфом Додя Кабан, лысая с длиннющими пейсами, совсем сдуревшая от свободы и ража Марка Охлябина, круглоголовый и потный Мустафа, дерганный, разболтанный и нескладный Кука Разумник, больше похожий на куклу на веревочках, чем на нормального мужика. Тата Крысоед наябывал сразу в четыре ладоши, подпрыгивал, наступая всем на ноги, и орал:

— Во-льем-ся! Во-льем-ся!!!

Всем, и вправду, очень хотелось «влиться в семью народов», где навалом колбасы и всяких партий, где жри — не хочу, и пей от пуза! Но каждый понимал, что непростое это дело, что одним криком тут не обойдешься, что многим окопавшимся придется морды набок своротить, а для начала хотя бы выявить таковых подлюг проклятущих, супостатов и вражин, вывести на чистую воду да старый порядок переломать, перелопатить, чтоб и следу не осталось... вот тогда только свет и забрезжит, обязательно забрезжит, ибо с таким вождем, с таким борцом за демократию во всем мире, как ему не забрезжить!

Буба Чокнутый стоял бронзовым изваянием над беснующимся людским морем. Выше него были только Господь Бог и незримая, как подобает всем небожителям, круглая голова Андрона Цуккермана.

Наконец рука проповедника взметнулась вверх.

И мгновенно на площади стало тихо.

— Господа!!! — прокатилось из-поднебесья.

Народ ошалел и потерял остатки дара речи. Господа? Это к ним так обращается сам пророк, сам апостол великого и ужасного отца подкупольной демократии? К ним, к убогим, больным, уродливым и жалким, позабытым и брошенным, несчастным, нищим, увечным, недостойным? Господа?!

— Да, олухи и болваны, я не оговорился! — дрожащим от волнения голосом, истовым и праведным, гремящим подобно грому произвел народам Буба Проповедник. — Именно господа! Ибо каждый из вас, обормотов, рожден свободным и полноправным! Ибо не граждане вы и не сотоварищи, не рабы и не черви, аки ползающие во прахе и не знающие имени своего, но господа! Ибо сам Господь создал вас по своему подобию...

Доходяга Трезвяк поглядел на четверорукого Тату Крысо-еда, похожего на уродливую волосатую обезьяну, на которую напаяли тельняшку. Уши у Таты были остренькие, торчали вверх рожками, рыжая бороденка свисала мочалкой, изо рта выпирали два больших передних зуба, а глаза светились не божьей искрой, а зеленоватой непроглядной мутью. Как же выглядел тот господь, что создал Тату по своему подобию... Нет, Трезвяк не хотел поклоняться такому господу. Но Буба Проповедник лучше знал... да и бока намять могли, поди только вырази сомнения. Вон, Додя Кабан уже смекнул неладное, грозит пудовым кулачищем. Трезвяк вздохнул горестно и с должным благоговением воззрился на пророка.

— ...ибо самый законченный идиот должен понять наконец, что и он господин! что и он имеет полное право на свою точку зрения! и ни одна окопавшаяся сволочь не может заткнуть ему рта!!!

Трезвяк тревожно, изподлобья оглянулся. Ему все время твердили про каких-то окопавшихся сволочей, он ничего такого не видел, ни одного окопа. Ямы, дыры, щели были пусты, лишь забиты мусором и всякой пакостью.

— Ищите и обрящите! — будто угадав мысли Трезвяка, завопил благим матом Буба. — Ибо покуда слепы! Ибо покуда не ведомо вам, уродам, что сыны и дочери разных народов вы! что каждый такой народ, мать вашу, может отделиться от другого и жить по своему обычаю! И никто не имеет права...

— Как это? — не понял Мустафа. И поглядел на всезнайку Мухомора Московского.

Тот важно крикнул, кашлянул в сухонький кулачек. Оглядел вопрошающего с головы до пят. И спросил в свою очередь:

— А вот ты, дурья башка, арбуз в тубетейке, ты хоть знаешь, что ты татарин? Или нет?!

— Чиво? — снова не понял Мустафа.

— Ничево! — рассердился Мухомор, затопал ножками, сгорбился еще больше. — Людишки увсе разные: русские есть, немцы всякие, жида, мордва и прочие нехристи, а есть еще татары, народец такой! До чего ж ты глупый, Мустафа, ведь притесняют же вас, все мелкие народцы притесняют и забирают, так везде прописано... и Проповедник наш так говорит, и сам... — Мухомор вздернул голову к вселенскому столпу демократии. — А ты, дурень, не понял! Ты свои права отстаивать обязан, татарская харя! Ты почему своих прав не защищаешь, тебя я спрашиваю!

Мухомор распалился не на шутку.

На обоих стали поглядывать настороженно.

— А-а-а!!! — вдруг дико заорал Мустафа. И вытаращил налитые глаза. — Всэх порэжу-у-у!!! Давай свабода-а!!! Давай калбаса-а!!!

Тата Крысоед бросился было умирять распоясавшегося Мустафу.

— Чего орешь, басурманская рожа! Молчать!

Но Додя Кабан ухватил его за шкуру.

— Не трожь! Шовинист окопавшийся!

При этих словах все вздрогнули и замерли в оцепенении.

Теперь Трезвяку все стало ясно. Вот они! Враги прогресса и демократии! Трезвяк первым ударил Тату. Охлябина второй... И понеслось! Минуты через полторы Крысоеда забили насмерть. Не бил только Мустафа, он смотрел на затихшего в пыли обидчика, оттопырив нижнюю губу, заложив руки за кушак. Свобода! Равноправие! Попробуй только тронь!

Буба сверху нес такую околесицу, что его никто не понимал, кроме начитанного Мухомора. Но все важно кивали и повторяли про себя непонятные, мудреные слова, запоминая их впрок.

— Вот она где, правда! — срывающимся голосом, глотая слезы умиления, провозгласил паломникам Додя Кабан. — Не зря шли, не зря тяготы претерпевали и лишения! Все, мужики, так больше жить нельзя! Надо все, на хрен, перестраивать!

От избытка чувств Додя размотал шарф с шеи и принялся им размахивать как флагом. Охлябина визжала. Трезвяк оглу-

шитительно хлопал в ладоши. Мустафа скакал козлом. Кука Разумник плясал в присядку. А старичок Мухомор свистел в два пальца соловьем-разбойником.

— Вот добьем, ублюдки, окопавшихся, — орал с трибуны Буба Проповедник, охваченный неземным экстазом, — переломим ко всем чертям сопротивление красно-коричневой реакции — и воздастся нам по делам нашим, и придем мы сами судиями праведными и грозными, аки мессии и провозвестники нового порядку, и отделим агнцев от козлищ, мать вашу, и вольемся в едином порыве, и такая, говорю я вам, недоумкам, жизнь начнется... что и умирать не захочется! Ибо грядут перемены! Ибо уже алеет заря нового царствия — царствия демократии! И ни одна сволочь, говорю я вам, не пролезет в ее игольное ушко! Ибо близок час расплаты! И покарают силы небесные и земные за дела их подлые и гнусные — покарают всех без разбору, чтоб неповадно было! Аки саранчу и змей подколодных! И выйдут из огня и пламени невредимыми те, кто уверовал в царствие ее, болваны! И очистится земля от скверны! Так ищите же окопавшихся — и обрящете! и избавите обитель свою от гадов ползучих...

Прорвавшийся неожиданно сквозь свинцовую пелену луч солнца отразился от титанового лба гения всех народов, отца подкупольной демократии и высветил такие светлые дали, что затихли толпы в благоговении, даже Буба умолк, озаренный и просветленный — и ощутил вдруг, как отрастают у него новые уши, лучше прежних, и увидел он, как уже идут его апостолами по всему Подкуполью ученики, идут и сеют зерна новой радостной и свободной жизни.

Отшельник поправил свившуюся спиралью трубочку, подтянул шланг, спадавший сверху, от огромного бака. Организм не принимал пошла. И Отшельник не мог тянуть его клювиком как прежде, выворачивало наизнанку, все, пришел предел, отпился. И тогда он смастерил из шланга, тонюсенькой пластиковой трубочки и старой ржавой и полрой иглы нехитрое приспособление. Загнал иглу поглубже в вену под ключицей — благо, что тело истощало, все жилы торчали наружу — перегнал пойло, чтоб стало покрепче, чтоб горело синим пламенем — и вкачивал его теперь напрямую в стынущую кровь. Помогало.

Конечно, проще всего было выдрать иглу, отшвырнуть

подальше все шланги и избавиться, наконец, от мучений. Но кое-что удержало Отшельника в этой поганой и суетной жизни.

Он все видел. На версты, мили и километры вокруг, на тысячи стадий и лье. Он видел сквозь каменные стены и стальные заслоны. Видел! И ему не нравилось происходящее в Подкуполье. Он еще не совсем понимал, зачем и кому нужно это всеобщее безумие. Ведь о н и бросили их тогда, оставили в покое. Зачем же сейчас о н и пришли снова?! Разве и м плохо живется в своем Забарьерье?! Нет, Отшельник все понимал, он не хотел в это верить, не желал, не мог себя заставить, но он все понимал: о н и будут добивать их, добивать, пока совсем не добьют. И тогда... тогда тем более не стоило жить в этом подлом и беспросветном мире.

Но он жил. По инерции, по привычке. И он видел, как везде и повсюду снуют летательные аппараты туристов, как снимают, записывают, передают все происходящее в Подкуполье туда, в большой и светлый мир, где живут совсем иные существа, давно позабывшие про существование на заброшенных землях их братьев-выродков. Зачем? О н и не хотят быть плохими, о н и хотят быть хорошими, добрыми, благородными. О н и не могут просто придти и убить — всех убить, до единого. И м надо, чтобы все произошло само собой, даже так, чтобы и х еще и объявили спасителями, пытавшимися остановить неостановимое... Подлецы! Убийцы! Он видел, как горели поселки, как рвались, лопались трубы и вздымались к серому небу черные клубы. Он видел, как расстреливали и вешали, как забивали камнями и дубинками несчастных, ничего не понимающих «диверсантов» — он видел, что этим безумием охвачены уже сами поселчане, разделенные на кучки и группки, ненавидящие друг друга и подозревающие друг дружку во всем, уже не нужны были пятнистые — поселчане начинали убивать, вешать своих бывших сотоварищей, и ничто не могло их остановить: каждый ненавидел и боялся другого. А еще он видел сотни, тысячи сборищ-митингов, где доведенные до осатанения мужики и бабы готовы были все крушить вокруг себя, ломать, громить, уничтожать и... когда-нибудь потом, при случае — перестраивать. В считанные месяцы Подкуполье сошло с ума. Черная, невыносимая эпидемия сумасшествия накрыла выживших в нем еще одним куполом, куполом безумия, ненависти и лютой вражды.

Пойло, проникавшее в кровь, давало отдохновение ненадолго. Огромный, беспробудно бодрствующий, сверхчудовищный мозг Отшельника жил будто отдельно от остального тела, издыхающего, измочаленного вконец. Тело не желало, не могло больше жить. Разрастающийся гриб мозга не жить не мог. Сам Отшельник плыл в адском мареве между бытием и небытием.

Но он не только видел. Он пока еще умел и вмешиваться в ход событий, в поверхностную, животную, внедуховную жизнь полумыслящих двуногих амёб. Отшельник всегда помнил, что эти амёбы его братья — и не младшие, не меньшие, а просто братья, что по ту сторону Барьера, что по эту.

Еще шестерых копов они завалили посреди мусорных куч, так и не успев выбежать со свалки. Хреноредьев ухлопал только одного, остальных отправил на тот свет Пак.

— Ирод ты какой-то, — на бегу обругал его инвалид.

Пак огрызаться и спорить не стал, ирод так ирод, подвернется под руку втрое больше, он и их завалит, глазом не моргнет, чего их жалеть-то, сволочей. Пускай они сами себя жалеют. Умный Пак, после того как пообтерся возле Леды Попрыгушки, очень хорошо знал — системы слежения и, вообще, безопасности у этих проклятуших туристов бесподобные, поймать беглецов и обезвредить ничего не стоит... только вот сами они в своем розовом Забарьерье обленились, изнежелись, разучились, слюнтяи и маменькины сыночки, мышей ловить: сто лет почти никакой преступности кроме алкашни да наркотов, что были покруче да пофартовее, гангстеры да бандюги, все наверх вышли и ворочают деньжищами в открытую, за ними с пугачами никто не бегают, они сами без беготни любого достанут... вот копы и растеклись дерьмом по асфальту. Жаль Леда не видела, вот бы душу-то отвела!

Пак бежал, а в глазах мельтешило, прыгало и пузырилось что-то. И за каждой поганой кучей он видел, выскочив на всех парах, папаньку своего горемычного, распятого и горящего. Уже через миг, когда глаза привыкали к новой куче хлама, папанька исчезал, будто с дымом испарялся в райские уголья, но из-за следующей выявлялся снова.

— Стой, Хитрец! — ныл на бегу Хреноредьев, несущийся на своих протезах и костылях какой-то мельтешащей колесницей. — Сердце обрывается, едрена-матрена!

Пак молчал, только сопел тяжело, с присвистом.

И Хреноредьев не отставал, знал, ждать его не станут, не тот нынче расклад, да и Хитрец уже не тот, выгорело у него чего-то в груди, один пепел остался.

Через бетонку, отделяющую свалку от холма и перелеска, они катились кубарем, с холма и подавно. В перелеске на ходу глотнули воды из мутной, пахнувшей хвоей лужи. И запетляли меж стволов.

— Оторвались! Не догонят! — прохрипел Пак, сам себе не веря.

Один пулемет Пак обронил при отступлении. Зато два других он держал наперевес, готовый продырявить любую живую преграду. Хреноредьев тащил свою железяку на плече, словно крестьянин мотыгу. Он бы ее давно выбросил, но боялся сердитого и дерганного Пака Хитреца — сейчас они вдвоем, хороший козел отпущения был Буба Чокнутый, да вот подевался, едрена, куда-то. А без Бубы боязно.

За перелеском виднелись крыши домиков, сказочные, черепичные. Домики были разбросаны далеко друг от друга. Идти к этим домикам смерти подобно. Хреноредьев готов был собственноручно застрелиться, только бы не идти. Но Пак врзал ему увесистого пинка.

— Живо!

Трехногий инвалид вприпрыжку захромал к ближайшему, норовя стать меньше ростом, слиться с землей, горбясь и гусем выгибая шею.

Пак не спешил. Он еще долго сидел в перелеске, прислушивался — нет ли шума погони, вглядывался в пасмурное небо, может, оттуда угроза исходит, может, висит бесшумная лодочка воздушная и совсем не тарахтит, а потом как вдарит! Нет, ничего такого не было видно.

И Пак в два десятка прыжков нагнал инвалида, повалил его. Дальше они поползли почти рядом, прячась в густой и высокой траве. Но предосторожности были напрасные, видно, в домиках жили такие же лопухи, как и те, что раскатывали по Забарьерью на полицейских машинах. Ни охраны, ни замков, ни вышек сторожевых... В поселке тоже не было замков, у многих и дверей-то не было, но в поселке жили мирно, красть было нечего... А здесь... здесь все иначе! здесь живут нелюди! У Пака затылок свело ледяной судорогой, будто его опять и опять гнали в свете прожектора, будто ревел сзади движок броневика, щелкали затворы свистели пули. Нет! Теперь гнать будет он!

— Пошли!

Последние пять метров, отделявшие их от распахнутых двойных дверей, ведущих прямо в дом, оба пролетели как по воздуху. И почти сразу, с размаха Пак разможил прикладом пулемета голову какому-то седому и хлипкому типу в цветных трусах до колен. И не остановился. Он чуял нутром — в доме еще кто-то есть, чуть зазеваешься — вызовут полицию, а этот вариант исключен. Пак не хотел больше в зверинец. Он вообще не хотел никуда, где есть эти гады. Он ненавидел их — тихо, спокойно, люто и беспощадно. И он уже знал, наученный ими: побеждает тот, кто стреляет первым.

— Шумнешь — убью! — пригрозил он Хреноредьеву.

И тот с испугу опрокинулся на свою толстую задницу. Хреноредьев не собирался шуметь. Вот перекусить бы он не отказался. В этом домике, который вблизи оказался целым домиком, наверняка было чего перекусить.

Пак побежал куда-то вверх по крутой деревянной лестнице с перилами. Инвалид алчно поглядел туда же, вслед Хитрецу... но вниз по лестнице что-то с грохотом скатилось. Хреноредьев поморщился и отвернулся, да, это был вовсе не мешок с баранками, как ему померещилось вначале, а какая-то толстая и старая баба. Она перевернулась в последний раз и замерла на деревянном же полу в неестественной позе со свернутой набок головой. Еще через минуту вышел и сам Пак. В правой клешне он держал оба пулемета, левой сжимал горло тощему, взбрыкивающему ногами парню. Впрочем брыкался парень недолго, он перевалился прямо через перила, шлепнулся чуть ли не на голову Хреноредьеву, тот успел отползти. Следом спрыгнул Пак.

— Злой ты, Хитрец, — выговорил ему инвалид, — прямо аспид, едрена!

— Заткнись! — прошипел Пак. — Мог уже внизу все оглядеть, а не ползать тут, хрен моржовый!

Инвалид вскочил. Пихнул обидчика в грудь. Но драться было не время. Пак просто влепил Хреноредьеву ответную затрещину по уху, на том дело и кончилось, прерванное тоненьким писком из глубин комнат.

В глубины эти, полутемные и таящие опасность, шли на цыпочках. Инвалид дышал Паку в затылок горячим и вонючим дыханием, Пак отлягивался от него ногой — бесшумно, но настойчиво. Наконец они нашли пищавшего.

Им оказался младенец, лежавший в покачивающейся, поч-



ти игрушечной, расписной люльке и улыбавшийся двум странным, но, видно, совсем не страшным в его понимании пришлецам. Был младенец голенький, розовенький и упитанный. Ручками он махал бестолково и приветливо. Ножками сучил будто козленок. И вдобавок пускал пузыри. Но не пищал теперь, а только гугукал.

Пак быстро прошел к люльке, взмахнул клешней. Он не собирался церемониться с гаденышем — именно из такого вырастет турист, который будет гнать, стрелять, давить, щерясь от наслаждения. Именно из такого!

— Не тронь! — Хреноредьев подставил лапу, и клешня скользнула мимо, разбила вдребезги большой глиняный кувшин на столике. — Дите ведь, едрена!

Пак долго глядел прямо в мутные буркала Хреноредьева. Потом прохрипел:

— Черт с тобой, сам сдохнет!

Но инвалид уже не слышал его, он с чавканьем и прихлюпом заглатывал что-то жидкое из белой бутылочки с соской. Инвалид был голодный как сорок тысяч младенцев.

Пак обругал его шепотом и побрел искать подпол. Вид трупов приводил его в угрюмое состояние, нечего им лежать на виду. Минут через десять он нашел створ автоматического люка, чуть было сам не провалился. Еще столько же времени ушло на то, чтобы сбросить мертвые тела вниз и закрыть створ. Наверняка в подполе была жратва. Но Пак не полез туда. Он долго бродил по комнатам, распахивал дверцы шкафов, выметал наружу содержимое. Набрел на столовую, переходящую в заставленную банками со снедью кухню... и долго ел — глотал, давился, кашлял до боли в затылке, набивал брюхо. Только с первым проглоченным куском он понял, как был голоден. До этого все внутренности его дремали в мерзлотном оцепенении. Понадобилось совсем немного, чтобы пробудить их и превратить в алчных, ненасытных хищников — кусочка сыра, дальше пошло-поехало-понеслось без удержу! Даже прибежавший Хреноредьев не смог оторвать Пака от его занятия.

— Едрена-матрена!!! — просипел потерявший голос инвалид. Для него такое изобилие жратвы было ударом ниже пояса. Он с ходу упал на карачки, ноги не удержали, — и пополз к распахнутой тумбочке, из которой как из рога изобилия сыпалось воздушное, румяное печенье. — Умру, — задыхался от избытка чувств инвалид, — сейчас прямо умру-у-у...

Пак не обращал на него ни малейшего внимания. Он последний раз вцепился зубами в здоровенный ломоть буженины, но тут же отбросил его и выплюнул откушенное — Пак знал, перебор, больше нельзя, будет плохо, очень плохо. От злости и раздражения он готов был палить из обоих стволов во все стороны. Но умиротворение и сытость тоже делали свое дело, потихоньку гасили пылающий внутри огонь.

— Гляди не подавись! — бросил он Хреноредьеву. И вышел с кухни.

Инвалид не понял, зарычал, взъерошился будто бездомный пес, у которого отбирают обглоданную кость. И тут же снова принялся за нелегкую работенку — печенье он жрал, уткнувшись в него небритой мордой, одновременно обеими руками набивал карманы телогрейки — на прозапас. Хреноредьев был житейски мудр.

А Умный Пак, усмиривший-таки внутреннего хищника, сидел в гостиной в огромном мягком кресле, положив по обе руки свои верные пулеметы, и нажимал кнопки пульта. Экран внушительных размеров ласково светился в семи метрах от него — картинки дергались и менялись. Сейчас Паку не нужны были голые грудастые красотки, мордобои под веселенькую музыку, болтовня всякая... Пак ждал новостей про Подкуполье, переключал с программы на программу и ничего не находил.

На одном из каналов что-то знакомое привлекло его внимание. Но пальцы клешни машинально прокрутили его. Пришлось вернуться. И этого лучше было не делать. Прямо посреди экрана зависло молчаливое, настороженное лицо его любимой, единственной: огромные расширенные зрачки смотрели прямо в его глаза, казалось, что с пухлых губ вот-вот сорвется слово... какое?!

— Сегодня утром в восемь пятнадцать по местному времени ее нашли повешенной в гринтаунском отделении наркоспецприемника седьмого округа... известная в городе проститутка и попирательница местных нравов, уличенная до того в неоднократных сношениях с мутантами из Резервации, Леокадия Рюген-Пфалльц по кличке Попрыгушка свела счеты с жизнью, удавившись на шелковом шнурке. Сейчас вы сами все увидите...

Фотография исчезла с экрана. И высветилась камера без окон, посреди которой висело обнаженное тело — длинные,

почти белые локоны скрывали лицо и левую грудь. Пак потерял способность видеть и соображать. Но он еще слышал.

— Под ногами повесившейся лежал клочок бумаги с корявыми буквами. Что бы вы думали, оставила нам в своем завещании эта легкомысленная и беспутная особа. Ни за что не догадаетесь, — голос диктора задрожал от предвкушаемого удовольствия. — Она оставила одно лишь слово, всего одно: «Подлец!» Что бы это могло означать? Разгадку страшной тайны Попрыгушка унесла с собою... куда? Скорее, всего в преисподнюю!

Подлец?! Пак со всей силы врезал по морде ухмыляющегося диктора прикладом пулемета. Экран не разбился, но сразу же погас, из черного ящика запахло гарью. Подлец?! Они убили ее! Попрыгушка! Несчастная! Любимая! Но почему... подлец? Кто? Неужели она имела ввиду его, Пака?! Нет, это невозможно! Это бред какой-то! Сволочи! Негодяи! Убийцы! Они все до единого убийцы! Они убивают словом, улыбкой, они убивают своим существованием — потому что их существование уже само по себе несет смерть другим!

Первую дверь Пак сшиб с петель. Еще три захлопали за ним будто их ударило взрывной волной. Вот она, темная комната с расписной люлькой. Подлец?! Нет! Им нет места на белом свете.

— А-а-ааауу!!! — закричал Пак в безумной ярости.

И еще одним ударом приклада оборвал жизнь спящего тихим сном младенца, который даже не успел понять, что же произошло в его коротенькой и глупой жизни.

Хреноредьев нашел сотоварища по несчастью сидящим возле опрокинутой люльки, из которой капля по капле капала на ворсистый серый пол черная в полумраке кровь.

— Ну и гад же ты, Хитрец, — пробормотал он. — Разве ж так можно?!

— Молчи! — глухо, будто из могилы отозвался Пак. — Молчи!

— В чем оно-то виновато, дите?

Пак долго не отвечал, глядел, как инвалид вытаскивает из люльки крохотный трупик, качает его, будто пытаясь вернуть в него ушедшую навсегда жизнь, как он бестолково и беспомощно кормит его печеньем из своих карманов — сует в рот, крошит, и будто не может понять, что не едят мертвые, не едят! ни печенья, ничего другого!

А когда Хреноредьев наконец бросил мучить трупик и

отнес его в угол комнаты, накрыл пледом с кресла, Пак сказал истово и страшно:

— Они все виноваты! Все до единого! Они убили и искалечили всех нас, наших отцов, матерей, дедов, прадедов, пращуров... они не жалели никого! Они и сейчас убивают там, в Подкуполье, стариков, детей... тысячи детей! Они набивают из них чучела и вешают над каминами... ты видел их камины?! Они не успокоятся, пока не убьют всех нас, понял, Хреноредьев?! Ты пойми это, ты не такой уж дурак, мать твою! А я не успокоюсь, пока не убью всех их! До единого! Что молчишь?!

Инвалид смотрел на Умного Пака со страхом, более того, с ужасом. Он начинал понимать, что тот имеет ввиду.

— А я убью их всех, старый хрен! — прохрипел бьющийся в неостановимом ознобе Пак. — Убью! Потому что они все смертные, все до единого! А я — бессмертный! Я буду воскресать снова и снова, и я буду убивать их до конца, до последнего!

— Все трубы идут через наши земли! Исконные, падла! А что мы с того имеем?! — вопил на всю площадь Гурыня, бил себя кулаками в грудь. И сам отвечал: — Ни хрена не имеем!

Согнанный народец покорно кивал головами — и впрямь, трубы шли и над ними, и под ними, и со всех сторон, но никто ничего от этого не имел, даже баланду на раздачах стали выдавать как попало, краники и вовсе пересохли. Как тут не кивать, верно говорит залетный, правильно говорит, наверное, шибко образованный.

— Эти падлы обирают нас и обкрадывают, а нам не дают! А, спрашивается, почему? — в голосе у Гурыни дрожали неподдельная обида и праведное возмущение. — По какому праву?! Они ближе к этим подземным бочкам? А мы дальше?! Тогда убирай, падла, все трубы к едрене матери с нашей земли! Нет, мы им не позволим дурить нас и грабить. Мы сегодня, прямо сейчас, падла, проведем этот, как его... — Гурыня полез в карман, вытащил скомканную бумажонку, расправил, — проведем рефе-фе-дыр-пыр... референдум, едрена падла! Чтоб немедля каждый выразил свою собственную волю! Хватит! Довольно! Западное подкуполье должно быть независимым от всяких восточных оккупантов и эксплуататоров! Даешь, падла, сури-нири-ти-и... даешь, сувериниритет!!! Да-ешь! Да-ешь!! Да-ешь!!!

Вслед за распалившимся Гурыней сначала десятки глоток,

робко и неуверенно, потом сотни, со все большим нахрапом начали скандировать:

— Да-ешь! Да-ешь!! Да-ешь!!!

Часа полтора орали без передыху — все, от мала до велику. Каждому хотелось получить... бьют — беги, дают — бери!

Потом пятнистые с большими листами начали обходить народец, заставляя прикладывать пальцы, обрубки, костяшки — у кого чего было. Самые дошлые, грамотные, расписывались огрызком передаваемого карандаша. Многие волновались, топтались, давили друг дружку, боясь, что до них очередь не дойдет.

Один мужичок, угловатый, безносый, с руками-граблями до щиколоток засомневался вдруг, отвел листок от себя, выпутился на пятнистого, теребя редкую вихрастую бороду:

— Ты мне, браток, растолкуй дураку, чего это такое-то... не могут в разум взять, какой еще суверинитет, чегой-то за хреновина-то, с чем ее едят?

— Бунтова-ать?! — опешил пятнистый. И даже чуть отпрянул от мужичка, чтобы все получше разглядели смутьяна.

— Да что ты, что ты! — замахал своими граблями мужичок. — Вопрос у меня возник, ты разобъясни... зачем нам это?!

Но было поздно.

Перегнувшийся через перила глазастый Гурыня уже тыкал пальцами в вопрошающего и орал:

— Вот! Вот он! Окопавшийся! Агент восточных мародеров! Гад! Бейте его, люди, он хочет отнять вашу свободу, вашу независимость! Нет... — Гурыня замахал своими обрубками, когда двое пятнистых набросились на мужичка, заломили руки за спину, бросили безносой мордой в грязь. — Нет! Пусть сам народ решит! Народный суд, падла, самый верный и праведный! Народ не прощает своих врагов!

Первый камень перебил безносому левую руку. Второй отскочил от круглой головы мячиком. Третий сломал сразу два ребра. Мужичок встал на ноги, заверещал:

— Братцы! Посельчане! Сестрицы...

Но уже целый град камней обрушился на бедолагу, сбил его с ног, лишил голоса и вида человеческого... через две минуты посреди грязной улицы корчилось в судорогах агонии нечто окровавленное и бесформенное. Народ радостно гудел. Задние, те, что еще не успели бросить своего камня, лезли через головы, но их не пускали — поздно!

— Свершился суд праведный! — торжественно провозгласил Гурыня. — Возмездие нашло врага народа!

— Нашло! Урр-рра-а!! Да-ешь!!! — ликовал внизу народец, уже проголосовавший за независимость и сурави..нири... и за все прочее.

— Да! — громогласно прозвучало с трибуны. — Народ сделал свой выбор! — Гурыня потряс над головами целой кипой листков. — И я, падла, с полным правом могу сказать, что отныне Западное Подкуполье, как бы от этого не бесились, падла, наши враги, является независимым суриренным, сувиренным, падла, государством! Со своей армией, полицией и своим народным судом! Верно я говорю?!

— Верно! Ур-ра-а-а-уу!!! — прокатилось по площади. Ни одного сомневающегося больше не нашлось.

— И мы с оружием в руках, — заводясь все больше, брызжа слюной и переходя на истерический тон, визжал Гурыня, — будем защищать свою независимость! Мы все сдохнем за нее, падла! Все как один! Мы не позволим... Мы из них мозги повышибаем... Мы, падла, не будем ждать милостей от восточных, падла, сатрапов!!! А потому сейчас, немедленно, падла, все мужики и бабы, все парни — я обращаюсь к вам, братаны и сеструхи, мамыши и папаши! — подходи и записывайся в добровольную народную армию Западного, падла, независимого Подкуполья! Мы не можем ждать, пока подлый и гнусный враг, готовящий нам козни, нападет на нас! Мы падла сами нападём на него... во имя свободы, падла, и независимости, и этого, падла, суривиниритета!!! Мы им посшибаем рога! Мы их научим, падла, уважать нас! Записывайтесь, братва! И в поход!!!

Внизу уже шла драка возле пятнистых — кто вперед, лишь бы успеть записаться. Народец был един. Лишь в каком-то затхлом проулке поймали двоих, пытавшихся улизнуть старичков, поймали да там же и затоптали ногами. Еще бы, дремать было не время, окопавшийся враг мог быть везде и повсюду, в любой дыре и норе. А с врагами, падла, разве ж свободное общество подлинной демократии построишь?! Народец Подкуполья начинал прозревать.

— Ну чего ради вы порете какую-то ахиною про «геенну огненную» и «апостолов», зачем?! — мягко выговаривал представленный к Бубе самим Солом Модрои серый человечек в сером костюмчике, сером галстуке и в серой помятой шляпе.

Даже лицо у этого пристебая было серым. — Ведь вы прошли месячный инструктаж, вы знаете, что народу надо говорить про демократию, про свободу совести, про права человека... ничто не распаляет людишек, как постоянные намеки, что их лишают какой-то свободы и каких-то прав! Ведь вы же психолог! Ведь вы же, в конце концов, умный человек!

— Заткнись, сволочь! — оборвал его Буба Чокнутый.

Бубу всего полчаса назад принесли с очередного митинга на носилках, и он никак не мог придти в себя. Пристебай надоел ему донельзя. Но Буба помнил, что у Сола длиннющие руки, что перегибать палку нельзя, иначе хозяин будет недоволен. И потому он решил сгладить свою бестактность:

— Я вам не платный агент, — заявил он с примиряющей улыбкой, — и не проститутка площадная. Я — проповедник и мессия... аки Сын Божий, непорочно зачатый, явлен был в мир всякой сволочи, так и я сюда пришел и принес новый завет. Ибо Спаситель!

— Кто? — не понял серый пристебай.

Буба обиделся, надулся и замолчал.

Но хватило его ненадолго.

— Психолог! Да ты понимаешь, ничтожество, с какой паствой работать приходится?! Ты понимаешь, что тут другой менталитет в башках у них, а в большинстве этих выроdkов вообще никакого менталитету нет! Большинство только про геенну и понимает, когда припекет, когда прижжет, когда по мозгам дубиной шарахнет со всего маху, тогда только и перекрестятся... Демократия! Они и слова такого не знают!

Буба привстал с носилок и прошел два круга по овальной комнате — одной из потайных комнат в огромном чугунном шаре под вселенским столпом.

На длинном и низком столике стояли разнообразные блюда — было чего выпить-закусить. Но Буба на еду не мог смотреть, он еще не отошел, он еще наполовину был в небесах, общался с тем высшим и непонятным, чему имя то ли бог, то ли дьявол, кому как повезет.

— Это же ублюдки! Это же сволочь! Разве можно проповедовать среди таких недоносков! Сколько времени я бьюсь рыбой об лед, и ни одного стоящего ученика! Трудно быть богом, мать вашу, трудно! Аки Иисус снизошел я. А к этим выроdkам и снисходить не стоит!

— Полно! Полно, вы перегибаете палку. Как это не стоит?

И не вы один... Позвольте поинтересоваться, кому ж тогда монумент поставлен, под коим вы вещаете?!

— Предтеча мой! — несколько самоуверенно заявил Буба Чокнутый. — Проповедовал на век раньше, за что и был сжит со свету неблагодарной толпой. Святой Андрон! Вот он бы мог быть моим апостолом... — Буба вдруг прослезился, зарыдал, уронил голову.

Серый тихонько захихикал.

— Апостол-то он, может, и ваш, предтеча тоже, а вот агентом нашим был.

— Врешь, сволочь! — прохлюпал Буба из-под руки.

— Архивы не врут, — официальным тоном продекламировал серый пристебай, — и Цуккерман ваш, отец демократии местной и борец за права, и все роившиеся вокруг него, работали на Сообщество, мой друг. Да-да, так же, как работаете ныне и вы. У нас много агентов было, не вам чета... да и время другое, мы все выродились. А тогда, эпоха гигантов была и титанов. Один Меченный чего стоил, о-о-о!

— Тоже ваш агент?

— Наш! — с гордостью ответил серый.

— Не слышал.

Серый подошел вплотную, учтиво похлопал Бубу по спине, протянул бокал вина и гроздь винограда на закуску. Потом он протянул руку, щелкнул клавишей — и по комнате разлились скрипучие, нервические звуки, порождающие в душе тревогу. Буба сразу перестал рыдать, выхлебал вино из бокала, сгрыз гроздь вместе с веточкой и косточками. И поинтересовался:

— И этот — гигант?

— Шнитке, — ответил серый, — разумеется, титан духа, гений! Нынешние так не могут.

— Выключи на хрен! — потребовал Буба. С него хватало собственного гения.

Серый покорно вырубил звук. На его должности и при его обязанностях не следовало иметь собственных нервов. Серый держал себя в руках и беспрестанно улыбался. Бубу от этой приторной улыбки начинало тошнить. Но он знал, что от серого не отвязешься, не для того его приставили. Вот сейчас снова заведет свою канитель.

Пристебай и на самом деле уселся возле Чокнутого, налил бокал себе, Бубе протянул всю литровую бутылку, зная, что мессия любит сосать из горлышка, и понес:

— Не надо выдумывать ничего нового. Все давно испытано и проверено временем. Вы же прекрасно знаете, Буба, что когда-то здесь была огромная, развитая, мощная страна с такой армией и с таким флотом, что все попытки взять ее извне за тысячу лет полопались как мыльные пузыри. Эта страна была целым миром, вселенной. Из века в век мы тратили миллиарды и триллионы, чтобы развалить ее, разрушить, разграбить, выжечь, выморить, ослабить до предела, уничтожить как своего соперника на этой крошечной планетенке...

— Кто это мы? — поинтересовался закосевший Буба.

— Мы? Мы — это мировое сообщество. Сначала — все европейские страны и варвары востока, которых мы натравливали на исполина. Затем Европа и Америка... все мировое сообщество цивилизованных государств. Но мы не могли ни черта поделаться с этой страной. Мы выжигали, разоряли и вывозили все. А она вновь оживала, вставала с колен и становилась еще сильнее и богаче. Последние попытки прямых вторжений вообще привели к обратному результату, страна эта начала расширяться, поглощая области, входившие до того в сферу нашего влияния. Это был конец света для нас! Полный конец! Апокалипсис! И вот тогда наконец наши дуболомы в спецслужбах смекнули, что надо не переть рогом вперед, как тупой и безграмотный пес-рыцарь, не стрелять из пушек и не забрасывать бомбами своего врага. А надо изъедать его изнутри — потихоньку, но неостановимо! Надо засылать своих агентов, покупать чиновников, правителей, вербовать, вербовать и вербовать! Надо опереться на недовольных внутри страны, на пятую колонну, она всегда есть, везде, в любом государстве, надо выпестовать из нее свою армию — армию в тылу врага. И вот тогда соперник обречен... Вы, Буба, работаете на нас, вы подписали все бумаги, и потому я с вами откровенен. Эта страна и ее народ всегда были врагами цивилизованного мира. Почему? Да потому что они всегда хотели жить по-своему, играть в этой большой игре, что называется жизнью, цивилизацией планеты Земля, по своим правилам. А у нас были свои правила. И Земля не могла иметь двух хозяев. Уж как они пытались подладиться под нас, стать нам удобными: то объявляли себя всякими социалистами и коммунистами, то демократами и капиталистами, то православными, то готовыми отдать народец свой под любые веры и секты... Но они не понимали, что не нужны нам ни под каким

видом, ни под каким соусом! А нужны нам только их недра, то, что мы качаем уже столетия по трубам...

Серый налил себе еще бокал. Медленно отпил большой глоток, блаженно прикрыл серые глаза, вытянулся в кресле. Закурил.

— И мы их взяли изнутри. Вы понимаете меня? Взяли вот такими же проповедниками, как и вы, только покруче да покрепче, такими же проповедями про права и демократию. Все опробировано и проверено, лучшего придумать нельзя. Наш уважаемый Андрон понял бы меня с полуслова. Титан был! Хоть и агент... но мастер, профессионал, за того можно было отдать тысячу термоядерных мегатонных бомб, даже больше. Так что вы, Буба, зря кривитесь, зря мои слова мимо ушей ваших оторванных пропускаете. У нас большой опыт, огромный. Нам нет нужды изобретать велосипед. Мы идем проторенной дорогой. Сейчас мировое сообщество и так называемая «мировая общественность», хотят, чтобы с Резервацией и мутантами наконец было покончено. Но покончено красиво! По их волеизъявлению! Понимаете меня? Покончено так, чтобы никто во всем свете не посмел упрекнуть нас в отсутствии хоть капельки подлинного гуманизма. А это означает, что вашим выродам рано или поздно придет полный конец.

Серый пристебай снова приторно улыбнулся и передал Бубе Чокнутому третью бутылку — пророками и проповедниками быть нелегко, нужна постоянная подпитка. Серый это прекрасно понимал.

— Вот и вы, Буба, проповедуете конец света, «геенну огненную». Как в воду глядите! Выражаясь вашим языком, аки пророк какой-то. Будет вам и конец света и «геенна»! Но сперва надо дать народу Подкуполья глотнуть свободы, пожить хоть малость при демократии!

Буба повел на серого мутным глазом.

— Переубивают они друг друга, — пьяно пролепетал он, — вот вам и вся демократия хренова, знаем, тоже с усами, не хуже ваших титанов будем хреновых, не слабже агентов лысых и меченных! Еще неизвестно, какой мне памятник отольют! Может, в два раза выше! — Буба снова зарыдал, на этот раз от умиления. — Ибо не токмо за ради веры, но и для народу не щажу себя!

— Поставят вам памятник, — заверил его пристебай, — непременно! Если задание свое выполните — поставят! Надо

быть послушным, Буба, надо! Андрон с Меченным тоже иногда взбрыкивались, дескать, мы отцы и столпы, прорабы и прожекторы... А мы их потихоньку на место! не шали! Послушание, послушание и еще раз послушание! И памятник вам, как и им, обеспечен...

— Не верю! — совсем обалдело, рыгая и икая выдавал Буба Чокнутый, — не верю вам, иродам, ибо пришел я к вам, сволочам, спасать души ваши богомерзкие от геенны огненной! А вы меня... вы меня разопнете, аки поганые язычники и фарисеи!

Разведывательно-штурмовой гравиплан Айвэна Миткоффа шел на бреющем полете, над самой землей. Ультразвуковые и инфракрасные локаторы прощупывали пространство сквозь дымы и гари. И потому сам Айвэн видел все очень хорошо. Он был доволен, более того, счастлив. Вместо старых вертушек и броневичков Департамент дал разрешение на применение современной техники. Все верно! Ведь их сюда прислали не на охоту и не на прогулку. Они пришли с миссией мира!

Бегущая внизу тень попробовала было спрятаться за развалиной разрушенного дома, но автоматический целеискатель уже нащупал ее, повел, Айвэну осталось только нажать спуск. Готов! Тень разорвало на множество мелких кусочков. Красота! Азарт! Что еще надо... Миткофф знал, что ему надо еще, на каждом бедре у него висело по старенькому добренькому револьверу, почти не оставляющему дыр — особо интересных типов он будет добывать для своей коллекции вручную. Но главное, не забываться, сейчас они не на прогулке, следом идет еще дюжина гравипланов. Задача ясная и четкая: обеспечить безопасность трех близлежащих поселков с мирным населением и уничтожить... нет, не так, в приказе сказано точнее, нейтрализовать банды диверсантов и повстанцев. Во имя мира, демократии и прогресса!

— А ну, получи под зад!

Айвэн разнес в пыль еще одну тень. И сдвинул голубую каску миротворца на затылок. Мелочи! Надо найти скопление вырожденцев. Надо бы их газами, чтоб изо всех дыр и щелей выкурить... но, что поделаешь, пока команды на счет газов не было. Только пулеметы, только лазерные орудия, только микроплазмеры, только напалм... Гуманисты, мать их! Вот ребята на базе рассказывали: совсем неподалеку, на юге, милях в

трехстах засекли подземное логово диверсантов-повстанцев, целый город на полторы тысячи голов. Вот это была прогулка! Запустили пси-генераторы на полную мощь. Выродки в диком ужасе все до единого высыпали наружу, наверх. Еще бы не высыпать! Пси-генераторы мертвого из могилы подымут! Вот это была по-настоящему миротворческая операция — ни одного бандита не упустили, жгли, стреляли, били на бегу — ребятки всласть поработали. И недаром, сам бригадный генерал Эрдхай Манун пятерых к наградам представил. Айвэна терзала зависть, черная и безысходная, вернуться домой орденосцем, героем! Ничего, у него все впереди!

— Седьмой! Седьмой! Вы слышите меня. Я база! — пропищало с двух сторон из-под откинутой каски.

— Слышу, — вяло отозвался Айвэн, предчувствуя изменение программы вылета. Хоть бы их всех вместе с базой разорвало к клочья, как эти тени! Он помедлил еще, потом спросил: — Ну чего там?

— Почему не по уставу... — начал было писклявый голосок.

Но Миткофф в корне пресек попытку сравнить его с простым солдафоном.

— Да пошел ты! — заорал он и срезал еще парочку беглецов.

— Ладно. Слушай приказ! — пропищало помягче. — Слева по курсу в семидесяти пяти милях опорная база бунтовщиков. Вашей эскадрильи приказ — нейтрализовать базу. Приказ ясен?

Айвэн ткнул пальцем в голубенькую клавишу, и перед ним вспыхнула зеленоватым свечением карта местности. В указанных координатах значился населенный пункт, самый заурядный...

— Там же поселок, болван! — машинально выдал Айвэн, поражаясь бестолковости и тупости этих штабных крыс. — Там мирные выродки!

— Исполнять приказ! — пискнуло напоследок и заглохло.

Исполнять, так исполнять. Айвэн Миткофф дал команду ведомым и, вздымая правую плоскость, красиво, черной ласточкой с белым подбрюшьем, ушел влево.

За три дня и три ночи Пак вычистил все близлежащие дома. Его уже не поражала беспечность местных жителей. Пак стал равнодушен ко всему. После нелепой смерти Леды

Попрыгушки весь смысл его жизни стал сводиться к одному: он мстил...

— Обнаглели мы с тобой, едрена! — кряхтел Хреноредьев.

— Смелых пуля не берет, — мрачно отзывался Пак.

И они шли вычищать новый дом. Инвалид больше не разводил нюни возле трупов и трупиков, свyksя, да и коли прозвали Пака в народе Умником и Хитрецом, стало быть, знает он чего хорошо, а чего плохо, нечего ученых учить! Сам Хреноредьев местных не мочил — палить из пулемета нельзя, услышат, а давить их руками брезговал, все ж таки не крысы! Зато он понял главное, здесь живут не вместе, не кучно и дружно, а наособицу, каждый сам по себе, здесь гостей не любят и не ждут их... так хорошо жить, когда точнехонько знаешь, что никто тебя не тронет. Э-хе-хе, ничего не попишешь, смертен человек!

За эти три дня и три ночи они отъелись, налились силой. На такой шамовке можно было долго держаться. Да-а, здесь, в Забарьерье, умели жить! Пак готовил какое-то большое дело — всю последнюю ночь они таскали канистры с горючей и вонючей дрянью в кузов здоровенной машины, что стояла в одном из загонов, кабину загружали жратвой, одеженкой, будто в дальний поход собирались. А на утречко присели в последнем домишке, самом маленьком по здешним меркам и самом убогом перед телеящиком, поглядеть, чего в родном Подкуполье творится. А увидали совсем иное.

— Банда невиданно жестоких и циничных диверсантов-убийц из Резервации продолжает безнаказанно орудовать в приграничных с Барьером районах! — вещал замогильным голосом ведущий. — Мы не знаем, сколько десятков или сотен вооруженных до зубов, свирепых и беспощадных мутантов пробралось в наш мир... вы видите последствия их кровавого карательного рейда...

И Пак с Хреноредьевым увидали эти «последствия». Сначала камера долго смаковала растерзанные тела полицейских на свалке, будто заново потрошила своим взглядом их, выворачивая наружу внутренности. Плюгавый мужичонка лежал рядом со стражами порядка, лежал с вывернутой шеей. Трупов было много, Хреноредьев считал, шевеля жирными губами, сбивался и начинал считать заново.

— Сволочи! — прошипел Пак. Он начинал догадываться, что происходило.

— Они не щадили никого!

Трупы убитых в самом поселке показывали еще дольше, с разных сторон. Там были все — и вытащенные из подвала старик со старухой, и паренек, и младенец, залитый черной запекшейся кровью, а потом пошли другие дома, другие лица и тела — мертвые, искалеченные, страшные, поднятые из подполов, разбросанные по комнатам, растерзанные, задушенные, с рассеченными головами и разбитыми лицами...

— Они зверски убивали даже маленьких детей! Только выродки Резервации способны на такую отчаянную жестокость! Смотрите! Никто не знает, где сейчас банда этих убийц! Никто не знает, сколько таких банд приступили к своему черному делу на землях Сообщества! Никто не знает, чем все это кончится! Мы знаем только одно — убийцы-живодеры могут оказаться в любом из наших домов, у меня, у моих родных и друзей, у вас!!!

— Чегой-то я ни хрена не возьму в ум, — растерялся Хреноредьев, — ежели они все это засняли, стало быть, они по следу идут, за нами... а чего тодась не хватают?! Убей бог, не пойму!

Пак нервно бил кулаком по коленке. И не слышал бормотаний инвалида. Беспечные? Нет! Они не беспечные, они подлые, гнусные, безжалостные, они страшные! Таких и надо убивать, всех, до единого!

— Хреновые дела, Хреноредьев, — наконец сказал он, — чего б мы тут ни натворили — все им на руку! И не хватают нас эти твари, потому что мы сработали на них, понял?!

— ...народ требует от правительства и президента принятия самых неотложных, экстренных мер! Мы не имеем права допустить безнаказанного разгула чудовищной преступности! Но мало уничтожить те отряды боевиков, что просочились в наш мир! Необходимо немедленно нанести превентивный удар! Надо разгромить опорные базы убийц-мутантов на их территории, в самой Резервации! Во имя нашей свободы, во имя наших детей, желающих жить, во имя, наконец, самой демократии!!!

Крик диктора перерос в истошный, безудержный визг. И теперь уже Хреноредьев не выдержал — спихнул телевизор с тумбы, принялся бить по нему ногами, протезами, костылями. Разъяренный инвалид еще не понял до конца происходящего. Но до него дошло — их подставили! обвели вокруг пальца как законченных дурачков!

— Вот тебе, едрена! Получай! Гадина проклятая! Сундук хренов!

— Брось, — еле слышно выговорил Пак.

И Хреноредьев сразу замер, с занесенным костылем. Потом опустил его тихо, сел, пригорюнился и заплакал.

— Пропали мы, едрена-матрена, и поселки наши пропали... верно этот враг народа, Буба проклятуший говорил: и придут, мол, судьи всякие, чтобы народу башки сшибать и откручивать! Придут, Хитрец, точно, придут! Всем кишки наружу пустят! Истребят, едрена, аки саранчу и скорпионов! Я все помню, Хитрец. Огнем очистят нас, дураков, ибо сами мы неспособны! Сволочь этот Буба, как в воду глядел, пророк хренов!

Пак ухмыльнулся злорадно.

— Буба тебя, старого обалдуя, покаяться призывал, — сказал он с ехидцей, — и всех призывал: давайте, ублюдки и кретины, кайтесь пока не поздно, нето покарают аки... хрен его знает. Вот и скажи мне, Хреноредьев, ты покался или нет?

— Не-е-ет, — признался инвалид, размазывая слезы по сальной и небритой щеке.

— Ну, а чего тогда стенаешь? Получай, чего заслужил!

— Да не знаю я, едрена-матрена, в чем каяться-то! — заревел Хреноредьев как ребенок. — Чего я такого сделал, чего мы вообще сделали... ничего не сделали! Куда каяться-то, едрена-а-а-а...

Пак перестал ухмыляться.

— В том-то и дело, что ни хрена мы не знаем! Виноваты в чем-то, хуже чертей рогатых. А в чем сами не ведаем. Отродясь виноватые, сызмальства! Ну да ладно... ты, ежели хошь, кайся тут, а я пошел!

Он встал и побрел к грузовику.

— Куда? Постой! — забеспокоился Хреноредьев, И пополз за Паком.

Додя Кабан уселся на бетонную глыбищу с процарапанной на ней неприличной надписью, задрал вверх заскорузлый палец и извещил:

— Значит, так — правду мы нашли!

— Нашли! — радостно подтвердила Марка Охлябина. И тут же получила затрещину, чтоб не перебивала начальство.



— Я те встряну! — Додя Кабан озлился не на шутку. — Это ж надо, какая шустрая! Прыткая какая!

— Ага! Прыткая! — завопила Охлябина. — Шустрая! Имею право! Нынче демократия, нынче каждый может орать, чего вздумается!

Она отскочила на несколько шагов, подняла из мусора камень и бросилась им в Додю Кабана. На счастье, промахнулась. Кабан не слишком осерчал, напротив, растерялся и развел руками, дескать, это уже ни в какие ворота.

— Правильно дура Мочалкина говорила, верно! — не утихала Охлябина. — Женотделы везде должны быть и женсоветы! С вами дураками и алкашами ни хрена никакой демократии не построишь! Одно словечко только вставила, а сразу — молчи! заткнись! Что ж я, по-твоему, коли баба, так и вякнуть не смей! Не запретишь! Сам ты и есть окопавшийся гад и сволочь красно-коричневая, коли женщинам рты затыкаешь! Ничо-о, Додя, я на тебя управу найду-у-у!!! — Марка в запале швырнула еще три камня подряд, один попал Кабану в лоб и опрокинул его с глыбищи. Охлябина радостно захлопала в ладоши. И заявила громовым голосом оскорбленной праведницы: — Ухожу я от вас, от мужланов проклятуших! Буду баб собирать и войну с вами, гадами, вести буду, по гроб жизни, беспощадную! Даешь, бабам равноправие! Хватит!! Нетерпелися-я!!!

Марка сделала непотребный жест, плюнула в сторону выползающего из-за глыбищи Доди Кабана и пошла неведомо куда, нахально виляя тощей задницей.

— Матерая бабища! — с восторгом выдохнул старичок Мухомор, не смеявший и пикнуть во время всей этой перепалки.

— Куда уж там, — согласился Кука Разумник, — такую стерву поискать!

Додя ничего не говорил, он сидел мрачный, хмурый, побитый и оплеванный. Правду-то они нашли, никто не спорит... а вот сами все растерялись. И за что несчастного Тату Крысо-еда забили — Додя теперь и сам не понимал толком, в раже были, в пылу... короче, за дело забили, нечего и вспоминать. Додя угрюмо поглядел на Куку, Мухомора и Мустафу... мало-вато их осталось, паломников-пилигриммов. Ничего, зато каждый теперь троих стоит — просветленный, познавший истину.

— Моя тоже уходит, — сказал вдруг Мустафа, натягивая тюбетейку на самые уши и запахивая полы халата. — Моя натерпелась! Пайду татар искать. Будем своя башка жить. Хватит! У-у-у, акупанта! — Он погрозил Доде и Мухомуру сучковатой палкой. — Моя свой страна будит! Моя правда нашла! Моя на твоя орда приходить, обиды мстить, однако! Прощай, пожалуйста!

Своей увесистой палкой Мустафа ткнул в брюхо только поднымавшемуся Доде Кабану и тот снова упал, не успев в свою очередь попрощаться. Только Мухомор содрал с головенки драную шапчонку, помахал вслед уходящему.

— Вот те и правда, — недоуменно заключил Кука Разумник.

— Не говори, — согласился Мухомор, — правда, ежели она настоящая, вещь суровая и неприглядная, мать ее! И, главное, у каждого своя. — Мудрый был старичок.

Додя наконец поднялся, обматерил обоих и погрозил кулаком в сторону ренегата Мустафы. Не ожидал он от него эдакой подлости. А туман тем времени прибывал, и было непонятно — дым ли это подымается из щелей и хижин или сверху опускается гаревой смог. Додя вздохнул поглубже, закашлялся, чихнул, утер набежавшие слезы и выкрикнул в пространство:

— Не будет вам, дуракам, ни демократии, ни колбасы!

Кука Разумник повернулся к старичку Мухомуру.

— Давно тебя хочу спросить... — начал он.

— Спрашивай! — великодушно согласился Мухомор и заважничал.

— Ну вот, про демократию я еще туды-сюды пришел к разумению, с чем ее едят. А вот разобъясни ты мне, чего это такое колбаса? А то все: колбаса, мол, да колбаса...

Старичок крикнул, высморкался, поглядел на Куку как на дубину стоеросовую и разобъяснил:

— Колбаса вещь знатная, ты не сумлевайся! Я сам не едал, но умные люди рассказывали — лучше ее ничего на белом свете нету: сожрал батон целый, вот тебе и рай небесный, и демократия, и светлое, едрит его, будущее! Ты слышал, чего про нее Буба Проповедник рассказывал?

— Слышал.

— То-то!

— Так я этого Бубу Чокнутого сызмальства знаю, как облупленного! — затараторил Кука. — Это он шас умным

стал, а был ведь дурак дураком, все страшал народ страстями всякими, вот ему и навешивали...

— И-ех, темнота-а!!! — с нескрываемой обидой и болью в сердце прогнусавил Мухомор. — Навешивали! Горе с вами и беда! Вот такие-то и в Христа-батюшку каменюками швырялись да вопили окаянные: «Распни его, распни!» Потому как нету пророка в своем отечестве! Совсем народец ополоумел, совсем сдурел! — Старичок воззрился гневно на Куку, но видя, что тот оробел и явно раскаивается, смягчился: — Я те вот чего скажу: это он у вас был Чокнутым, дурачком деревенским, а потом Господь-то его взял и просветлил, по землям обетованным провел, уму-разуму научил да и проповедовать наставил. Проповедник нынче Буба-то. И пророк! Святой он! Как погляжу на него — сияние из башки исходит, навроде нимба. А словеса какие, народец так и млеет, так и просветляется, едрит твою, так и бежит по всему Подкуполью завет Бубин разносить! Благодать!

Додя Кабан сидел, разинув рот, зачарованно слушал Мухомора. Кука Разумник весь горел и светился. Но сидели да беседовали они недолго. Не время было сидеть да разговоры разговаривать, покуда всякие окопавшиеся в каждой щели таятся да коварные планы вынашивают!

Дома пылали красиво — свечками вздымался огонь в безветренном небе, будто пытаясь воссоединиться с пылающим светилом.

Пак шурил глаза и улыбался. Последний домишко они исхитрились поджечь вместе со съёмочной командой, что толклась там: пятеро сгорели внутри, семерых он срезал короткими очередями — пытались выскочить из пламени, наивные люди! Пак был доволен, несмотря на то, что где-то внутри долбило беспрестанно: «подлец! подлец! подлец...» Почему она оставила эту записку? И чем он виноват перед ней... Чем?! Да не будь его, Леда и по сей день прыгала бы из кабачка в кабачок, пила, веселилась бы, порхала бабочкой. Да, это он принес ей несчастья, горе... и смерть. Но ведь тот гнусный тип в зверинце Бархуса намекал, что с Ледой все в порядке, что Попрыгушка ждет его, Пака, что у них еще будет свой домик и куча детишек... А он не согласился. И они... они убили ее! Сволочи! Подлые, гнусные, поганые сволочи! Всем им гореть свечками!

Хреноредьев суетился и сопел рядом. Он то отбегал от

грузовичка и прятался в кустах, то вновь подбегал к Паку, заглядывал в глаза, причитал:

— Ой, беда, едрена, ой, беда, пропали мы, Хитрец, совсем пропали!

Пак и сам знал, что последнюю выходку им не простят, что с минуты на минуту в небе появятся вертушки, зависнут ненадолго, шарахнут — и поминай как звали. Но прятаться и ползать по кустам на брюхе Пак не собирался. Он собирался умереть стоя, как умер в огне из бочонков папаша Пуго. И ему не хотелось больше оживать, пусть убивают всерьез, до конца, он сам пойдет на пули, он сам будет убивать их. И Хреноредьев не в счет. Лишь он сам — одинокий волк из Подкуполья. Пусть знают, что там живут не только крысы.

Гул моторов донесся из-за горизонта. Так могли гудеть только тарахтелки. Хреноредьев растопырил уши, снял кепчонку.

— Летят, — обреченно сказал инвалид, — судьи, едрена, праведные!

Пак закинул голову к небу. Но не в сторону винтокрылых машин, несущих смерть, а к солнцу. Он глядел на него во все четыре глаза, будто желая насмотреться всласть перед неминуемым концом, там, за Барьером никакого солнца нет, там гарь и смрад, серые тучи, и это даже хорошо, что он умрет здесь, на воле, под ясным и чистым солнышком, среди зеленого раздольного поля... очень хорошо!

И никакой он не подлец. Не могла Леда написать так, не могла! Он все делал правильно. А что их дороженьки перекрестнулись, тут не его прихоть, тут другое, не смертными предопределенное. Впрочем, какая разница! Пак отвел глаза от солнца. И вдруг ощутил, что в голове стало как-то не так, будто кто-то проник в нее — крохотный, невидимый, но властный. «Ты слышишь меня, Пак?» — прозвучало отчетливо прямо под сводами черепа.

— Слышу! — рявкнул Хитрец.

— Да вон они, едрена, — не разобравшись откликнулся Хреноредьев, — уже видать смертушку нашу!

«Говори про себя, — прозвучало в мозгу, — ты что же это, не узнаешь меня?» Пак напрягся. «Отшельник?!» Этого еще не хватало перед погибелью! «Он самый. Ты только не пугайся. Я все вижу и все знаю. Я помогу тебе!» Пака передернуло. Он не желал ничьей помощи. В этот последний миг он хотел

остаться один. Но избавиться от проникшего в мозг Отшельника было невозможно.

А тарактелки шли совсем низко. И очень медленно. Уверенно шли. Им некуда было спешить. Наверняка с них снимали жуткое пожарище, снимали Пака с Хреноредьевым... а может, и нет, может, их-то как раз и не снимали, слишком уж не вязались два этих уродца с образом огромной и жуткой банды безжалостных убийц-мутантов. Так или иначе, но Хреноредьев на всякий случай заполз под грузовичок.

А Паку покоя не было.

«Ты помнишь, Хитрец, как вы втроем гостили у меня?» — спросил невидимый Отшельник. «Помню, — отозвался Пак, — ты нам еще проверки устраивал, делать тебе нечего.» Пак грубил, нарывался. Но он еще не знал, с кем столкнулся. «Вас было трое, — продолжил Отшельник, никак не среагировав на грубость. — Теперь вас двое. Буба совсем чокнулся, поверь мне. Я сам не знаю, зачем сдержал вас тогда, было бы лучше, если б вы его покарали по всей строгости, прав был этот трехногий, прав, в ком живут бесы, как бы он ни назывался, Пророком, Проповедником, святым, всегда будет для людей врагом, тут ничего не попишешь!». Пак не сдержался. «А чего ты от меня хочешь, одноглазый, чего ты ко мне привязался? Ты ведь искал Чудовище, вот и ищи себе!»

Винтокрылые машины застыли почти над самой головой, загораживая ясное солнышко, бросая черную тень на грузовик. Там, наверху, чего-то выжидали. Но развязка близилась. Пак видел, как со стороны поля и с двух концов дороги на них медленно надвигались несколько приземистых, поблескивающих броней машин, похожих издали на забавных жуков.

«Не злись, Хитрец, и не нервничай. Я не желаю тебе зла. И не поминай всуе Бига, он был хорошим парнем, хотя и не похожим на тебя. Его больше нет... но не в этом дело. Ты помнишь ту крохотную девчушку с бантиком в волосах? Ты тогда уже поймал ее в прицел, а я помешал... я остановил тебя?!»

— Помню, — ответил Пак вслух, — я все помню!

— Прощай, Хитрец! — завопил из-под грузовика Хреноредьев. — Не поминай лихом, едрена-матрена! Пропадает-ем!!!

«Так вот, я хотел сказать тебе, что был не прав, понимаешь,

Пак? Не надо мне было останавливать тебя, не надо!» — надрывно, с непонятной грустью сказал Отшельник.

Тарахтелки тарахтели, машины-броневики напоздали — неспешно, основательно, спокойно. Это была игра кошки с мышью. Пак держал оба пулемета навскидку, ждал. Он был готов к бою. А перед глазами прозрачно-призрачным видением висела девочка-крохотулька с льяными кудерьками, огромными синими глазищами и большим красивым бантом. Он должен был ее пристрелить еще тогда, обязательно пристрелить! Он обязан был перейти через внутренний барьер. Отшельник не дал ему нажать на спуск. Всемогуший Отшельник! И девочка... А была ли девочка? Может, никакой девочки и не было? Может, был только призрак в больном воображении, фантом?! Теперь это не имеет значения... кровь из расписной люльки сочилась наружу и падала на ворс ковра черными каплями. Он пересилил себя. Для него больше нет ни взрослых, ни детей, ни стариков, ни женщин — они все враги, они все убийцы! Только так! Даже тот, кто не держал в руках винтовки — все равно убийца. Да, девочка не гналась за ним на броневике, не лупила из пулемета в затылок, не сжигала живьем распятого папаньку... но это делал ее отец и ее брат, и потому — кровь невинных жертв на ней и на всем ее роду. Поздно, Отшельник!

«Я зря тебя остановил, прости! Я не буду больше тебя останавливать, Хитрец! Потому что-то какой-то дьявол наградил меня всевидением, и я вижу, что они творят у нас, в Подкуполье. Я буду помогать тебе! Я могу сделать тебя могучим и страшным... Ты хочешь этого?!»

— Да, хочу!!! — заорал во все горло Пак.

Он уже стрелял, безостановочно палил по снижающейся вертушке. Пули отскакивали от брони, но Пак не переставал стрелять, в надежде, что хоть одна найдет слабое место, хоть одна пуля достигнет цели. Ответного огня не открывали, наверное, они собирались брать беглецов живьем, а может, просто забавлялись их гоном.

«Тогда слушай меня — успокойся, соберись, брось эти детские игры с пальбой, сядь на дорогу... — тихо, но настойчиво твердил Отшельник. — Хорошо, очень хорошо. Ты уже начинаешь ощущать, как наливаются звериной, нечеловеческой мощью твои мышцы, как кожа твоя превращается в броню! Мои поля пронизывают тебя насквозь! Ты веришь мне?»

— Да-а!!!

«Ты видишь эту уродливую машину над самой головой у тебя? До нее всего шесть метров. Чего же ты медлишь... Давай!» — голос Отшельника пропал.

И в то же мгновение Пак прыгнул вверх. Он взвился черной молнией, еще не понимая, как он мог осмелиться на такое безумие. Но рука сама вцепилась в какую-то скобу. Отлично! Пак чуть подтянулся и с силой швырнул полутораметровый пулемет вверх, прямо во вращающиеся лопасти. Вертолет рухнул подстреленной птицей, рухнул вместе с Паком, чуть не придавив его. Он чудом успел вывернуться и тут же ухватился за скобу на дверце кабины, выдрал эту бронированную дверь с корнем, прыгнул внутрь. Свернуть головы двоим пилотам в касках не составило труда.

Снизу, из-под грузовика палил из пулемета Хреноредьев. Подсоблял.

— Кончай! — заорал на него Пак. — Уймись, старый хрен!

Вторая тарахтелка заходила слева. Теперь беглецов не собирались щадить. Огонь из машины велся нешуточный. Но было и за чем укрыться.

— Ой, Хитрец, — визжал Хреноредьев, тыча пальцем в горящую поверженную машину. — Взорвется шас, едрена! Всех разнесет!

«Не бойся! Ничего не бойся! — стучало в мозг. — Им не одолеть тебя, главное, не давай передышки. Ну, Хитрец, я с тобой, давай, вперед!»

Кольцо сжималось все туже, были видны головы, высывающиеся из люков. Но броневики пока не стреляли, находящиеся в них явно не понимали, что происходит возле грузовичка, и почему рухнул надежный боевой вертолет. Отшельник прав, нельзя им дать очухаться. Пак ударил кулаком по броне — она прогнулась. Не наврал одноглазый, и клешне совсем не больно. Он врезал еще раз и пробил в броне дыру... это походило на сказку, такой силищи в нем отродясь не бывало.

«Вперед, Хитрец! — кричал Отшельник в голове. — Я не вечно смогу подпитывать тебя, не теряй времени! Вперед!»

— Стой, едрена! — заверещал снизу Хреноредьев, он только переполз от грузовичка за более надежное укрытие, — сдурел, что ли?!

Но Пак уже несея вперед, прямо на заходящую на них тарахтелку. В три прыжка, отбрасываемый встречными оче-

редями, ударяющими в грудь, но не пробивающими ее, Пак достиг цели. Теперь он не был столь опрометчив, как прежде. Он действовал целенаправленно и четко. Дверца отлетела изогнутой, вывороченной жестянкой, грохнулась на землю. Вслед за ней вылетел наружу человек с переломанным хребтом. Второй так и затих в кабине, под удобным и упругим креслицем.

«На себя тяни, на себя! — зудел в башке Отшельник. — Подымай машину!»

— Знаю, — хрипел Пак. С непривычки ему было трудно, он весь взмок от напряжения. Но тарахтелка послушалась его, пошла вверх.

«Не бойся, ничего не бойся! Ты справишься с ней запросто! Я с тобой, Хитрец! Ну, давай еще немного! Не тяни, скоро там, внизу, сообразят, в чем дело, они тебя быстро сшибут. Надень шлем. Хорошо. Смотри на черную панель, не смотри на землю...»

А на земле бесновался и махал костылями перепуганный инвалид Хреноредьев. Он казался букашкой, мошкой. Но Пак прекрасно слышал, как он орет истошно:

— Хитре-ец! Слезай вниз! Кому говорю! Предатель, гад! Ты чего мене бросил, едрена!!! Слазь немедленно-я-я...

«На панель смотри! — гнул свое Отшельник. — И забрало шлема опусти, вот так, молодец. А теперь совмещай красное пятнышко с броневином, правильно, хорошо... жми гашетку, давай!»

Пак сдвинул рукоять, оторвался от панели. Он не видел, как из-под брюха тарахтелки сорвалась маленькая ракета. Он увидел другое — над броневином, ползущим к перевернутому вертолету и грузовичку, полыхнуло синим пламенем, ухнуло... и осталось от «жука» пустое место да груды развороченного дымящегося железа. Пак чуть не задохнулся от восхищения. Теперь его не надо было подгонять и учить. Он расправился еще с двумя броневином, прежде чем четвертый саданул по нему самому — снаряд прошел впритирку, чуть не рассек винты.

«Вниз! Вниз давай, чтоб не видели, прячься за буграми, холмами! У тебя получится, Пак, дави от себя... Только не зависай, не останавливайся! Вперед! Осталось всего три машины! Добей их! Добей!»

Земля то приближалась, то уходила влево, вправо, куда-то

вверх. Пака бросало из стороны в сторону, но все же он удерживал машину. Дважды очереди пробивали кабину, пули с визгом отлетали от брони, от его непрошибаемой шкуры, рикошетили. Бесновался внизу Хреноредьев. Но пока Паку было не до него. Вперед!

С шестого захода он подорвал еще два броневика — так подорвал, будто всю жизнь только этим и занимался. Последний развернулся и, петляя, пошел назад. Можно было его отпустить. Но Пак не стал проявлять великодушия. Он нагнал машину и с ходу вклепил ей в корму крохотную, но смертоносную ракету. Только после этого тяжело откинулся в кресле и повернул назад, к Хреноредьеву.

Инвалид наотрез отказался лезть в вертолет.

— Ты мене лучше сразу убей, Хитрец! — заявил он, пуча безумные глазища и раскачиваясь из стороны в сторону на своих протезах. — Чтоб я по своей воле, едрена, полез в этот гроб?! Ни за какие коврижки! Он же все равно упадет, сверзится он, Хитрец, я тебе говорю, костей не соберешь! Не-е, никогда...

Пак ухватил Хреноредьева за шкуру, втащил в кабину. Так было проще. Силы пока не покидали его, хотя голос Отшельника звучал под черепными сводами все реже. Вперед!

— Драпать надо! — вопил инвалид, быстро освоившийся внутри вертолета. — Держи курс, едрена, на наш поселок, Хитрец! Дома и стены помогают.

Но Пак держал курс совсем в другое место, сверху он разглядел небольшой городишко — то ли тот, в котором гулевал с Ледой и сидел в зверинце, то ли совсем другой, не имело значения. Он налетел на это несчастное поселение коршуном. Шесть последних бортовых ракет разнесли в щепки весь центр. Перепуганный до смерти, ошеломленный народ, те, кому посчастливилось уцелеть, выскочили на улицы, на площадь... Пак косил их до последнего патрона. Пулемет на тарахтелке стоял добрый, из такого запросто слона завалить можно с первого выстрела — головы у людишек отлетали только так, иногда одной пулей, попавшей меж стен выкашивало сразу троих, пятерых...

Хреноредьев сидел и плакал. Ему было жалко беззащитных, ему было жалко самого себя — ведь расплата рано или поздно придет, это инвалид очень хорошо понимал. Но Умный Пак словно обезумел. Даже когда боеприпасов не оста-

лось, он готов был выскочить из машины и крушить все подряд кулаками.

«Прекрати! Остановись! — кричал Отшельник. — Ты тереши драгоценное время! Немедленно уводи машину, левее, левее бери! Не будь идиотом, Хитрец! Эта старая, музейная тарактелка... тебе нужна другая! Слушай меня! Скоро горючее кончится... вот так, давай! Вперед!»

Они рванули через город, за оком, который никак не приближался. Они летели быстро и очень низко. Пак больше не потел, он запросто управлялся с послушной машиной, теперь ему казалось, что с такой и младенец справится — все так просто, все так понятно, ему надо было родиться не там, за Барьером в проклятушей Резервации, а здесь, он бы им всем показал. Он и сейчас покажет.

— Не гони, Хитрец, — ныл Хреноредьев, — убьемся же к едрене-матрене! Тьфу ты, господи, железака проклятая, а летает! Домой я хочу пуще смерти, восвоюси-и-и...

Отшельник твердил другое: «Молодец! Хорошо! Надо спешить, Пак! Они еще не прочухались, ты сломил их волю! Они не привыкли к сопротивлению, они привыкли все брать голыми руками, ублюдки! Дави их! Только так! Еще немного, через пять миль база, там стоят новейшие гравилеты, это последнее твое спасение, иначе они опомнятся, они раздавят тебя как муху! Жми, Хитрец!!!»

В кабине кто-то беспрестанно орал. Пак озибался, крутил головой, пока не понял, что это в шлемофоне голоса звучат, что это такая связь, с земли, что они ему приказывают сесть, сдаться... Нет! Не выйдет!

Он рухнул на базу камнем, почти без горючего, погребая под обломками какую-то непонятную машину с коротенькими крылышками. В них стреляли сразу с четырех сторон. Но Паку было плевать. Он уже выскочил из кабины разбитого вертолета и бежал опрометью к другой машине, похожей на раздавленную. Теперь в него стреляли и сверху, с зависшей черной тени, Пак не глядел вверх, но он чуял ее загравком. Еще! Еще немного! Он снес головы двум охранникам, вырвал у одного короткоствольный пулемет, на бегу саданул по люку. И тут же врезал в броню клешней. Люк вдавило внутрь. Пришлось просовывать руку в разлом, вырывать на себя. За эти секунды пять или шесть очередей вонзились в его спину. Теперь он начинал чувствовать — боль! адская боль! наверное, поле Отшельника ослабевало.

«Держись! Ты сильнее их, все равно сильнее! Вперед!!!»

Пак влетел внутрь. Плюхнулся в кресло. Рычагов не было, лишь две небольшие рукояти по бокам от кресла, у самых подлокотников, да зеленый провал впереди.

— У-у, зараза!

Пак дернул за левую рукоять, но ничего не произошло, машина не отозвалась даже легкой дрожью. Тогда он принялся тянуть на себя правую — впустую. Именно в этот момент в кабину вполз трясущийся и жалкий инвалид Хреноредьев. Кепчонку он свою где-то обронил, треснувший костыль скрипел и прогибался.

— Не могу больше, Хитрец, — заныл он, — мочи нету-у!

— Заткнись! — оборвал его Пак.

Положение становилось опасным, в любую минуту их могли накрыть.

«Блокировкуними! — прогрехотало в мозгу, будто Отшельник сидел там и орал. — Желтая стекляшка, выше, еще выше... разбей, вдави клавишу! Скорей, Хитрец! Не тяни! Они уже на подлете!» Кого имел ввиду Отшельник, Пак не знал. Он знал другое — тут или ты, или тебя, иного не дано. Еще через секунду они поднялись в воздух. И рванули вверх, свечкой.

«Не дури! — вопил Отшельник. — Надо ползти над землей! Вниз!»

Но Пак не родился в этом кресле, и даже не обучался мастерству вождения гравилетов да гравипланов, он и сам хотел вниз. Но пока не получалось. Дважды совсем рядом разрывались то ли снаряды, то ли ракеты. Хреноредьев визжал и матерно молился о ниспослании им избавления от напастей. Никогда он набожностью не отличался, но тут припекло. Умный Пак приноравливался к рукоятям и кнопкам. Он уже догадался, что помимо него в машине сидит еще что-то такое, непонятное, которое защищает их и не дает сделать явную глупость, например, врезаться в землю. Пак радовался, умная машина! Но ежели такая есть у него, то и у других она найдется! Прав Отшельник, надо уходить к чертовой матери, как можно быстрее от базы.

Еще два разрыва опрокинули их, бросили к земле. Но гравиплан выровнялся сам, пошел ниже, развернулся. Напоследок Пак саданул по базе двумя ракетами — только пыль столбом встала, огонь прорвался сквозь нее позже.

— Ну все, сотоварищ Хреноредьев, — зловеще улыбнулся



Пак, выковыривая из плеча засевшую пулю, — ставь свечки за упокой душ грешных! Пришел наш час...

Бригадный генерал Эрдхай Манун похлопал по щеке упитанного и ясноглазого добровольца. Приложил к груди желтую звезду ордена.

— Я завидую тебе, мой мальчик, — сказал он слащаво и напыщенно.

— Служу Сообществу! — рявкнул радостный Айвэн Миткофф. Вытянулся, оскалил зубы, раскраснелся от удовольствия. Если бы два месяца назад кто-нибудь сказал Айвэну, что он станет Героем Демократии, то просто получил бы по роже за неудачную шутку. Но сейчас все изменилось, сейчас — какие могли быть шутки. Он с честью выполнил свой долг!

— Я горжусь вами, парни! — отчески провозгласил стареющий генерал, озирая строй выпученными красными глазами. — Да, горжусь! Мы пришли сюда с миссией мира и добра. И поэтому мы не дадим всякой сволочи высунуть наружу свой поганный нос! Еще только вчера, рискуя жизнями, беззаветно выполняя наказы отцов и матерей, вы разнесли к чертовой бабушке бандитское логово... Один из вас героически погиб во время выполнения миротворческого задания, мы еще не раз помянем нашего боевого товарища, вступившего в неравную схватку!

Ага, помянем, подумал улыбающийся Айвэн, этот болван Фриц просто накачался перед вылетом и выпал из гравилета, и его бы подобрали, протрезвили... так нет, погнался за какой-то толстой уродиной-мутанткой, а та, не будь душой, и приложила его чугуном черпаком. Схватка, точно, была неравной. Да плевать на этого болвана, разве в нем дело! За полдня они выгнали начисто пять поселков, в которых окопались... Айвэн Миткофф не помнил, кто именно там окопался, хотя ему говорили раза три, неважно, главное, миротворческая миссия выполнена на совесть, орден сияет на груди, там, за Барьером, когда он вернется, все парни и девчонки сойдут с ума. А чучело он еще раздобудет, и оно станет лучшим чучелом в его коллекции!

— ... когда-то давным-давно мой родной дед не жалел своей жизни, чтобы построить в этой вонючей дыре правовое государство. Три дня он героически оборонял какой-то «белый дом», от которого не осталось и развалин. Да, дети мои, это были героические времена! Сообщество вбухало трилли-

оны, чтобы покончить с этой империей зла. И оно покончило! И всю окопавшуюся сволочь, всю красно-коричневую заразу загнали в Резервацию! Нам всем, сынки, надо брать пример с наших дедов и прадедов! Это они, не жалея себя и своих карманов, установили по всей планете новый демократический порядок! — Эрдхай Манун вытащил из заднего кармана фляжку и сделал изрядный глоток. Бравые парни тут же последовали его примеру, каждый приложился к своей фляжке, крикнул, выпучил глаза, утерся ладонью и надулся еще больше. Недаром первым правилом в армии, и особенно в миротворческих штурмовых бригадах, было «делай как я!», во всем бери пример с командира. Парням нравился brave багроворожий генерал. Манун это чувствовал. — И вот мы снова здесь! — ревел он. — Это мы — передовой бастион демократии, сынки! Это мы ее могучий и беспощадный кулак! Враг снова лезет из всех щелей! Враг везде и повсюду!! Вон он, вон!!! — Эрдхай Манун вдруг замахал рукой прямо в сторону улыбающегося Айвэна Миткоффа. Тот настороженно оглянулся, за спиной никого не было. Но генерал уже не махал, он опустошал свою фляжку. Наконец опустошил, бросил себе под ноги и с невероятно воинственным и свирепым выражением лица раздавил ее толстой подошвой форменного башмака. — Вот так! Вот так будет с каждым! Кто посмеет встать на пути миротворца, мать его! Железной рукой наведем мы железный порядок во имя процветания и свободы, сынки! Мы не посраим дедов! Загоним красно-коричневую сволочь под землю, подо льды Антарктиды! Мы раскопаем каждого окопавшегося и... набьем из него чучело!!!

— Ура-а-а!!! — истошно завопил распираемый восторгом Айвэн.

За таким генералом он готов был идти и до края света.

— Урр-а-а-а... — громогласно прокатилось по рядам.

Бригадный генерал Эрдхай Манун выхватил из кобуры огромный пистолет и принялся палить в небо. И тут началось невообразимое, десятки стволов вскинулись вверх, от оглушительного грохота салюта заложило уши. Айвэн стрелял в воздух и орал, обуреваемый множеством нахлынувших чувств — да, он солдат свободы! герой демократии! и они принесут свободу и демократию на эту поганую и гнусную землю, чего бы это ни стоило проклятым окопавшимся выродкам Резервации! они с честью выполняют святую миссию мира!

— Я верю в вас, сынки!!! — перекрывая грохот пальбы, орал Эрдхай Манун. Он допивал уже третью флягу и потому еле держался на ногах. — Мы все тут герои-и, мать вашу! Мы всех в порошок... В атаку-у!!!

Свалившегося генерала унесли на носилках. Но добровольческий корпус еще долго ликовал и салютовал в мутные небеса Подкуполья. Беспрецедентная храбрость военачальника, собственной персоной объезжающего передовую и награждающего героев, воодушевляла, вдохновляла на новые подвиги.

Вчерашний заурядный охотник-любитель, по лицензии отстреливавший излишне расплодившихся выродков, проматывающий наследство папаши Айвэн Миткофф, ощущал себя теперь не праздным балбесом-гулякой, прожигателем жизни, а гражданином мира и борцом за независимость всей планеты. Он готов был хоть сейчас в бой, в атаку!

Марка Охлябина плутала по городу в одиночку недолго. Через три разрушенных квартала возле ржавой мусорки она наткнулась прямо из-за дымовой завесы на двух пьянящих баб. Бабы икали и смотрели на нее злобно, косыми, остекленелыми глазами. Одна была низенькая, толстая, почти без шеи, ноги у нее не гнулись — Марка пригляделась, точно, коленки вообще отсутствовали, зато костяшками пальцев, баба эта подобно орангутангу опиралась о разбитую мостовую. Другая была ростом с саму Охлябину, но стройнее и грудастее, глаз у нее из-под рыжей челки видно не было, да и челка эта больше походила на драную мочалку, найденную на помойке и приклеенную ко лбу.

— Куда наострилась?! — остановила Охлябину коротышка.

Рыжая не дала ответить.

— К хахалю прется, чучундра! — прошипела она гундосо. И плюнула Охлябине под ноги.

Такого Марка стерпеть не могла.

— Врешь, стерва, — заорала она, брызжа слюной, — мне хахали по хрену!

И с размаху залепила рыжей по уху. Та упала сама и завалила подвыпившую подругу. Только лежали они в подернутой муťou луже недолго. Охлябина и не ожидала эдакой прыти — незнакомки набросились на нее тигрицами, сшибли с ног, подмяли... а дальше началось такое, что сама Марка не могла понять, где ее ноги-руки с головой, а где грабли и тыквы

этих лахудр, этих чучел поганных — Марка была вне себя, она молотила обеих и получала вдвое больше. Пестрым, дико орущим и визжащим комом они трижды перекатались через лужу, выплескивая ее из берегов, спустились по мостовой к мусорке, рассыпались на миг — и снова сцепились. Какая-то заблудшая драная и голодная шавка-дворняжка, выскочившая из-за угла на шум, с ходу бросилась в кучу-малу, приняв ее за собачью свалку, но тут же вылетела наружу с прокушенным ухом и исцарапанным в кровь носом, заскулила, поджала хвост и скрылась. А яростная драка все продолжалась.

И все же Марка Охлябина взяла верх, помогла против городских поселковая выучка. Точным ударом поддых она сразила наповал рыжую. А потом, сверху вниз, всем телом, вложенным в кулаки, обрушилась на темечко коротышки. Встала как вкопанная, пытаясь усмирить дергающиеся руки и ноги. И заплакала. Не было сил молча глядеть на побитых бабенок — истерзанные, расцарапанные, все в синяках они лежали в луже и тряслись — ни подняться, ни пискнуть не смели.

— Ладно, чаво там, — махнула рукой Марка.

И вытащила обеих на сухое место, прислонила к ржавому баку, отхлестала по щекам, чтоб быстрее прочухались.

— Тебе как, дуру, зовут? — спросила она рыжую.

— Вешалкой, — ответила та, еле шевеля разбитыми вдрызг губами.

— Вешалкой? Ясно, это кликуха, а имя-то как?

— Нету имени, Вешалка, и все, — пояснила рыжая угодливо, — кто из мужиков поласковой, те Висюлькой зовут, а имени никакого нету.

Охлябина скривилась, сплюнула кровью — у нее тоже была выбита половина зубов, а два передних, самых красивых, шатались.

— Сдались вам эти мужики чертовы, — прохрипела она, — от них только вред один!

— А меня зовут Манька Пузырь, — быстро вставила коротышка, — я этих кобелей тоже не люблю!

Охлябина сразу заулыбалась, пролился бальзам на душу, наконец-то.

— Верно говоришь, подруженька! — она прихлопнула Маньку по плечу. — Я только с митингу, умных речей наслушалась выше крыши. Там прямо знающий человек один с трибуны сказал: все мужики — сволочи окопавшиеся! И ба-

бам от них только убыток и горе! Так и говорит: идите, бабы, и создавайте повсюду женсоветы! И, говорит, будет вам и колбаса, и светлое будущее, и хахалей навалом! Во-о!

Рыжая Вешалка долго пучилась на Маньку налитыми глазами. Потом протянула:

— Чего-то я не поняла... это, значит, навалом-то будет сволочей окопавшихся, так что ли?!

— Дура ты и есть дура, — Манька ткнула рыжей кулаком в лоб, — не перебивай умных людей-то, я заслушалась прямо про колбасу и эти... женсоветы. Красиво-о! Я люблю когда красиво... И мне тоже одна, умная, как-то про колбасу рассказывала — девочки, я, прям, сама не знаю, что за прелесть эта колбаса, все про нее только и говорят.

Марка одернула болтунью.

— Вот пока ты говоришь, да другие говорят, мужики-то окопавшиеся всю колбасу нашу и сожрут начисто, ясно?!

— Ясно, — откликнулась Вешалка, — надо женсовет создавать! Ты вот что... как тебя звать-то, подружка дорогая?

— Охлябиной, — кокетливо призналась Марка.

Бабы, уже не пьяные, а совсем протрезвевшие и смурные, переглянулись, кивнули одновременно. И Вешалка продолжила:

— Вот и будь ты у нас, дорогая Охлябина, как избранница от женского народа нашего маленького, но дружного коллектива, председательницей женского совету!

Марка засмушалась, засопела, закрутилась на месте ужом.

Но Манька Пузырь поддакнула товарке:

— Голова у тебя светлая, и драться ты умеешь, Охлябина, кому ж как не тебе быть председательницей?! Да мы с тобой всех этих закопавшихся и вовсе уроем! Мы их и на развод не оставим, не хрена колбасу переводить!

— Ладно, подруженьки, уговорили, — смирилась с волей народа Марка Охлябина. — Но чур без булды — скажу слово, чтоб только свист стоял. А кто против пойдет, ту из женсовету вон! И чтоб ни дна ей, ни покрывки! Согласные?!

— Согласные! — хором ответили Манька с Вешалкой.

— Вот и ладно. Вы главное, не боитесь, со мной не пропадешь! Мы баб наберем тыщи, мы весь город на мужиков подыдем! Не трожь наши права! Не посягай, сволочь, на свободу нашу! Нынче, я вам скажу прямо, демократия повсюду...

— А чего это такое? — не поняла Вешалка.

— Чего?! — переспросила с возмущением Охлябина. — Безграмотная ты, хучь и городская! Демократия, как тот умный сказал, это наша бабская власть. Нас не попирай! И думать не смей, гад...

Вешалка снова выпучилась.

— Как это, не попирай, а откуда ж детки нарождаться-то будут? — всплеснула она руками.

— Дурища ты несознательная! — обругала ее Марка. — Ты поперву светлое будущее построй, а потом про деток-то... Не хрена их и вовсе рожать, коли им никогда в жизни колбасы вволю не накушаться, верно я говорю?!

— Верно! — снова хором ответили обе.

Охлябина довольно улыбнулась, подбоченилась, здесь ее слушали, не перебивали, не материли, как этот мужлан Додя, тут ее уважали. И зачем ей, спрашивается, какой-то там Кабан, когда она и сама головой быть может, вожаком! Пускай только попадутся ей на пути, олухи, деревенщины... в город приперлись, а с женщиной себя вести не научились, хамье! А вот она не даром мучилась, не зря страдала, она-то свою правду нашла тут. А за правду и помереть не жалко.

— Ну, вот что я вам скажу, подруженьки, — начала Марка важно и сурово, — коли избрали вы меня на этот ответственный пост, не хрена нам сидеть тут да судачить о том о сем. Пора и за дело браться. Никто нам красивую и сладкую жизнь не построит, кроме нас самих. Эти окопавшиеся гады вам не тараканы, сами собой не выведутся. Их выводить надо!

Первого загулявшего мужичка они поймали через две улицы, возле подвала. Было уже совсем темно, но мужичок — хилый, лобастый и носатый — заметил рыжую Вешалку, клюнул, побрел за ней.

Тут они все втроем и навалились на «окопавшегося». Трепыхался он недолго. Манька Пузырь притащила откуда-то большую каменюку и долго била мужичка по выпуклой голове. Охлябина с Вешалкой держали его за руки — за ноги. Голова оказалась крепкой, Манька расколола ее лишь с седьмого удара. Карманы выпотрошили, найденный сухарь поделили поровну, баклажку пойла распили, повеселели. Тело спихнули в глубокую канаву, поросшую лиловым камышом.

— Ну, а повыбьем всех, — спросила Вешалка, — чего будет?

— Красивая жизнь будет, подружка, — мечтательно отве-

тила Охлябина, — как в кино! И не останется ни воров, ни бандитов, ни алкашей, ни гадов всяких на земле...

— Меньше народу, больше кислороду! — деловито заключила Манька.

Она уже приглядывалась к еще одной замаячившей впереди мужской расхлябанной тени.

— Вы видите перед собой уникальнейший образец антропомутации, господа! Вот уже без малого сто лет наш исследовательский центр отслеживает чрезвычайно важные для науки процессы, происходящие на территории так называемой Резервации. Господа...

Чудовище мутным усталым глазом обзревало публику, толпящуюся возле него. Два, иногда три захода в день, и всегда одно и то же. Это страшно утомляло. Ужас в глазах, смешанный с каким-то невероятным, преодолевающим этот ужас любопытством... и все... и пустота! Боже мой! Они боятся его — искалеченного, бессильного, превращенного в безжизненный обрубок. Почему? Почему они не боятся самих себя — калечащих, убивающих?!

— ...вырождение, охватившее Россию два века назад, достигло своей пиковой точки еще до введения режима контроля и покровительства над этим деградирующим образованием. Но мировое сообщество гуманных цивилизованных стран уже не могло остановить необратимого процесса. Всего четыре поколения потребовалось, чтобы на бывших российских землях появились вот такие, с позволения сказать, существа. И тем не менее, этот монстр наделен определенным разумом.

— О-о-о!!! — прокатилось гулом по толпе. Передние, наиболее смелые, отпрянули назад. Сообщение о разумности кошмарного мутанта повергло их в еще больший ужас.

«Ублюдки! — подумало Чудовище. — Все они самые настоящие ублюдки и выродки.» Чудовище прекрасно помнило, с каким восторгом относились посельчане, особенно малышня к туристам — они им казались небожителями: красивыми, добрыми, умными... А они оказались выродками.

— ... но мы не теряем времени даром, господа. Все вы будущие медики, антропологи, ученые. И потому вы должны знать, что наш центр проводит огромную работу по выявлению, сбору и консервации особенно интересных для науки экземпляров мутантов. Да, это огромная, дорогостоящая и неблагодарная работа. Но наука требует жертв. Мы с гор-

достью можем сообщить, — седовласый тип приподнял большие старинные очки в роговой оправе, чуть склонил голову и обвел толпу пристальным взглядом, — что в самое ближайшее время в ваши учебные заведения для детального изучения и вивисекции поступят первые десятки и сотни выловленных в Резервации особей. Не сомневайтесь, господа, никто, ни один из вас не останется без добротного материала для научных опытов и исследований!

Его последние слова потонули в шуме одобрительных возгласов и рукоплесканий. Будущие медики не скрывали своего восторга.

Один, черненький, вертлявый и шустрый, подкрался поближе и дернул Чудовище за свисающую безжизненную конечность. Глухой нутряной стон содрогнул увечное тело, вырвался наружу. Толпа снова отпрянула.

— Господа, — взволнованно заблеял седовласый, — я вас предупреждал, будьте крайне осторожны! Мы еще не знаем всех скрытых возможностей этих животных...

— Так чего ж вы медлите, профессор, — встрял черненький, — наука не стоит на месте, мы не можем выжидать милостей годами. Надо их резать, препарировать, все и прояснится!

Седовласый одобряюще поглядел из-под очков на пытливого ученика, кивнул ему, улыбнулся и ответил уклончиво:

— Всеу свое время, мой юный друг.

Чудовище втянуло стебель глаза в глазницу. Всеу свое время. Разве знало оно, что придут такие времена... ну почему его не раздавило этим огромным броневиком? Почему?! Уже много раз, почти после каждого пробуждения в этой жуткой и невыносимой неволе оно пыталось сорваться с тумбы, надувалось, напрягалось, переставало дышать в надежде, что трубки и шланги, питающие его, продлевающие страшную жизнь, вырвутся, выскочат... нет, все было сработано на совесть, все было рассчитано надолго. Чудовище еще не знало, с кем имеет дело.

— Запевай! — рывкнул Гурыня на всю вселенную.

И бредущие за ним бесчетные толпы, подгоняемые вышагивающими по бокам пятнистыми, заголосили на все лады:

Мы маршем радостным иде-ем!
И за свободу все помре-ем!

И-ех, независимость!
И-ех, дырьмократия!
Врага побьем, к едрене ма-те-ри!

Песня звучала нескладно, но зато лихо. Недаром разучивали три дня, прежде чем выступить в поход на восточных притеснителей и узурпаторов. Тон задавала бодро топающая молодежь. Старики и бабы плелись позади, не отставая. Правда, с обмундированием и оружием было плоховато — кто шел с дубиной, кто с мотыгой, а кто и просто по карманам камней набил — но ведь это дело временное, каждый верил, в бою добудет себе настоящее оружие. Народец Подкуполья пробуждался.

Сам Гурыня ехал на президентской колыхаге. Ехал и поучал избранного народом президента Западного Подкуполья.

— Перво-наперво, надо границы разграничить, падла, и свою земельку вернуть, проволоку натянуть, трубы перекрыть и везде, падла, дозоры поставить с пушками...

— Нету пушек-то, — разводил руками всенародно избранный — дородный мужик с крохотными пороссячьими глазенками, красными щеками и обвислым носом-огурцом, был он самым валяжным и представительным среди посельчан, потому и избрали. Звали президента Микола Гроб. И рассуждал Микола серьезно: — Нету и взять неоткуда.

— Это ерунда, падла, — не желал слушать отговорок Гурыня, — пушки мы отобьем у гадов... Или закажем за барьером, продадим половину земель за пушки, а себе у этих сволочей ихнюю половину отвоюем!

— Толковое решение, — чесал в затылке президент.

— Еще бы! Нас уже скоро признают во всем, падла, цивилизованном мире! Послов пришлют! — Гурыня испытующим взглядом пронизал президента независимого Западного Подкуполья. — Ты, Микола, послов-то хоть видал?

— Не-е, не видал, — признался президент. — Чаво нам с послами делить-то? Мы народ смирный... а землю продадим, непременно продадим! Главню, чтоб пушки дали и пойло включили, а то краны-то пустые стоят, народ сумлевется насчет дюмократии... и еще бы колбаски, хоть малость, нам с бабой?

Гурыня похлопал Миколу Гроба по спине.

— Будет тебе колбаса! — сказал он великодушно. — Вот побьешь, падла, восточных, все будет!

И словно заверяя его в своей решимости и непреклонности, тысячами голосов грянуло сзади:

И-ех, независимость!

И-ех, дырьмократия!

Врага побьем! Врага побьем!!

Врага побьем, к едрене ма-те-ри!!!

Колымага скрипела и раскачивалась на колдобинах. Два здоровенных детины волокли ее спереди, еще двое бугаев толкали сзади — президенту было не с руки идти своим ходом, не цареву это дело. На огромном сером полотнище, выющемся над полками, красовалось жирное и четкое: «Даеш сузивинитет!» Стая бродячих шавок бежала следом и радостно тявкала. Никто не сомневался в успехе операции.

— Вон они, падла, летают, — важно говорил Гурыня президенту и тыкал обрубком пальца вверх, в грязные, сочащиеся мутью тучи, где трещали зависающие и срывающиеся с места тарактелки, — Забарьерье нам поможет, там права народов превыше всего, там за ето дело рожу на задницу натянут. Гуманисты, падла!

— Доброхоты, — важно кивал Микола.

Ближе к границе, которой еще не было и которой восточные недруги пока не знали, Гурыня спрыгнул с колымаги. И дал последнее наставление президенту:

— Окопавшихся не щадить! В переговоры, падла, не вступать! И помни, Микола, за свободу на смерть идешь, народ у тебя верит. Ты видал народный суд?

— Видал, — дрожащим голосом признался президент. Еще бы ему не видеть, как забивали камнями смутьянов и всяких несогласных с демократией.

— То-то! — Гурыня сунул президенту кулак под нос. — И еще помни: каждый твой шаг сверху виден, падла, тарактелки они не зря летают. Головой отвечаешь, Микола, за народное счастье. Понял, падла?!

Президент совсем расстроился. Но виду не показал. Только спросил:

— А вы где ж будете?

— Там, — махнул рукой Гурыня, махнул в совершенно неопределяемом направлении, — за оврагом. У нас, Микола, миссия особая, наше дело, падла, пробудить народишко от спячки, просветить его, дать дубину праведного гнева в руки — и вражину подлую указать. А там уж, падла, сам народ свою дорогу выбирать должен, усек?!

— Усек! — бодро ответил президент Микола. И поглядел на лежавшую в колымаге женушку.

Та спала и сопела в две дырочки. И снилась ей колбаса, много, очень много колбасы.

Первым делом, когда сквозь дым показался вражий поселок, колымагу с президентом затащили на пригорок, окружили кольцом наиболее верных и крепких бойцов народной армии. Потому как президент, объяснил всем Гурыня, был гарант и оплот. Президента полагалось беречь пуще зеницы глаза! А управу над ним могли творить только лишь из Забарьеря, из сообщества. А то как же иначе, каждый борец за демократию, а иных просто-напросто и не имелось в Западном Подкупольи, иных уже повывели, все понимал верно.

С пригорка было видно плоховато. Но лучше, чем из канавы или оврага. Могучая армия ждала слова избранника.

И оно прозвучало.

Микола Гроб встал в полный свой дородный рост, надулся, насупился и завопил, как учили:

— Мужики! Бабы и пацаны! Тама засели захребетники проклятые и обиралы! На нашей земле засели... падла! Вон они, окопались! — Президент увидел вдруг четверых местных мужиков, что выглядывали без боязни из-за тына и скалились, не соображая, за чем гости пожаловали, да еще так много гостей. Местным было все невдомек. — Вон они! Гони их и бей, робята! Навали-ись! Флаги вперед! Пошли-и-и, родимые... за ету, за... как ее... за дюмакратию-ю!!!

Толкая друг дружку, зашибая дубинами и мотыгами, матерясь, вопя, пихаясь и отдавливая пятки, с криком, ором, матом и бабьими визгами народная армия бросилась на супостатов.

Побоище получилось долгим, путанным и бестолковым. К ночи выяснилось, что поубивали больше половины своих, перебили всю посуду в хибарах, передавили кошек и собак, повытаптывали огороды, но вражину — всю до последнего мальчика, до древней бабки вышибли из огромного поселка к оврагу-отстойнику да там и уложили на времена вечные. До полудня следующего дня таскали бесполезные уже тела своих, павших за демократию и независимость, к тому же оврагу, топили в мутной болотистой жиже. Вечер и всю ночь гуляли, похваляясь ратными подвигами и добычей.

А наутро президент Микола разбудил всех похмельным диким криком:

— Не время спать, мужики! Враг хитер и коварен, падла!

Это только начало нашего великого походу за дир... дырмократию, падла! Запрягай колымагу, господа, мать вашу! Становься в ряды-ы!! Запевай!!!

И-ех, независимость!

И-ех, дырмократия!

Врагов побьем, к едрене ма-те-ри!

Додя Кабан и Кука Разумник сами не заметили, куда подевался шустренький старичок Мухомор — пропал будто его и не было.

— Ну и хрен с ним! — решил Додя, познавший правду, но растерявший всех паломников, всю свою дружную ватагу.

— Без него обойдемся, — поддакнул Кука.

Два дня они ходили по городу с флагом и транспарантом, заглядывали во все подвалы, выискивали противников нового мировоззрения. Поиски были не очень удачными, и все же пятерых доходяг они выискали, забили ногами. На вечерний митинг у столпа демократии они шли с чувством выполненного долга.

Но пророк и глашатай новой светлой жизни орал, обращаясь не к одним лишь Доде с Кукой, а ко всей возбужденной и просветленной толпе.

— Мало! Мало, негодяи и ублюдки! Для победы нового порядка во всем мире никогда не будет много! Ибо сказано: изблюю из уст моих недруга моего и покараю без разбору! Ибо не мир, но меч! Ибо не слово, а топор! — Буба Проповедник раскачивался из стороны в сторону и вместе с ним раскачивалась, скрипела высокая трибуна. — Идите же по городам и весям! Несите, подонки, слово правды и вбивайте его в темные головы топорами! И вбирайте в ряды свои просветленных! И идите дальше... в царствие светлое и непорочное, где всем вам воздастся по делам, где тем подлецам из вас и негодяям, что не горячи и не холодны, бошки-то живо поотрывают! Ибо царствию тому имя — демократия! Ибо которым не демократы там уготованы муки вечные в геенне огненной! Идите же судиями праведными и беспощадными, карая аки перст небесный от мала до велика! Идите, ублюдки, и обрящете!

Зачарованный Додя стоял еще долго после окончания митинга и глядел просветленным взором в свинцовые небеса,

туда, где таилась святыня на столпе. Кука Разумник не смел его отвлечь от общения со сферами горными. Но когда Додя вышел из забытья и прострации, он сказал одно лишь слово:

— Идем!

И они пошли нести благую весть по городам и селам, весть о грядущих переменах, о светлой жизни, демократии и колбасе.

Шли они долго, город давно закончился, и пригороды закончились, и встало солнце, и зашло солнце. А они все шли и шли. Шли до тех пор, пока Додя не споткнулся обо что-то невидимое в сумерках и не полетел носом в битую щебенку.

— Куда-й это ты? — поинтересовался Кука Разумник.

И полетел следом.

Но этим дело не кончилось. Додя Кабан, хотевший было заорать во всю глотку, заругаться, заматериться, почувствовал вдруг, как на шее сжимается удавка какая-то, вцепился в узкую нить обеими руками и только пискнул по-мышьиному. А вдобавок ко всему сверху, прямо на спину ему кто-то уселся и довольно захихикал.

— Моя все помнит, — проникло в уши задыхающемуся, — моя большой обида, начальник!

Додя ловил воздух ртом как рыба, пучил глаза и ничего не понимал. Поначалу он брыкался, а потом и брыкаться перестал — ноги спутали, связали чем-то.

Вместе с таким же спеленутым Кукой Разумником их прислонили к обросшей мхом стене-развалине, ослабили удавки. Додя долго дышал, ничего не соображая, сипя и хрипя. А потом вдруг увидел прямо перед собой круглую улыбающуюся харю в надвинутой на уши тюбетейке.

— Ты нэ Кабан, — сказала харя с расстановкой, — ты шакал! И Кука твоя — шакал!

Это было невероятно, Додя с трудом узнавал в разевшейся харе односельчанина, паломника и правдоискателя Мустафу. Мустафа отпустил усы серпом к подбородку и налился нутряным жиром. Но он был не один, еще трое таких же дюжих мужиков в халатах и тюбетейках восседали перед несчастными пленниками и прожигали их насквозь темными и недобро поблескивающими глазками. Додя Кабан понял — Мустафа нашел своих, значит, будет «обиду мстить» и «ордой идти». И ничего не попишешь, имеет право — демократия, как было напроорочено, самоопределение и независимость!

— Хороший ты мужик, Мустафа, — заюлил Додя, — я



всегда в тебя верил! Ты сам знаешь, души я в тебе не чаял и никогда не обижал. Ты, небось, меня с Доходягой перепутал? Так этот придурок потерялся куда-то...

— Моя нэ путала, — сказал Мустафа отрешенно, — моя твоя резать будет, как барана!

Трое других важно, с достоинством закивали, они явно тоже собирались «резать» Додю Кабана, а заодно с ним и дрожащего, потерявшего со страху голос Куку Разумника.

— Ты чего, Мустафа, родимый, мы ж с тобой последний кусок делили, одну Лявву... Я ж к тебе как к брату!

Лицо у Мустафы скривилось — горько и страшно.

— Брату, говоришь? Моя тэбэ мэншой брата будет, так говоришь?! Однако, сволач твоя, коричневый сволач и красивый! Обмануть моя хочэш? Плохо хочэш! Будэм резать, пажалуста!

Рядом дико охнул и замолк Кука Разумник. Додя скосил глаза — один из сидевших дотоле распарывал Куке, уже бездыханному, брюхо, освеживал его. Двое других глотали слюнки, ждали и алчно поглядывали на Додю.

— Не надо, брат, друг, — заверещал тот заполошно, по-бабьи, — не надо-о-о!!!

— Нада! — процедил Мустафа.

И огромный кривой нож вонзился в открытое горло Доде Кабану.

Мустафа долго, не шурясь и не моргая, глядел на дергающееся в агонии тело. Потом подтянул к себе за конец Додин шарф, который был примотан к древку и служил последние дни паломникам флагом, обтер об это знамя молодой демократии свой тесак, а само знамя отшвырнул в груды помоев.

Тем временем Доходяга Трезвяк прятался за одним из огромных чугунных шаров. Он давно вынашивал мысль подкараулить бывшего поселкового сумасшедшего и поговорить с ним начистоту. Доходяга видел собственными глазами, что каждый из паломников нашел в городе какую-то свою правду, но сам он, как и был, оставался «фоמוю неверующим». Да и почему, собственно, он должен был верить на слово всяким там бубам и прочим болтунам.

Наконец счастливый миг настал.

Доходяга уже стоял у подножия трибуны, когда обессиленный пророк, свалился с нее, угодив прямо в подставленные

носилки. Два обормота с тупыми и осоловелыми лицами поволокли носилки к дыре, что вела внутрь одного из шаров. Рядом с ними вышагивал невзрачный тип в сером. Тип был совсем не страшный, и потому Трезвяк бросился вдогонку, благо их разделяло всего три-четыре шага.

— Буба! — выкрикнул он, шалея от собственной смелости.

Невесомое тело вздрогнуло и ожило, повернуло вихрастую, конопатую и безухую голову к наглецу, посмевавшему нарушить покой проповедника и глашатая. Немой вопрос застыл в косых, сходящихся к переносице глазах.

— Буба, — повторил Трезвяк глуше, начиная робеть не на шутку, — ведь ты же Чокнутый?!

— Чего он там мелет! — возмутился человечек в сером.

— Вот приидут судьи, — пробормотал в полузабытии обесиленный мессия, — и врежут этому обалдую Трезвяку по мозгам, аки псу смрадному и бездомному!

— Признал! — обрадовался Доходяга, заглянул в глаза серому. — Вы слышали, он же признал меня! Сам пророк признал меня!

— Дурдом какой-то, — в изнеможении выдохнул серый пристебай.

Носилки протащили в дыру, лязгнула ржавая решетка. Но Трезвяк успел проскочить внутрь, держась за самый край носилок и безотрывно глядя на Бубу.

— Вышвырнуть вон! — приказал серый, когда заметил незванного гостя.

Обормоты послушно поставили носилки, чуть не выронив Бубу. И пошли с кулаками на несчастного Доходягу. Тот затрясся, встал на колени и воззвал к серому истово:

— Я ж за правдой пришел!

Обормоты оглянулись на шефа, ожидая дополнений к приказу.

— Щас будет тебе правда, недоумок! — зловеще прошипел тот. И тихо спросил каким-то проникновенным и властным голосом, от которого у Трезвяка на голове волосы дыбом встали: — Чей агент? На кого работаешь?!

Трезвяк растерялся, побледнел, закатил глаза и бухнулся лбом о заросшие грязью доски пола — слов для объяснений и оправдываний у него не было, оставалось лишь выказывать свою покорность.

— Отвечать!!!

Трезвяк со страху обмочился и окончательно потерял дар

речи. Его бы и вышвырнули вон, но в эту минуту из-за спины серого выявилась пошатывающаяся фигура Бубы с бутылкой в руке.

— У-у, гад! — сказал Буба с пьяной злобой.

— Он на самом деле известен вам? — тут же спросил серый у пророка.

Чокнутый долго смотрел на пристебая, будто впервые в жизни видя его, потом потряс головой, ткнул пальцем в сторону Трезвяка, икнул и выдал малоразборчиво:

— Вот он и есть окопавшийся... ик! Я его, паскудину, сразу узнал!

Буба все-таки не удержался, рухнул. Но обормоты тут же подхватили его под белые ручки и поставили на ноги.

— Окопавшийся? — глубокомысленно произнес вслух серый. — Что ж, это хорошо. Вот мы завтра и устроим показательный суд над выявленным врагом демократии. Да и расстреляем его другим в науку! — и пристебай энергично потер руки, заранее предвкушая грандиозное зрелище.

— Суд! — завопил вдруг Буба Чокнутый, будто его окатили ледяной водой. — Суд праведный! Чтоб всех без разбору! К едрене-матрене! Пособников, агентов, агнцев и козлиц!

Пророка уволокли. А несчастного правдоискателя Трезвяка приковали на ночь к ржавой решетке, чтоб не сбежал до суда и поставили перед ним миску с баландой и кружку воды, чтобы не окочурился раньше срока.

Всю ночь Трезвяк не спал. Мучился он ужасно, терзая себя и проклиная, сожалея, что поселковые сотоварищи во главе с Додей Кабаном и Татой Крысоедом не сожрали его еще тогда, в те благие и давно ушедшие времена. Трезвяка трясло, бросало то в жар, то в холод. Он представлял, как в него летят камни — один, другой, третий, как трещат переламываемые кости, как хрустят ребра и лопается череп. Он умирал с каждым таким камнем, и оживал перед следующим броском, чтобы умереть в ужасных муках снова и снова. Кроме того где-то за стеной всю ночь буянил, орал и непотребно ругался Буба Чокнутый, явно впавший в запой и окончательно потерявший разум. Не ожидал Трезвяк от него такой подлости, не ожидал!

Под утро Буба приполз к решетке на карачках с бутылкой в руке. И зарыдал на плече у Доходяги.

— Земеля-я, браток, — разводил нюни он, — ты же мне-е как родня-я, я ж тебя за волосы драл, я ж твою-ю пайку поила

сосал! Ты помни-и-ишь, как отдавал мне пойло-о-о?! А я-я... Дай я тебя поцелую, Доходяга!

Буба облапил распухшее от слез лицо узника, облизывая, обдал жарким и сырым винным духом из своей раззявленной пасти. Бубе было безмерно жалко односельчанина, до коликов в животе и бабьего рева. Припоминались долгие годы в Подкуполье, припоминался поселковый совет и дурацкое, обрыдлое, но безмятежно-счастливое время, которому, казалось, не будет конца и краю. Золотой век! От бурлящих внутри чувств Буба позабыл про высокий стиль и мудреные слова — пустое все и лишнее. Ему даже показалось, что не под решеткой поганой внутри чугунного шара сидят они, а под трубой с краником, на прелой соломе, и что никого за тыщу верст нет, и что капает сверху пойло, и веселит нутро, а Трезвяк, как и всегда отдает ему свою дозу и мелет какую-то чепуховину о своих сомнениях и тревогах... Нет! Все это ушло безвозвратно, такого больше не будет никогда, как не будет детства и юности, первого поцелуя и первого шприца с наркотой. И-ех, Трезвяк, Трезвяк!

Буба глотнул из бутылки. Потом сунул ее в рот Доходяге. Тот отпихнул горлышко, зачистил плаксиво:

— Буба, Буба, отвяжи ты меня, ради всего святого, засудят же они, точняк, засудят... ну а в чем я виноватый, спаси меня, спаси, Буба, не дай пропасть, ведь ты же убедился, что это я, Трезвяк, ты помнишь...

— Помню, помню! — проворчал Буба. — На вот лучше глотни!

Трезвяк покорно глотнул из бутылки, ошалел от единственного глотка — с непривычки и по старой, запущенной винной болезни. Бухнулся Бубе в ноги.

— Будь моим спасителем, Христа ради!

— Спасителем? — переспросил Буба, кося налитые глаза.

— Ага, — угодливо поддакнул Трезвяк.

Буба утер слезы, надул губы, поглядел на прикованного сверху вниз.

— О себе пекешься, ибо жалок и смертен, — пророкотал он совсем на иной манер, будто перед паствою, — ибо смраден, гнусен и подл есть. Но и ты, тля, зришь во мне Спасителя... Говори, червь земной, зришь?!

— Зрю! — как на исповеди поведал Трезвяк.

— То-то! — Буба встал, расправил плечи и вознес длань над безухой головой. — Но знай тогда, что аз ниспослан в мир

сей не всякую сволочь спасать и кретинов безмозглых, но род человеческий!

Трезвяк успел схватить обеими руками Бубин башмак, припал к нему, с горячностью принялся осыпать его поцелуями, перемежая их страстной мольбой.

— Буба, Бубочка, слугой верным буду, спаси, пощади-и-и...

— Изыди, лукавый! — отдернулся Буба. И тут же пнул Доходягу нацелованным башмаком под глаз. — Изыди! Аки бес в пустыни! Аки демон окопавшийся! — Но не удовольствовался словами. И слабеющей рукой хряснул бывшего односельчанина по склоненной голове — недопитая бутылка разлетелась осколками.

Удар получился веский: все страхи, боли и тревоги покинули Доходягу Трезвяка, будто вышибленные наружу вместе с душой. И он утих на пыльном полу.

Буба отошел подальше, спрятался за угол, потом выглянул из-за него и погрозил еле дышащему бесчувственному телу корявым пальцем.

— И пребудут грешники и святые в покое до суда праведного, ибо суди не суди, а гореть им в геенне огненной всем без разбору! — Потом огладил ладонью давнишнюю и непроходящую шишку на своей бугристой голове — как напоминание о суде уже свершившемся, и добавил машинально: — Едрена-матрена!

Там, дома, за Барьером у Айвэна Миткоффа все дни были выходными. Здесь в Подкуполье он не любил выходных дней. И страшно скучал, когда не было вылетов и выездов в миротворческие карательные рейды. Но по внутреннему расписанию добровольческой дивизии выходным был каждый шестой день. Каждую субботу приходилось торчать в части — это называлось быть в резерве.

Айвэн сидел перед мерцающим экраном телеящика и потягивал пиво из банки. Показывали всякую ерунду: от бесконечной череды развлекалок и до безумия идиотических висторин, перемежаемых назойливой рекламой презервативов и прокладок, Айвэна уже тошнило. И потому, когда на экране появилось крупным планом лицо знаменитой телеведущей, он с облегчением вздохнул. Лицо это горело праведным гневом, возмущением и алчностью. Ведущая была похожа на крысу, унюхавшую свежатинку.

— Да, — затараторила она с невероятной скоростью, — то, о чем предупреждала весь мир наша прогрессивная общественность в лице известных поборников демократии и советников по правам человека, свершилось. В это трудно поверить, но к серии чудовищных террористических акций, проведенных боевиками из Подкуполья, прибавились новые злодеяния. Вчера был совершен массированный налет на Гамбург, в результате которого разрушено свыше четырехсот зданий, сожжены портовые сооружения, крупнейшие в Европе супермаркеты... по оценочным данным в результате налета погибло до восьмидесяти тысяч человек и около полумиллиона ранены... До этого убийцы-мутанты подвергли обстрелам пригороды Берлина...

Айвэн допил пиво и отшвырнул банку. Ему было плевать на жителей Гамбурга и портовые сооружения. Он знал, что крыса-ведущая по врожденной привычке к вранью загибает и преувеличивает все раз в двадцать, было бы совсем неплохо, ежели б «убийцы-мутанты» подвергли обстрелам ее саму. Айвэн Миткофф видел собственными глазами этих «убийц», и его было трудно провести — смиреннее и беспомощнее обитателей Подкуполья никого в целой вселенной не найдешь. Он уже собирался вырубить ящик, когда нос у крысы вытянулся еще сильнее и задрожал в предчувствии острого душка сенсации.

—...вот только что! Вот прямо сейчас в нашу студию принесли сообщение! Да! Наконец-то президент принял решение о немедленном вводе в Резервацию регулярных воинских соединений быстрого реагирования для нейтрализации баз боевиков и поддержания демократического процесса! Сорок дивизий уже переходят границы Подкуполья! Как долго мы ждали этого светлого часа, этого торжества подлинной демократии!

Крыса еще кричала, визжала, радовалась чему-то. Но Айвэн Миткофф уже не слышал ее. Он чуть не вывалился из кресла, услышав про входящие дивизии. Как? Почему?! Не может быть! Для него, солдата свободы и Героя Демократии, это сообщение стало ударом ниже пояса. Подлецы! Негодяи! Они же пройдут огнем и мечом, не оставляя после себя ни травинки! Это конец! А он, наивный дурень, все откладывал свое, личное, самое дорогое на потом, на десерт! Он так и не добыл ни одного стоящего чучела! Простофиля! Болван!

Айвэн бежал в бронепарк, охлопывая себя по бедрам, проверяя револьверы, патроны, бежал, обуреваемый одной мыслью — успеть! успеть!! успеть!!! пока всех мутантов без разбора не выжгли плазмометами и не вдавили в грунт траками. Сорок дивизий! Сволочи! А ему что, возвращаться восво-яси без трофеев? Он знал, что коли вводят регулярные части, то несчастных добровольцев отправят на заслуженный отдых с почетом и цветами. Нет, не бывать тому!

Он отшвырнул в сторону дежурного, обругал его и тут же бросил столларовую бумажку, чтоб не обижался. Вскочил в броневи́к, проверил зарядный блок микроплазмера, пулеметы и прочее хозяйство. На всякий случай.

— Н-но, родимая! — закричал он, выжимая полный газ.

Все гравилеты были на замке. Ну и плевать. Он и по земле доберется, куда надо, с земли лучше видно. Правда, на двести миль от базы ни черта живого не найдешь, но и это не беда — для резвого броневи́ка двести миль — час ходу. Он обернулся назад, проверяя, много ли места под броней — ничего, хватит, сиденья можно пристегнуть к стенкам, больше трофеев влезет!

После того, как тайный соглядатай-стукач впал в очередной запой, Гурыня решил, что с ним надо кончать. Но кончать так, чтобы никто ничего за Барьером не узнал. Он отволол пьяного в глубокий подвал, поставил рядышком с ним канистру пошла. И два дня выжидал — вылезет или нет. Потом послал двоих местных ублюдков из народно-освободительной армии с одним большим мешком. Народоармейцы сунули тупо мычащего стукача в мешок, вместе с рацией, блокнотом для донесений и канистрой, для весомости подложили туда же четыре добрых булыжника, отволокли к отстойнику да и утопили — только пузыри пошли.

И Гурыня вздохнул привольно. Даже найдут коли, с него-то какой спрос? Он свое дело делает. Правда, дел все меньше и меньше — все поселки да городишки Подкуполья передрались, перегрызлись меж собой, ожесточились, озлобились — попробуй встрянь между ними, живо бока наломают, нынче так запросто не повешаешь людишек — все, кого можно было повесить да побить, смиренные да тихие, уже побиты и повешены, остались гады какие-то окопавшиеся, злые как псы цепные и гиены. Их теперь не унять. Каждая сволочь за свободу и демократию будет драться до конца, и оружия откуда-то

стало навалом, раньше вовсе железняк не было, а нынче хоть забор из них городи.

Больше половины пятнистых, прошедших выучку за Барьером, уже сбежали от Гурыни — загуляли по вольной и бесшабашной жизни, многие сами стали атаманами да вожаками и куролесили теперь, не щадя ни животов своих, ни окрестного люда. Короче, цивилизация медленно, но неотвратимо проникала, проползала в дремавшее доселе болото Резервации.

Гурыня сидел на кочке и грыз и без того обгрызенные ногти. До него начинало доходить, что забарьерные падлы выжали его как лимон и выбросили, почти выбросили. Исполнительские планы рушились как песчаные замки. Еще два месяца назад он не терял надежду, что скучкует вокруг себя всех резвых да шустрых, соберет такую ватагу — только дым пойдет, а там и вся власть в Подкуполье окажется в его лапах, а там и сообщество этих забарьерных гадов-туристов признает его, ежели не владыкой Резервации, то хотя бы наместником, губернатором. Размечтался! А вышло — хрен с маслом! Гурыня бормотал под нос проклятья. Все зазря! Все впустую! Они с соглядатаем-стукачом и всей цоблой тыщи диверсий организовали! сотни поселков и городишек перебаламутили! три суверенных, падла, — научился-таки выговаривать проклятушее словцо! — государства сколотили и три народных армии! принесли недоумкам подлинную свободу! А что взамен? Ни хрена! Даже эти независимые президенты, которые, казалось, еще вчера стояли перед Гурыней навтыжку с руками по швам и трепетали, сейчас забурели, налились жиром, окружили себя вооруженной до зубов охраной и его, наставника и учителя, на порог не пускают! Вон, Микола Гроб, подлюга, добра непомнящий, заматерел, падла, шесть стран независимых со своей ордой прошел, везде шороху навел, камня на камне не оставил... а туда же, получил нового советника из Забарьерья, а его, Гурыню, благодетеля своего объявил нежелательной персоной да вон вышвырнул. Падлы! Ну ничего, он их еще достанет! Ногти у Гурыни были изгрызены до корней.

Пятнистые пьянствовали в последнем не разгромленном до основания домишке. Гуляли! Мешать ребятам не стоило, они заслужили право повеселиться, отвести душу. Но сам Гурыня не мог веселиться. А душа его была чернее ночи.

— Падлы! — хрипел он. — У-у, падлы!

Здоровенный турист в голубой каске миротворца высо-

чил из-за руин внезапно и бесшумно. Гурыня и пикнуть не успел, как стальная лапа сдавила его горло, приподняла. Серые глаза миротворца глядели из-под каски холодно и вместе с тем заораживающе, глядели прямо в черную Гурынину душу.

— Ты чо, падла, — просипел Гурыня из последних сил, — ты чо, я ж сво-ой! Меня...

Договорить он не успел — что-то острое и жгучее вонзилось в подбрюшье, крутанулось там, дернулось и вышло наружу. Горячими струйками обожгло ноги. В глазах у Гурыни померкло. И душа его изошла из тела — может, через продырявленную миротворцем дырку, может, через какую другую.

Айвэн Миткофф приподнял повыше обескровленную тушку мутанта. Пригляделся получше. Дрянь экземплярчик попался: брюхо бурдюком свисает к кривым коротким ногам с длинными, почти кроличьими ступнями, корявые лапы-обрубки, узкие костлявые плечи, длинная, неестественно длинная шея, змеиная голова дегенерата, обвисшие слюнявые губы, обезьяньи ноздри, покатый лоб... Дрянь! Таких при желании и за Барьером можно найти. А в броневики осталось мало места — на два-три будущих чучела.

Айвэн отбросил труп мутанта, безгласно потрянул рукой. И легкой бесшумной поступью бывалого охотника заспешил на раздающиеся из развалин голоса.

Голова не держалась на шее. Отшельник клал ее на каменный выступ в нише, так было полегче. Из его набрякших вен торчало уже три ржавых старых иглы, одной не хватало. В змеевике гудело и булькало постоянно. Но мозг жил, вопреки всему жил. Глазу не на чем было остановиться — пещера теперь больше напоминала склеп покойника, чем жилище еще живого существа. Зато внутренним взором Отшельник видел все, почти все.

— Хитрец! — кричал он, казалось, на всю свою берлогу. Но это только казалось, звуки не вырывались из его клювика. — Ты слышишь меня?

— Слышу, — отзывалось под сводами.

— Тебе надо уходить. Пора! Хватит играть с огнем!

— Мы только начали, — огрызался Пак. — Мы еще не всех тут побили!

— Нет! Ты не понял меня, Хитрец! — вещал Отшель-

ник. — Я даю тебе силу... но сейчас она нужнее здесь. Ты давно не был в Подкуполье, ты не представляешь, что здесь творится. Возвращайся!

— Представляю! Видал по ящику...

— Это было давно, три дня назад. Сегодня они ввели войска, очень много войск, со всех сторон — с запада и востока, с севера и с юга. Они убивают всех без разбору, беспощадно, это не люди, Хитрец! Они не трогают только три больших города, где шурует их агентура. Эти города они показывают по всему миру, мол, демократия торжествует и процесс пошел. Но всех прочих они истребляют, они выжигают дотла поселки, они травят газами беженцев. Ты не перебежешь всех в Забарьерье, их там восемь миллиардов... Ты играешь им на руку, Хитрец! Хотя я очень хорошо понимаю тебя. Возвращайся! И не бойся — гравилет проходит сквозь Барьер! Хватит воевать с детьми и бабами! Тут есть дело по-серьезнее!

Пак долго молчал. Потом с трудом, будто ворочая глыбы, сказал:

— Ладно, твоя взяла.

Отшельник вытянулся в нише. Он видел дымящиеся руины, видел трупы на улицах Гамбурга, видел запекающуюся кровь. Но он знал, что виновен в ней вовсе не Пак, власти могли обезвредить его с самого начала, могли «нейтрализовать» и потом, сотни раз. Но они не делали этого. А теперь, когда войска введены в Резервацию, когда по всей планете на улицы вываливают толпы с требованием выжечь эту язву деградации с лица земли, когда уже сотни миллионов по всем странам Сообщества скандируют хором: «Наказать убийц!» и «Покончить с Резервацией!», теперь они сделают это. Надо спасти Пака.

Дивизии, бронированные дивизии — тысячи танков, тысячи бронемашин, тысячи штурмовых самолетов, десятки тысяч вооруженных до зубов и выдрессированных убийц! И все же надо пока жить, пока... По хилому тельцу Отшельника прокатилась волной судорога. Да, они использовали ярость и ненависть Умного Пака в своих целях. Но и он дал им жизни, он доказал, что и х можно истреблять тоже. И ради этого стоило идти на риск. Ведь для вторжения они, эти подлинные выродки, нашли бы предлог. Любой предлог! Так что прочь сомнения, все верно! Теперь задача сохранить Пака, сохранить таких как он, несдающихся, готовых драться за себя, за свой народ и свою землю, готовых мстить до последнего. Сохра-

нить любой ценой! Вот только после этого можно будет издохнуть, только после этого...

Пробуждение от сна в который раз отозвалось тягучей и неизбывной болью. Чудовище с трудом разлепило глаз, долго не могло перейти грань между наваждениями и явью, которая была страшной любого наваждения.

— Прошу прощения за беспокойство, — то ли проговорил, то ли пропел своим тягучим голосом человек, не обретший еще четких очертаний, расплывчатый и ускользающий. — Много наслышан о вас, прелюбопытно было взглянуть самому. Впрочем, я забыл представиться — Сол Модроу, советник президента.

— Что надо? — буркнуло Чудовище.

Посетитель ничуть не смутился грубостью и неучтивостью.

— Да, впрочем ничего и не надо. Погляжу, да и пойду к себе. Вы и на самом деле прелюбопытнейший индивидуум... вот тут данные высвечиваются — один только мозг весит восемнадцать с половиною килограммов, однако! И при этом — человек, как ни крути! Я, знаете ли, все больше по вопросам зоны, Подкуполья, то есть. Нет, вам не надо было уходить оттуда, вы сами себя и погубили. Ладно, давайте посоветуемся с вами, как же сделать так, чтобы ваши собратья не выходили из зоны?

Человек обрел ясные очертания, и Чудовище увидало, что он уже в возрасте, полноватый, весь какой-то обтекаемый и скользкий. С таким лучше говорить напрямую, без реверансов и вывертов.

— Убейте всех, вот и решение проблемы, — глухо проворчало Чудовище.

— Гениально, — изумился советник президента. — И просто, как все гениальное. А мы эту проблему, знаете ли, не могли решить целый век, даже немного больше. Вот что значит восемнадцать кило мозгов! Впрочем, ближе к делу. Мне посоветовали подключить вас к нашей компьютерной системе и прогнать все варианты трансформации зоны в недалеком будущем, что вы скажете на это?

— Подключайте, ежели вам не жалко ваших машин.

— Вот так?

— Вот так!

Советник Сол Модроу улыбнулся печально и понимающе. Он уже сообразил, что контакта с этой жуткой, отвратитель-

ной тварью, от которой осталось три четверти головы да какой-то болтающийся скользкий хвост, не получится. Ну и не очень нужно. В главном они сошлись. Надо просто убить всех. И делу конец. К этому клонится и сам президент. Машина закручена, заверчена, не остановишь. А у этой твари есть все основания быть угрюмой и грубой, еще не хватало обижаться на нее.

— Не любите нас? — спросил он грустно.

— Ненавижу! — откровенно призналось Чудовище.

— И за что же, позвольте поинтересоваться?

— За все!

— Очень точный и полный ответ. За все! За то, что мы двуногие и двурукие, здоровые и сильные, процветающие и почти всемогущие, за то, что у нас тут чисто и красиво, за то, что у каждого есть свой дом, а в доме семья: жена, детишки, старички, и еще полным-полно всякой всячины, за то, что мы купаемся в синем ласковом море, и пьем ароматные и вкусные вина, за то, что мы хорошо едим и сладко спим... за все за это?

— Да!

— Тогда это можно назвать одним словом, — Сол Модроу выждал минуту, и выдохнул тихо: — это просто зависть, мой друг. Вы завидуете нам. А скажите, что вы сделали, чтобы быть такими же, а?

— Это вы калечили и убивали нас. Вы разделили мир на чистых и нечистых, превратили его для одних в рай, а для других в ад и не оставили выхода. И еще спрашиваете, что мы сделали! Что мы могли сделать — больные, убогие, брошенные на вымирание! — Чудовище разъярилось не на шутку. Оно кричало и готово было сорваться со своей тумбы.

— Ошибаетесь, мой друг, — дождавшись конца пылкой тирады, вставил Сол Модроу. — Ни один наш солдат не вошел к вам, чтобы калечить и убивать вас. И с какой-то стати мы должны были заботиться о ваших убогих? Нет, все не так.

— Вам не нужны были солдаты, вы имели кое-что другое...

— Да, это другое называется спецслужбы, а еще плюс к ним — пятая колонна, агентура и тому подобное. Но вы просто не знаете, не можете знать всей этой терминологии и того, что за ней скрывается. Ведь и другая сторона имела спецслужбы и агентуру. Мы играли в одну игру. Но наши играли всерьез, а ваши... тут ведь запутаться можно, мои предки, Биг — да, мы знаем, как вас зовут — мои предки из России... так вот, ваши надеялись на авось и, вдобавок, покупались за тряпки и

жевательную резинку. Да, вы даже не знаете, что это такое... но это правда, святая правда, они, ваши предки, продали вас за жевательную резинку, которую сейчас почти никто не жует даже у нас. Они выбрали пепси-колу! Вот так, мой друг. Каждый сам выбирает свою дорогу. И мы не виноваты, что вы избрали дорогу в отстойники. Я читал мемуары наших сотрудников тех лет, что вы, в них нет зла на противника, совсем нет, только удивление и растерянность при виде сующих свои головы в петли. Знаете, на китов иногда нападает странная психическая болезнь, они десятками выбрасываются на берег... Почему? Потому что они утрачивают инстинкт самосохранения, и только. Ваша нация тоже утратила этот инстинкт... а мы, увы, не санитары из скорой помощи и не ветеринары. Если бы вашему прапрадеду сказали, что у него будет такой потомок, он даже не улыбнулся бы, ему эта шутка не показалась бы смешной. А шутка-то вышла реальностью. Мне жалко вас, честное слово!

Чудовище содрогнулось. Неужели этот тип просто издевается над ним — в такой нелепой, изощренной форме? Нет, не может быть. Но и согласиться с ним нельзя, нельзя же палача назвать случайным прохожим.

— Я не могу этого объяснить, — выдавило оно с трудом, через силу, — я действительно слишком мало знаю. Но виноваты вы. Именно вы, живущие за Барьером!

— Еще бы, — Сол Модрю улыбнулся мудрой улыбкой, — мы всегда во всем виноваты. Моя старая мама не раз говорила мне: Шмуля, делай потихоньку свои деньги, не лезь в политику... Разве я слушал свою старую маму, а?! Вот и ваш приятель, этот Буба Проповедник, набросился на меня — мол, жида, Христа распяли и меня разопнете! Почему? Зачем нам его распинать? Кому нужен этот ваш Буба?!

— Он не мой, — отрезало Чудовище.

— Тем более! Вы же умный... э-э, человек. Ну причем тут жида? Причем спецслужбы? Подбросили, забросили, подрывная работа, пятая колонна! А почему вы к нам не забросили жидов, спецслужбы и пятую колонну, почему?! Ведь мы играли наравных! Просто мы выиграли — вот и все! А вы сами погубили себя. Вы начали спиваться и вырождаться сами, мы только помогли вам. Ваш прапрадед был самым обычным человеком, таким как я и мой прапрадед, они, может, встречались где-нибудь в Одессе или Жмеринке и выпивали вместе. Но ваш дед уже был мутантом и бабка ваша была мутантом.

Опять жида виноваты? Ну не смешите меня! Будто это жида ввозили в Россию миллионы тонн радиоактивных отходов и прочей дряни! Их ввозили ваши правители, позарившиеся на легкие денежки — сиди на печи да ешь калачи, только считай составы с отравой да плату взимай. Мы что вам эти составы ядовитые насильно ввозили, под дулами пушек?! Нет, товарищи хорошие! Вы хотели получать большие деньги, не шевеля пальчиком... вот вам и аукнулось. Вы бросили строить заводы сами. Зачем? Проще продавать свои земли под вредное производство! Ну-ка, скажете мне сейчас, где эти деньги? То-то! Денег нету. А отец ваш и мать были уже не просто мутантами, а мутантами в квадрате. И они породили вас, даже отдаленно не похожего на человека. Вы сами во всем виноваты... это вам надо было переводить на наши земли всякую дрянь. А самим работать, вкалывать до седьмого пота. И тогда с вами все было бы о'кей! Но вы глупые и ленивые. Вы не хотели ни работать, ни просто думать. И мы раздавили вас в три этапа. Да! Первый был в начале двадцатого века, когда мы подбросили вам нашу агентуру. И вы под ее началом разгромили сами себя, а потом начали строить «светлое будущее», уничтожив по нашему плану собственноручно половину населения, даже немного больше. Вы вывернулись через двадцать с лишним лет, постреляли наших людей. И ваша Россия начала возрождаться... это для вас. А для нас начал крепнуть и набирать силу вековечный враг. И мы натравили на вас Гитлера с его полчищами таких же арийцев, таких же белокурых бестий, какими и вы сами были. Простота хуже воровства, Биг! Мы стравили тех, кто мог бы снести нас с лица планеты. Немцы оказались еще большими простофилями, чем русские. И они поплатились за это. И еще долго платили нам контрибуции. Но Россия опять начала усиливаться, опять над нами навис топор. И тогда мы подбросили вам сверхатомную мину замедленного действия под кодовым названием «перестройка». В шестидесятых мину обезвредили. Ну, ничего, зато в восьмидесятых и девяностых годах двадцатого века она так рванула, что от России осталось только название. Опять жида и пятая колонна виноваты?! А чего ж вы свою родину не защищали? Чего ж вы ее без боя сдали?! Вы сами виноваты во всем! И это знали лучшие из вас. Мы превратили вас в ничто, мы загнали вас в Резервацию под Куполом, отгородились Барьером. Но мы давали возможность здоровым, сильным, богатым бежать из Резервации — пожалуйста, дорога открыта! Так почему ж они свое здоровье и

богатство не употребили на защиту своего отечества? Почему они сбежали, бросив бедных и больных?! Нет, Биг, тут дело в другом. Вы проиграли значительно раньше. И выродились вы раньше, чем следы мутации стали заметны на ваших лицах и в ваших фигурах. Так что ищите причину вашей гибели в себе! Нечего пенять на очки, коль рожа кривая! Правильно говорила моя старая мама, политика дрянное дело... лучше ничего не знать!

Чудовище молчало. Ему нечего было ответить. Прапрадеды давно мертвы, какой с них спрос.

— А сейчас начинается четвертый этап. Заключительный акт чудовишной трагикомедии, растянувшейся на века. Мне нечего скрывать от вас. Иногда врагу можно поведать то, чего не расскажешь другу. Особенно поверженному, загнанному в угол и обреченному врагу. Он уже никогда не выдаст тайны. Да, Биг, в этом акте мы добьем вас — полностью и окончательно! Вы надоели нам! И у нас нет средств, чтобы содержать вас в Резервации... вернее, средства всегда есть, но мы найдем им лучшее применение. Мы очистим Подкуполье. В прямом и переносном смысле. Сейчас появились новые технологии: смрада, грязи, ядовитых отходов больше вообще не будет. Все и везде будет чисто и красиво. Но вы сами подумайте, зачем нам в этом чистом, светлом и красивом мире какие-то некрасивые и грязные уроды? Да, Биг, мы все же построили «светлое будущее» — на ваших костях и без вас. Так всегда бывает в жизни. Это борьба за выживание, сильнейший пожирает слабого. А пройдет еще десять, двадцать, пятьдесят лет — и никто, даже ученые-историки, не вспомнят, что была такая страна Россия, что были какие-то русские, мы сотрем эту память ото всюду, это лишняя, ненужная память. Про Римскую империю и Византию будут помнить, про империю Дария тоже... но про вас никто не вспомнит. И поэтому вас не будет ни в будущем, ни в прошлом. Мы теперь знаем, как надо расправляться с противником.

Сол Модроу снова улыбнулся тихо и печально. Заглянул в единственный глаз Чудовища. Покачал головой.

— Но вы будете жить. Вечно! В этой комнате, на этих шлангах и трубах. Я умру. И все живущие ныне. А вы останетесь... как экспонат, как диковинка в кунсткамере. Останетесь в назидание студентам, изучающим мутагенез. Я завидую вам! — улыбка советника президента стала жесткой, злой.

— Ты мучаешь меня, — прохрипело Чудовище, — ты издеваешься надо мной!

— Возможно, — с легкостью согласился Сол Модроу. — Мне это доставляет удовольствие. Я, поверьте, близок к цели.

Чудовище содрогнулось, но промолчало. Оно было абсолютно беспомощно. И все же накатило что-то давнее, полузабытое. И оно начало тихо-тихо:

— У нас в поселке была ватага малышни, я так их называл, хотя они были разного возраста, они ходили всегда кучей, дрались, приставали ко всем, били слабых, издевались над немощными... И вот однажды они застали меня в развалинах и опутали толстой сетью, а потом еще завалили камнями и прибили концы сети к земле железными крючьями. Я думал, они убьют меня. Но им не нужна была моя смерть, как не нужна она и вам. Им нужно было торжество надо мной. И они, зная, что я не выношу собственного отражения, что это единственная для меня по-настоящему лютая пытка, приволокли старинное зеркало — большущее зеркало. И поставили прямо перед моими глазами. Это был самый гнусный день в моей жизни. Но видел бы ты, как они смеялись, как они радовались и наслаждались. У них были страшные глаза диких и тупых животных, обезумевших от крови... такие же как у тебя сейчас!

Сол Модроу опустил голову. Перестал улыбаться. Но узкие бесцветные губы прошептали сами:

— Вот и хорошо, теперь я знаю, что ты любишь больше всего на свете. Теперь ты не будешь скучать. Я прикажу принести сюда зеркало. Ничего, Биг, тебе придется привыкнуть к своей собственной гнусной морде. Ведь ты не очень-то благодарный.

Зеркало принесли почти сразу. Где его только смогли отыскать — старинное, немного мутное, в тяжелой деревянной раме, будто сделанной на заказ по просьбе Чудовища.

— Вот так хорошо, очень хорошо, — поблагодарил служащих Сол Модроу. И сам подправил тяжелое стекло, подвинул ближе. — Идите!

Чудовище смотрело на себя, не моргая. И единственный глаз от раздражения и злости начинал наливаться кровью. Из пасти вырвался сип, потекла слюна.

— Совсем неплохо, — заметил советник. — Я вижу вам нравится!

Чудовище уже ревело от ненависти к себе, его трясло. И

все же оно не теряло полного самообладания. Сейчас его нельзя было терять. Ни в коем случае! Оно не имело права ошибиться!

— Отличная реакция! — Сол Модроу совсем расплылся, предвкушая нечто неожиданное.

И это неожиданное свершилось. Да, единственное щупальце, последняя уцелевшая конечность висела плетью, оно было безнадежно. Но мозг, невероятный, заставляющий делать невозможное мозг жил. И он мог дать жизнь на миг, на секунду даже мертвой плоти. Чудовище напряглось до пронзительной, смертной боли, оно бросило всю кровь, все силы в это обвисшее щупальце, заставило его ожить.

Удар был молниеносным. Огромное зеркало разлетелось вдребезги. Но самый длинный, самый острый осколок не упал, Чудовище схватило его, разрезая плоть, обливаясь зеленой жижей.

— Нет, — просипел в ужас побелевший советник, бывший уже советник, — нет...

— Да! — прошептало Чудовище. Оно не могло ни кричать, ни говорить.

В то же мгновение мелькнувший в воздухе молнией осколок перерезал дряблое, морщинистое горло, рассек шею, раздробил позвонки... и голова с широко раскрытыми испуганными глазами упала на пол.

«Все! Вот и все! — пронеслось где-то внутри. — Больше они меня не оживят. Я сам хотел этого, сам! Я поклялся разбить их все — все до единого, а потом перерезать самым большим и самым острым осколком глотку, чтобы сдохнуть, чтобы земля никогда не носила на себе столь отвратительную тварь. Я сам желал этого... Прощайте! Отшельник! Прощай, если ты слышишь меня! Пора!»

В комнату уже бежали. Стук ног, множества ног становился все громче. Да, пора!

Чудовище наотмашь рубануло по шлангам и трубкам. И тут же, сильнее, безжалостным, смертным ударом вогнало осколок через единственную глазницу в свой пылающий мозг. Полметра острого, иззубренного толстеного стекла продырявило нежнейшие ткани, разворотило их. Оно успело еще повернуть осколок в собственном мозгу... и только после этого без боли, без страданий, испытывая лишь мимолетную сладостную легкость, погрузилось в непроницаемый мрак. И покой.

Серый человек пробудил Доходягу Трезвяка, когда из-за решетки внутрь чугунного шара прорывался блеклый дневной свет. Трезвяк вздрогнул, открыл глаза и сразу съёжился.

— Так на кого ты работаешь? — спросил в упор серый.

Трезвяк шевельнул разбухшим шершавым языком, но не смог выдавить из себя ни слова, только вжал голову в плечи, ожидая, что вот сейчас его станут бить.

Но серый и не думал заниматься рукоприкладством.

— У нас смертная казнь отменена, законом, — прошипел он почти в самое ухо узнику, — но по совокупности преступлений народный суд впаяет тебе лет двести, вот так. И за неимением в Резервации мест заключения мы тебя повесим. Я доступно изъясняюсь?

Трезвяк кивнул раз... другой, голова у него задергалась в нервном тике. Они повесят! Запросто!

— А если я признаюсь? — спросил он неожиданно для самого себя.

Серый плотоядно улыбнулся и сдвинул на затылок серую шляпу.

— Ну-у, тогда суд возьмет во внимание вашу откровенность и чистосердечие... Так чей же вы агент?

— Окопавшийся я, — горестно выдавил Трезвяк.

— Чего-о? — серый не понял.

— Окопавшийся, говорю, — повторил Трезвяк. Что он мог еще сказать.

— Идиот! — выругался пристебай. Он прекрасно знал цену всей этой дешевой болтовне, и ждал от «агента» совсем другого признания. — Вот за то, что ты полный идиот, тебя уже следует повесить! Ну, ладно, ты получишь свое, кем бы ни был, получишь!

Серый ушел.

А вчерашние обормоты подошли к Трезвяку, отковали его, отвязали и повели на площадь, не дав ни глотка воды. Наверное, они думали, что этого типа уже не для чего поить, пустое дело поить мертвяков, только драгоценную влагу переводить зазря.

Площадь колыхалась и гудела, по бескрайнему морю голов прокатывались ветра, ураганы и девятые валы. Никогда еще Трезвяк не видал такого скопища народа. Почему-то было очень много увечных, покалеченных, битых со свежими ранами и увечьями, перемотанных тряпками, сквозь которые про-

ступали кровавые пятна. Трезвяк не знал, что творилось за городом. Да и знать он теперь ничего больше не хотел. Потому как, что ж это будет за «светлое будущее демократии», ежели его, Трезвяка, в этом будущем не будет?! Обидно! И досадно! Врагов всяких и окопавшихся много, это нынче каждый знает, вот, к примеру, Тата Крысоед — матерый вражина, шовинист, его прибили за дело. Но почему должны страдать невиновые?! По щекам Доходяги текли горючие слезы.

Он стоял, удерживаемый своими стражниками, стоял на невеликом возвышении, и никто не обращал на него внимания, мол, стоит какой-то обалдуй на уступе возле шара чугунового, значит, там его место, пускай стоит себе. И от такого равнодушия демократических слоев населения к его персоне становилось еще хуже. Сквозь пелену слез по врожденной своей любознательности он, хотя и не все буквы помнил, читал надписи на транспарантах и дивился смелости пробудившихся от спячки сограждан. А писано было разное, иногда и не совсем понятное, например: «Аткрытая Явропа ат Урала до Отлантики!», «Даш канверсю!», «Бей правакаторов!», «Бубу Прапаведника — в призиенты Падкуполья!», «Цивилезацю сигодня!»... отдельно стояла огромная толпа гудящих и зудящих баб, у них над головами реяло «Хватит ражать! Слава имансипацыи!» и «Бей окопавшихся мужуков!», и уж совсем наособицу молчаливо сидели на корточках насупленные люди в тубетейках с единственным лозунгом на полотнище: «Давай свабода!!!» Трезвяк понимал про «свабоду» и «правакаторов», но «явропа» и «имансипацыя» были выше всякого его разумения. Одно он знал точно, ежели Буба станет «призидентом Падкуполья», то «суды праведные» закончатся нескоро, а значит, слава богу, не одного его засудят. И потому, в надежде, что немного лояльности приговору не повредит. Доходяга Трезвяк заорал на всю площадь не своим, громовым голосом:

— Бубу в президенты-ы-ы!!!

Народец с полминуты стоял ошарашенный, а потом, сообразив, что такова, видно, установка самых демократических демократов, начал скандировать все громче и громче:

— Бубу! Бубу!! В пре-зи-ден-ты!!! Бубу! Бубу!! В пре-зи-ден-ты!!!

Оба обормота, принявшиеся было крутить руки ослушнику и вольнодумцу, опешили, ничего не понимая — против Бубы и его избрания в президенты они не имели ничего, и не смели

иметь. Они просто зажали Доходягу Трезвяка между своими увесистыми тушами и принялись раскрывать рты, будто и они, как добропорядочные граждане, выкрикивают нужный лозунг.

Скандирование продолжалось примерно полчаса.

За это время из недр чугунных шаров успели вывести и возвести на скрипучую и величественную трибуну бледного, растрепанного и полупьяного Бубу Чокнутого. Сам проповедник и пророк, спаситель рода людского и продолжатель дела отца демократии внимал воплям благожелательно, чуть качая головой в такт. Приторно улыбался серый пристебай, улыбалось ближайшее окружение Бубы — люди для Трезвяка незнакомые и непонятные, одним словом, хмыри.

Когда скандирование само собой начало смолкать и почти выдохлось, утихая, расползаясь отголосками эха по окраинным закоулкам площади, Доходяга совершил невероятное усилие, раздвинул туши, набрал полную грудь воздуха и заорал оглушительней прежнего:

— Бубу Проповедника в президенты!!!

Толпы откликнулись с утроенной силой, теперь даже самый глупый и бестолковый рвал голосовые связки на совесть, сообразив, что лучше переусердствовать, чем оказаться в «окопавшихся красно-коричневых провокаторах».

— Бубу! Бубу!! В пре-зи-ден-ты!!!

На этот раз орали, кричали, визжали, бесновались, сотрясая недоумевающие небеса втрое дольше. Не прекращая скандирования, то в одном, то в другом месте всенародного собрания забивали лазутчиков реакции. Крики переходили в речитатив, полупение, какую-то новую и более торжественную аллилуйю. Ликованию не было конца и края!

Сам Буба Чокнутый вздымал вверх руки, пытаясь остановить скандирование, кричал что-то, но его не слышали. Буба тоже рыдал, подобно несчастному Трезвяку, но на Бубином лице сверкали слезы не горести, а умиления, вот она! всенародная оценка его тяжких трудов праведных! вот оно признание! куда там этому столпу вселенскому, этому Андрону! Буба временами вскидывал бугристую растрепанную голову и с презрением смотрел в поднебесье, туда, где маячил шароголовый отец подкупольной демократии. Будет, будет памятник и повыше!

— Братья! Сестры! Господа! — орал Буба.

Но народ гнул свое:

— В пре-зи-ден-ты!!! В пре-зи-ден-ты!!!

Наконец Буба не выдержал. Он бросился к стропилам, поддерживавшим высоченную трибуну, ухватился за самую скрипучую, рванул раз, другой, третий... ему тут же бросились помогать. Сообща выдрали из основания шестиметровую длиннющую доску, сшибли ею вниз то ли двоих, то ли четверых хмырей из ближайшего окружения, развернули и положили мостиком к навершию чугунного шара. Бубу подсадили, подхватили и совершенно неожиданно он с необычайной шустростью побежал на четвереньках по прогибающейся доске... Теперь выше Пророка никого не было, если не считать незримой снизу круглой головы гения всех времен.

— У-у-у!!! — прокатился над землей гул восхищения.

А Буба стоял над толпами, стоял на коленях и бил земные поклоны, расколачивая об чугун и без того битый лоб свой.

— Согласен! — вырывались отдельные вопли из толп. — Батюшка! Отец наш! Берет крест на себя! Спа-а-аситель!!!

Вот теперь скандирование, разрываемое душераздирающими воплями восторга, начинало стихать, гаснуть, переходить в тихий, но еще могучий и довольный гул.

Не дожидаясь, пока гул совсем стихнет, Буба Чокнутый воздел руки, запрокинул голову назад и закричал будто в десяток усилителей:

— Люди добрые! Избиратели мои! Подкупольяне! Простите меня, коли виноват пред вами... простите-е-е!!!

Голос у Бубы сорвался до какого-то вселенского по размерам покаянного плача. Но этим дело не кончилось, Буба выждал, и когда стало совсем тихо, с такой силой ударился в земном поклоне о чугунный шар, что гулкий и тяжкий, торжественный звон прокатился над площадью.

— Прощаем! Ето мы виноватые-е-е! Батюшка-а-а!

Теперь и народ лил слезы — в тысячи ручьев лились они тут и там. Рыдали шумливые и тихие, увечные и здоровые, бабы и мужики, старцы и старухи, рыдали оба обормота по бокам от Трезвяка, даже суровые и важные люди в тюбетейках — и те лили светлые и радостные слезы.

— Нет! Не верю! — еще истошней испустил вопль Буба. И снова так приложился лбом, что уже какой-то величальный, торжественный гуд разнесся на версты вокруг.

— Прости! Ето ты нас прости-и-и!!!

Буба стукнулся лбом в третий раз. И объявил:

— Прощаю! Вы мне теперь аки чада родные! И не сойти мне вот с этого святого места, ежели я не выполню всех ваших чаяний и наказов! Да! Видит бог, что не вынашивал я и мысли такой, что и думать не смел о тягчайшей ответственности этой... Сам народ! Вы избрали меня! И я помню того простого, сермяжного подкуполянина, что выступил с инициативой от вашего имени. Помню! Вон он!

Царственный перст уперся из царственных высот в Доходягу Трезвяка. И оба обормота сдавили его сильнее, готовые разорвать на куски по первому приказу.

Но приказ последовал совсем иной.

— Так пусть же этот подкуполянин, кровь от крови, плоть от плоти вашей, подымется ко мне! И я облобызаю его аки брата! А с ним облобызаю и всех вас, любезные чада, братья и сестры, демократы вы мои!

Обормоты поволокли Трезвяка на трибуну, только суставы у него захрустели. Доски выли, играли под их ногами, раскачивалась сработанная наспех трибуна, кружилась голова, пихали в бока хмыри из окружения, зловеще скалил зубы серый, замирало от ужаса сердце... Доходяга со страху снова обмочился. Но было поздно, куда тут денешься. Его пихнули в мокрый зад, пнули сапогом — и он пополз на карачках по хлипкой, гуляющей на всех ветрах доске, пополз в само поднебесье, обливаясь ледяным смертным потом...

Подлец и предатель Хреноредьев выпрыгнул из гравилета, когда они только перешли через Барьер, не успели проскочить и двухсот верст. Но Пак не расстроился, он только усмехнулся криво и прибавил ходу. Плевать! Сто раз плевать на инвалида! И тыщу раз на всех прочих! Его снова начинало мучить бывшее. Леда! Милая Леда! Почему она оставила после себя одно лишь слово, всего одно слово?! Сердце разрывалось от боли. Да, он виноват, он во всем виноват... и нет возможности вымолить прощения! Все ушло! Все в прошлом! Ничего не исправишь! Остается только бить их, этих гадов, этих сволочей.

— Получи по мозгам! — просипел он себе под нос.

И выпустил плазменный шарик в головную машину.

Огромный броневи́к вспыхнул всеми цветами радуги и расплылся железом по дороге. Колонна встала. В след ударил залп из трех стволов. Поздно! Пак расхохотался. Они всегда опаздывают. Они слишком сытые и холеные! Они слишком

благополучные! Они... они просто ленивые и сонные слюн-
тяи! Он всегда будет опережать их.

Гравилет обошел уже третью колонну. И везде его принимали за своего. Салаги! Они ленились связаться друг с другом! Они думают, что пришли на веселую прогулку... Пак нахмурился. Да, та и есть, они пришли именно на увеселительную прогулку, а он для этих дивизий не страшнее, чем жалкий комар для стада бизонов. Ну и пусть! Он настигнет передовые части, а потом развернется — он будет их бить, кусать, жалить пока есть силы... Ох уж, эти силы! Пак слабел час от часу. Видно, Отшельник совсем забыл про него, совсем. Он даже не слышен, хотя сейчас Пак намного ближе к его потаенной берлоге, к его подземной пещере...

— Отшельник! — закричал Пак в который уже раз. — Почему ты молчишь? Откликнись! Помоги мне!!!

Ответа не было.

Отшельник умирал в своей нише. Невероятно огромная голова, полупрозрачная и еще светящаяся, лежала на сыром и холодном камне. Ледяное скрюченное тело уже отбилось в агонии, замерло. Все три ржавых иглы, вырванные из вен, валялись рядом, спасительная жидкость текла по каменистому уступу вниз, журчала и слегка поблескивала.

Он сам вырвал иглы из собственного тела. Хватит жить! С таким мозгом нельзя жить! С таким видением мира невозможно существовать в этом мире! Всего полчаса назад Отшельник вдруг узнал, что Биг еще живой, что он изуродован, обезображен, что он в плену, в неволе и это заключение для Бига страшная пытка. Их поля разорвали преграду чудовищного расстояния, слились... Это могло означать только одно — Бигу было совсем плохо, хуже некуда. И тогда Отшельник ощутил то, что ощущало за сотни тысяч миль Чудовище. Это было жутко. Это было страшно! Вся вселенная была наполнена страхом и ужасом, ничего другого в ней не было, черные волны ужаса и страха вытеснили из нее все прочее. И еще накатывало отвращение, наваливалась острейшая боль... Подлость! Смерд! Грязь! Там, за Барьером их было значительно больше, чем здесь! там был целый океан подлости, грязи и смрада! Отшельник ощутил все это неожиданно, вдруг — и понял: да, вот она, истина, вот она, правда! он жил сказками, легендами, розовыми грезами, усыпляя сам себя! он начал пробуждаться совсем недавно, вместе с Умным и Хитрым

Паком... Поздно! Все поздно! Огромное, иззубренное, толстенное острие вонзалось в его мозг. Да, это не он, это Биг убивал себя там, это Чудовище уходило в муках из жизни, уходило во тьму и покой. И он мог оттолкнуться, уйти, убежать, отключиться от этой ужасной и страшной боли. Но тогда Бигу станет плохо, совсем плохо — боль и ужас обрушатся на него, на одного, в самый последний миг. Нельзя! Этого нельзя было допустить! Вот тогда Отшельник и вырвал иглы из вен. Теперь они умрут оба — да, они «разбили свои зеркала», все до единого, и пришло время умереть! Потому что вслед идет время иное, непонятное и чудовищное, в котором им не будет места.

— Прощай, Биг, — прошептал Отшельник.

Он знал, что Чудовище уже не слышит его. Ну и пусть. Там только покой. И ничего больше... Покой.

Мозг еще жил. Трупный яд только начинал проникать в него из умершего тела. Отшельник страдал. Его единственный глаз слезился — слезы как капельки росы искрились на камне, скатывались вниз, чтобы слиться с каплями поила и застыть на холодном полу. Грюня! Почему-то вспомнился именно он — несчастный, сонный, затюканный, вечно виноватый перед ватагой и такой же одноглазый. Он мог стать ему заменой, мог, Отшельник это знал точно, просто давал нагуляться, наиграться вволю. Мог... но не стал, его убили эти ублюдки, эти настоящие, подлинные вырождающиеся планеты. Это судьба. Ничего не поделаешь. И до них вымирали — тысячами, миллионами, десятками миллиардов. И они умрут... Правда, жив еще Умный Пак. Жив! Как он мог забыть про него.

Отшельник вздрогнул. Собрал остатки уходящих сил.

— Хитрец, — просипел он еле-еле, — ты слышишь меня?

— Слышу! — прогрохотало в мозг, прогрохотало под сводами пещеры. — Помоги мне! Помоги мне, Отшельник!

Трудно было держаться на кромке сознания, невероятно трудно. Живучий мозг хотел жить сам по себе, без него, без Отшельника, без тела, жить как живет светящийся поганый гриб на стене пещеры. Но рано еще... рано!

— Держись, Хитрец, — прошептали сложенные в клювик мертвые губы, — теперь ты будешь один, всегда один... Прощай! И прости меня... я не смогу тебе помочь, никогда не смогу... Прости!

Выпученный шар глаза медленно стеклянел, его заволакивало поволокой. Все имеет конец свой и в Забарьерье и в Подкуполье, все смертно на смертной земле.

— Я не слышу тебя! Руки дрожат! Я не могу больше! — не стихало под сводами далекое, нездешнее. — Ничего не слышу! Свет пропал... я не вижу ничего!!!

Доходяга Трезвяк дополз до вершины чугунного шара, последний раз отпихнулся ногой от хлипкой доски-стропилины... и она полетела вниз, опрокидывая трибуну со всем ее содержимым — серый пристебай в шляпе, хмыри и подпевалы полетели вверх тормашками вниз, на головы митингующих, полетели вместе с досками, брусками, перилами, лестницами и прочими премудростями, из которых было сколочено это величественное сооружение.

Но Доходяге было наплевать на сверзившихся с правительственных высот в народные ряды. Он стоял на верхотуре и его обнимал, прижимал к себе сам Буба Проповедник и, можно считать уже, сам Буба-президент.

Народ внизу заходиллся от ликования.

— Вот он, — возбуждал сердца Буба, — вот он простой подкупольянин, говорю я вам, чада мои, самый обычный мужичонка из народа, такой же пламенный демократ и свободолюб, как и все мы с вами! Это он из недр народных, из самых глубин земли нашей издал стон ее надежд и чаяний, аки посланец ваш и светлый агнец! И за это облобызаю я, аки президент ваш и местный святой, в его лице все ваши лица! Ибо назад пути нету!

Буба Чокнутый ухватил Доходягу Трезвяка еще крепче, с силой прижал к своей груди, обслюнявил до ушей развесистыми губами. Отстранился. И неспешно и смачно облобызал его еще дважды с такой любовью и нежностью, с таким признанием и с такой благодарностью ко всем стоящим, что бабы внизу заголосили сиренам и слез стало вдвое больше.

— Тронут! — заорал Буба дрожащим голосом. — Душевно тронут! Хотя и недостойн и убог! Но плачу вместе с вами, сестры и братья мои, подкупольяне! Ибо дороже вас нету никого для меня! И не будет во веки веков!

Буба отстранил от себя «мужичонку из народа», будто желая полюбоваться им, но немного не рассчитал, и Трезвяк пошатнулся, оскользнулся, извернулся как-то странно, взмахнул руками и ногами, но не удержался и полетел кубарем с

чугунного шара в народные массы, в гущу передовых демократов-подкуполян.

Буба громко и размашисто захлопал в ладоши. Он не растерялся ни на секунду. Подобающая торжественному случаю улыбка сияла на его опухшем лице.

— Я аплодирую этому скромному труженику-демократу, — закричал он, перекрывая гул народный, — который не захотел отрываться от вас, чада мои, который вернулся к вам... моим ученикам, дабы проповедовать и нести свет во все уголки Подкуполья!

— Нет уже никаких уголков! — послышался вдруг отчаянный вопль какого-то смутьяна. — Один город и остался! Кругом огонь да танки!!!

Смутьяна забили прежде, чем Буба успел открыть рот.

— Да! — заорал новоиспеченный президент Подкуполья. — Да, братья и сестры, чада мои, ублюдки и болваны, я не был бы святым и спасителем, выразителем ваших тревог и забот, коли бы скрыл от вас правду! Да, наши друзья из Забарьерья, благодаря которым только и стал возможен этот благой процесс демократизации нашего прогнившего тоталитарного общества, они, эти благодетели и добродетели по нашей с вами неоднократной и настоятельной просьбе, дабы пресечь смуты и беспорядки на земле нашей и спасти нашу молодую, нарождающуюся демократию, ввели в Подкуполье ограниченный контингент миротворцев. Ур-рра, господа подкуполяне, ур-ра-а!!!

— Ур-ра-а-а!!! — прокатилось недружно, но оглушительно по площади.

— Ведь это вы, народ нашей независимой державы, призвали сюда этих ангелов мира и процветания?! — вопрошающе орал Буба. — Ведь это вашими устами и сердцами возвано было, аки к силам светлым и праведным! Да, господа мои и чада, мы жаждали с вами суда праведного и высшего, дабы покарать живущих во грехе и смраде! И вот, наконец, когда уже нашему долготерпению подошли пределы, когда мы устали ждать, но не устали верить, пришли судии вершить суд! Так грянем же наше всенародное ура, господа! Ур-р-рааа!!!

Площадь откликнулась взрывом радости.

— Нам и не нужно ничего, кроме нашего города! — надрылся Буба. — Верно я говорю?! Сорок семь областей и прочих регионов Подкуполья отделились от нашего города и об-

разовали свои суверенные государства, господа! И пусть! Это и есть подлинная всенародная демократия, ублюдки и обалдуи, это я вам говорю, ваш президент! Нам хватит и этой площади, чтобы быть самыми свободными во всем мире! Ур-рааа!!!

— Ур-р-раа!!! — захохотало отовсюду. — Хва-а-атит!!!

— Ибо окопавшихся, чада мои любезные, всегда будет много! Их будет все больше! Год от года!!! Но миротворцы нам помогут! Ур-р-рааа!!! — Буба воздел руки к небу. Потом задрал и голову, прислушиваясь, втягивая дымный воздух ноздрями. И вдруг снова заорал, но уже громче и радостней. — Ибо летят! Летят судии, я слышу, трепет их крыл, господа! Летят суд вершить и расправу! Чтоб и агнцев, и козлиц! Без разбору! Ур-р-ра!!!

Герой Демократии Айвэн Миткофф возвращался домой. Прочую добровольческую братию с честью усадили на «транспортный» бомбардировщик ВВС Сообщества и отправили восвояси. Но Айвэн за небольшую доплату выбил себе старенький, но вместимый вертолетик, погрузил в него все тринадцать набитых собственноручно чучел и тридцать семь заспиртованных голов мутантов. За несколько последних дней он добыл трофеев больше, чем за иной охотничий сезон в Подкуполье. Было чему радоваться.

День стоял ясный для Подкуполья, погожий — видно было за два десятка метров. Айвэн сжимал рукоять рычага и напевал прилипший мотивчик из какой-то последней развлекалки. Пропуск на вывоз трофеев из зоны лежал у него в нагрудном кармане. Желтая звезда висела под сердцем, на самом видном месте — в родном городе его встретят с оркестром, первым делом пригласят в колледж выступить перед ребяташками, рассказать о боевых подвигах. Славно! Ему будет чем поделиться с молодежью, ведь, чего там скрывать, он рисковал жизнью на передних рубежах, не то что некоторые, протиравшие штаны в тылу или вообще не вылазившие из своих кресел домашних.

Ничего! Еще два-три часа лету, и он пересечет Барьер. И он окажется у себя, почти дома! А там дружки! А там подружки! А там заслуженный отдых, море, хорошее вино... каминный зал! И сладкая, привольная, долгая-предолгая, бесконечная жизнь!

Чудовищно огромную очкастую морду с необъятным лы-

сым лбом Айвэн Миткофф увидал только в последний миг. Она наплыла на него из сизого тумана... Мелькнула молнией мысль: как же так, ведь ему тысячи раз говорили, что тут, в проклятом Подкуполье, не осталось ни одной развалины выше десяти метров. Так откуда же этот лоб? Откуда?!

Морда наплыла... расплющила об себя списанную тарактелку-старушку. И накренилась сама на шее-столпе, склонилась вопрошающе, как склоняется голова пса, следящего за движением бутерброда в руке хозяина.

Но Айвэн Миткофф, солдат свободы, миротворец, ничего этого уже не видел — скрючившись в своем креслице, с разбитым вдрызг лицом и проломленным черепом, раздробленными ребрами и вывернутыми ногами, он падал вниз в горячей расплющенной машине, падал и горел вместе с ней, вместе со всеми своими трофеями, вместе с желтой звездой Героя Демократии.

— Отшельник! Где ты! — орал обезумевший от бессилия и слепоты Пак. — Я ничего не вижу! Ты бросил меня! Отзовись!!!

Он раздира лб клешнями свои четыре глаза — не помогало. Да и не видел Хитрец только снаружи. Внутри он видел все. Он просто разучился управлять этой машиной, этой клеткой, в которой он сидел. Он тыкал скрюченными пальцами в зеленую панель. Гравилет кидало из стороны в сторону. Автопилот спасал положение, выравнивал машину. Но Пак снова бросал ее то вверх, то вниз. Он уже догадывался, что с Отшельником произошло нечто страшное, может, его и нет больше. Почему он прошептал в последний раз «прости»? И еще — «прощай»? Его нет! Как нет и Леды! Как нет распятого папаньки! Как нет большинства тех, кого Пак знал когда-то. Эх, папанька-папанька, и зачем ты мордовал его, зачем лупил, зачем учил своему ненужному ремеслу обходчика? Зачем?! Ведь так и сгорел вместе с новенькими штанами, вместе с телогрейкой, вместе с этими вышитыми «голубями мира» — тихо сгорел в адском пламени напалма, безропотно, будто было за что гореть... подвижник, праведник! Чтоб они так же все сгорели, твари!

Пак обоими кулаками обрушился на рукояти, на панель. Гравилет дернулся. Резко рванул вправо.

И ударил с невероятной силой в наверхие огромного, невесть уже и кем поставленного столпа. Умного Пака отшвыр-

нуло вместе с выдранной кабиной, расплющило всямку о каменные развалины.

Но исполинская круглая голова еще продержалась какое-то время, покачиваясь на ветру из стороны в сторону, будто осуждая кого-то невидимого в смраде и дыме. И даже выражение на странном и уродливом лице этой чудовишной головы изменилось: выпертая челюсть выперла еще больше вперед, морща щеки и подглазья, кривые и выпяченные губы стали совсем нечеловечьими, обезьяньими, очки перекособочились, уши оттопырились и обвисли... И стало лицо это до того обиженным и злобным, что шея-столп, разорванная двумя ударами с разных сторон, не выдержала, промялась, прорвалась, сплющилась по краям.

И медленно, но неотвратно, будто круглая термоядерная бомба из брюха бомбардировщика, голова полетела вниз, к подножию столпа подкупольной демократии.

— И приидут судии! Услыште же поступь их! Вот они! Трепещите, ублюдки и господа! Чада мои и грешники! Близка кара небесная!!! И о н грядет к нам! Мой предтеча! Я вижу е г о!!!

Буба Чокнутый в молитвенном экстазе воздел руки вверх, к небесам, к гению всех времен и народов, отцу демократии и основателю Резервации.

И в этот миг что-то огромное и шарообразное обрушилось на него из облачных высей, аки испрошенное от сил незримых, сил неведомых. Обрушилось, подскочило, ударившись о чугун, и не оставило от Бубы Проповедника, от президента независимого наконец Подкуполья даже мокрого места.

Доходяга Трезвяк все видел. Сверзившись с чугунного шара, он сломал только одну ногу и одну руку, да свернул себе челюсть. Его подняли, поставили на здоровую ногу, дали хлебнуть крепкого пойла. От трех глотков Трезвяк совсем окосел. Он даже начал вопить вместе с другими, закричал «ур-рраа!!!» В конце концов, жизнь была не такой уж мерзкой и гадкой, и Буба его все-таки признал. А главное, он нашел правду! Правда была в том, что его не сожрали, не повесили, не расстреляли и не забили камнями сегодня. И слава богу! А завтра будет иная правда...

Одержимый молитвенным экстазом, вместе с другими одер-

жимыми, под истерически-призывные бубины завывания он уставился вверх, на уходящий в заоблачные райские выси вселенский столп, на это светлое и радостное олицетворение новой, светлой и радостной жизни в едином цивилизованном и просвещенном мире. И он видел, как грохнулся слева от столпа один горящий ком, как потом, почти вслед за первым обрушился справа на море голов другой сгусток огня. Он слышал, как завопили в тысячи глоток свободные и независимые господа-подкупольные, любезные чада, а вместе с ними и недоумки, ублюдки, кретины, дерьмом набитые, грешники, святые, агнцы и козлища... Завизжали истошно залитые кипящим огнем освобожденные бабы, затрещал в лютом пламени их красивый транспарант с призывом никого больше не рожать до полной эмансипации, завывали на разные лады солидные люди в тюбетейках... Но приглядываться и прислушиваться к корчам, судорогам и воплям погибающих не было времени.

Потому что сверху, прямо на проповедующего и грозящего карами Бубу Чокнутого падала лобасто-ушастая, очкастая голова Андрона Цуккермана, падала со вселенского столпа, векового и незыблемого.

— Едрена-матрена! — прохрипел кто-то за спиной.

Удар был чудовищен, будто разорвалась исполинская, мегатонн на сто, бомба.

Здоровенным обломком расколовшейся головы поубивало всех рядом с Трезвяком. Досталось и ему: целую до того ногу оторвало напрочь, руку раздробило, вышибло левый глаз и разорвало брюхо. Волоча за собой кишки, Доходяга червем выполз из-под обломка, вгляделся в рваные края. Потом заполз сверху, внутрь, как в скорлупу. Голова гения всех времен и народов, отца демократии была пуста. Трезвяк раздавленными ладонями ощупал эту впалую пустоту, улыбнулся улыбкой познавшего истину. И умер.

Но и после смерти его искалеченное, изуродованное тело не нашло успокоения. Разрывной снаряд, просвистев сиреной в свинцовом воздухе, ударил в застывшую грудь безмятежно улыбающегося покойника и разнес его вместе с телами прочих подкупольных, жаждавших свободы и демократии, разнес в кровавые ошметки. Митинг был окончен.

В разрушенную, заросшую бурьяном и репейником, накрытую свинцовым панцирем гари, кишашую миллиардами крыс и заваленную тысячами трупов Москву медленной поступью хозяев вползали танки мирового сообщества.





Наваждение

Вся эта история — плод
больного воображения.

Автор

Произошло это несколько лет назад, почти в самом начале тех преобразовательных процессов, которые получили звучное название «перестройка». Произошло не где-нибудь в Гонолулу или на Гебридах, не в системе пресловутой Проксимы Центавра и, тем более, не на одной из планет загадочного Сириуса, а у нас, в Москве, жарким летом, а может быть, и летом дождливым, холодным. Сейчас трудно припомнить в точности те события, трудно перебрать их в уме, не то что осмыслить. Но это было.

В середине рабочего дня в кабинет начальника одного из важнейших отделов мало кому известного, но довольно-таки серьезного научно-исследовательского института ворвался шустрый и хамоватый порученец Сашка и с порога объявил:

— Все!

— Что — все? — поинтересовался начальник отдела — пятидесятилетний здоровяк, которого звали Антон Варфоломеевич Баулин.

— Уходят! — просипел Сашка, падая на стул.

— Кто?

— Да при чем тут кто?! Кого! Иван Иваныча уходят!

Баулин сгреб широченной ладонью лицо, оставив снаружи лишь один темный настороженный глаз. Долго сопел, пыхтел, затем запустил руки в черные с проседью густые волосы и принялся отчаянно скрести пальцами голову, будто у него неожиданно началась чесотка, и наконец с размаху стукнул кулаком по столу и отвернулся от порученца.

Тот не обиделся — дела были неважные, не до обид.

Толкового разговора не получилось по той простой причине, что Сашка и не знал ничего толком.

После обеда Антона Варфоломеевича сморил сон. Как человек грузного телосложения да вдобавок ко всему гурман-любитель, он не отказывал себе в часике-другом... Но в этот раз выпаться Антону Варфоломеевичу не пришлось.

Голос секретарши прозвучал будто из-за стены — приглушенно, надтреснуто:

— Антон Варфоломеевич, уважаемый, вас в министерство вызывают!

Баулину почудились в голосе этом зловещесть и недоброжелательность. И вообще, голос показался совершенно незнакомым, нереальным. Он даже передернулся, по лбу покатались градины пота.

— Срочно! — прогремело из-за стены. — Вы что это рассиживаетесь?! Вас срочно требуют!

Антон Варфоломеевич подскочил, почти бегом ринулся к двери. Та долго не поддавалась, он

даже свернул ручку на сторону, злясь и матерясь про себя. За спиной, откуда-то из угла кабинета, послышался сдавленный ехидный смешок. Но Баулин не рискнул обернуться. Он рванул сильнее.

Коридор был непривычно пустынен — ни курильщиков, ни вечно сплетничающих сотрудиц, ни деловито снующих клерков. Это вселяло тревогу и настораживало.

Начальство Антон Варфоломеевич уважал. А потому на высоком уровне не дерзал показываться без помощника или хотя бы находчивого порученца Сашки, наглеца и ловкача. Но сейчас, как назло, весь отдел будто вымер — опустевшие комнаты встречали начальника гробовым молчанием.

Надо было что-то делать, но что именно, Баулин не знал. Смятение охватило его, парализовало мозг. В руках появилась вдруг непонятная, пугающая дрожь.

— Гражданин Баулин! Срочно!! Министерство!!! — раскатами грома неслось по коридору. Голос был уже грубым, мужским, с хрипотцой и надрывом.

Почему гражданин, невольно подумалось Антону Варфоломеевичу, зачем же так?! По спине пробежал холодок. Но размышлять долго не приходилось — начальство не любило опозданий.

И Баулин торопливо, с несвойственной ему поспешностью засеменял вниз по лестнице.

Машины у подъезда почему-то не оказалось. Растерянный, ничего не понимающий Антон Варфоломеевич втиснулся в безразмерный, до отказа набитый людьми троллейбус. Его толкали локтями, плечами, сумками, дважды обругали за неповоротливость. Какая-то девица с отсутствующим взглядом жевала прямо над его плечом огромное мороженое — белые молочные капли падали на костюм. Девица облизывалась, поправляла ежесекундно очки на носу, доев, скомкала липкую бумагу, сунула ее в свой пакет, но тот оказался

дырявым, и рука вместе с комком очутилась в кармане у Баулина. Девица фыркнула брезгливо, вытащила руку, смерила Антона Варфоломеевича презрительным взглядом и отвернулась. Комок, сырой и липкий, остался в кармане. Вынуть его Баулин на людях постеснялся. Но это происшествие немного отвлекло его.

До министерства было восемь остановок, и чем меньше их оставалось, тем сильнее сжимался железный обруч на сердце и нестерпимее ломило в затылке. Наконец, наступая кому-то на ноги, раскачиваясь из стороны в сторону всем своим грузным телом, Баулин пробился к выходу. Дверь открылась, и он оказался перед столь знакомым внушительным зданием из стекла и металла. У парадного крыльца не стояло ни одного автомобиля, не было видно и вечно ожидающих тут кого-то посетителей. Не чувствуя под собою ног, Антон Варфоломеевич сделал первый шаг...

Вахтер долго рассматривал пропуск, вертел его и так и этак, даже зачем-то поднес к носу и старательно обнюхал, затем он подозрительным взглядом уставился на Антона Варфоломеевича, сличая его лик с фотографией на пропуске. При этом на лице вахтера явилось недоверие, брезгливость. Баулин почувствовал, что, если это продлится еще хотя бы с минуту, последние силы покинут его и он рухнет на виду у всех в обморок. Впрочем, на виду ему бы это сделать и не удалось — вестибюль министерства, обычно заполненный оживленным людом, на сей раз был пуст.

Наконец попытка закончилась, и вахтер, будто делая над собой невероятное усилие, насупив брови и поджав губы, процедил:

— Проходите, гражданин!

Пропуска он не вернул. Но Антон Варфоломеевич и не заметил этого. Все смешалось в его голове. Не помня себя, он добрался до лифта, машинально нажал нужную кнопку. Сбоку из сте-

ны, а точнее динамика, встроенного в нее, металлически проскрипело:

— Петр Петрович уже давно ожидает вас!

И вновь за спиной послышался ехидный приглушенный смешок. — Антон Варфоломеевич с недоумением оглядел свои пустые руки — папку со всеми выжимками, отчетами, справками он по спешности оставил у себя в кабинете. Но пути назад уже не было.

Лифт остановился, выплонув Баулина на шестнадцатом этаже. Двери за спиной с лязгом сомкнулись.

Антон Варфоломеевич робко заглянул в приемную, заранее раздвигая свои полные губы в приветливой, подобострастной улыбке. Однако секретарша Валечка даже не взглянула на посетителя и сделала вид, что не расслышала его приветствия.

Антон Варфоломеевич, ничуть не смутившись, принялся рассыпаться в любезностях. Потом намякнул на срочный вызов. И, минуты через четыре, уже впрямую, сетуя мысленно на несообразительность Валечки, попросил доложить начальнику о его приходе. Ответом было ледяное, презрительное молчание.

Баулину ничего не оставалось, как скромно пристроиться в креслице для посетителей и терпеливо ждать, пока о нем вспомнят. Сиделось как-то неудобно, нехорошо. Предчувствия переполняли его, ожидание томило и пугало неопределенностью, безвыходностью.

Через полчаса у него затекли ноги и спина. Через полтора болело все тело — казалось, что оно не свое, холеное и тренированное, а какое-то чужое, взятое напрокат у немощного старца или у забулдыги-алкаша. Кровь отлила от головы, лицо покрылось бледностью, а кончики пальцев и вовсе посинели.

Когда за окном совсем стемнело, секретарша оторвала свое припухшее личико от бумаг и зло

установилась на посетителя. Губки у нее кривились и подергивались, глаза превратились в щелки. Голос Валечки обрушился на Антона Варфоломеевича будто молот:

— Ну что же вы сидите?!

Баулин вцепился в подлокотники.

— Сидят тут всякие, а Петр Петрович ждать обязан?!

Баулин приподнялся на дрожащих ногах.

— Ни стыда, ни совести у людей! Совсем обнаглели! — обиженно пробурчала Валечка.

Антон Варфоломеевич сделал шаг к двери, осторожноенько приоткрыл ее.

В спину ему секретарша прошипела уже с нескрываемой ненавистью:

— Хоть бы почистился! Что за народ, как в кабак прут! Ну ничего, ничего...

Петр Петрович сидел в глубине огромного кабинета за необъятным резным столом. Он что-то листал, делая пометки на полях, потом комкал просмотренные листы и бросал их в плетеную корзину для бумаг. На Баулина он не смотрел.

Тот деликатно кашлянул.

— Чего тебе? — не поднимая глаз, спросил Петр Петрович.

Баулин смутился на секунду, но тут же вновь нагнал улыбку на лицо.

— Вызывали-с, — неожиданно для себя с излишней услужливостью пролепетал он.

— Ну-ну, — после молчания произнес Петр Петрович, — докладывайте!

Баулин разинул рот от неожиданности.

В дверь просунулась головка секретарши. Раздался язвительный голосок:

— Всю приемную затоптал, столько грязи развел. Нету на них управы!

Петр Петрович поморщился, махнул рукою. Дверь захлопнулась.

— Ну, давай, показывай, что там у тебя в кармане.

Антон Варфоломеевич совершенно растерялся. То, что с ним происходило, не вписывалось ни в какие рамки и было чем-то настолько непонятным, что он начинал окончательно терять самообладание.

— Я решительно возражаю, Петр Петрович, да как вы... — сказал он невнятно, слабым голоском.

— Давай вынимай! — Петр Петрович вытянул руку ладонью вверх.

Баулин машинально пошарил в кармане костюма, наткнулся на липкий, сыроватый комок, вытащил его нерешительно.

— Давай, давай, — еще требовательнее провозгласил хозяин кабинета. — Теперь поздно, ничего не скроешь!

Он вырвал из руки Баулина скомканную бумажку, развернул ее и стал утюжить, разглаживая ладонью по столу. От этой утюжки на бледно-желтом листе стали вдруг проступать зеленоватые крупные буквы. Баулин вытянул шею и сумел разобрать начальные слова: «Довожу до вашего сведения, что...»

Петр Петрович, совсем согнувшись над столом, заклекотал вдруг каким-то птичьим клекотом, переходящим в мелкий, рассыпчатый смех.

— Доводишь, значит! Ясненько. Не думал на тебя, Варфоломеич, не думал. Вот ты как, значит! Ну-ка выйди, мне кой о чем помозговать надо.

Неизвестно откуда появившаяся секретарша властно, за руку выволокла Баулина из кабинета, толкнула в сторону креслица и устоялась на него сверху вниз, торжествующе.

Баулин сидел и думал, когда же это он успел сойти с ума: у себя в кабинете, днем, или в троллейбусе, или уже здесь в приемной? На этот раз его не стали долго мурыжить, через час Валечка подпихнула его в сторону кабинета, не церемонясь, острым кулачком в спину — не чувствительно, но как-то малodelикатно.

На ходу Антон Варфоломеевич успел подумать, что близорукая девица была наверняка подослана недоброжелателями, что все из-за нее. Ну да ничего, ничего — все поправится, что ж он, мальчишка? — ведь сколько лет уже по приемным и кабинетам, нет, все будет нормальненько.

Петр Петрович по-прежнему рвал и комкал бумаги, предварительно испещряя их пометками. И опять не поднимал головы. Антону Варфоломеевичу было как-то неловко начать первому, и он выжидал. Наконец дождался.

— Чего тебе?

Голова у Баулина закружилась, все поплыло.

— Да как же-с, ведь вызывали-с, ведь мы же говорили с вами уже, — лакейски зачастил он, совсем теряя себя.

— Ну-ну, — пробурчал Петр Петрович, — садись.

Но только лишь Антон Варфоломеевич нерешительно присел на краешек стула, как хозяин кабинета оторвал глаза от бумаг. На лице его выразилась целая гамма чувств. Петр Петрович привстал над огромным столом, руки его растопырились и уперлись в каком-то хищном извороте в резную по краям столешницу, лицо сначала побагровело, а затем стало совершенно белым, до синевы снега, зрачки расширились, рот широко раскрылся, обнажая большие, желтые, прокуренные зубы.

— Вон! Вон отсюда немедленно!

Баулин опрометью бросился к выходу. В спину ему несло:

— Во-о-он!!!

Проснулся Антон Варфоломеевич совершенно обессиленным. Долго блуждал потухшим взором по потолку, будто отыскивая на нем разгадку кошмарному сну. Но, разумеется, ничего он там не нашел. Встал. Погляделся в зеркало — лицо было помятое, но не более, чем всегда по утрам.

Жена хлопотала на кухне. За окном насвистывали птички, ласкалось первыми лучиками ясное солнышко. Постепенно самообладание вернулось к Антону Варфоломеевичу, и он неспешно принялся за свой обычный утренний туалет. Затем с удовольствием откусал приготовленное женой. Еще раз посмотрел на себя — нет, все было в полном ажуре, из зеркала на него смотрело румяное, уверенное лицо.

На работу он все же опоздал на несколько минут, точнее, задержался, как обычно говорят про начальство, что людям такого масштаба в вину никогда не ставится. Да и, собственно, упрекнуть его никто не мог — заместитель директора был приятель, в одной цепочке они, как альпинисты в связке, шли к вершинам науки. А директора недавно проводили с почетом на пенсию, и место его пока что пустовало, искали подходящую кандидатуру.

Порученец уже сидел в кресле в кабинете. При виде начальника он тут же вскочил, расплылся в улыбке.

— Доброе... — начал было он, но Баулин прервал привычное приветствие.

— Доброе-то оно доброе, говори, не тяни резину, что там?

— Две новости, Антон Варфоломеевич, одна хорошая, другая...

— Не, давай с хорошей сначала. — Баулин привычно расположился за своим столом, откинувшись на спинку кресла и вытащил из портфеля положенное туда женой яблоко, надкусил, шумно задвигал челюстями.

— А вот слушайте, Иван Иванович наш, похоже, не сдает позиций, там, — доверенное лицо задрало руку вверх, — его, кажется, поддерживают.

— Похоже, кажется... — снова оборвал подчиненного Антон Варфоломеевич. — Ты толком можешь обстановку доложить?

Порученец развел руками.

— Толком только Господь Бог знает, но есть данные, что Иван Иванович поста не оставит. Теперь второе...

— Погоди, погоди. — Баулин смаковал услышанное, это меняло все в корне, ведь пока Иван Иванович был там, на своем месте, ничто на этом суетливом и неверном белом свете не могло поколебать положения самого Антона Варфоломеевича. И он чувствовал, как начинала играть в жилах еще совсем не старческая, горячая кровь, как проясняется голова и свободно, легко, весело бьется сердце в груди.

Но порученец прямо-таки изъерзался от нетерпения, и потому минута блаженства длилась, как ей и положено, минуту.

— Давай свое плохое известие, — махнул рукой Баулин, заранее отменяя все эти мелкие пердряги.

Доверенное лицо село поближе, склонилось над столом и прошептало, прикрывая рот ладошкой:

— С завтрашнего дня у нас новый директор, сведения абсолютно точные, проверенные.

Антон Варфоломеевич внутренне сжался, но виду не показал.

— Первый, что ли? — сказал он, улыбка тронула уголки губ. — Что мы, директоров не видали? На веку-то на своем? А?

Порученец удрученно кивнул головой.

— Так-то оно так, да вот только слухи про него ходят, как бы это сказать, не совсем, извините, радостные.

— Болтают.

— Да вроде бы нет. Уж больно, говорят, требовательный.

— Так что ж? Хорошая черта, принципиальность, требовательность — сейчас это все на повестке дня остро, — продекламировал Антон Варфоломеевич, забывшись, — с дисциплиной у нас порядок, планы выполняем, сам знаешь, почти досрочно...

— Это да, — порученец погрузнел, — только вот он не по дисциплине мастак, да и не по планам. Он все больше науку копает.

— Ну, это ты заговорился, Сашенька, — временами Баулин обращался к помощнику подчеркнуто ласково, в тех случаях, когда тот, как казалось Баулину, начинал перегибать палку. — Мы, чай, тоже не лыком шиты, да и в науке не на последних местах. Как твоя кандидатская, кстати?

— Вашими молитвами, — отвечивал Сашенька, но, видимо, сейчас ему на эту тему развозить беседу не хотелось. — Правильно вы все подмечаете, Антон Варфоломеевич, одного только, извините, не учитываете.

— Ну так образумь, научи! — Баулин начинал сердиться.

— Не ценит, говорят, новый-то уважаемых людей. Станный у него подход, ему, мол, живой товар на стол подавай, а у нас...

— Ты говори, да не заговаривайся! У нас... Чем это мы хуже других?!

Порученец расхрабрился.

— А тем, что за последние четыре года результатов-то — ноль!

— Так ищем, в науке всегда так, мне тебя, как студенту, учить?

— Правда ваша, искать-то ищем, мы-то с вами понимаем, а поймет ли он? Что скажете, Антон Варфоломеевич?

Баулин замялся, до него стала доходить вся серьезность положения. Но повода для паникерства он не видел.

— Слушай, — сказал он неожиданно, — а у тебя случайно седуксена нету? Говорят, на ночь хорошо. А то что-то сон неважнецкий стал, старею, наверное.

— Да нет, — сказал опешивший Сашенька, но тут же поправился, — достану, Антон Варфоломеевич, к концу дня рабочего будет у вас на столе.

— Ну вот и лады. А конспектик небольшой по нашей тематике ты мне составь, пожалуйста, очень тебя прошу. Да и перечень возможных вопросов к нашему отделу, хорошо? Загрузи там кого надо, потолковее. Да побыстрее постарайся — сам знаешь, месяцочек новый будет в курс входить, а там и к себе может потребовать, надо быть готовым.

Доверенное лицо скорчило гримасу боли и страдания.

— Да если б так, я вас, Антон Варфоломеич, и беспокоить не стал бы. Месячочек? А завтра или послезавтра не хотите у него на ковре быть, а?! Ведь отдел-то наш первый, с нас и начнет, вот в чем штука.

Баулин помрачнел.

— Нажми, Сашка, — твердо проговорил он, — все задействуй, чтоб коротко, ясно и чтоб за день готово было. Ты понял меня?

— Понял! Все сделаю и про седуксен не забуду!

Сашка вскочил со стула, потер ладони, в глазах его загорелся огонь.

«Этот будет землю рыть, сделает!» — с некоторым облегчением подумал Антон Варфоломеевич.

— Так я пошел? — спросил порученец.

— погоди, ты закинь удочки нашим в конторе, понял? Они должны знать, с чем едят этого... как его фамилия-то?

— Нестеренко.

— Кто? — Антон Варфоломеевич привстал. — Тот самый, с производства? — так он называл крупнейший опытный центр в стране. — Что ж ты молчал, дружок?!

Сашка виновато ухмыльнулся.

— Сразу-то, как обухом, Антон Варфоломеич, разве можно?

— Иди! — сказал Баулин и погрузился в мрачные думы.

Потянулся нескончаемый, наполненный заботами рабочий день: нужно было сделать десятки, если не сотни, телефонных звонков, напоминая о себе уже хорошо знакомым людям, завязывая новые связи, — срочно нужно было что-то достать, кого-то куда-то устроить, кого-то от чего-то избавить, и так до бесконечности — хлопот хватало. А память у Антона Варфоломеевича была цепкая, необычная для его лет, книжек телефонных он почти не держал — все было в голове: номера, имена, кому что нужно...

В этой мелкой суете забывались большие заботы, тревоги, приходила уверенность в собственном всемогуществе, а стало быть, и незыблемости. Но приближался вечер. Обещанный Сашенькой седуксен уже лежал на столе, а Антон Варфоломеевич, не привыкший «ко всей этой химии», поглядывал на аккуратненькую беленькую коробочку с сомнением. Однако, собираясь домой, он все же сунул ее в боковой карман пиджака.

Валентина Сергеевна перемен в муже, вернувшемся, как и обычно, в половине седьмого, не нашла и заботливо порхала вокруг Баулина. Она по-своему любила его, а уж заботиться о мужнине семейном благополучии считала своим долгом. Несмотря на затянувшийся взрыв эмансипации и свою ученую степень кандидата искусствоведения, Валентина Сергеевна любила домашние хлопоты.

Отужинал Антон Варфоломеевич на этот раз с большим аппетитом, обласкав супругу теплым взглядом; уютно посидел у телевизора, с некоторой заминкой, тайком, проглотил маленькую таблеточку и заснул. Заснул, едва коснувшись головой подушки, как человек, даже и не имеющий понятия о бессоннице и считающий всех страдающих таковой просто-напросто чудаками. И тем не менее...

...очередь в приемной была человек на двад-

цать пять. Все сидели на своих стульчиках молчком. Дожидались.

Антон Варфоломеевич сидел прямо напротив двери с пугающей табличкой. В голове его никак не укладывалось, зачем он сюда попал, при каких обстоятельствах. Лишь повестка, подрагивающая в его руке, напоминала, что в очереди этой он не случайно.

Все сидели тихо, не поднимая голов. И все же боявшийся повернуться Антон Варфоломеевич краешком глаза успел отметить, что сидели все сплошь знакомые: рядом с ним сгорбился на стуле седовласый красавец профессор Тудомский, следом за ним — двое из ученого совета того же института, где работал и сам Баулин, за ними кое-кто из немаловажных административных работников, в свое время оказавших немалую помощь Антону Варфоломеевичу, и так далее. С другой стороны, отвернувшись от шефа, сидел Сашенька. И снова — все знакомые лица... Сашка, подлец, упорно не смотрел на Баулина, делая вид, будто не знаком с ним. Однако в очереди этой странной он выделялся. Выделялся тем, что между ног у него, под стулом, была зажата солидная крупночешуйчатая авоська, сплошь набитая бутылками коньяка «КВ».

Тишина давила. А заговорить с кем-либо из сидящих Антон Варфоломеевич не смел, даже в глаза заглянуть не решался — на этот раз каждый был сам по себе.

Наконец дверь медленно растворилась. И Антон Варфоломеевич увидел на пороге Иван Иваныча. Сердце в груди екнуло, провалилось вниз. Но не сам, изрядно позеленевший, сгорбленный, с руками, сложенными за спиной, Иван Иваныч поразил Баулина, нет. Почему-то больший страх на него навели две фигуры в ладно подогнанных костюмчиках, стоящие по бокам от Иван Иваныча. Впрочем, стояли они недолго.

«Увели! — мелькнуло в горячем мозгу. —

Самого Иван Ивановича! Что же это...» — Антон Варфоломеевич не успел додумать, как из-за двери раздался мягкий убаюкивающий тенорок:

— Следующий, проходите, пожалуйста.

Изменник Сашка сорвался с места и вместе со своей авоськой моментально исчез за дверью. Никто даже головы не повернул в его сторону, не проводил взглядом.

Но так же быстро, как вошел, Сашка и вышел обратно. Точнее вылетел, свалившись прямо под ноги Антону Варфоломеевичу. Вослед за ним вылетела авоська, на лету теряя свое содержимое.

Сашка вскочил на ноги, тут же упал вновь, но уже не на спину, а на колени, и принялся с невероятным проворством собирать раскатившиеся под стулья бутылки. Сидевшие брезгливо подбирали ноги, морщились. Но Сашка продолжал суетливо делать свое дело. Когда собрал бутылок пять-шесть, часть из которых уже была распахана по карманам, а другая бережно прижата к груди, Сашка опрометью бросился к двери в другом конце коридора. Через секунду слышались его торопливые удаляющиеся шажки по лестнице, а потом раздался дикий грохот и омерзительный дребезг бьющегося стекла.

Одну из бутылок Сашка все-таки не успел подобрать, и она теперь почивала под стулом у Антона Варфоломеевича. Стараясь делать это незаметно, Баулин пытался ногой откатить ее под стул соседа. Но посудина, видимо пользуясь неровностями пола, упорно возвращалась на свое место.

— Следующий! — вновь пропел упоительный голосок.

Антон Варфоломеевич затаился. Но как раз в это самое время почувствовал внушительный толчок в бок — Тудомский на него не глядел, но выразительно оттопыренный локоть говорил сам за себя.

Баулин привстал, пытаясь унять дрожь в коленях. Огляделся по сторонам, будто ища поддержки. Не нашел — все каменно смотрели в пол.

— Антон Варфоломеевич?! — сидящий обрадовался вошедшему Баулину, будто тот был его лучшим другом. — Проходите, проходите, пожалуйста!

Перед Антоном Варфоломеевичем стоял невысокий, румяный, ладно скроенный человек. Он раздвигал руки в стороны, будто приноравливаясь обнять посетителя, но с места не сходил.

— Не беспокойтесь, любезный Антон Варфоломеевич, формальность, чистая формальность. Вы, наверное, притомились, дожидаясь там, в коридоре. Простите уж нас — служба такая.

Человек вздохнул сокрушенно, даже глаза в сторону отвел.

— Да вы присаживайтесь, что ж стоять-то?!

Он уселся сам и достал из стола папку. Углубился в ее содержимое.

Антон Варфоломеевич не знал — радоваться ли ему такому приему, сокрушаться ли — нет ли подвоха? Но он присел на краешек стула, выражая своим видом внимание и готовность отвечать на все вопросы. Отвечать искренне, как на духу.

По мере того как человек изучал документы, лицо его все больше и больше мрачнело. Минут через десять он из радушного хозяина превратился в угрюмо-усталого чиновника-бюрократа, обремененного однообразными и явно приевшимися ему делами.

— Да-а, — протянул он после затянувшегося молчания, — такие блестящие характеристики... и на тебе. Что-то у меня концы с концами не сходятся. — Он исподлобья взглянул на Антона Варфоломеевича и резко выпалил: — Иван Ивановича Иванова знаете?

— Нет! — неожиданно для себя ответил Баулин и сжался в комок от накатившего волной страха, но тут же поправился: — То есть, извини-

те, пожалуйста, знаю, конечно, знаю, только я никогда с ним...

— Угу, — неопределенно промычал человек, — стало быть, знакомы. А вы знаете, что у упомянутого подследственного загородный домик на шестьсот тысяч потянул?

— Нет! — твердо отрезал Баулин. — Хотя я всегда подозревал, что этот человек, как бы вам сказать, не совсем чист...

— Не надо, — брезгливо сморщился хозяин кабинета, — не надо здесь о чистоте. Кстати, я слышал, у вас неплохая дача в Малаховке, цветочки выращиваете?

— Все на свои трудовые сбережения. — Антон Варфоломеевич побледнел, зашарил по карманам, но ничего там, естественно, не нашел. — Я вам сейчас мигом все документы представлю.

— Не утруждайте себя, любезный Антон Варфоломеич, мы располагаем всеми документами, — человек похлопал по папке, — машина на жену, другая на сына, так?

Баулин торопливо затряс головой.

— Вы не волнуйтесь только — это так, формальности. — Человек снова приторно и зловеще заулыбался. — Это ж надо, а третья-то — на тещу! Сколько ей лет-то?

— Восемьдесят два.

— Да-а, все мы не молодеем, к сожалению. Так говорите, с Иван Ивановичем не знакомы?

— Очень, очень дальнее знакомство, шапочное, можно сказать! — Антон Варфоломеевич начинал волноваться. — Я и раньше предполагал, что...

— Человек предполагает!.. Но это все к делу отношения не имеет. Я вот, знаете, антикой увлекаюсь, грешен — люблю! Ценю, как высшее выражение духа, полет его, так сказать. А кстати, — человек сделал паузу, пристально глядя прямо в глаза Баулину, — Антон Варфоломеич, не пригласите ли посмотреть собрание свое, как любителя, значит? Потолкуем, поспорим, знаете ли!

Что-то внутри у Баулина оборвалось, неожиданно для себя он прямо со стула грохнулся на колени.

— Не губите! — Голос его опустился до сипа. — Не губите, ради всего... у меня внук, меня в коллективе ценят!

Человек встал, не обращая ни малейшего внимания на стенания посетителя, и отошел к окну.

Антон Варфоломеевич уткнулся в сиденье стула лицом и судорожно зарыдал. Если бы ему сейчас сказали — отдай все, все, что имеешь, до последней нитки, и можешь идти отсюда на все четыре стороны, он бы, ни минуты не колеблясь, — отдал. Но никто ему этого варианта не предлагал.

А человек, засунув руки в карманы брюк, стоял у распахнутого окна и что-то насвистывал. Антон Варфоломеевич мотива разобрать не смог, но зато разобрал другое — воспользовавшись тем, что человек стоит к нему спиной, он заглянул в свое дело — на фоне напечатанного на машинке материала там стояла приписка от руки красными чернилами: «В особо крупных размерах». Это окончательно убило Антона Варфоломеевича, и он зарыдал пуще прежнего.

Но вместе с тем все его чувства обострились, он даже расслышал, как человек у окна не насвистывает, а еле слышно напевает:

Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа...

— Пощадите! — вновь взмолился Антон Варфоломеевич, подползая на коленях к стоящему. — Только вы, я знаю, только вы можете!

Человек неожиданно обернулся, в глазах его застыло удивление.

— Антон Варфоломеич, да что с вами, любезнейший?! Вам плохо?

Он бережно приподнял Баулина за плечи, поставил на ноги.

— Выпейте водички, — доброжелательным то-

ном, с состраданием проговорил он, но ни стакана, ни графина не предложил, даже не указал на них. — Ну будет, будет, с кем не бывает?

По спине Антона Варфоломеевича прокатилась волна дрожи.

— Пойдемте, я провожу вас, — человек вежливо повел Баулина к двери, — и не переживайте, я вас очень прошу.

Тот судорожно кивнул, с мольбою глядя на говорящего.

Хозяин кабинета, не переставая улыбаться и рассыпаясь в деликатностях, подвел Антона Варфоломеевича к двери, распахнул ее услужливо перед самым носом Баулина и неожиданно, сильным ударом колена под зад, выставил его вон.

Валентина Сергеевна пробудилась от истощающего и какого-то по-бабьи высокого крика и с перепугу закричала тоже. Но уже через секунду смолкла. Пожара вроде не было, да и воров тоже. Рядом лежал тяжело дышащий муж. Лицо у него было все в поту, губы дрожали.

Валентина Сергеевна тихонечко заплакала, размазывая слезы ладонью. Она не могла понять — спит муж или просто лежит с закрытыми глазами. А вдруг спит? Тогда будить не стоит, все пройдет само собой и кошмары эти внезапные кончатся, главное, спокойствие.

Но Антон Варфоломеевич не спал.

— Надо прятать, — проговорил он вдруг отчетливо, не открывая глаз, — пока не поздно.

— Что? Что прятать? — удивилась Валентина Сергеевна.

— Все! И скорее! А то поздно будет!

Баулин перевернулся на бок, спустил ноги с кровати, принялся нащупывать шлепанцы.

— Немедленно прятать!

Валентина Сергеевна зарыдала пуще прежнего, вцепилась рукой в край мужниной пижамы.

— Ты куда? Ложись, все пройдет!

— Молчи, дура!

Антон Варфоломеевич поплелся на кухню, мало соображая, что именно и куда надо прятать. Там он из горлышка высосал целый чайник воды и от этого осоловел еще больше. Вернулся в спальню, рухнул на постель и тут же заснул.

Валентина Сергеевна до утра не спала. Приглядывалась к мужу. Но тот посапывал себе потихоньку, был розов и безмятежен. И она успокоилась совершенно.

А между тем безмятежность была мнимой.

Антон Варфоломеевич даже во сне думал о том, что «прятать все же надо» и что «будет поздно». Но просыпаться и вставать ему было лень.

Пробудил его неожиданно громкий звонок в дверь. Он встрепенулся, присел на постели, прислушиваясь. Звонок повторился, причем прозвучал он еще громче прежнего. Осторожно, чтобы не разбудить жену, Антон Варфоломеевич слез с кровати и босиком, на цыпочках побежал в прихожую.

Звонок опять ударил по ушам. Но Баулин не спешил открывать. Он заглянул в глазок: на лестничной площадке было пусто. «Чертовщина! — мелькнуло в голове. — Или, может, разыгрывает кто!»

Звонок прогремел снова, в дверь забарабанили.

Антон Варфоломеевич оглянулся в надежде на то, что жена проснулась от шума и поможет разобраться что к чему. Но в квартире было тихо. Он снова заглянул в глазок — ни души! Поплелся в спальню. За спиной вновь забарабанили, даже слышались какие-то невнятные ругательства и крики.

Антон Варфоломеевич уже было обернулся к входной двери, но... остолбенел: то, что он увидел, сразило его мгновенно, и пришлось закрыть глаза, потереть виски, ущипнуть себя за нос и даже потрясти головой с силой, как это проделыв-

вают стряхивающие с себя воду собаки. Но видение не исчезло! Дверь в спальню была опечатана огромной сургучной печатью, наложенной на полоски бумаги с чьими-то подписями. В довершение всего на двери висел огромный амбарный замок, а ниже — табличка с красными неровными буквами: «Не вскрывать!»

Антон Варфоломеевич протянул было руку. Но вновь во всю мощь зазвонил звонок, дверь загудела под ударами. Когда он подбежал к глазку и заглянул в него, вновь ничего и никого не обнаружив за дверью, из туалета послышались звуки спускаемой воды. Причем бурчание сливного бачка повторилось еще и еще раз — с какой-то нервной настойчивостью.

Обозленный всем происходящим, Антон Варфоломеевич направил свои стопы к туалету, смакуя предстоящую расправу с обнаглевшими гостями, проникшими в его квартиру. В силах своих он, будучи в наитяжелейшей весовой категории, ничуть не сомневался.

Но когда он резко толкнул туалетную дверь от себя и она раскрылась, Антон Варфоломеевич не увидел ни сливного бачка, ни унитаза, ни даже стен — перед ним была пугающая бездонная чернота.

Он невольно отшатнулся назад, уперся плечом в стену и снова ущипнул себя за нос.

В эту минуту из темноты выплыли две фигуры: одна в черном расхристанном бушлате, другая в какой-то длиннющей серо-зелено-желтой замызганной окопной шинели, какие Баулин видал лишь в фильмах.

— Гражданин Баулин — кто будет?! — спросил, глядя в пространство, матрос.

— Но позвольте!

— Не позволим! — Окопник пригрозил Баулину скрюченным грязным пальцем.

А матрос, сдвинув гигантскую кобуру назад, порылся в карманах и ткнул прямо в нос Антону

Варфоломеевичу лист бумаги. На нем было криво выведено фиолетовыми чернилами: «Мандат».

— А ну, к стенке! Паразит!

Баулин не обиделся на «паразита». Но вот это безапелляционное — «к стенке» повергло его в ужас. Пижамы на спине тут же намокла, в груди закололо.

— Ну зачем же так, сразу — к стенке, товарищи?! Заходите, пожалуйста, разберемся. Все мы люди свои, наши, все за одно дело...

— Петлюра тебе товарищ, — проворчал окопник и предложил матросу: — Связать бы паразита?

— Чести много, — отозвался тот, — я его и так шлепну, пусть шелохнется только. — И он выразительно хлопнул по деревянной кобуре ладонью-лопатой. — Иди в залу, а я тут погляжу.

— Но в чем все же дело? — вставил Баулин, начиная понимать, что с ним не шутки шутят.

— Экспроприация экспроприаторов! — сурово выдавил матрос и сдвинул потертую бескозырку на затылок.

Солдат закинул за спину винтовку со штыком, болтавшуюся у него до того на локте, подступил ближе:

— Говори, контра, где оружие и драгоценности прячешь?!

При слове «оружие» Антону Варфоломеевичу стало совсем худо.

— Ничего нет, — пролепетал он.

Окопник ткнул его кулаком в грудь, выматерился и пошел в гостиную, роняя с сапог ошметки чернозема, с вдавленными в них окурками, соломой, семечной шелухой. Матрос, молча и по-прежнему не глядя на хозяина квартиры, принялся сдирать обои — кусок за куском, приносясь к обрывкам и простукивая стену. Вся прихожая и коридор от этого превратились сразу в подобие захламленного сарая.

Баулин сидел на корточках у стены, всхлипы-

вал и подумывал о звонке в милицию. Но предприятие это было довольно-таки рискованным — а вдруг и вправду «шлепнет»?

Матрос явно устал от обдирочно-стучальных работ и ничего, разумеется, не нашел. Он в который уже раз разгладил светлые усы и вытер пот со лба. Потом неторопливо раскурил огромную самокрутку.

— Едрит твою в граммофон! Умеют прятать! — пожаловался он Антону Варфоломеевичу и присел рядом.

Из гостиной доносились стук, скрип, сопенье и мат-перемат. Баулин не хотел даже представлять, что там происходит.

За туалетной дверью вновь заурчало-забулькало, и в коридор ввалился еще один солдат — низенький и злой на вид.

— Здесь, что ли, раскулачивают-то?! — с ходу спросил он.

— Проходи, браток! — проговорил матрос.

Пришедший сразу подступился к Баулину, не выясняя, виновен тот или нет. Чувствовалась в нем хватка.

— Куда зерно заховал, кулацкая морда?!

Антон Варфоломеевич отвернулся.

А матрос, посдиравший все, что можно содрать, и передохнувший малость, принялся за трубы в ванной — вначале он их хотел отодрать от стены, побивал весь кафель. Не получилось. Разыскав ножовку, стал пилить, наполняя квартиру диким визгом и скрежетом. Заглянувшему маленькому солдату сказал:

— Золотишко-то у него здесь, нутром чую!

Тот волочил с кухни полиэтиленовый мешок с огурцами и авоську с картошкой.

— Во-о, скрыть хотел, гнида!

Баулин уже ни на что не реагировал. Лишь когда из гостиной стали доноситься совсем какие-то дикие звуки, он осторожно подполз к дверям, просунул голову. Что там творилось! Окопник,

скинувший длиннополую шинель, с каким-то неимоверным остервенением рубил топором паркет прямо посреди комнаты, при этом взухивал, прикрикивал и даже напевал что-то. Щепа летела во все стороны.

— Найдем, все найдем!

Антон Варфоломеевич, не удивляющийся уже ничему, почувствовал коленями сырость, да и ладони стали скользить, расплзаться по мокрому паркету — видно, матрос доконал-таки трубы.

Впрочем, к этому моменту все три экспроприатора были в гостинной. И если один был занят важным делом — рубкой баулинского паркета, то двое других подсобляли ему советами и прибаутками. Низенький солдатик пытался даже подковыривать пол сбоку длинным штыком. Вода прибывала.

Наконец вложивший всю мощь тела в последний, решающий удар окопник пробил перекрытие насквозь... и ухнул вниз вместе со своим топором. Матрос почти на лету ухватил его за сапог и с натугой, при помощи низенького, вытащил из дыры.

— Подпол знатный, — пробурчал вытащенный глубокомысленно.

Вода лилась в дыру, увлекая туда же обрывки обоев и мелкую кухонную утварь.

Антон Варфоломеевич, как был на четвереньках, подполз к дыре, заглянул в нее. В полумраке подземелья — а вовсе не квартиры нижних жильцов, как думалось поначалу Баулину, — засверкали бриллианты и изумруды, монеты царской чеканки с бородатым профилем, запереливались отблесками груды диковинных украшений, кое-где тусклыми воронеными стволами чуть посвечивали пулеметы «максимы», винтовки...

— Что и требовалось доказать, — прозвучало над ухом. — А ну, встать, контра!

— Отбегался, паразит, — добавил окопник, подбирая винтовку и наставляя ее на Баулина.

А низенький лишь сбросил в дыру авоську и пакет, как бы присовокупляя их содержимое к награбленным у трудового люда богатствам.

Антон Варфоломеевича поставили к стене, прямо под картиной голландских мастеров восемнадцатого века, на которую почему-то никто из экспроприаторов не обратил внимания. Матрос вытащил знакомый уже Баулину «мандат», перевернул его другой стороной и стал зачитывать текст. Стволы винтовок медленно поднимались, Антон Варфоломеевич думал со странной покорностью, что он помрет еще до того, как грянут выстрелы, а вода струилась, журчала, стекала в искромсанный широкий зев.

— ...как врага и подлого наймита! Обжалованию не подлежит! — заключил матрос. И поднял вверх руку с маузером.

В эту минуту из коридора послышалось бурчание, и в комнату вошел человек в черной кожаной куртке и в пенсне. Он морщился и разводил руками, ступая осторожно, высоко поднимая ноги, хотя воды в комнате было разлито равномерно — по щиколотку.

— Отставить, — сказал он устало. — Ну нельзя же так, товарищи. Ведь суда еще не было. Вы же знаете, должен быть суд, а потом и к стенке уже, чтоб по правилам.

— А я б эту кулацкую рожу в нужнике утопил! — сказал низенький зло.

— Утопим, — согласился кожаный, — после суда, непременно утопим.

Антон Варфоломеевич стоял на коленях, молитвенно сложа руки на груди, и пожирал кожаного глазами, в которых были и восторг и благоговение. Это пришел его спаситель.

— Запротоколируйте! — сказал человек в кожанке окопнику.

Тот достал из кармана огрызок карандаша, принялся мусолить его, приговаривая:

— А я б контру, паразита мировой буржуазии,

своими руками придушил! Чего с имя рассусоливать?!

— Конечно, придушим, — согласился и с ним кожаный, — сразу после суда возьмем да и придушим. А теперь пора, товарищи!

Он решительным шагом подошел к краю дыры и без промедления сиганул в нее. Следом попрыгали и остальные. Окопник не утерпел и перед самым прыжком обернулся, погрозил Антону Варфоломеевичу пальцем.

— До свиданья, гнида! — проговорил он и тут же исчез.

Дыра на глазах начала зарастать новеньким блестящим паркетом, пока не исчезла совсем. Баулин прошел в ванную — трубы были искорежены, как после землетрясения. Он сунул ради любопытства палец в отверстие одной из них — оттуда выпал самый настоящий желтенький луидор, следом посыпалась посверкивающая алмазно-прозрачная мелочь.

Нет, все-таки сон, решил про себя Баулин. Он был почти счастлив. Но в голове стучало с прежней назойливостью: надо прятать, срочно, пока не поздно!

В коридоре подсохло. Обрывки обоев сами собой приклеились на прежние места. Лишь мерцал холодным светом оброненный окопником в углу граненый штык да хрустели под ногами щепки.

Антон Варфоломеевич подошел к раскрытому на кухне окну и впервые в жизни, глядя куда-то вверх, в поднебесные темные выси, размашисто и истово перекрестился.

На следующий день Антон Варфоломеевич на службу не пошел. Едва поднявшись с постели в половине десятого, когда жена уже упорхнула на работу, он потянулся к телефону. Руки не слушались, трубка пыталась выскользнуть из ладони, номерной диск не поддавался, да и сам телефон

все норовил сползти со столика. «У-у! Поганые эргономисты!» — выругался вслух Антон Варфоломеевич, имея в виду конструкторов аппарата, занимавшихся удобством его использования. И на самом деле — для того, чтобы набрать номер, постоянно приходилось придерживать телефон другой рукой.

— Сашка? Ты?!

— Вас слушают, — отвечал Сашка, явно не узнавая осипшего шефа.

— Оглох, что ли?! — Баулин не на шутку разъярился. — Что с директором?

— Антон Варфоломеевич? — Сашенька залебезил. — А я вас и не признал, богатым будете, с добрым утречком вас, — тараторил он, — как здоровьечко?

— Да ты умолкнешь?! Что там, спрашиваю, отвечай, преда... — сон еще крепко сидел в памяти Баулина, но все же он вовремя осекся.

— Все понял, — бодро ответил порученец, хотя ничего-то он ровным счетом не понимал, — новостей нету. Нестеренко этого тоже пока нет. Ждем к вечеру, может — завтра с утра. А отчетик наш готов почти, последние бабки подбиваем, в общем, слепили на славу.

— А ну его к черту! — в голове Баулина гудело. — Что еще?

— Все! — твердо заявило доверенное лицо.

— Тогда лады. Сегодня меня не ждите, буду дома работать. Вот теперь и у меня все.

Антон Варфоломеевич бросил трубку, отчего телефон наконец слетел с тумбочки, но, к счастью, застрял между нею и стенкой, обитой небесно-голубым шелком, и тут же отчаянно заверещал. У Баулина все внутри перевернулось, содрогнулось в приступе раздражительности. Он вновь схватил трубку, чертыхаясь и пытаясь вытащить непокорный аппарат из щели.

— Это прокуратура? — спросил металлический голос.

Ничего не ответив, Антон Варфоломеевич выдернул телефонную вилку из розетки и повалился на постель в полнейшем бессилии.

До трех часов дня Антон Варфоломеевич спал беспробудным сном, и ничего ему не снилось. Свинцовая мгла проглотила его и оставляла в своей власти в течение нескольких часов. Но все имеет свой конец. Разбудил его тот же телефон.

Спросонья Антон Варфоломеевич долго не мог понять, что творится и кто посмел прервать столь необходимый ему сейчас отдых, — голова была несвежая, и потому, не открывая глаз, он поначалу грешил на будильник. Шевельнуться было лень. Потом до него дошло — будильник трещал бы намного противнее и громче, а тут было мелодичное треньканье. «Что за чертовщина?» — подумал он, но затем сообразил — приезжала жена домой обедать, приезжала на их славненьком «Жигуленке», который Антон Варфоломеевич так и не научился водить. Она-то и подключила, верно, проклятый шнур.

Звонивший был настойчив. Таких Баулин поневоле уважал.

— Тоша? — спросила трубка неразборчиво.

— Антон Варфоломеевич, ваш покорный слуга, — недовольным голосом поправил звонившего Баулин.

— Не трепись! Слушай лучше. Ты чего не у себя?

Антон Варфоломеевич узнал привычный снисходительный басок Иван Ивановича, и тон его мгновенно переменился.

— Приболел малость, Иван Иванович, — приторно прошелестел он, — как вы-то, как самочувствие?

Он припомнил ночной кошмар, и сиреневое лицо своего покровителя, и руки за спиной... «А вдруг правда? — подумалось ему. — Вдруг сон-то вещий?!» Верить в это не хотелось, но мурашки сами по себе побежали по телу.

— Какое, к черту, самочувствие? У тебя все спокойно?

— Да вроде бы... — начал Антон Варфоломеевич.

— Значит, так, не добрались еще! — Иван Иваныч волновался.

— Как это? — не понял Баулин.

— Узнаешь как, — голос опустился до шепота, — доброжелателей много, пишут, сам понимаешь, а там... — Иван Иваныч уважительно смолк на секунду, — верят всему, комиссии шлют. Меня замурыжили вконец, анонимщики чертовы!

— Клеветники, — поддержал его Антон Варфоломеевич.

— То-то и оно. Я думаю, тебе растолковывать не надо, а? Воду-то в ступе толочь? Сам дойдешь? Но гляди, чтоб с сей минуты и сам и вся твоя шатия-братия — гармоническими личностями! Понял?

— Слушаюсь! — истово ответил Антон Варфоломеевич, вставая с постели и вытягиваясь в струнку.

Звонок растревожил душу. Мрачные предчувствия овладели Антоном Варфоломеевичем. Надо было что-то делать, а что именно, он не знал. Суесть было бесполезно. Да и вообще, были ли основания для беспокойства? Кто мог ответить на этот вопрос? Но состояние неопределенности, жуткого ожидания чего-то давило на него сильнее, чем реальная опасность.

Антон Варфоломеевич попробовал запустить удочку еще в одно местечко. Но, к сожалению, звонок заместителю не существующего пока директора, стародавнему приятелю Баулина, ничего не прояснил.

— А бог его знает, — сказал тот, — новая метла всегда по-новому метет. Но ты-то чего беспокоишься? Иль на мое место метишь?

Зам был всего-навсего кандидатом, а в институте было несколько докторов, и потому ему

приходилось быть начеку, мнительность становилась чертой его характера.

Но Антон Варфоломеевич на провокацию не поддался. Промолчал.

И потому опять заговорил зам:

— Но ты завтра приходи, Антоныч, ладно?

— Куда я денусь, приду. Вот только долго ли нам ходить-то осталось?

Зам расхохотался.

— А ты и впрямь болен, Варфоломеич, пора тебя в отпуск.

На том разговор и закончился.

Чтобы развеяться, Антон Варфоломеевич присел к телевизору, щелкнул выключателем. Показывали хронику. Операторская группа, несмотря на рушащиеся здания и непрекращающуюся пальбу, творила чудеса.

На экране шли бои, лилась кровь.

Как ни странно, чужие горести отвлекли Антона Варфоломеевича от собственных надуманных бед. Он расслабился, откинулся на спинку кресла и полуприкрыл глаза. Ему было искренне жаль истребляемых военной мясорубкой людей, но происходило это где-то далеко и потому казалось полуреальным, неживым, вроде тех вестернов и боевиков, что заполнили за последние годы кинотеатры. В боевиках события текли и развивались более естественно и жизненно, чем сейчас, на телеэкране, по крайней мере, так чудилось Антону Варфоломеевичу.

Свое было важнее, значимее. Ведь до чего дошел! Ведь как изработался! Да, так и до психушки недолго! Баулин тихо и уныло тосковал. Конечно, жена была права — она весь вчерашний день просто-таки молила его подумать о своем здоровье, не выматываться так. У Антона Варфоломеевича до сих пор в ушах звенел ее высокий голосок со всхлипами и придыханиями: «Ну кому нужны твои жертвы! Науке? Этим твоим коллегам-завистникам?! Ну кому, я тебя спрашиваю?!

Угровишь себя ни за что, а они только рады будут! Так жертвовать своим здоровьем, самую жизнью. То-оша-а! Да плюнь, обойдется твоя наука, все они обойдутся, ну их!» Да, права Валюша, кому нужны эти глупые жертвы? Сами себя гробим, а во имя чего?

Мысли расплзались. Голос телекомментатора убаюкивал своей монотонностью, и Антон Варфоломеевич постепенно, незаметно для себя сначала вздремнул, а потом и вовсе уснул — сказала уже четвертая с сегодняшнего утра таблетка.

...визгливый скрип тормозов разбудил Антона Варфоломеевича. Не помня себя он бросился к окну, отдернул занавеску: у подъезда стоял шикарный черного цвета лимузин невероятных размеров и, что самое удивительное, иностранной марки. За темными стеклами лимузина невозможно было что-либо рассмотреть.

На сердце у Антона Варфоломеевича похолодело.

— Валюша! — отчаянно закричал он. — Валя, Валька-а-а!!!

Жена не отзывалась на его истерический призыв. Антон Варфоломеевич впопыхах бросился по комнатам. Ветер, ледяной ветер, непривычный для июля, гулял по ним — все окна большой квартиры были распахнуты настежь. Супруги нигде не было.

Пытаясь совладать с собой, Антон Варфоломеевич принялся было за окна. Но закрыть их ему не удалось — ветер был ураганной силы, и справиться с ним мог разве только какой-нибудь цирковой атлет. Но что еще сильнее повергло Антона Варфоломеевича в изумление, граничащее с безумием, это то, что ни одно деревце во дворе не гнулось под порывами этого ветра, даже листики, слабые нежные листики — и те висели безвольно, будто находились они под стеклянным колпаком.

Отчаявшись в своей борьбе со стихией, Антон Варфоломеевич забился в угол прихожей и беззвучно затрясся в припадке нервного хохота. Остановиться он никак не мог — спазмы душили, перехватывали горло, в животе отдавало острой колющей болью. Время шло, а приступ не прекращался. Не прекращался до тех пор, пока Антон Варфоломеевич не услышал совершенно отчетливые, намеренно тяжелые шаги по лестнице.

— Ва-а-ля! — бессильно прошептал он, пытаясь встать, уперевшись обеими руками в дверной косяк.

В дверь тихо постучали.

«Почему стучат? — Антона Варфоломеевича объял ужас. — Ведь звонок в полном порядке?!» Гуляющий по дому ветер хулиганил — Антон Варфоломеевич слышал, как падают на пол и бьются вдребезги бесценные вазоны и амфоры, как срываются со стен и с грохотом сползают вниз картины в массивных рамках... Но сейчас ему было не до этого.

Дверной стук усиливался.

«От судьбы не уйдешь!» Антон Варфоломеевич, собрав последние остатки мужества, защелкал замками и приготовился к самому худшему.

Замков было много, и справиться с ними оказалось не простой задачей, особенно если учесть, что руки у хозяина квартиры ходили ходуном. И вот дверь поддалась.

У порога стоял невзрачный, незапоминающийся тип в затемненных очках и черной велюровой шляпе. Шляпу он приподнял, поклонился, не опуская глаз.

— Я не ошибаюсь — Антон Варфоломеевич Баулин, доктор технических наук?

Названный в ответ смог только головой кивнуть.

— Прекрасно, — сказал незнакомец, — вы должны ехать со мной.

— Кому это я должен, с какой это стати? —

попытался оказать сопротивление Баулин, но натолкнулся на стальную стену слепой уверенности.

— Должны! — твердо повторил незнакомец. — Другого выхода у вас нет.

Антон Варфоломеевич покорно склонил голову.

— Маленькая формальность, этикет, если позволите, — тип ловко нацепил Антону Варфоломеевичу на глаза черную тряпицу и добавил уже развязнее: — А ну-ка пошевеливайся, доктор!

Слово «доктор» он произнес с оттенком нескрываемого презрения. Больше они ни о чем не разговаривали.

В машине было душно, зато качки никакой пассажир не ощущал. Ему даже казалось, что он продолжает сидеть в своем мягком уютном кресле и что все происходящее лишь нелепый сон.

Но сон был слишком явственным. Наверное, никогда в жизни не приходило Антону Варфоломеевичу в голову столько мыслей, предположений и совсем наивных догадок, как за время этой непредвиденной поездки. А продолжалась она не более десяти минут — воистину все в этом мире было относительно и прежде всего — время.

Так же, не снимая повязки, Антона Варфоломеевича провели через какие-то ворота, потом подняли под локотки вверх по лестнице, вели длинным запутанным коридором, и наконец он очнулся в большой зале. Там с него и сняли повязку.

От обилия света, изысканной, в восточном стиле роскоши и необычайно богато уставленного яствами стола у Антона Варфоломеевича зарябило в глазах. Кажется, никто ни бить, ни тем более убивать его не собирался. Одно это уже было хорошим предзнаменованием.

Человек с пышными усами и миндалевидными блестящими глазами шел из глубины залы прямо на Баулина. Еще издалека он начал что-то говорить. И тут Антон Варфоломеевич подсознательно почувствовал — несмотря на то, что усатый говорит на каком-то тарабарском наречии, он пре-

красно понимал каждое слово. И это почему-то не смущало Антона Варфоломеевича. Смущало другое — восторженное умиление на лице хозяина.

— Да-да, глубоко и многоуважаемый Антон Варфоломеевич, — прямо-таки заливался шербе-том масленоглазый, — ваша выдающаяся, не имеющая равных в нашем погрязшем в грехах подлунном мире, я бы сказал, ярчайшая из ярких и многомудрейшая из мудрейших личность заслуживает не просто самого трепетного почтения, но и преклонения подобно... подобно... — говорящий запнулся, но белозубая улыбка ни на секунду не покинула его лица. — Только вы, только вы — ученейший из ученых — можете спасти нас. Но, — усатый сделал еще одну паузу, зашевелил бровями, — все разговоры потом. А сейчас — прошу отведать наше скромное угощение, — он широким жестом указал на заставленный сказочными кушаньями стол.

От неожиданности у Антона Варфоломеевича пробудился бешеный аппетит.

За бескрайним столом они сидели вдвоем. Тост следовал за тостом. Изысканные, диковинные блюда, лучшие коньяки и вина мира, сладости, фрукты — все было в распоряжении Антона Варфоломеевича. После затянувшегося нервного ожидания Баулин ел за троих. Да что там! За взвод не на шутку проголодавшихся солдат. И аппетит не пропадал.

Краем глаза он видел, что по обеим сторонам от него стояли два темнокожих великана в чалмах и с изогнутыми мечами наголо. Но и это не отвлекало Антона Варфоломеевича от поглощения пищи. «Таков этикет!» — подумал он, энергично двигая челюстями.

Трапеза длилась часа три, до тех пор, пока стол окончательно не опустел. Но съедено было ровно столько, сколько и хотелось гостю. Откуда-то из-за стен слышалась тихая, завораживаю-

щая музыка, в воздухе стоял запах тонких благо-
воний. Антон Варфоломеевич блаженствовал.

— Ну, а теперь пора и к делу приступить, — облизнувшись и пошевелив бровями, пропел масленоглазый. — Вы готовы, Антон Варфоломеевич?

Антон Варфоломеевич благосклонно кивнул головой.

— Видите ли, — замялся хозяин дворца, — в наших краях есть такая группа людей, как бы это вам объяснить, с которой хочешь не хочешь, а приходится мириться. — Он опять вздохнул, приложил руки к сердцу, произнес с болью в голосе: — Вы единственный и незаменимый!

Антон Варфоломеевич величественным жестом прервал это велееречие:

— Говорите проще, э-э-э, не знаю, как вас назвать...

— А называйте запросто — ваше величество, — усатый скромно потупил очи.

Антон Варфоломеевич несколько сник, но виду не подал.

— Ваше величество, после такого приема я просто не в силах отказать ни в одной вашей, даже самой затруднительной для меня, просьбе.

— Вот и славненько, — облегченно выпалило величество, — я так и думал, что вы деликатнейший из всех живущих в этом мире, самый, самый...

Антон Варфоломеевич сделал лицо, выражавшее, что уж он-то хозяин своего слова.

— Так вот, не удивляйтесь, пожалуйста, вашей выдачи требует совсем маленькая, но такая, я вам скажу, капризная, будто дите... о чем это я? Ах, да — наша маленькая религиозная секта. Они наслышаны о вас, и, знаете, только самого хорошего, ваша всемирно известная ученость просто покорила их. Вы им нужны, это священный долг каждого просвещенного человека — оказывать помощь ближним своим. Знаете, старый обычай,

обряд — вас должны принести в жертву, чтобы разум не покинул их маленького народца. Только вы, только вы, даже и не говорите, что незаменимых не бывает, — величество развело руками, — вы единственная наша надежда! Знаете ли, традиция. Традиции нарушать нельзя — история не простит нам этого. Но не волнуйтесь, — ослепительно белые зубы раздвинули усы, — все пройдет очень быстро, вы даже ничего и не почувствуете.

Стул под Антоном Варфоломеевичем треснул, и он упал, ударившись коленями о край стола. Приподнявшись на четвереньках и совершенно не чувствуя боли, он выдавил из себя:

— Но почему? Почему именно я?

— На все воля аллаха! — продекламировало величество и воздело руки к уносящемуся далеко ввысь потолку.

Одновременно кривые хищные мечи прислужников сомкнулись над головой Баулина. Пути к отступлению не было.

— Через полчаса вас доставят в аэропорт. В чемодане! — сказала усатое масленоглазое величество и отвернулось, давая понять, что аудиенция окончена.

Смертельный ужас сковал все члены Антона Варфоломеевича, глаза остекленели, нижняя губа безвольно отвисла, и с нее потекли слюни. Ему вдруг стало все настолько безразлично, что он навзничь повалился на ковер, в падении извергая из растревоженного желудка на ворсистую узорчатую поверхность бесценного ковра то, что еще недавно было сказочным, царским угощением.

Всю ночь Антон Варфоломеевич не спал, доведя этим свою ненаглядную Валентину Сергеевну чуть ли не до обморока. Она никак не могла понять, что творится с мужем, и надоедала своими чересчур заботливыми расспросами. Разузнать ей так ничего и не удалось — муж был в столь по-

давленном состоянии, что не замечал ее назойливости.

До самого утра Антона Варфоломеевича знобило, мутило, выворачивало наизнанку. Сидя на кухне, он пытался осмыслить этот бред, найти хотя бы малейшую логику в том, что с ним происходило. Но ничего путного в голову не шло, и он начинал все сначала, запутываясь все больше и больше.

А утром, разбитый и усталый, он отправился на службу.

У парадного крыльца Антон Варфоломеевич нос к носу столкнулся с замом. Лицо у него перекошилось.

— Что с тобой, Антоныч? — спросил зам вместо обычного приветствия.

Баулин попытался приободриться, но это ему не удалось. И он промямлил:

— Пошаливает здоровьишко что-то.

Зам сочувственно пошевелил ресницами, похлопал Антона Варфоломеевича по спине.

— Эх, послал бы я тебя своей властью домой, отсыпаться, да никак нельзя. — Заму казалось, что его приятель недомогает не по причине ослабевшего вдруг здоровья, а просто с перепоя, хотя и не замечал за Баулиным особенного пристрастия к зеленому змию, — но с кем не бывает. — Нет, никак нельзя. Вчера под вечер прикатил-таки новый. Не поверишь, Антоныч, но мы с ним до двенадцати ночи торчали в кабинете — любознательный, я тебе скажу, во всем-то он хочет разобраться прямо с ходу. Но вообще-то мужик основательный, знающий, энергичный, — тут же добавил зам, давая понять, что он поддерживает нового руководителя целиком и полностью.

Слова доносились до Антона Варфоломеевича как сквозь ватные затычки в ушах, впрочем, ничего хорошего он и не ожидал.

— ...ну и сегодня с утра, — продолжал зам, — всех начальников отделов, замов — на оператив-

ку. А потом, где-то после обеда, с каждым по отдельности толковать будет. Твоя очередь первая.

И это не удивило Антона Варфоломеевича, сейчас он был готов ко всему. Главное, не подвел бы Сашка, подлец. А пока суд да дело, пока новый вникнет — что к чему, Антон Варфоломеевич будет всеоружии.

Сашкин отчетик он полистал еще до оперативки и остался им вполне доволен — коротко, ясно, видна работа. Хотя голова соображала после бессонной ночи туговато, общий смысл он уловить сумел. Теперь оставалось только подать подготовленный материал в таком виде, чтобы ни малейшего сомнения в кипучей научной деятельности отдела у нового директора не возникло ни при каких обстоятельствах. Уж в чем, в чем, а в искусстве произносить пламенные, зажигательные речи и умении обаять собеседника, заставить его поверить каждому слову Антон Варфоломеевич был мастак.

На оперативке, проходившей в директорском кабинете, Баулин сидел с краешку, помалкивал, прислушивался да приглядывался. «Ох, не прост, — думал Баулин, мало вникая в смысл слов, но чувствуя, что новый руководитель говорит по существу, — совсем не прост!» Короче, как и предупреждал Антона Варфоломеевича дальновидный зам, новая метла начинала мести по-новому.

После оперативки все разошлись по своим отделам, несколько обескураженные, но бодрящиеся, не показывающие вида — дескать, оботрется «новый» малость, и все встанет на свои места, мало ли кто и как с пылу с жару куролесит.

Направился в свой кабинет и Антон Варфоломеевич. Усталость навалилась на него черной волной. Превозмогая подступающий к глазам сон, он вызвал Сашку. Но выдавить из него ничего не смог, кроме ненужных заверений, что, мол, такие,

как доктор Баулин, незаменимы и, мол, именно на них стоит отечественная наука, и никакие администраторы не смогут попортить прав тех, чьи заслуги по достоинству оценила страна.

В общем, через десять минут такой беседы Антон Варфоломеевич выпер порученца и закрылся на ключ, попросив, чтобы его без особой нужды не беспокоили. Однако некоторые Сашкины высказывания все же затронули его душу. Он вспомнил утреннюю беседу с женой. Валентина Сергеевна, не понимая, что происходит с мужем, но ясно видя, что происходит что-то неладное, забеспокоилась не на шутку о его здоровье. Слезно умоляла Антона Варфоломеевича, чтобы тот хоть чуточку пожалел себя, поберег, не так горел на работе. Исчерпав все аргументы, говорящие, насколько он необходим ей, семье в целом и особенно маленькому внуку, что без него они все просто-напросто погибнут или вынуждены будут пойти по миру с сумой, она перешла к высоким материям, заявив, что Антон Варфоломеевич, вернее его драгоценная персона, не принадлежит ему самому, что он принадлежит отечеству в целом и потому, как, в общем-то, собственность государственная, не имеет права так наплевательски относиться к себе и своему здоровью.

Само собой, что после стольких горячих уверений с разных сторон Антон Варфоломеевич, никогда не страдавший комплексом неполноценности, еще более уверился в себе. Да, он и вправду сослужит еще державе немалую службу. И что там, в конце концов, какой-то директор, и шаткое положение Иван Иваныча, и прочие пустяки, и тем более нелепые, абсолютно беспочвенные сновидения?!

Уверенность придала ему бодрости. Предстоящая встреча с Нестеренко не пугала, наоборот, подзадоривала даже сама возможность схлестнуться с ним.

Обедать в этот день, изменив своей многолет-

ней привычке, Антон Варфоломеевич не пошел. Но зато с большим удовольствием выпил подряд три стакана крепчайшего и горячего чая. После этого голова его окончательно прояснилась. И когда его вызвали «на ковер», он был в полной боевой готовности. Он горел, рвался к схватке, испытывая необъяснимый азарт, какой испытывает опытный солдат перед боем.

Только у самой директорской приемной Антону Варфоломеевичу испортил настроение появившийся будто из-под земли Сашка.

— Иван Иванович подал заявление, — шепнул он на ухо шефу, соорудив на лице трагическую гримасу.

Баулин молча уставился на порученца.

— Святая правда! — подтвердил тот свои первоначальные слова. — Две минуты назад мне из министерства...

— Уйди-и-и, — со стоном протянул Антон Варфоломеевич.

Опаздывать на прием к директору не полагалось.

Сашка исчез так же незаметно, как и появился, оставив Баулина наедине с рубиконом, который ему во что бы то ни стало надо было перейти, — наедине с массивной, обитой натуральной кожей дверью, отделяющей его от будущего.

Поединок длился не меньше полутора часов. Полностью убедить директора в исключительной и неотложной важности работ, проводимых его отделом, Антону Варфоломеевичу не удалось. Но на многое «новый» клянул. И уже это окрылило Баулина.

— Мне кажется — мы с вами сработаемся, — сказал «новый» на прощание, — нашему институту требуются именно такие энергичные, знающие люди, как вы. И не беда, если придется иногда поработать сверхурочно. Как записано в законе, рабочий день у научных сотрудников не нормиро-

ван, — директор улыбнулся, — это я не о формальной стороне, вы понимаете? Возьмемся за дело — по-настоящему! А рутину накопившуюся — долой! Вы согласны со мной?

В глазах Антона Варфоломеевича застыло восхищение, смешанное с преданной готовностью тут же перевернуть все вверх тормашками и вырваться на широкий научный простор.

— Я со своей стороны, товарищ директор, не подведу. Любое задание, Семен Анатольевич, выполним. А инициативы нам не занимать. Давно пора!

За дверью выражение его лица резко переменялось — сверкающая уверенная улыбка покинула его, брови съехались к переносице. Шатающейся походкой, придерживаясь за стену, Антон Варфоломеевич направился к себе в кабинет.

— Антон Варфоломеевич! Антон Варфоломеевич! Вы слышите меня? — увязался за ним наглец Сашка.

Но Баулин не обращал на него ни малейшего внимания. И только опустившись в кресло, он зло поглядел на порученца и процедил:

— Сгинь!

Сашку как ветром сдуло.

Антон Варфоломеевич вытащил беленькую коробочку из внутреннего кармана пиджака, выкопал из упаковки три таблетки и разом проглотил их. Еще с полчаса он сидел, не шевелясь, погруженный в мрачные думы. А потом, что случилось с ним на работе впервые, уснул.

Во сне он оглушительно храпел, чем привел в полнейшее смятение своих подчиненных, находящихся за стенкой. Сашка пытался их успокоить, вызвав этим легкий, но непрекращающийся смех. Тогда он вошел в кабинет к шефу, сел на стульчике напротив него и принялся тихонько насвистывать. Храп поубавился. Смолк и смех за стеной. Но Сашке это далось нелегкой ценой трехчасового непрерывного бдения на страже мирно

почивающего и горячо любимого даже в сонном состоянии шефа.

В кабинете было темно, задвинутые шторы разгоняли мрак по его углам. А от бьющей в глаза яркой настольной лампы и вовсе казалось, что вокруг свинцово-непроглядная чернота.

Свет лампы был направлен на Антона Варфоломеевича. Собеседника, если того можно было так назвать, Баулин не видел — на месте его лица расплывалась лишь серая бесформенная маска. Зато голос он слышал преотлично. И голос тот был хорошо поставленный, твердый. В основном пока были вопросы. Антон Варфоломеевич добросовестно отвечал на каждый. К счастью, они не касались ни его личной жизни, ни способов и путей, какими он пробивал себе дорогу в этой жизни. Вопросы были анкетного порядка.

Но вот они кончились, и Антон Варфоломеевич заметил на расплывчатом лице тень улыбки.

— Мы и не сомневались, что вы именно тот человек, который нам нужен, — сказала лицо, — теперь дело за пустяками, я думаю, с вашей стороны возражений не будет? Вы догадываетесь, о чем я говорю?

— Как бы вам сказать, — начал деликатничать Баулин, — не то чтобы совсем...

— Хорошо, — оборвало его лицо, — я поясню вам вашу миссию.

— Миссию? — недоуменно переспросил Антон Варфоломеевич.

— Не в словах суть, пусть это назовется заданием, смысл от этого нисколько не меняется. Так вот, скажу прямо, вам выпала огромная честь. Да-да, я не оговорился, именно честь. И пускай ваше имя так и останется неизвестным для миллионов, все равно и тогда оно будет вписано в историю золотыми буквами!

— Теперь я окончательно сбит с толку и честно вам заявляю, что ничего не понимаю, — про-

мямлил, бессмысленно хлопая глазами, Антон Варфоломеевич.

— Подробно со спецзаданием вас ознакомят в другом месте. Я же объясню лишь суть. Не волнуйтесь — у вас впереди еще два месяца особой подготовки — вникнете во все до мелочей, и, кроме того, вас обучат всему необходимому — мало ли что там может случиться.

— Где это там?! — заволновался Баулин.

— Не спешите. Слушайте меня внимательно. — Лицо встало и оказалось рослым, подтянутым человеком спортивного вида, неопределенных лет. Заложив руки за спину, человек стал мерить кабинет шагами, в такт им произнося слова. Антону Варфоломеевичу ничего не оставалось делать, как вертеть головой слева направо и наоборот, следя за движениями говорящего, и внимательно слушать его.

— Нам потребовалось шесть лет для того, чтобы выйти на этот центр. Десятки лучших наших людей отдали свои жизни. И вот наконец мы у цели. Теперь дело за специалистом. Не просто было отобрать подходящего кандидата, собственно, не так уж и много их было — я говорю именно о вашей специализации. В итоге мы пришли к выводу, что вы тот единственный человек, который справится с заданием. Выбора у нас нет.

Антон Варфоломеевич заерзал на стуле.

— Я поясню, — медленно и четко произнес человек, — слушайте, уважаемый Антон Варфоломеевич, а точнее... вам предстоит теперь довольно-таки долго жить под другим именем, так скажем сразу, чтобы и вы привыкли, — Майкл Дэвидсон, да-да, не удивляйтесь. Слушайте, уважаемый Майкл Дэвидсон. В одной из стран, не будем пока называть, какой именно, в невероятно засекреченной лаборатории ведется, а точнее, почти завершена разработка новейшего оружия, по сравнению с которым ядерное и нейтронное, скажем, просто-напросто детский лепет. Вы меня

понимаете? Упредить их — вот в чем наша задача. И сделать это должны будете вы. Второго такого ученого, который мог бы разобраться в этой чертовой штуковине, у нас нет. Вы понимаете всю ответственность, которая возлагается на вас?

Антон Варфоломеевич обреченно склонил голову.

— Через два месяца вас забросят в этот исследовательский центр, вы будете снабжены всем необходимым, специально для вас разработана тщательно проверенная легенда. Время не ждет. Если мне удастся, я постараюсь сократить срок вашего обучения. Но не будем забегать вперед, уважаемый Майкл Дэвидсон, будь то через два месяца или ранее, но придет час, когда все будет зависеть только от вас, вы должны будете вступить в схватку с опытным и безжалостным противником и одержать верх. Вы один!

Стул под Антоном Варфоломеевичем заходил ходуном. Язык его свело судорогой, и он не смог выговорить ни слова.

— Мне нравится, что вы с мужеством и хладнокровием ведете себя, — продолжал человек, — прямо скажем, не каждый бы воспринял поручение с такой твердостью, как вы! Но в сторону комплименты, надо обговорить маленькие детали.

Он снова сел за стол и отвел отражатель лампы от лица Антона Варфоломеевича.

— Вот вам лист бумаги — вы должны написать завещание. Знаете ли — формальность, но все-таки необходимая. И второе. — Он достал из ящика стола бархатную папку и выразительно постучал по ней костяшкой указательного пальца. — Это указ о вашем награждении. Он уже подписан. Когда придет срок, указ и награды вручат вашей жене и детям.

— А почему не мне лично? — встрепенулся Антон Варфоломеевич.

Человек устало пожал плечами.

— К сожалению, — сказал он приглушенно, — с нами произойти может всякое. И хотя надежды практически нет, будем все же надеяться на лучшее!

Антон Варфоломеевича затрясло в мелком ознобе.

— Как это — практически нет надежды? Это значит, что меня могут?.. — Он заплакал, не договорив. — И другого выхода нет?

— Вы меня правильно поняли. — Человек подошел к Баулину и положил ему руку на плечо, печально поглядел в мокрые от слез глаза. — Не только ваше здоровье, но и сама жизнь... принадлежат отечеству. Вас ждет вечная благодарность потомков!

На этом беседа кончилась, и Антона Варфоломеевича вывели из кабинета.

Очнувшись, Антон Варфоломеевич неожиданно для себя увидел склоненное над ним внимательно-озабоченное лицо Сашки. Впрочем, он и не сразу понял, что это Сашка, — ему показалось, что это какое-то продолжение одного из его кошмарных снов, и он в ужасе закричал.

— А-а-а-у-у!!! — разнеслось по всему этажу.

Сашка от неожиданности отпрянул, что-то зашептал. Но Антон Варфоломеевич уже справился с минутной слабостью. Он тяжело дышал, грудь вздымалась как кузнечные мехи. Затылок затек, глаза еле различали окружающее, хотелось сорвать с себя что-то липкое, противно тяжелое и отбросить все это как можно дальше, но что — Антон Варфоломеевич не знал.

Воспоминание о разговоре с директором породило в нем внутренний стон и повергло в бездонную, безысходную печаль. Захотелось бежать куда глаза глядят, лишь бы подальше.

Окончательно добили Антона Варфоломеевича всплывшие в памяти Сашкины слова об уходе Иван Иваныча. Он вдруг почувствовал, что в

самом прямом смысле теряет почву под ногами, все вокруг поплыло, и Антон Варфоломеевич потерял сознание.

Домой его отвезли на служебной машине, когда он очнулся. До конца работы оставалось полтора часа.

Вечером того же дня Валентина Сергеевна пригласила на дом известного в определенных кругах невропатолога. По совместительству он был также знатоком восточной медицины и целителем-универсалом, чем и снискал себе шумную, но устойчивую популярность. Целитель был давним знакомым их семьи и при случае пользовался некоторыми услугами Баулиных, за что питал к ним самые теплые чувства.

Без лишних слов, по-деловому, он приступил к осмотру пациента — щупал его, стучал молоточками, тыкал в живот металлической палочкой и делал множество других вещей, недоступных рядовым гражданам даже с высшим образованием и остепененным. Лишь после этого он перешел к расспросам, которые продолжались не меньше часа и не дали ожидаемого результата.

— Вам, Антон Варфоломеевич, — подытожил он работу, — на тяжелоатлетических подмостках выступать бы!

Антон Варфоломеевич поперхнулся и зашелся в долгом кашле. Его выпученные глаза уставились на целителя с таким детским удивлением и оторопью, что тот не смог выдержать взгляда и отвел свои черные пронизательные очи в сторону.

— Есть, конечно, некоторые отклонения, — сказал он, разглядывая ногти, — но так, пустяки. Попейте на ночь и с утра по таблеточке седуксена или элениума — и все как рукой снимет.

— Пил, — буркнул Баулин, — не помогает.

— Поможет! — твердо заверил его целитель. — Сейчас я проведу с вами небольшой сеансик, и все встанет на свои места.

Валентина Сергеевна с полчаса наблюдала из

угла комнаты, как не признанное наукой светило манипулировало своими подвижными руками над головой и другими частями большого тела Антона Варфоломеевича. Наблюдала и благоговела, боясь шевельнуться, чтобы, не дай бог, не спугнуть таинственного биополя или как там все это называлось.

А после того как Антон Варфоломеевич преспокойненько уснул сном младенца на широкой постели, в другой комнате у Валентины Сергеевны состоялся с приглашенным продолжительный разговор.

— Никаких оснований для беспокойства, — настаивал тот на своем, — в пятьдесят пять — организм как у тридцатилетнего спортивного парня. Грузноват немного, но при его могучем сердце это ничего не значит.

— И все-таки я вас умоляю — правду, профессор, только правду!

Целитель вздыхал и брался опять за старое.

— Поле жизнедеятельное, такого бы на троих хватило, и с аурой все в порядке, как у Иисуса Христа, сияет эдаким нимбом, знаете ли. Чуть-чуть, конечно, не так ярко, как у вас...

Валентина Сергеевна зарделась и благосклонно, немного заискивая, улыбнулась доктору.

— ...но дай бог! Милейшая Валентиночка, — он позволял себе иногда с женщинами фамильярность, зная, что они это любят, — надо отвлечь его от дел, от этих, знаете ли, будничных хлопот. Покой, отдых, съездите в Прибалтику, развейтесь — ничего более.

Он уже встал, собираясь уходить. Однако от Валентины Сергеевны было не так-то легко отвяжаться. Но то, что она услышала, несколько снизило ее уважение к целителю.

— Хотите начистоту? — разговорился тот. — Случай не единственный, но по нашим временам очень-очень редкий. Прошу только вас никому не говорить о моем диагнозе, — он замялся, — по-

нимаєте ли, это, м-мэ-э, может где-то сказаться на моей репутации.

Валентина Сергеевна заверила его в своей лояльности так горячо, что целитель выложил то, что думал.

— Не могу понять причины, даже, точнее сказать, что послужило толчком, но в вашем муже, не посчитайте наивностью, ах, как все это старомодно звучит!.. — В вашем муже неожиданно проявились некоторые атавистические признаки, что ли...

Валентина Сергеевна сделала испуганные глаза и прислонилась к стенке.

— Может, я не совсем правильно выразился, вопрос очень тонкий, но в нем, простите меня, проснулось то, что принято называть совестью. — Теперь пришла очередь краснеть гостю. — В медицине такого понятия и даже термина, конечно, не существует — это что-то настолько неопределенное, что даже нам не под силу, — он развел руками и согнал усилием воли краску с лица, — тут важно докопаться до причины. Тогда мы все быстро устраним. И вам, Валентина Сергеевна, как самому близкому человеку, мне кажется, это будет сделать проще. Прощупайте его — с чего началось... и так далее, вы понимаете меня?

Валентина Сергеевна поспешно кивнула, хотя не понимала ровным счетом ничего. Этот бред насчет совести вообще подорвал ее доверие к целителю. Но тот сумел сохранить свое влияние, видно, недаром слыл кудесником.

— А за Антона Варфоломеевича берусь, — твердо, но без нажима сказал он, — две-три встречи в течение месяца и, конечно, ежедневные телефонные сеансы, знаете, направленные пучки энергии, концентрация... — тут он засыпал Валентину Сергеевну такой терминологией, что она уверовала бесповоротно, — этот может все!

Перед уходом целителя-универсала хозяйка попыталась незаметно всунуть ему в карман кон-

вертик с двумя сотнями рублей в новеньких купюрах. Но этот жест не остался не замеченным необычной личностью. Он взглядом остановил ее движение, укоризненно покачал головой из стороны в сторону.

— Вы совсем не щадите себя, раздаете свою энергию, она ведь тоже не бесконечна, — пыталась оправдаться хозяйка, — а это такие жалкие крохи!

— Мы же с вами интеллигентные люди, Валентина Сергеевна, — улыбнулся ей на прощание гость. У него со здоровьем все было в норме.

На следующее утро вызвали врача из поликлиники, и тот выписал Антону Варфоломеевичу больничный лист.

Неделю он провалялся дома. Ежедневные «телефонные сеансы» со знатоком восточной медицины вселили в него прежнюю уверенность, дело явно шло на поправку. Валентина Сергеевна окончательно воспряла духом.

На работу Антон Варфоломеевич прибыл свежим, окрепшим — последние ночи кошмары его не мучили, вообще ничего не снилось. И он посчитал себя совершенно выздоровевшим.

Встретивший его зам долго тряс руку, приговаривал:

— Вот так и горим, работаем на износ, а потом бац! Но мы с тобой еще повоюем, есть еще порох-то, а?

Антон Варфоломеевич добродушно отшучивался, пытался найти в замке какие-либо перемены в отношении к своей особе, но не находил их. Сашенька тоже встретил его радушно и с ходу заметил, что, несмотря на поданное заявление, Иван Иваныч еще держится. А верноподданные подчиненные даже сбросились по полтиннику и купили по случаю выздоровления шефа огромный дефицитный торт и пару бутылок шампанского. В общем, все шло как нельзя лучше.

Испортил настроение Антону Варфоломеевичу

лишь ученый секретарь, объявивший, что через три недели состоится научно-технический совет института, на котором будет рассмотрен вопрос о сдвигах в работе отдела Баулина.

Как он будет отчитываться, Антон Варфоломеевич пока не знал. Но три недели — срок достаточный, и он, не теряя времени, поднял на ноги всех своих людей. Сашка мотался словно ошале- лый, разнося указания начальника. А к вечеру ближе Антона Варфоломеевича вызвал директор Нестеренко.

— На энтээсе, — сказал он, — будет присут- ствовать сам Петр Петрович из министерства, поэтому прошу вас — не подкачайте. В общем, как мы с вами договорились, хорошо?!

Известие о Петре Петровиче здорово напугало Баулина, обычно на таких советах, да и то не всегда, присутствовал Иван Иванович. А тут было совсем другое дело.

К концу рабочего дня он снова занемог душой. Слепить что-либо подходящее для Петра Петрови- ча и Нестеренко из пустоты он не мог. Остала- лось уповать на случай или какие-то перемены. Правда, надежд на них не было.

Домой он пришел усталый. Ел плохо. А ночью все началось снова. И продолжалось долго. Не смог помочь даже целитель-универсал.

По утрам с большой неохотой Антон Варфоло- меевич плелся на работу. В институте старался избегать знакомых, отсиживался в своем кабинете и требовал от Сашки невозможного. Но доверен- ное лицо, хотя и находилось постоянно в состоя- нии запарки, ничем облегчить участь Баулина не могло. Ничего не удалось выжать и из сотрудни- ков отдела.

А роковой день приближался. Приближался нео- твратимо, с каждой минутой нависая над головой Антона Варфоломеевича все тяжелее и тяжелее.

Заместитель директора, хотя и был давним приятелем Баулина, тоже волновался всерьез —

ведь темы, которыми занимался отдел, были и его темами, отдел входил в направление, за которое он отвечал. А отвечать по-крупному не хотелось. Заверениям Антона Варфоломеевича он не слишком-то доверял, зная им цену. Пытался было уйти в отпуск — непустили, заболеть — не сумел.

Накануне ответственного дня они вдвоем с Баулиным просидели до полуночи за подготовленными бумагами. И каждый сам, своим умом, дошел — товар не получился. Сидение их закончилось взаимными упреками, оскорблениями и чуть не перешло в драку. Но все это уже было бессмысленно — до утра оставались считанные часы — «страшный суд» был назначен на половину десятого.

Дома Антон Варфоломеевич долго ворочался в постели, вздыхал, предчувствуя предстоящий позор, и заснул в четвертом часу утра.

И явился ему последний сон.

Зал был заполнен до отказа. Публика сидела молча, ожидая начала чего-то. Чего в точности, Антон Варфоломеевич не знал. Да и вообще положение его было несколько странным — по обычаю он должен был сидеть в зале, в первых рядах, ожидая, когда ему предоставят слово. Сейчас же все было по-иному: зал существовал вместе с сидящими в нем людьми отдельно, сам по себе, Антон Варфоломеевич находился в особом положении — он сидел сбоку от президиума, если опять-таки его можно было так назвать, на длинной скамье без спинки, а прямо перед ним находились странные высокие, почти до лица сидящего, деревянные перила.

Тишина зловещим предзнаменованием давила на психику. Антон Варфоломеевич поневоле съежился в комок. Но он, преодолевая скованность, все же оглянулся назад. За его спиной, по бокам, стояли два человека в форме. В формах и знаках отличия Антон Варфоломеевич не разбирался, но сам

факт присутствия этих людей насторожил его, если не сказать — поверг почти в паническое состояние.

На помосте за столом президиума никого не было. Видимо, сидящие и ожидали появления тех, кто должен был занять эти места. Ожидание длилось долго, нестерпимо долго. И вдруг за стеной над президиумом зажглись крупные багрово-красные буквы. Буквы сливались в слова, и Антон Варфоломеевич с трепетом всматривался в надпись. Она гласила: «Особая Чрезвычайная Аттестационная Комиссия». Разобраться, что к чему, было невозможно, оставалось лишь отдать себя в руки судьбы.

Минут через пять после появления горящих букв по залу прокатилось подобно раскатам грома: — Встать! Суд идет!!!

Антон Варфоломеевич вскочил на ноги первым, не понимая еще толком, о каком суде шла речь. Следом за ним, сопровождаемый людским гулом, поднялся весь зал. Лишь те двое за спиной, как стояли, так и продолжали стоять.

Из боковой двери в президиум шла длинная процессия, в которой Антон Варфоломеевич усмотрел знакомые лица. Там были: Петр Петрович из министерства, Нестеренко, невысокий румяный человек, которого Баулин не знал по фамилии, но хорошо запомнил после посещения его кабинета, и многие другие. Главенствующее место занял Петр Петрович, остальные расселись по обе стороны от него. Никто из них не смотрел в сторону Антона Варфоломеевича.

Петр Петрович взял со стола лежащий перед ним молоточек, ударил им по небольшой круглой тарелочке, висящей на штативчике сбоку, и она оглушительно задребезжала. И снова кто-то произнес:

— Заседание суда считается открытым.

Антон Варфоломеевич в надежде, что все это ему только мерещится, энергично потер глаза и

ущипнул себя за щеку, однако все оставалось на своих местах. Он оглянул еще раз назад и тут же отдернул голову: ему показалось, что фуражки на головах стоящих охранников стали чем-то похожи на чалмы, лица их потемнели, а в руках засверкали изогнутые хищные мечи. Нет, лучше было не оборачиваться. Антон Варфоломеевич потупился.

— Вызывается первый свидетель, — прозвучал голос.

— Постойте, — оборвал его председательствующий, — ведь все должно быть по порядку — пусть зачитают обвинение.

Голос, звучащий ниоткуда, безапелляционно заявил:

— Обвинить всегда успеется, пускай люди скажут.

Петр Петрович согласился с ним.

Дверца в глубине зала раскрылась, впуская первого свидетеля. Антон Варфоломеевич с любопытством следил, кто же им мог оказаться. Сгорбленная старческая фигурка прошла между рядами кресел и остановилась на специально отведенном месте перед президиумом.

«Не может быть! — мысленно воскликнул Антон Варфоломеевич. — Он же умер пятнадцать лет назад!» Баулин собственными глазами читал тогда некролог в газете. Правда, на похороны не пошел, счел это не первостепенной важности делом, и вот теперь...

— Я не мог отказать Варфоломею Антоновичу, своему однокашнику, товарищу еще со школьной скамьи. — Надтреснутый голос свидетеля дрожал. — Маленький Антоша был таким славным пареньком, правда, в школе он дальше троек...

— Эйнштейн, Эдисон — да я вам десятки фамилий перечислю — тоже были двоечниками и троечниками! — раздалось справа, оттуда, где должен был сидеть адвокат.

И Антон Варфоломеевич только теперь разглядел, что это место занимал Сашка. Да и кому же, как не ему, было защищать шефа.

Петр Петрович сурово поглядел на адвоката, и тот смолк.

— Вам дали взятку?! — почти прокричал, обращаясь к старику, прокурор. Кто им был — со скамьи, на которой сидел Баулин, видно не было. Голоса он тоже не узнал.

— Нет, нет, — перепугался свидетель, — я принял Антошу в свой институт по товарищеским соображениям, я повторяю, мы с его отцом... Я никогда, как вы смеее?! — Бывший ректор смотрел на прокурора с гневом, праведным и неподдельным, испуг его куда-то девался, и он перешел в наступление: — Я двадцать девять лет!..

— Вопрос исчерпан! — прозвучал голос ниоткуда.

Старичок ректор покорно смолк, зашаркал по навощенному паркету и опустился в одно из кресел в середине зала.

— А я считаю необходимым добавить, — прозвучало с прокурорского места, — что при всех обстоятельствах совершенно непонятно — как подсудимый умудрился получить «красный» диплом?!

Петр Петрович замешкался, но опять-таки его выручил голос:

— Будет воду-то в ступе толочь, если вам не ясно это, то, может быть, вы бы лучше заняли место адвоката?

Зал одобрительно загудел. А голос добавил:

— Бюрократические методы оставим бюрократам, а мы собрались здесь по делу, будем же им и заниматься. Следующий!

Выступлений трех следующих свидетелей Антон Варфоломеевич не слышал. До него стало доходить происходящее, и он просто не мог поверить в то, что это происходит с ним. Мысли в голове путались, разбегались по темным закоул-

кам сознания. «Почему, почему?! — мучительно свербил его вопрос. — Почему я?» В зале он видел немало своих прежних друзей и знакомых, которые с таким же успехом могли занять его нынешнее место, однако они оставались на своих местах и оживленно хлопали, сообщая возмущались какими-то фактами из биографии Баулина, которую разматывали по ниточке. Ни одного доброго, поддерживающего, ободряющего взгляда в его сторону! Антон Варфоломеевич совсем приуныл, опустил голову к коленям, сжал ее руками. И тут он почувствовал, что его пышная шевелюра куда-то пропала, а голова противно колола ладони. Он еще раз провел рукой ото лба к затылку. «Остригли!» — мелькнуло в мозгу. И почему-то одно это повергло его в отчаяние более, чем все выступления свидетелей, настрой судей и недоброжелательная атмосфера в зале.

— Значит, вы утверждаете, что способствовали гражданину Баулину в распределении после института, — донесся до Антона Варфоломеевича голос Петра Петровича.

— Да, благодаря мне он остался не только в Москве, но и поступил именно в наше конструкторское бюро. Я получил о нем блестящий отзыв и просто посчитал долгом не упустить такую личность.

— Вы получили взятку?! — Прокурор воспользовался паузой.

— Да уймите вы его, — обратился свидетель к Петру Петровичу. — Что он все со своими взятками?

Петр Петрович бросил неодобрительный взгляд в сторону прокурора.

— О взятках речь впереди, — прозвучал голос ниоткуда, — не тормозите процесса, иначе вас вынуждены будут сменить! Продолжайте, свидетель.

— На своем месте Баулин внес большой вклад в наше дело, я не боюсь громких слов, большой вклад в отечественную и мировую науку.

Неожиданно из первого ряда поднялся смуглый человек с пышными усами и масляными глазами, он твердо и внушительно произнес с легким кавказским акцентом:

— Человек, нэ способный принэсти сэбя в жертву науке, нэ может внэсти никакого вклада!

В зале захлопали.

Петр Петрович застучал молоточком по тарелочке. Оживление стихло. Следующий свидетель был из того же КБ, один из бывших подчиненных Антона Варфоломеевича. Узнал он его не сразу.

— Через год после института и прихода к нам Баулин стал руководителем группы, еще через полтора начальником сектора, в котором я работал.

— Все это происходило во время написания гражданином Баулиным кандидатской диссертации?

— Да, — свидетель уточнил, — во время ее написания мною и еще двумя сотрудниками подчиненного ему сектора.

— Это бездоказательно! — выкрикнул со своего места Антон Варфоломеевич.

На что Петр Петрович не среагировал вообще, а свидетель вытащил из большого потертого портфеля пухлую папку и положил ее перед председательствующим.

— Прошу провести графологическую экспертизу, — сказал он.

— В этом нет нужды, — откликнулся голос ниоткуда.

— А я настаиваю! — заявил со своего места Сашка.

«Идиот!» — мысленно простонал Антон Варфоломеевич. Крыть ему было нечем. От Сашки-адвоката помощи, судя по всему, ждать не стоило.

— Я прошу назначить другого адвоката, — заявил он, приподнимаясь над перилами.

Петр Петрович согласно кивнул, и вслед за этим неожиданно появившийся человек в медной

каске и форме пожарника подбежал к Сашке и, не считаясь с тем, что тот является не только доверенным лицом, но и официальным представителем, пинками согнал его с адвокатского места, тем же способом прогнал по проходу и вытурил из зала, после чего вышел и сам.

На помост нехотя, оглядываясь по сторонам, взошел зам. Чувствовалось, что роль адвоката была ему чем-то неприятна. Антон Варфоломеевич подумал: «Час от часу не легче!» — но отводить вторую кандидатуру не решился.

— За время работы в КБ, — продолжил председательствующий, — гражданином Баулиным было сделано двенадцать изобретений и... — он заглянул в дело, лежащее перед ним, — и написано четырнадцать научных статей, так? — Вопрос его был обращен все к тому же свидетелю.

— Так, — подтвердил тот.

— Ну и как же вы относитесь к этому — факт налицо?

— Налицо факт использования служебного положения, — ответил свидетель, — а отношусь я к этому так же, как и к упомянутой диссертации, — Антон Варфоломеевич ставил только свою подпись. Правда, следует отдать ему должное — частью премиальных и гонораров за статьи он делился с нами.

— То есть с теми, кто выполнял за него... — Петр Петрович замялся.

— Да.

— Мне кажется, что в свидетеле говорит обычная зависть мелкого исполнителя к человеку большой науки, — подал свой голос зам.

Свидетель оторопел, растерялся, видно было, что ему не часто приходилось участвовать в подобных процессах, да и вообще в словопрениях. Выручил его все тот же голос ниоткуда:

— О зависти мы поговорим позже, вернемся и к этому вопросу, как и к взяточничеству.

— В конце концов, кто тут председатель?! —

возмутился Петр Петрович. — Почему вы постоянно прерываете ход заседания?

— Страницы сто пятьдесят четвертая тире двести восемьдесят шестая дела подсудимого, — отвечал голос, — ознакомьтесь с ними повнимательнее, уважаемый Петр Петрович.

«Все раскопали!» — с горечью подумал Антон Варфоломеевич, пока председательствующий копошился в деле. Сам он почти забыл обо всех этих историях и искренне считал все труды только своими и ничьими иными. Но память настойчиво нашептывала ему — неправда, Антон, неправда, и свидетель, и голос правы, тем более что это твой же голос. «Как это мой?!» — перепугался Антон Варфоломеевич, никогда не страдавший раздвоением личности. Ответа не последовало.

— Жертвенность, наука трэбуэт жертвенности! — выкрикнул с места масленоглазый усач. — Бэз жертвы нэт истинного ученого!

— Я вас выведу из зала, — спокойно предупредил его секретарь суда, и усач замолк, завертел головой, ловя одобрителльные взгляды.

Антон Варфоломеевич готов был сорвать с ноги ботинок и запустить им в масленоглазого. Но не смел. Приходилось претерпевать все.

— Впустите следующего свидетеля!

И снова все смешалось в голове у Баулина — говорили что-то о покровительстве, о втирании очков в отчетах и справках, о злоупотреблениях. Говорили без передышки один свидетель за другим — казалось, весь белый свет восстал против Антона Варфоломеевича. Когда речь зашла о его докторской диссертации, Антон Варфоломеевич с удивлением обнаружил, что рядом с ним на скамье оказался сидевший минуту назад в зале профессор Тудомский.

— Перерыв, — закричал Баулин, — прошу перерыва — я не могу больше!

Петр Петрович насупил брови, помедлил и, пожав плечами, сказал:

— Суд удаляется на совещание. Перерыв.

Хлопанье сидений кресел, хруст затекших ног, оживленный говор — все сразу же заполнило зал. Народ повалил к выходу, и оттуда потянулся сигаретный дым.

Антон Варфоломеевича и Тудомского увели в маленькую комнату без окон. Между собой они не разговаривали. Охранники встали у дверей.

Чем все это закончится, Антон Варфоломеевич не мог даже предположить. Но хорошего ждать не приходилось. Он сел на стул в углу комнаты и постарался расслабиться, как его учил целитель, представить себя такой легкой тучкой в прозрачном голубом небе. Но как он ни старался, воспарить ему не удавалось. Одно успокаивало — тишина в комнате. После затянувшейся говорильни она казалась блаженством, ниспосланным свыше. Сколько времени будет длиться перерыв, Антон Варфоломеевич не знал, но ему хотелось, чтобы он длился вечно.

В тот момент, когда Баулин почти уже сумел сбросить с себя нервное напряжение, дверь бесшумно распахнулась и в комнату вошел человек неопределенного возраста, спортивного вида, с совершенно не запоминающимся лицом. Антону Варфоломеевичу показалось даже, что такового у человека и нет вовсе.

— Да-да, — сказал вошедший, — как же вы нас подвели, гражданин Баулин. А ведь судьба человечества была почти что в ваших руках.

— Куда там! — неопределенно отмахнулся Антон Варфоломеевич.

— А это правда, ну все то, что про вас говорили там? — спросил человек без лица.

Баулин сделал вид, что не понял вопроса.

— Ловко же вы нас за нос водили! — сказал человек с долей восхищения. — А может, этого послать, как его? — он бросил взгляд в сторону профессора Тудомского, над которым трудились неизвестно откуда и когда появившиеся парикма-

херы. Одновременно с двух сторон они ловко лишали Тудомского его знаменитой седой гривы. И тот не роптал.

— А-а... — протянул Антон Варфоломеевич и махнул рукой.

— Понятно. Вы только не волнуйтесь, Майкл... простите, Антон Варфоломеевич. Может, обойдется?

— Лучше бы вы меня послали без подготовки, сразу же!

— Поздно, — устало проговорил человек и вышел.

Остриженный Тудомский неприязненно посмотрел в сторону Антона Варфоломеевича и выдавил из себя напряженно:

— Доигрался?!

После этого он опять отвернулся, уставился в стенку.

Перерыв кончился. И вновь вспыхнули над столами президиума багровые зловещие буквы. Снова заполнился зал. Все было по-прежнему, кроме одного — место председательствующего занял плотно скроенный невысокий румянолицый человек, обладатель приятного тенорка. Он начал без предисловий:

— А теперь мы рассмотрим другую сторону жизни гражданина Баулина, с которой, видимо, не все присутствующие хорошо знакомы.

Зал оживленно загудел, глаза сидящих засверкали любопытством.

Даже сам Антон Варфоломеевич поднял голову, наострил уши.

— За последние тридцать лет своей деятельности, — продолжил новый председатель, — гражданин Баулин нанес убыток государству, в качестве выплаченных ему зарплат, премий, премиальных за изобретения и рационализации, кандидатских и докторских надбавок, а также гонораров за научные статьи, книги и так далее, в размере двухсот тридцати восьми тысяч ста двенадцати

рублей и шестидесяти семи копеек. Подсудимый, вы согласны с нашими цифрами?

— Никогда не подсчитывал.

— Напрасно.

— Я возражаю! — выкрикнул адвокат, он же зам. — Это были честно заработанные деньги, в соответствии с трудовым законодательством и финансовыми...

— Честно?! Зарплата и премии — за работу, которой подсудимый никогда не выполнял, за изобретения, изобретенные не им, за степени, полученные вы уже сами знаете каким образом?!

— Он был неутомимым организатором, активным общественником, — не унимался зам, — на протяжении всех этих долгих лет Баулин был, можно сказать, генератором идей. Пускай осуществляли их другие, но ведь кому-то их надо было и дать?!

— Организатором он и в самом деле был хорошим. Кстати, не вы ли, уважаемый адвокат, помогли ему сорганизовать, так сказать, строительство загородного коттеджа на отведенные в фонд института средства? Не вы ли, пользуясь своими полномочиями, выделяли на строительство этого, с позволения сказать, домика институтских рабочих?

— А я вообще не пойму, что этот мерзавец делает на адвокатском месте? — раздался после долгого молчания голос ниоткуда.

— И вправду?! — Председатель поглядел на зама.

Стремительно вбежавший из задней двери пожарник пронесся, грохоча сапогами по проходу, взбежал на помост и, ухвативши зама крепко за воротник, выволок его с адвокатского места. Через секунду зам уже сидел между Антоном Варфоломеевичем и бывшим профессором Тудомским. Пожарника же словно корова языком слизнула.

Воспользовавшись паузой, встал со своего места целитель.

— Я должен заявить многоуважаемому суду, что мой пациент находится в невменяемом состоянии, — сказал он. — Это глубоко и тяжело больной человек, с подорванной непомерным трудом психикой. Он может не выдержать процесса.

Антон Варфоломеевич воспрянул духом, слова целителя пролились на него божественным нектаром.

— А чэго ж он, эсли балной такой, — снова вскочил с кресла гость с Востока, топорща при этом усы и округляя свои маслянистые глазки, — чэго ж он сэбя в жэртву науке отказался принэсти? Эсли он балной, значит, он обрэчен все равно! А он отказался!!!

Председатель приказал вывести вон усача, что и было сделано.

— А вы, уважаемый доктор, займите-ка пока место адвоката, вам оно к лицу, — сказал он после того, как масленоглазого выдворили из зала. — Пациент ваш прошел медицинскую экспертизу, поводов для тревоги у нас никаких нет.

Целитель гордо прошествовал к столику справа от судей и сел за него, величаво откинув голову назад.

— Продолжим! — Председатель улыбнулся Антону Варфоломеевичу. — Для нужд лабораторий за последние годы было выписано бытовой радиоаппаратуры, как отечественной, так и зарубежной, на сумму сорок семь тысяч рублей и тридцать пять тысяч в инвалюте всего. Скажите, какое имеет отношение бытовая техника — телевизоры, магнитофоны, видеомангнитофоны и прочая — к тому направлению, которым вы занимались?

— Самое прямое, — ничего не разъясняя, ответил глухим голосом Антон Варфоломеевич.

— Хорошо! Я не специалист, оспаривать не буду. Поставим вопрос так — где эта аппаратура находится сейчас?

Баулин промолчал.

— По нашим сведениям — в вашей квартире и квартирах лиц, обеспечивающих вам свое покровительство, не так ли?

— Так, так! — озлобленно выкрикнул Тудомский.

— Не вас спрашивают, — голос ниоткуда дрожал.

— Да чего уж — вам виднее! — Антон Варфоломеевич решил, что отпирательство бесполезно.

— С этим решили, хорошо. — Лицо председателя стало еще румяней. — Я думаю, мы больше не будем останавливаться на таких мелочах, как эта пресловутая аппаратура, спортивное снаряжение, книги, стройматериалы и тому подобное, а? — (Все согласно молчали.) — Ведь если мы начнем говорить об этом так же подробно, то просидим тут до второго пришествия. — Он хлопал по папке и продолжил: — Здесь все записано. Так вот, вместе с уже названным ущербом, в сумме то есть, все это составляет в переводе, конечно, на наши деньги — семьсот девяносто тысяч триста один рубль и те же шестьдесят семь копеек.

Зал дружно ахнул.

— Но перейдем теперь к опросу свидетелей, — председательствующий умерил пыл публики. — Впустите первого.

Вошел почему-то Иван Иванович со сложенными за спиной руками и в сопровождении двух молодых в штатском. Антон Варфоломеевич злорадно усмехнулся, потер ладоши, взгляд его приобрел хищное выражение.

— Фу-у! — воскликнул председатель. — С этим дело мы уже покончили, ну сколько можно!

— Наверное, ему есть что сказать, — дал о себе знать голос ниоткуда.

— Тогда пусть скажет, — смирился председатель.

Иван Иванович прошел вперед, упал перед судом на колени и, глядя на судей, но не глядя на

Антон Варфоломеевича, затряс в его сторону скрюченным пальцем.

— Это все он, — на верхней ноте завел Иван Иванович, — аферист и подлец, это он опутал меня своей липкой паутиной!

— Ну-ну, не скромничайте, пожалуйста, — улыбнулся ему председатель, — и в выражениях, я вас очень прошу, помягче немного.

— Слушаюсь, — покорно проговорил Иван Иванович. — Тут все дело в том, что гражданин Баулин прямого выхода на промышленность почти не имел, это может подтвердить каждый. Вот он и нашел лазейку в нашем министерстве.

— Лазейка — это вы? — ласково спросил прокурор.

Иван Иванович глухо зарыдал.

Чем кончилась история с Иван Ивановичем, Баулин так и не узнал, потому что его начало страшно тошнить и охранникам пришлось вывести подсудимого из зала суда.

Антон Варфоломеевича рвало в туалете в течение получаса. Ему казалось, что он умирает. Но все обошлось, и когда его вели назад в зал, Баулин увидел конвоируемого двумя автоматчиками Иван Ивановича. На том была полосатая каторжная роба, на руках и ногах его гремели в такт шагам кандалы.

А в зал из самого вестибюля тянулась до председательского стола длинная очередь. Во многих стоящих Антон Варфоломеевич узнавал толкачей-производственников. А когда он снова занял свое место, то услышал, как каждый из них, по мере прохождения освидетельствования, сознавался в том, когда и какие именно подарки он привозил подсудимому ныне Баулину, а тогда всесильному научному авторитету, чтобы получить в министерстве и НИИ нужное ему научно-техническое заключение. Длилось это невероятно долго.

Перед глазами Антона Варфоломеевича мель-

кали лица, фигуры, все мельтешило, кружилось, взбалмошный усач, высовываясь из-за дверей, орал что-то о непонятной жертве, так и не принесенной Баулиным науке, его выталкивали, но он протискивался вновь и вновь. Сверкающие мечи за спиной склонялись все ниже и ниже над головой Антона Варфоломеевича. Сидящий в президиуме Нестеренко сокрушенно покачивал головой и с искренним изумлением смотрел на Баулина. Петр Петрович грозил со своего места подсудимому пальцем, пучил глаза... а в конце концов взобрался с ногами на стол и, размахнувшись во все плечо, запустил в Антона Варфоломеевича каким-то бумажным комочком. Впрочем, до адресата тот не долетел, его перехватил на лету прокурор и, продемонстрировав всему залу с обеих сторон развернутую бумажку от мороженого, провозгласил звучно:

— Прошу подшить в дело!

Через минуту раскрасневшийся, запаренный пожарник приволок на скамью к Баулину и самого Петра Петровича, хотя тот всю упирался и требовал немедленно создать комиссию по расследованию жалоб и доносов, поступавших от подсудимого на протяжении последних четырех лет. Пожарник, похоже, был глухой. Да и что возьмешь с исполнителя? Голос же сверху изрек:

— Без бюрократической возни, как договаривались!

Овации в зале постепенно начали перерастать в подобие вулканического грохота. Публика неистовствовала!

А Антон Варфоломеевич вертел перед носом Петра Петровича кукишем и хихикал с каким-то мелким, не вяжущимся с его колоритной фигурой ехидством.

На скамье прибывало. В теплую компанию уже влились: экстрасенс, Сашка-предатель, все члены научно-технического совета во главе с особо научным завхозом института, старичок ректор, це-

лая орава доставал-снабженцев, которых Антон Варфоломеевич совсем не узнавал... Скамья расталась будто на дрожжах, она уже занимала большую часть зала. И стражники в чалмах и с мечами в руках множились, множились — как зеркальные отражения.

Одним из последних притащили масленоглазого усача, который, дико тараща глаза, визжал словно резаный и клялся всем святым для него, что если подсудимого Баулина немедленно же, на его глазах, не принесут в жертву кому-то, то он вырвет меч у стражника, всех в этом зале перерубит в лапшу, а потом сделает себе харакири и собственной кишкой удавит Антона Варфоломеевича!

— Хрен с тобой! — орал Баулин, совершенно ополоумев. — На, режь, гад! Ну чего ты?!

При каждом вскрикивании он ударял кулаком сверху вниз по голове стриженного и жалкого Тудомского. И даже не замечал этого, до тех пор пока профессор не свалился под ноги сидящим.

Усача связали. В рот вбили кляп. Но он его тут же проглотил и заверещал пуще прежнего:

— Всех порежу!

— И-э-эх! — глумился над ним Баулин. — А еще величество! Самого тебя — в жертву!

— В лапшу! В капусту!!

Следующий кляп оказался надежнее, масленоглазый замолк.

Народу в зале оставалось все меньше. На скамье же все прибывало. Но тем громче рукоплескали оставшиеся. Они сначала встали на ноги, потом взобрались на сиденья кресел и, стоя на них, бурно выражали свой восторг и всеобщее одобрение. Лишь с самого края в президиуме сидел неприметный и какой-то лишний здесь окопник и молча сворачивал самокрутку, хмыкая и качая головой.

Антону Варфоломеевичу было не до того. Он внезапно смолк, позеленел и плюхнулся задом на

скамью. Из дальней двери прямо на него шел человек недожинного сложения в красно-багровом балахоне и черных в гармошку сжатых сапогах. В руках у него был мясницкий топор.

— Да-да, — глубокомысленно, покрывая шум в зале, произнес голос ниоткуда. — Так, наверное, будет лучше.

«Это кому же лучше?» — подумал Антон Варфоломеевич, сползая еще ниже

А палач приближался.

Рукоплескания начали потихоньку смолкать, пока совсем не заглохли. Сидящие на скамье, как по сговору, стали отодвигаться от Баулина все дальше и дальше, пока он не остался совсем один перед приближающейся красной фигурой.

В тишине раздался крик окопника:

— Ты чего это, паря? Ты что — мясником будешь?! Не шали! Обещались придушить, чтоб по-человечески, по-христиански!

Окопник поперхнулся дымом из самокрутки и зашелся в кашле.

Палачу оставалось пройти метра два-три, он уже начал приподнимать топор. Антон Варфоломеевич уныло, сидя на полу у скамьи, прощался с жизнью.

— Непорядок! — выкрикнул румяный человек из президиума.

Баулин совершенно отчетливо увидал, как сузились зрачки в прорезях балахона. Топор медленно опустился.

— Не по протоколу!

— Да слышали, чего орешь зря! — глухо донеслось из-под балахона.

Человек в красном, с сопением и натугой, перелез через перила, подхватил одной рукой Антона Варфоломеевича за шкуру и посадил на скамью. Сел рядом. И прошептал доверительно, почти дружески:

— Что ж мы, без понимания, что ли? Обождем!

Зал вновь взорвался аплодисментами.

— Суд удаляется на совещание! — заявил румянолицый и вышел в гордом одиночестве из зала.

Наступило некоторое замешательство. Никто не знал, что надо делать. У всех входов-выходов стояли охранники в чалмах и отгоняли желающих выйти своими кривыми острыми мечами.

Палач пыхтел, сопел, переминался и тяжело, с присвистом, вздыхал. Чувствовалось, что ему нелегко сидеть без дела.

«Это все сон, это все сон, это все сон...» — как магическое заклинание твердил про себя Антон Варфоломеевич. Он даже расхрабрился до полной отчаянности и... плюнул в сидящего поодаль Петра Петровича. Тот утерся, не стал затевать скандала. «Точно, сон! — упрочился в своих мыслях Антон Варфоломеевич. — Да разве наяву такое возможно? Ни-ког-да!» Но тут же почувствовал внезапную боль в затылке и чуть не свалился — это палач дал ему основательную затрещину.

— Нехорошо, — присовокупил палач словами, — некрасиво и некультурно! В цивилизованных странах так себя не ведут!

— Я больше не буду! — истово поклялся Антон Варфоломеевич. Человека в красном он заужал с первых же минут.

Сверху донесся сип, и голос ниоткуда объявил:

— А теперь... все танцуют!

На помост выскочили из-за дверей какие-то патлатые, расхлястанные парни с гитарами, барабанами, саксофонами... Целая команда близнецов-пожарников выкатила груды аппаратуры. И в уши ударил сатанинский, оглушительный хэви-металл. В зале стало темно, одновременно задержались, замелькали яркие молнии-огоньки, вспышки. Все пришло в движение.

Палач ногой вышиб перила, ухватил Антона Варфоломеевича за бока и завертел-закружил в

бешеной, абсолютно не подходящей под сумасшедше-неистовый рок пляске.

Все словно с ума посходили. Прыгали, скакали и вращались как волчки: Петр Петрович с прокурором, мерзавец Сашка сам с собой, снабженцы, их жены и любовницы, отделенные до того барьером, институтские машинистки и курьерши, начальники и подчиненные, подсудимые и свободные. Весь зал ходуном ходил. Отплясывал гопака Иван Иваныч в полосатой робе, и тяжелые гремящие кандалы ему не мешали. Притопывали вокруг него два охранника. Будто в истерическом припадке, дергался в ритмах рока остриженный профессор Тудомский — глаза его были закрыты, а рот раззявлен. Бессчетные замы и помы, сцепившись руками в хоровод, кружились как заведенные, живым колесом — все на одно лицо. Изгибался в восточных пируэтах гибкий и верткий экстрасенс. Даже связанный усач прыгал на одной ноге, пучил масляные глаза и тряс головой. Но от кляпа его так и не освободили. Короче, весь зал — невзирая на звания и степени, должности и чины, возраст и здоровье — предавался какому-то разнузданному, разухабистому веселью.

Антон Варфоломеевич, совершенно обалдевший от всего, крутился, увлекаемый сопящим палачом, и думал, что хорошо все то, что хорошо кончается, — а разве это единение зала в танцевальных ритмах, в сумбурном и нелепом всеобщем согласии не добрый знак?! Добрый, еще какой добрый! И наплевать — сон это или явь! Какая разница! Главное, топор-то остался там, у скамьи. А значит, есть еще минуты, может, и часы! Голова у него кружилась, сердце то билось в ребра бельчонком, то обмирало и пропадало совсем. От прилива чувств и пользуясь полумраком, теснотой, он даже исхитрился дать хорошего пинка под зад Тудомскому. Но тот, видно, ничего уже не чувствовал — сознание его витало в иных сферах. Палач не заметил «нецивилизованного»

поступка подопечного, увлечен был. Он даже оторвался на время и пошел было вприсядку. Но заметив, что Антон Варфоломеевич пытается улизнуть, вновь вцепился в него.

— И-ех! Жги, Семеновна! — завопил Петр Петрович, вскидывая вверх руку с платком. — Один раз живем!

Будто поддаваясь его призыву, музыканты ускорили ритм, принялись терзать свои инструменты еще пуще. Вселенская кутерьма была, невиданная и неслыханная! И если случались до того на свете шабаши, так по сравнению с этим звать-ся им отныне скромными посиделками. Стены ходуном ходили, полы трещали, люстры качались, как при двенадцатибалльном шторме. Веселился люд честной!

А голос румянолицего все ж таки перекрыл все громы и звоны, визги и крики, скрипы и хрипения:

— Встать! Суд идет!

И только прозвучало последнее слово и перекатилось по залу гулкое эхо, как стало светло и пусто — никого в огромном и засыпанном всяческим мусором помещении не осталось. Никого, кроме Антона Варфоломеевича, палача в красном балахоне и румянолицего.

Антон Варфоломеевич растерянно озибался по сторонам, и чудилось ему, что он проснулся наконец, — так все было реально и буднично. Он даже провел рукой по своей голове и убедился, что она вовсе не острижена, что пышная и упругая шевелюра на месте. Все было обыденно. За исключением палача и румянолицего.

А палач тем временем сходил к тому месту, где находилась разбитая в щепы скамья, подобрал свой топор и возвращался назад. Это и отрезвило Антона Варфоломеевича. Он пристально взгляделся и среди обломков стульев и кресел, среди куч спутанного серпантина и прочей мишуры разглядел самую натуральную плаху. Она, колода колодой, стояла в трех метрах от него.

— Давай, милый! — подтолкнул его палач. — Пора!

От растерянности и думая, что лучше быть послушным, Антон Варфоломеевич опустил, где стоял, прополз на коленях отделявшее его от плахи расстояние и покорно положил на нее голову. За спиной он расслышал всхлипывания растроганного палача. Обернулся. Тот, сжав под мышкой топор и стацив с головы капюшон, размазывал огромной ручищей слезы по лицу. И лицо это показалось Антону Варфоломеевичу невероятно знакомым, он даже испугался.

Отвлек его румянолицый.

— Оглашаю приговор! — произнес он торжественно.

И в эту минуту зал снова наполнился, загудел, задрожал в ожидании. Антон Варфоломеевич краем глаза видел, что он на возвышении со своей плахой и палачом, а вокруг все — как и было с самого начала: ряды кресел, люди, лица, лица... И гомон, и настороженная тишина.

Румянолицый влез на трибуну с ногами и парил теперь надо всеми.

— Оглашаю! — повторил он еще торжественнее.

Палач поплевал на руки, потер их крепко-накрепко и ухватисто взялся за топор. Зал ахнул в каком-то слаженном едином порыве. Многие встали.

— Прошу внимания! — громко и иным тоном произнес румянолицый. — Перед оглашением, товарищи, прошу поприветствовать маэстро!

Раздался робкий хлопок, другой, третий... И посыпались, посыпались — сначала не слишком уверенные, но затем все более слаженные и мощные аплодисменты. Зал рукоплескал. Палач с достоинством и величавостью раскланивался, прикладывая руку к сердцу. Но топора из другой не выпускал. Наконец все встали и аплодировали уже стоя. И неизвестно, чем бы все это кончи-

лось, если бы не прозвучал совершенно неожиданно голос ниоткуда:

— Ну хватит уже!

Бурные овации смолкли, публика с шумом и треском уселась.

И тут Антон Варфоломеевич понял кое-что. Он приподнял голову с плахи, прислушался.

— Пора кончать! — прогрехотал как никогда ранее голос ниоткуда.

И Антон Варфоломеевич не ошибся, теперь он знал точно, наверняка — это его собственный голос! Да, голос ниоткуда был его, его голосом — какие сомнения?!

Он вскочил на ноги, метнул настороженный взгляд на человека в красной рубаше. Знакомое лицо? Ха-ха! Это же было его лицо! Как он мог не узнать сразу?! И вообще — это же он сам, один к одному! Не надо даже зеркала!

Вот теперь Антон Варфоломеевич испугался по-настоящему. Это был уже не испуг, а смертный, жуткий ужас. Бросив еще один взгляд на своего двойника в красном балахоне, он взревел носорогом, пнул ногой плаху, отчего та скатилась прямо в зал, на публику, и прыгнул сверху в проход.

В два прыжка он преодолел расстояние до дверей, резким ударом сшиб с ног смуглокожего охранника с изогнутым мечом и всем телом навалился на створки. Двери не выдержали. И вместе с ними, переворачиваясь и теряя ориентацию в пространстве, леденя и одновременно покрываясь потом, Антон Варфоломеевич полетел в черную и молчаливую бездну.

Пробуждение было тяжелым. Минут двадцать Баулин не мог никак сообразить, где он находится. Лежал и смотрел в пустой гнетущий потолок. Ждал, что будет. Все тело болело, как после сильных побоев или многодневной пьянки. Голова была пуста и тяжела.

Наконец он отбросил край одеяла. Встал, ощущая легкое, но непреходящее головокружение. Он не пошел ни на кухню, ни в ванную, а как был в пижаме, так и уселся за массивный письменный стол, выдвинул боковой ящик и достал лист бумаги.

Перед глазами стояла слабая пелена. И перед тем, как вывести первую строку, Антон Варфоломеевич тщательно проморгался, погрыз кончик дорогой фирменной ручки. Потом начал: «Директору... научно-исследовательского института... заявление. Прошу освободить меня от занимаемой долж...» Раздался телефонный звонок.

Баулин поднял трубку.

— Антоныч? — Голос зама был свеж и бодр, совсем не напоминал о вчерашней ссоре. — Ты?!

— Да вроде бы я, — промычал Баулин, подумывая, а не повесить ли трубку.

— Чего раскис?! — Зам рассмеялся грубо и громко. — Не отчаивайся, Антоныч! — просипел он сквозь смех. — Все путем! Глядишь, мы с тобой и еще протянем малость!

— Что случилось? — встрепнулся Антон Варфоломеевич, сердце учащенно, в предвестии радостной новости забилося.

— Грустная весть, Антоныч, — вполне серьезно и со скорбью в голосе проговорил зам. — Новый-то наш перенапрягся с непривычки. Ночью его на «скорой» увезли, сердчишко зашалило, может, инфаркт. Такие вот дела, Варфоломеич! Так что — не состоится запланированное мероприятие, мне только что звонили, проинформировали. Ты слышишь?!

Баулин онемел, он не мог произнести ни слова, издать ни звука. Это было спасение! С трудом подавив в себе нахлынувшие чувства, он все же сказал спустя минуту:

— Несчастье-то какое.

— Все под богом ходим, — согласился зам.

Про распри-ссоры и взаимные обвинения-оскор-

бления оба благополучно забыли. «Беда» снова объединила их. Как и подобает давнишним приятелям, они вновь готовы были делить пополам предстоящие победы, радости, успехи.

— Ну, ладно, будь! — заключил зам.

— Ага, буду, — сказал Антон Варфоломеевич. Потом добавил: — Я на часик задержусь, скажи там моим.

— Сам скажешь, — ответил зам. — Отдыхай!

В трубке раздались гудки.

Но только Баулин положил ее на рычажки, как прозвенела еще трель.

— Антон Варфоломеевич? Все отменяется! — с ходу провозгласила трубка Сашкиным голосом.

— И без тебя знаю, — начальственным тоном произнес Баулин. — Что еще?

— Все-е, — растерялся Сашка.

— Тогда привет! Да скажи там, что буду к обеду!

Самообладание полностью возвратилось к Антону Варфоломеевичу. С брезгливой гримасой на лице он сгреб ладонью бумагу, лежавшую на столе, — свое недописанное заявление, скомкал ее и бросил в корзинку.

Голова прояснилась окончательно. Тело больше не гудело и не ныло. Напротив, с каждой минутой Баулин ощущал в нем прилив сил, энергии. За окном вовсю светило утреннее, умытое солнышко. Весело щебетали птицы. И уже радостно горланили выведенные во двор на первую прогулку детсадовцы — народец простой, беззаботный и счастливый.

Вот таким же беззаботным и счастливым ощутил вдруг себя Антон Варфоломеевич. Полной грудью набрал он воздуха и запел:

О да-айте, да-айте мне-е свободу-у!

Я свой позо-ор-р-р сумею искуп-и-ить!

Дальше он слов не знал и потому просто мычал — громко, с вдохновением, извлекая из себя

басовые, колокольно-набатные звоны и переливы. При этом прислушивался к ним как бы со стороны — с любовью и восхищением. Что и говорить, нравилось Антону Варфоломеевичу то, как он исполняет арию, очень нравилось. Перефразируя где-то слышанное, он даже воскликнул в голос: «Ай да Баулин, ай да сукин сын!» И ударил кулаком по столу.

Вот так, с мычанием, в состоянии великого воодушевления, Антон Варфоломеевич проделал все туалетные необходимости. Затем проследовал на кухню и принялся за приготовление завтрака. В распахнутое окно била жизнь — она врывалась в квартиру с солнцем и ветерком, со всеми звуками улицы. Даже залетевшая оса жужжала весело и жизнерадостно.

Закончив готовку, Антон Варфоломеевич поставил все на столе и включил репродуктор. Оттуда полились бравурные марши. Пока он поглощал съестное и пил кофе, смакуя каждый глоток, марши не смолкали. «Надо надеть сегодня лучший, свежий костюм и ту сорочку, что Валюша привезла из Англии, — планировал Антон Варфоломеевич. — А к вечеру откупорить бутылочку коньяка-с! Праздник так праздник!» Все в нем ликовало.

Марши сменились оглушающе звонкой песней:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!

Антон Варфоломеевич подпевал:

Па-ра-па-пам! Па-ра-па-па-пам-пам!

И пританцовывал. В голове роились тысячи планов, как на сегодняшний день, так и на необозримое будущее. Брился Антон Варфоломеевич с особым упоением и тщательностью. Он будто заново родился на свет — юный и наполненный желаниями, нетерпеливый и упругий, как мячик. Он был готов ко всему, к любым передрыгам и трудностям, невзгодам и бедам, но больше всего

он был готов к взлету на новые, неведомые вершины, и ничто в этом сладостном полете не могло бы придержать его, остановить или хотя бы расстроить. Все чудесно и распрекрасно! Эх, жизнь-житуха, надо бы лучше, да некуда!

В это время сквозь звуки бесконечной песни прозвучал искаженный хрипами и расстоянием голосок:

— Вам же звонят! Чего не открываете!

Антон Варфоломеевич отложил бритву и, не отдавая себе отчета, воскликнул бодро:

— Бегу, бегу!

И направился в прихожую, как и был — в пижаме, с полотенцем на шее, бодрый, веселый, напевающий.

— Кто там? — спросил он громко. А рука уже крутила замки.

— Почта, — откликнулся тоненький старушечий голосок.

— Момент!

Антон Варфоломеевич распахнул дверь, заранее широко и белозубо улыбаясь.

На пороге стоял окопник в длиннополой грязно-серой шинели с винтовкой за спиной и самокруткой в узловатой руке. Лицо у него было морщинисто и добродушно, рыжая недельная щетина делала его округлым, даже благообразным.

— Непорядок, гражданин! — произнес окопник с укоризной. — Разве так делают?

У Баулина челюсть отвисла. Но в замешательстве он пребывал недолго. Резко развернувшись, Антон Варфоломеевич бросился было к дверям в спальню. Он уже коснулся ручки...

Но двери раскрылись сами. Из спальни вышел пожарник в робе и сверкающей, ослепительно надраенной каске. Он сразу же ухватил Антона Варфоломеевича за ворот пижамы и покачал головой:

— Сбежать, стало быть, хотел? И-эх, интеллигенция еще!

Баулин рванулся, оставил воротник в цепкой

руке. Надо было спастись! Он с разбегу ворвался в гостиную, сбив с ног каких-то двух типов, и вспрыгнул на подоконник. Следующее движение принесло боль — окно было зарешечено, и он сильно ударился о чугунные прутья. Послышался звон битого стекла, посыпались осколки.

Вцепившись руками в прутья, вжавшись всем телом в решетку, Антон Варфоломеевич стоял на подоконнике и вглядывался в то, что было за окном. Никакого солнца! Никакого лета, щебета, разноголосицы детсадовцев! Сумрачная, свинцовая пелена застила все в трех-четырех метрах. На-крапывал мелкий дождь. И пахло помойкой. Где-то внизу орала кошка, словно с нее обдирали кожу. Да каркали в отдалении вороны, не поделившие наверняка какой-нибудь тухлятины. Решетка не поддавалась.

Но Антон Варфоломеевич боялся оглянуться назад. И все рвал и рвал на себя прутья. Из-за пелены вдруг выплыла фигура Ивана Ивановича в робе и, как тогда, в зале, погрозила пальцем. «Иуда! — слышалось Баулину. — Хе-хе-хе!» Иван Иванович пропал. И его место занял масленоглазый усач. Он был без кляпа, но по-прежнему связанный и возбужденный.

— Что дэлать, уважаэмый, — проговорил он сокрушенно, — надо. Надо!

Вид у усача был совершенно безумный. Но голос его звучал твердо:

— Наука трэбуэт жэртв!

Антон Варфоломеевич обернулся.

Румянолицый, одетый в теплое твидовое пальто, с зимней кроличьей шапкой-ушанкой на голове, кивал. Человек в черной куртке и пенсне разводил руками. На выходе маячила краснорубашечная фигура. Но подойти ближе явно не решалась.

— Порядочные люди так себя не ведут, уважаемый Антон Варфоломеевич, — проговорил румянолицый и зябко поежился. — Публика собралась,

народ, можно сказать, все люди-то уважаемые... А вы? Даже приговора не выслушали! Да кто ж так поступает?!

— Утопить его в нужнике, и дело с концом! — донеслось из коридора.

— Не-ет, придушить контру надо!

Антон Варфоломеевич покорно спрыгнул вниз.

Подошедший пожарник при помощи окопника натянул на него какое-то длинное, неудобное одеяние и крепко связал за спиною рукава. «Смирительная рубаша! — сообразил Баулин. — Уж лучше бы кандалы, как у Иван Иваныча!»

Посреди комнаты зияла огромная дыра — та самая, прорубленная окопником. Все вокруг было завалено щепками, какой-то трухой, обрывками обоев. Хлюпала вода под ногами. Со стороны коридора и ванной доносился металлический скрежет. Видно, матрос пилил-таки свои трубы.

Румянолицый достал из кармана пальто круглые часы с крышкой. Крышка откинулась, и часы, на удивление громко, будто куранты, пробили раз пять или шесть.

— Пора! — произнес румянолицый.

— Пора! — согласились с ним все остальные.

И подбежавший пожарник толкнул Антона Варфоломеевича в спину. Так, что тот полетел вниз головой в сырую и мрачную дыру. Следом прыгали гости, если их так можно было назвать.

Дыра опять заросла паркетом. Мусор исчез. И к приходу Валентины Сергеевны в квартире образовался, как, впрочем, и было до происшествия с Баулиным, полный порядок. Решетки поспали и растворились. Помочный запах и карканье ворон улетучились. Кошек внизу, под окном никто не насиловал. И солнце светило ярче яркого на радость совсем разошедшейся детворе. Репродуктор радостно орал восторженную песню, повторяя ее вновь, так, чтобы никто и никогда не заимел сомнения в том, что «мы рождены, чтоб сказку

сделать былью», а вовсе не для чего-то иного, непонятного.

А Антона Варфоломеевича с тех пор никто не видал. Ни на работе, ни дома, ни в Москве, ни на его даче — вообще нигде. Валентина Сергеевна немного погоревала да и зажила своей жизнью. Маленький внучок и вовсе не запомнил своего влиятельного, почти всемогущего дедушку. А дети, казалось, даже не заметили исчезновения родителя.

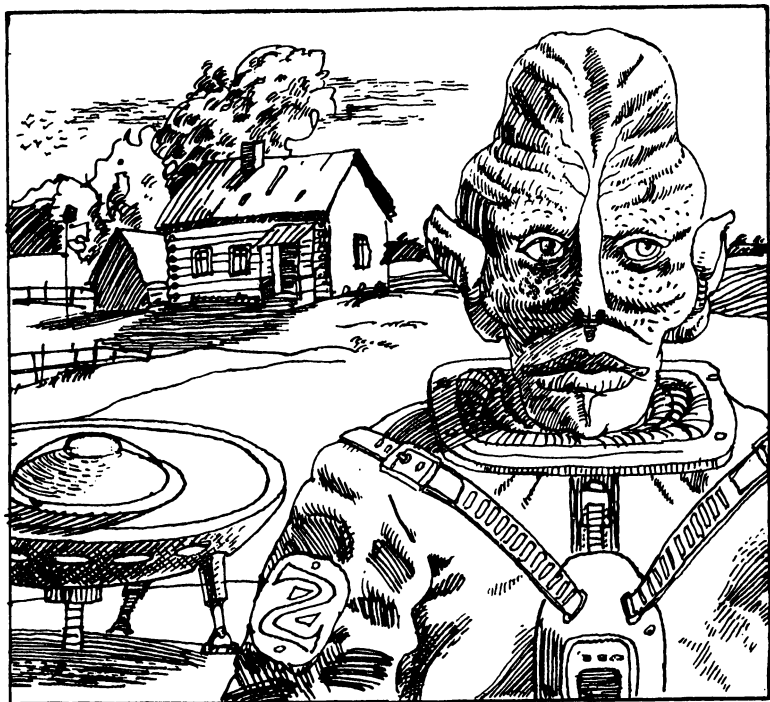
Правда, знакомые и подчиненные судачили и рядили еще долго. Злые языки, ссылаясь якобы на дворовых очевидцев, утверждали, что в то самое утро к дому Баулиных подъезжала санитарная машина. И что вроде бы двое здоровущих мужиков в белых халатах погрузили в нее упирающегося и беснующегося Антона Варфоломеевича, а затем увезли. Но Валентина Сергеевна, втихомолку обзвонившая все психиатрические лечебницы города и окрестностей, а также и прочие угрюмые места, нигде следов мужа не обнаружила. Ничего о нем не знала милиция и даже...

Говорили и о том, что профессора Баулина направили с особо важным заданием за границы отечества, разумеется, инкогнито. И о том, что он просто драпанул во время одной из зарубежных командировок, бросив жену и прочих родственников. Еще болтали о том, что его готовят в обстановке невероятной секретности и неизвестно где для запуска на Марс. Многие верили. А почему бы и нет! Чем не посланец Земли?!

Но большинство сходилось на том, что несчастного Антона Варфоломеевича или прирезали где-нибудь на окраине злоумышленники, позарившиеся на его импортный «дипломат» и не менее импортный костюм, или же он сам после какой-нибудь пирушки сгинул под колесами грузовика, а то и в пруду, речке.

И лишь одна старушка, сидевшая с утра до ночи на лавочке перед подъездом и имевшая как-

то беседу с забредшим во двор пожилым солдатом в длинной шинели и с вечной самокруткой в зубах, верила, что Антону Варфоломеевичу сейчас хорошо, что никуда он не попал и не сгинул, никого не предал и ни от кого не сбегал, что в космос его пока запускать не собираются по той простой причине, что он далеко-далеко отсюда и вместе с тем совсем-совсем рядом, в мире, где царят справедливость и добро, где красота уже давным-давно спасла людей и победила зло. Правда, солдат смущенно чесал затылок и говорил как-то излишне твердо, будто уговаривал себя. Но старушка всему верила.



Зеленые призраки

Иван Федорович Коровин, село Чугунки совхоза «Вперед!»:

— Все понял, у нас ушки на макушке, хе-хе. Я тогда с самого начала начну, лады? А было так, гражданин... что? Прощения просим, товарищ, следовательно! О чем это я? Ах да, меня вообще-то все Курымом кличут, так повелось, а с чего — и сам запомнил, прилепили кликуху, не отвязешься, у нас ежели удостоют, так надолго... Лады, понял, теперь — коротко, ясно! Вы слушайте только. И каким чертом к нам этого городского принесло? Ведь с него все пошло, а?

Тоисть как это ни при чем? Ведь до него же тишь да гладь да всеобщая благодать, у нас ведь куры и те вполголоса квохчут — потому как с пониманием, вот. Не-е, при чем! Это он вам отписал, кому же больше! Все, кончаю, у вас времечко казенное, мы это понимаем, лады. Теперича только по существу. Я вам дело раскручу, вы только слушайте. Значит, так... а где, интересно мне, Гришка-председатель? Вы бы с ним для начала потолковали, а? Как это ищите?! Он чего — булавка, что ли? Не-е, так дела не делаются, да так можно... ну я не знаю! Что? Лады, все ясно — вопросы вы задаете, а я, значит, отвечать буду, как и договорились, вы только слушайте, мы их всех враз! С чего начнем? Да я и не волнуюсь, это манер у меня такой, склад, как говорится, характера. Что? Нет! Ни-ко-гда! Только самую малость, потреблять — потребляй, но культурно — вот наш девиз и лозунг боевой! Что? Ошибочный? Не знаю, вам, конечно, виднее. Продолжим? Ну, поехали! Комплекс этот еще годов как пять, а то и поболее, все отгрохать собирались. Нужнейшее дело, это вы мне поверьте, нужное и полезное! Только я к нему, как руль от вашего «Москвича» к моей кобыле Фроське. Я помню, по... А ежели кто говорит, что я этих зеленых тварей видал, так все врут! К нам зеленые и в гражданскую не забредали! От нас, как еще граф Толстой писывал, хоть три года в какую сторону скачи, а ни хрена нидокудова не доскачешь! Во-о! Я вот когда в городе лежал, на поправке, тоисть, вот там — скока хошь! Тама в одной нашей палате тока их штук шесть по стенам прыгало, а то и двенадцать. И все как ни на есть — зеленые! Тут врать не буду, чего есть, того скрывать не стану. Но это в городе, а у нас тихо. Вы Гришку ловите! Ежели у кого и был уговор с зелеными, так это у него гада! О чем это я? Вот только обидно — за что Курымом прозвали, а? Ну за что?! Я не знаю, вы не знаете, а кто знать

обязан?! Во-о — вопрос, вопросище! И не в этом дело, а только люди — они зря не скажут. А вы слушайте дальше... Тоисть как это? Да я в один миг, вы только записывайте. Все как на духу, я тут с рождения самого, безвылазно, старожил я тут, кто лучше меня... До следующего разу? Ну, как знаете, вам оно, конечно, виднее, только... Все, молчу. Ну так, значит, я пошел? Пошел, стало быть? Ну, прощевайте тогда, гражданин следовательно хе-хе, извиняюсь тоисть, товарищ начальник, пока, значит!

Жена Курыма, Мария Тимофеевна, там же:

— Вы ему делов-то не шейте! Сторонний он тут человек. Третью неделю не просыхает, но смирный, аккуратный. Вы своо председателя ловите, нечего безвинных тягать. Мой Иван Федорыч в бригадирах тогда не ходил, его за пьянку-то с должности разов шесть сшибали. А что пьет — сами разберемся, накажем и вкатим куда следоват! А вас не касаемо, не пугайте! Тоже мне, благодетели. Оставьте-ка его в покое подобру-поздорову, нето не погляжу, что из города начальство — и на вас управа найдется! Думаете, коль деревня — так ни ухо, ни рыло?! Ошибаетесь очень, гражданин следовательно... Чего? Как сказала, так и повторяю — граж-да-нин! Не трожьте Ивана! Как это — и не собираетесь? А чего волюнку развели? Молчите?! Вам козел отпущения нужен, стрелошник?! Считайте, что на этот раз мимо проскочили. Чего? И пойду! Пойду, тока и повыше вас начальствие сыщется! Чего? Доброго здравычка, гражданин... Чего? И вам того же желаю! А то больно дерганные все... ага, покедова!

Из рапорта:

«...К дознанию приступил. Опрос первой группы свидетелей к прояснению дела не привел. Считаю необходимым срочное задержание бывшего

директора совхоза «Вперед!» для выяснения обстоятельств... Прошу разрешения задержаться в с. Чугунки еще на два дня. Старший следователь С. Т. Серегин».

Семен Никифорович Грибов, инженер, Москва:

— Я вас внимательно слушаю... Ах вы меня, понял. Кирилл Сергеевич мой друг, один из самых, можно сказать, близких, со студенческой скамьи мы с ним... Ему? О чем? Не понял, ах об этих самых Чугунках? Ну как же, говорил. Да вы знаете, так, между делом, в шутку. Сидели мы... что? Понятно. Он замначальника управления. Да, в министерстве, чем-то там по сельскому хозяйству заправляет, я как-то и не пытался вникать, сами понимаете, в дружеском кругу тем хватает. Да и про тот случай я ему как про курьез рассказал... Да что вы говорите? И большое хищение? Да-а, кто бы мог подумать! А ведь представлялось — так себе, пустяки, шуточки. Это надо же! Как оказался? Да отдыхали мы там с женой — с финансами в этом году не рассчитали да и стенку новую купили, вот потому и решили: подешевле чтобы — к родственникам в деревню... Что? Нет, родственники ее... А вы, надеюсь, на работу сообщать не будете? Ах вот что! Нет, мне по роду службы верить в такие вещи не положено. Там разберутся, вы понимаете? Нет?! Да ну что вы! Какая банда! Какая мафия! Да разве будет преступная группа маскироваться под этих... Хотя, чего только не бывает на белом свете, ведь им перебросить к себе на другой конец Галактики какой-то там... да им же раз плюнуть! Впрочем, в таких вещах нам, мелким сошкам, разбираться не положено. Вот поступит указание сверху, с визами, со сроками, чтоб по плану все — тогда составим соответствующую документацию и приступим. К чему? А к чему скажут, к тому и приступим! Но если не для протокола — скажу: слаб человечиска еще,

слаб и ничтожен, и коли там кто-то есть, не дай Бог, конечно, то лучше нам всем молчком, тихо-хонько, будто не видим ничего и не слышим, авось и пронесет! Ведь если б они нас за горло хотели бы, так мы и не пикнули, так-то! Не верю? А кто говорит, что верю?! Ни в коем случае! Вот будет указание, тогда поверим!

Снова Коровин, он же Курым:

— Вы на супругу мою не обижайтесь — с норовом баба. Да чего с нее взять — они щас все такие. Не обижаетесь? Вот и ладненько! А я, прям-таки, изволновался весь, ведь ежели не оставишь, она такого наплетет-накрутит! И сама после совестится, да-а. Сладу нет! Вы бы ее, того, суток на пятнадцать, а? Чтоб общественность продыхнула малость. Что? Не-е, я человек серьезный. Щас все по порядку, только один вопросик. Можно? А вот почему, товарищ следователь, эти... ну те, кто... скажем, в районе, ну вы понимаете, — ведь не может быть, чтоб не знали, кто за это отвечает? Ах, в другом месте. Стало быть, по заслугам все? Это хорошо. А нас, стало быть, просто так, мол, для сведения чтоб? Лады. Только какие мы очевидцы? Не понимаю! Да вы не сомневайтесь, я нынче в форме — все как есть выложу. Значит, приехал к нам, тоисть не к нам, а к Фоминым, соседям нашим, из городу Семен этот, с бабой своей. С виду человек как человек — руки-ноги на месте, немолодой — лысина с полстола вашего, здоровый... И на тебе — день проходит, другой, третий — а он сухой, трезвый тоисть, так, что абсолютно! В отпуску!!! Ну меня это и разобрало: нет, думаю, я тебя, доцент, насквозь вижу — хочется тяпнуть, ой как хочется, да, видать, жена! Только, думаю, мы это дело обойдем — на то у человека и голова. Издалека стал подъезжать: то поздоровкаюсь лишний раз, то спрошу у Фоминых чего для хозяйства, а сам — то да се. Короче, столковались мы с Се-

меном этим, доцентом или инженером — не разбираюсь я, и пару раз даже в чайной по красненькому вдарили. Он мне про город, я ему, стало быть, про деревню, про совхоз наш. Все очень ладненько. Ну и предложил я ему: поехали, дескать, комплекс наш поглядишь?! Вам-то я скажу — для отводу глаз все это было, да просто душа на простор рвалась, подальше от жен этих! И для его бабы причина: мол, хочет, городской человек, инженер все ж таки, с комплексом животноводческим ознакомиться, знаете, с таким комплексом-гигантом, как по телевизору говорят, промышленным центром животноводства. Что? Знали, как же не знать, не первый год в селе-то, Но ведь я говорю, зацепочка нужна была. И кто думал, что этот Семен настырный такой... Да я ж разве и сам-то верил, разве ж брал в понимание, что эти, которые на комплексе, безобразить начнут?! Ведь у нас как? У нас везде и завсегда порядок, и чтоб ни-ни! Ты хошь зеленый, хошь лиловый в яблоках, а коли нажрался... пардон, стало быть, коли перебрал малость, так иди себе по струнке и никого не трожь! У нас народец-то смиренный, тихий, но ежели заведешь, так... Что? Да никто ему не говорил ни хрена! Ведь дело такое, что не поверит никто, тут самому надо видеть, своими гляделками-то! Чего-о?! А и то, правда, правда, ваша, гражданин... я вот о ту пору промеж его так и прошел! А ведь я ему говорю: «Стой гад, стрелять буду!» Тока ведь мне стрелять-то не из чего! Ну а как пошел, так насквозь и прошел. Оглядываюсь — а его и нету! Улетел уже! А откуда я знаю — куда?! Раз с Луны, значит, на Луну и улетел? Чего?! Так тож не зеленый был! То был бледный как поганка лесная! Но натуральный! Тут врать не стану — как в натуре, похож! Я такого лет аж десять еще назад на картинке в какой-то книжке видел. Так что — он! Вот я и подумал: а не Григорий ли это замаскированный, председатель, тоисть?! Я б

его на вилы взял, дак вил-то у меня нету. Можно было бутылем садануть по кумполу... Но ведь жалко же, гражданин... ой, прошу прощеньица, товарищ вы наш дорогой, жалко бутылем-то, у меня там еще на донышке чуток плескался. Но вы это дело бросьте, не путайтесь! Тут не с наганом и протоколом надо, а с крестным знамением да святой водой, говорят еще — осиноый кол помогает... Чего это вы пишите-то?! Не надо! Вы лучше про Семена пишите да про Гришку-председателя! А про эти шуры-муры не надо! Мне хоть кто, хоть ты шайка-лейка, хоть гангстеры с Америки, хоть с Луны делегация, нам мешаться не след! Ведь кого резать станут да утюгами жечь? Кого, я спрашиваю?! То-то, у кого язык длинный! А мы передовики, нам болтать лишнего не положено! Наше дело механизацию труда подымать и гнаться за кем укажут по части надоев! Так-то! А с Семеном этим, лысым, мы и поехали. Но не сразу!

Грибов, там же, в Москве:

— Если бы не сосед мой заводной, так и не видать бы этого безобразия. Вот чудной мужик попался! Мне б на бережочке с удочкой посиживать, а он заладил свое, как пластинка заевшая: мол, поехали, комплекс, комплекс, комплекс, современное производство... И все говорил, дескать, одного жаль — ехать далековато, глядишь, целый день уйдет. Ну и допек наконец. И откуда у меня интерес какой-то появился, я ведь от сельского хозяйства, чего скрывать, далек очень, но так получилось... Договорились, собрались, а на следующее утро, спозаранку, сосед мой на мотоцикле подкатил. Жена с собой провизии собрала, проводила. Поехали. Только ехать нам долго не пришлось — сразу же за околицей у стожков останавливает он мотоцикл и говорит: мол, перед дальней дорогой перекусить не помешает. А сам достает из ватника бутыл с самогоном. Я не слишком пространно? Нет? Ну так вот...

Виталий Кузьмич Сенной, зоотехник Чугунки:

— Извините, все дело в том, что накануне Курым, то есть Коровин, бригадир бывший, в очередном мероприятии не участвовал. Каком? Знаете, у нас так повелось, что после сева или еще какой ударной работы премию дают. Жены, конечно, денег этих и в глаза не видят, не в том суть, традиция, знаете ли, даже саму премию не иначе как «на пропой» называют. Я, когда сюда попал, тоже удивлялся. Потом привык. Ну, а как премия, так сразу после работы, хм-м-мэ, — мероприятие. Вот и в этот раз... или не надо об этом? Надо? Ну тогда я дальше, а то вроде бестолковщина какая-то получается. Да чего там, если б не было мероприятия в предыдущий вечер, я б ни за что не попал в компанию с Коровиным. Но уж так получилось, что утром я оказался в том самом стожке, где они первый привал устроили, ну и понеслось...

Мария Коровина, там же:

— Вы уж зла не держите на меня, товарищ начальник, я от сердца, не просто так. Только зачем мешать мово Иван Федоровича со всей этой компанией хулиганской! Он даже если примет чуток и поболе, так смиреннее ягненка, только песни поет, да и то вполголоса, чтоб не потревожить кого. Что? Знаю, знаю — надоела вам со своей болтовней бабской. Только и те, другие, не лучше. Вот вы послушайте да запишите, как они тут работают. Намедни, как раз до поездки Ивана на комплекс, пропойные деньги, что за ударный труд дают, наши мужики по ветру пускали. У кого хотите спросите! С полудня в дымину все как один, а к вечеру, как стемнело, значит, понесла их нелегкая на кладбище — так там такой мордобой устроили, что прости господи, перед усопшими стыдно! Мой Иван их разнимать бегал, а сам ни-ни: ни стопочки, ни глоточка! Так ему самому накостыляли! Особливо зоотэхник наш,

Кузьмич, уж не знаю, за что отчеством кличут — ни одной премии не пропустит. А с налитых глаз больно свиреп бывает, под руку не попадайся! Да и вообще, дурной он, вот что я скажу, дурной. Только не в этом дело. Иван-то прибежал, с фингалиной, правда, под глазом, но тверезый, молодец. А вот сейчас разобьюсь — к чему это развела так длинно. Вы сами только прикиньте — каких ему, Ивану, трудов стоило в празднике себе отказать? А он смог, пересилил себя. А все потому как совесть у него. Ежели б не он, так и по сей день никто б ни сном, ни чохом не видал о комплексе этом. Ведь Иван-то не зря повез туда инженерику московского, не зря! А потому как не мог он терпеть безобразия в совхозе родном! Вы это у себя в блокнотике-то отметьте. Ежели б не он!.. Что? Да на моем веку восемь председателей, или, как их там, директоров этих, сменилось. Неспроста все! Как машину-то себе наживут, да мебели, да одежды ворох, да еще кой-чего — так и поминай как звали, тю-тю! Чего? Это я к тому, что город-то далеко, а они тут, поди-ка, попробуй, спроси с них! Такого смельчака поискать придется. А вот Иван мой нашелся, первый, поборол себя, преодолел, одно слово — подвижник! Он их всех на чистую воду, вы не смотрите, что смиренный такой. Чего? Ага, все, как ни на есть, правда святая. А вот скажите, товарищ следовательно, ему этот поступок-то благородный зачтется, а? Чего? Ну, потом так потом... А мужики те после побоища кладбищенского всюю-то ночь по деревне плясали да песни горлопанили, мирились, значит. Только под утро и смолкнули, родимые, чтоб им околеть. А вы слушайте, я уж кончу сейчас. Понятно. Вы уж расстарайтесь — хоть одного, хоть Гришку-председателя словите, доколь же можно. Ладно? Чего? Пошла, пошла я. Еще раз прощеньица просим, будьте здоровеньки, товарищ начальник, до доброго свиданья, а ежели я вам... так завсегда!

Снова Грибов:

— И тут из стога самое натуральное пугало вылезает: глаз не видно, на голове такой же стог, только поменьше, руки-ноги трясутся. Коровин даже позеленел весь, стакан в руке ходуном ходит, по лбу пот катит. Но быстро опомнился и говорит: мол, думал, до горячки допился! Это он под нос себе, а потом уже мне: «Так то ж зоотехник наш, Кузьмич!» А Кузьмич этот, парень еще совсем, отряхивается, мычит, руками ворот рвет, а сам с бутылки глаз не сводит... Что? Да нет, он, по-моему, к делу отношения не имеет, это я так вспомнил, для связки, знаете ли, память — собьешься когда, путать начинаешь, а тут серьезный факт, хочется, чтоб все объективно было. Можно? Тут, конечно, и я слабину дал, поддался уговорам — выпили мы ту бутылку, для зачину, как Коровин приговаривал. Здесь и Кузьмич на человека стал похож, заговорил членораздельно. А я им про комплекс: дескать, поехали, раз собрались! Вот и поехали — Кузьмич в коляске, как ослабленный, ну а я на багажнике. Только до комплекса оказалось еще ох как далеко!

Районная газета «Заря»:

«...нет ничего удивительного, что неопознанные летающие объекты посетили наконец-то после долгого пребывания в местах экзотических и удаленных, и наш район. Ведь как известно, район находится по основным показателям на одном из первых мест в области... Не ускользнули прищельцы и от пытливого взгляда юных натуралистов восемнадцатой младшей школы. Мы приводим отрывок из беседы нашего корреспондента с одним из очевидцев-юннатов:

— Вова, так кто же все-таки это был? Припомни хорошенечко, и знай, от твоих слов судьба всего человечества зависит. Ну?!

— Это были они.

— Точно они?

— Точно!

У нас нет основания сомневаться в правдивости показаний пионера, отличника, общественника. И это лишь одно из множества свидетельств. Да, мы можем сказать прямо — свершилось! Человечество тысячелетиями ждало этой встречи! Распахнем же свои гостеприимные объятия пришельцам из глубин Вселенной и явим им наше традиционное и хлебосольное радушие! И если в Филадельфии и на Багамах для посланцев доброй воли из иных миров не нашлось места, то наш район, получивший в позапрошлом году переходящее знамя, не ударит в грязь лицом и протянет руку дружбы братьям по разуму! Ознаменуем же долгожданную встречу ударным трудом на полях, в цехах и лабораториях, соберем небывалый урожай и установим рекорды! Труженики Земли — Путникам Вселенной!»

Курым:

— Я их еще тогда разглядел! Что?! Да точно, вот как вас видал! Стоит один и меня пальцем манит. А палец — как хобот у слона, тока поменьше малость. Буркалы навывае, сам дрожит, переливается, трясется... Я Семену в бок кулаком, дескать, гляди, вот они, объясняются, а на ухо: давай, говорю, окружать! Будем, говорю, брать живьем! А зоотехник наш, Кузьмич, тоисть, его за рукав тянет и мычит, дескать, тоже вижу! Я это так понимаю! Ну он-то ладно, он еще со вчерашнего окоселый, а после бутылки и вовсе поплыл. Но я ж тверезый, как стекло! Я ему по кумполу, Кузьмичу, тоисть, и в коляску! А сам каменюку поднял, да как в его брошу, в зеленого! Не поверите, гражданин... И камень насквозь прошел! Это ж неспроста! Это ж не бывает так, чтоб случайно! И я тодысь прошел, и камень пролетел! И все мне стало ясно как белым днем — есть, думаю, ты, падла! есть, существуешь! Ведь совпадений же не может быть, так?! Ну и я на

него с кулаками, с матом, с ором! И что ты думаешь, подтвердилось! Живой! Настоящий! Я на него, а он от меня в две стороны! Прямо разорвался на две полы, да как сиганет — и туда, и сюда! Я Семену кричу: «Лови! Держи! Хватай!» А он стоит олухом, даром, что городской! Так и упустил. Ну ладно, я долго-то не печалюсь. Покряхтел, покряхтел, сам за руль — и тока пыль столбом! А этот, Сема-то, еще ехать со мной боялся! Я его спрашиваю: «Ты чего?!» А он жмет-ся, косится. Ну я и скумекал — не меня ты боишься, а этих, трясущихся, меня чего бояться-то?! Во как бывает! Значит, видал! А ведь молчит, рта раскрыть боится! Да кончай ты уже писать, загубить что ль, всю семью мою удумал?! Чего-о?! Да ладно уж, пиши — теперь беды не миновать?! Я те точно скажу, нашенские-то мужики почитай все их видали, а они народ матерый, дошлый, они врать не станут, это тебе не городские!

Зоотехник Кузьмич:

— Не хотел говорить, но от себя, видно, не уйдешь. Я вам все как есть расскажу, но убедительно прошу — ни имен, ни фамилий, ни прозвищ не надо, узнают — мне не жить! Что? Нет, не преувеличиваю! Все крайне серьезно. За мной уже давно следят... А-а, была не была! Мы бутыл-то Курымову тогда распили. Ну и у меня в мозгах просветлело сразу. Они думали, я отрубился, увял! Нет уж! Я только в себя и пришел тогда. Но вида не подаю! И вот... вы слушайте, только я последний-то глоток проглотил, как гляжу, вылезает из-за мотоциклета — зеленый, трясущийся, а сам по земле стелется, переливается, вот-вот подберется. Не-ет, шалишь! Я глаза-то прикрыл, дескать, ничего не вижу, ничего не понимаю! А сам в щелку гляжу. А они с Курымом шепчутся, и с городским этим, облезлым. Пошептались, пошептались, сговорились, видать! Что? Да нет, вы слушайте, все так и было, с места не

сойти! Тут Курым с облезлым и побежали в тарелку... Как? Была, конечно, была! Я ее как ваш стол видел, вот, рядом! Только зачем, думаю, им тарелка, чего они на ней воровать собираются? Что?! А для чего ж еще?! Тут всякий, у кого чего есть, на том и тащит-тянет! И эти не дурнее! Только они влезли, тарелка-то и растворилась... Я думаю, на комплекс, куда еще! А зеленый меня кулаком по голове — как даст! И в коляску! Тут еще один выскакивает, и сверху. А первый-то — за руль, и газу! Что мне делать — лежу, притворяюсь упившимся, а сам — как вчера родился, только в башке пусто и гудит. Тут мы и взлетели...

Следователь Серегин, по телефону из главной усадьбы совхоза «Вперед»:

— Сидоров? Не слышу! Чего?! И тебе привет. Ну чего там? Ни хрена?! А у меня карусель сплошная, я уже осатанел от всех этих Курымов и Кузьмичей, не иначе как в психушку мечу! А по делу — ноль! Не-ет, тут пускай особая комиссия узелки распутывает, тут, похоже, не по нашему ведомству... Чего?! Не слышу! Григорий где?! Не сбегал?! Да ведь розыск объявлен! Да что ты говоришь! На Енисее?! Прорабом?! А зеленые где?! Тьфу ты, заболтался! Да откуда тебе знать! Не-ет, старина, тут дела поважнее, это тебе не за карманниками бегать, тут мы на такие сферы выходим, что аж дух захватывает! Это, брат, уже не международная мафия, а межпла... Ладно, я тебе потом расскажу, если, конечно, цел буду! Меня тут местные мужички каждый вечер с собой берут... Куда?! В засаду! А ты думал! И я по-перву ни черта не видал! А со второй недели... Чего говоришь? Да я про эти мелочи и думать забыл! То же мне, хищение! Да где у нас хищений нету! Тут целый комплекс... Ну ладно, не веришь — не надо! Мне в засаду пора! Мужики ждут! Им одним не осилить, то есть, это, не уследить! Ну давай!

Дед Гараська, хуторок за Чугунками:

— А ты слухай и не встрейвай, куда нипопада! Мне с того году девятый десяток пойдет, я, паря, и не таких видывал. А не хошь — вот те бог, вот порог, усек? Я завсегда тута живу, а все про всех знаю. Не чиплялся бы ты к людям-то без нужды! Чего? Да я и не обижаюсь. Ну вот скажи — и чем это оне тебе досадили? Ты, паря, погляди-кось лучше, какой Гришка-директор себе домину отгрохал. А-а?! Так у его шабашники из городу полгода пупы драли. А ты — Курым, Кузьмич! Чего?! Это он для тебе, паря, Коровин, а для мене — Курым, вот и разговор весь. Не хошь — не слухай! Ранехонько за компликс ентот взялися-то, поперву за человека бы надоть. Вот тако тебе мое слово. А ты смекай! У нас присказка така есть: по ленивой сохе урожаю не будет! Чегось? Щас поймешь! Это када день светлый по тринадцать часов, дык то ленивая соха — сей не сей, хошь в самыя передовики заделайся, а урожаю-то, хлебушка не дожدهшься. А када денечек за четырнадцать часиков перевалит, дык то — резвая соха, можно и за дело браться. Не понял — к чему? А к тому, паря, кумекать надоть — всему свой черед. Ты вить небось думаешь — старый пень, плетет что ни попадя, да? А я те скажу — не с компликов начинать-то надо, а с тех, паря, кому их делать повелено. Сам понимаешь, я не про работяг, те сварганят... Слухай, слухай! Чего-чего? Как это не знали?! Все знали, одним миром живем, паря, это не у тебя в городе. А Курым, Кузьмич и ентот городской щуплый в самый раз в тот день ко мне и подкатали. Мечи, говорят, дед Гараська, карасей с печи на стол! Ну я, понятно дело, гостю рад — старуху в погреб за самогоном. Ты не гляди, что я сморчком таким, я ежели чего — наравне с молодыми замогу! Вот и уговорили мы за беседушкой четверть...

«С каждым днем, с каждым часом поступает все больше и больше абсолютно достоверных сообщений из Совхозовпередовского района. Неужели грядет разгадка тайны века? Неужели мы на пороге контакта с инопланетным Разумом? Да, похоже, это именно так! Сотни очевидцев, их зарисовки, рассказы, фотографии неопознанных объектов, обгорелые пятна на месте посадок, десятки неопровержимых улик... Даже если все они окажутся не совсем объективными, то исчезновение гигантского суперкомплекса, существование которого реально подтверждено во всех документах и отчетах, этого первенца индустриального отечественного животноводства, необъяснимо! Наша цивилизация пока еще не создала достаточно надежных средств, которые могли бы переместить многомиллионное гигантское сооружение, не оставив практически и следа на месте его пребывания! Тут и скептикам пора призадуматься. Только исчезновения океанских лайнеров и эскадрилий самолетов в районе Бермудского треугольника может сравниться по масштабности с похищением пришельцами супергиганта отечественного животноводства... в район высадки инопланетян начинаются массовые паломничества советских и зарубежных туристов. Есть над чем задуматься служителям нашего ненавязчивого сервиса. Впрочем, они уже опоздали, одна из ведущих мадлайзийских фирм предложила продать ей весь район с окрестностями — в местных советах идут бурные дебаты, сторонники прогрессивного сотрудничества и международного разделения труда, судя по всему, одерживают верх! Мы рады приветствовать мадлайзийских друзей на нашей щедрой земле! Наш соотечественник из-за океана, известный скульптор Арнольд Малоознакомый, предлагает бесплатный проект для установления в месте высадки пришельцев за счет совхоза «Вперед!»»

полуторакилометровой памятной стелы. Посельчане с радостью и благодарностью примут этот щедрый подарок! Мы все низко кланяемся нашему прославленному земляку! Да, давно пора вливаться в международное сотрудничество и выходить на межпланетный уровень...»

Зоотехник Кузьмич:

— ...а спланировали мы прямиком на полянку, там еще хуторок такой, и дед Гараська живет, то ли партизан бывший, то ли петлюровец какой, никто не помнит, короче, в гражданскую сабелькой помахал вволю, народцу покрушил — и не счесть, крутой стариканище! Хотите верьте, хотите нет, а я сразу заметил — дело неладное! Недаром про деда Гараську говаривали, что с нечистой силой водится! Народ, он врать не будет! Чего?! Короче, спланировали мы у самых ворот, стоим... А я опять глаз приоткрыл — мать честная, призраки эти зеленые-то уже обратно перекинулись, вместо их на мотоциклете — Курым и городской облезлый сидят! Я если раньше и сомневался в чем, думал, мерещится, или сам чего понапутал, так теперь усек — все точно! сговор у них! одна банда! Судите сами — все честные мужики где были до того, а? Не знаете?! На кладбище, в засаде! Все, в ком совесть еще жива была, пропойные деньги сошлись сообща пропивать! А эти?! То-то и оно! Пишите, пишите... Чего это у вас рука так трясется? Может, по чутку? У меня всегда с собою... Ну вот, дело житейское, теперь-то полегчало, а? Да мы теперь с вами как комиссар Мегрэ со своим любимым помощничком, мы ж все тут пораспутаем, всех на чистую воду! Чего?! А-а, вот и смотрю я по сторонам-то, а кругом пусто и темно, и дверь в Гараськину избу... Я-то еще постоял, постоял, да и зашел... А там! Не поверишь, Сергей Тимофеич, ни за что не поверишь, Серега! Давай еще по чутку, а? Ну давай! Твое здоровье! И-эх, зараза!

Как водичка льется, никакого вкуса, я так думаю, разбавляют, а, Серенька?! Чего?! Ну лады, по порядку... Захожу, а там темень несусветная и лучина горит! Стол темный, низкий, выскобленный. А образов-то в углу и нету! Я сразу и смекнул, что к чему. Поворачиваюсь, а за столом сидит дед Гараська, как есть, в скафандре и шлеме на башке. А рядом, рядком-то, двое зеленых — один другого страшнее, Тот, что слева, в фуфайке, по-вашему, в телогрейке, а справа который — облезлый какой-то и в очках. Но зеленые! Глазища — во! Носяры-во! На лапах по семь пальцев... а может, и по восемь. Сидят, значит, выпивают, и на меня буркалы пялят! А у меня — пот по спине, стою — ни жив, ни мертв! Тут мне Гараська и говорит, эдак глухо, из-под шлема, коль оклемался, Кузьмич, так садись с нами! А сам крышечку сверху, что на шлеме-то отвернул, взял двумя руками четверть целую, да и вылил себе в шлем. И рот разинул, сосет, значит! Я гляжу — точно! уровень-то самогона в шлеме в этом прозрачном все падает да падает, пока до самого донышка не дошло, пока все, значит, не вылакал! Ну, вот ты и выдал себя с головой, думаю, нашенские разве так пьют?! Никогда! Точно, пришелец! Деда Гараську убил, труп в погребке сховал, а сам со своими злыднями за столом сидит! А он будто мысли мои прочитал и говорит под нос: «Кузьмича — в подпол! Пушай охолонется малость!» Во как! Ну тут-то я и вырубился! И ничего на пользу страны и государства от злоумышленных рож так и не выведал... Ну чего, вздрогнули, что ль! А-ах! Хорошо пошла!

Грибов, в Москве:

— А я выступаю за международные связи! Целиком и полностью приветствую, разделяю во всем... В чем? А в чем надо, в том и разделяю! Мы завсегда, как выражался мой сельский друг Курым, одобрям! Сам? Сам-то?! Нет, не видал! Но

местные видали. Они в ту ночь, когда кладбищенское побоище было, чуть не уловили двоих зеленых — промеж могил мотались. Что? А где же им еще прятаться, они выбирают самые безлюдные места! Да вы не беспокойтесь, там сейчас тихо. Я ведь когда отбывал, как раз и приезжала делегация с председателем Нижней Мадлайзии, запомню, как звали-то его, ну да неважно, вы должны знать. Так вот, они совместно и план приняли к исполнению — чтобы в народе беспокойства не было, кладбище то к майским праздникам заасфальтировать и сверху клуб-дискотеку для сельской молодежи, для культурного времяпровождения! Мы с Курымом — одобряю! И народ вышел с лозунгами в поддержку, делегацию хлебом-солью встретил и проводил, пирогов им в дорогу напекли. Было недовольство поначалу, было, чего скрывать... у них нравы свои, к нашим нецивилизованным местам непригодные пока, до развития, то есть, нашего. Они в план-то застройки рядом с клубом-дискотекой публичный дом вписали. Ну и деревенские бабы, особенно старухи, манифестацию устроили, а Курымова жена так и голодовку даже на крыльце дирекции совхоза! Но как им партнеры по совладению землями и угодьями рассказали, что в бордель-то будут пускать только за валюту, туриста привозного, так они тут же и поуспокоились все, разошлись — и впрямь, ну откуда у их мужиков доллары и франки?! Сотрудничество и разделение труда — большое дело! Это их изнеженные туристы пускай в борделях разлагаются, а наш мужик — он в поле должен, землю подымать! Не-ет, туристы, конечно, не из-за баб приезжают, им пришельцев подавай, экзотику! А бабы на подхвате, в обслуге. Вот от Курыма, то есть, от бывшего бригадира Коровина Ивана Федоровича письмецо на днях получил. Так он пишет, что предприимчивые мадлайзийцы и мужиков наших неграмотных и неспособных к делу приставили,

да! Они сейчас вроде сталкеров, смотрели фильмото?! Нет?! Они сейчас туристов в зону водят! Да не в ту зону, о какой вы подумали, там у них лагерей и профилакториев нет! В зону высадки! Вот! А зоотехник Кузьмич пропал! Только теперь все это не нашего ума дело! Теперь это надо с ихним представительством в Москве выяснять... Мне? А кто ж мне визу выдаст туда! У меня конвертируемой валюты не имеется!

Курым:

— ...так и просидели у деда Гараськи, значит, почти до вечера! Уж темнеть начинало! Славненько так посидели! Тока Кузьмич всю беседу портил! Все вылезал из-под стола, а потом и из подполу, да ловил кого-то по избе! Бегал, гонялся, руками махал! Я ему — Кузьмич, едрена-матрена, да тут же нету никого, они ж все там остались, на дворе! Да еще у комплексу! А тут нету! А он все норовил деда Гараську за грудки схватить, все допытывал, на какую державу он, значит, работает! А опосля взял бутыль из-под бормотухи, как закричит: «Я те шлем-то раскурочу!» И по кумполу деда! Тока ведь того и шашкой не возьмешь, он мужик тертый. Он Кузьмича разом угомонил и опять в подпол на прихождение в чувства! А Семен-то этот, сам лыка не вяжет, весь зеленый сидит, не хуже пришлецов, а туда же — поехали, мол, да поехали! Всю беседу задушевную спортил! Поехали комплекс, значит, смотреть! Привязался, сладу с ним никакого! Сергей Тимофеевич, друг сердешный, ну ты мне-то веришь, а?! Мы ж с тобой не одну бутылянку в разговорах опустошили, знаем друг друга, знаем и уважаем! Ну я ж ему от всего сердца, от всей души, начистоту — Сема, мать твою перемать, да какой там к хрену комплекс! ты же, говорю, здоровенный мужичина, вон лысый весь уже, а без понятию! да там, говорю, отродясь ничего не бывало! два кола да яма, вот тебе и весь комп-

лекс! Чего?! Да пиши уж теперь всю правду, Серега! Нам кого прикрывать?! Некого! Все начальство разбежалось! А мы отчеты и справки не составляли! Да и кому они на хрен сейчас нужны! Вона, вчера наезжал нашенький сопредседатель зоны, да ты его ж знаешь, он же из тутошних, бывший председатель, его теперича Григорий-сан кличут... Чего? Ну у них так заведено! Не нам их ихним обычаям обучать! Наше с тобой дело сейчас по стакашку, чтоб внутрях все пело! А там разберутся кому надо! Я вона седни трех туристов-буржуинов по всему-то лесу, мотал, головешки им показывал, следы, стало быть, посещения! Ну ты сам подумай, дурья башка, ну ежели бы не было никого, ну за каким бы они хреном приезжать бы стали?! Есть, Серега, есть! И ты обязательно увидишь! Ну, тяпнем по чутку!

Мария Тимофеевна, жена Курыма, село Чугунки Мадлайзийской свободной зоны:

— Здрасьте, товарищ следователь! Да вы никак спите? Чегой-то с вами?! Устали, небось?! Да-а, все работаете, работаете, ловите жуликов проклятуших нам на радость... Ой, да вы не падайте, ну чего это вы! Я ж по делу! Чего деется на селе-то! Ищо никогда такой райской житухи не было, эй, не слышите, что ль?! Вот я и говорю! Эти наши благодетели-то понавезли товару, хоть задницей ешь! Бабы с ума посходили! И без очередей! Развалом! Бери, чего удумается! Жаль рубли наши деревянные не берут ни в какую, но это не беда! Вот ведь умные! Вот ведь дошлые! Такие завсегда человеку помогут, даже голи самой перекатной! Чегой-то?! Да нет, у них там автобусики такие, заходишь, двести граммов сдал — тебе талончик, еще двести — еще талончик! Чего-чего?! Не мочи же! Но я вам скажу, работают аккуратно, чистенько, без боли, все по-ихнему, по цивилизованному! А мужики третий день от радости пляшут по всему селу, горлопанют, ой-ей-ей! Бла-

годетели-то им третьего дня пять рефрижераторов самой ядерной бормотени прикатили! По бомбе каждому для затравки бесплатно! А потом — только успевай получать: сто грамм — бутылек! еще сто — еще бутылек! Праздник на селе, милай наш! И не знали, что до коммунизму-то доживем! Вот, дожили! Да чегой-то ты все со стула сползаешь, милай?! Ты сиди, тебе не положено. Я понимаю, что с устатку, служба такая! Вот оно как! Я тебя все спросить хотела, мому Ивану Федорычу за раскрытие чего будет-то — премия, аль грамота?! Как чего? А кто про комплекс-то тебе доложил, что его и строить-то не начинали, что все на бумажках только и было, ай?! Это все он, все его заслуга! Такой мимо не пройдет, такому до всего заботушка есть, своя, кровная... Ой, сказала да и вспомнила не к месту! Всем-то в пользу идет, а мому Ванюше — ну хучь плачь! другие-то розовеют, наливаются, сосед вона аж свекольный ходит, а мой позеленел совсем! Может, его эти пришлецы обкрутили и сглазили, а?! А ведь какой мужик, где непорядок, он тама первый, на себя берет, не дожидается! Совесть он наша и честь! Ты б отписал, что ли, чтоб ему на родине, тоисть, тута, в Чугунках, бронзовый бюст поставили, а? Как за что?! А где ты у нас героя лучше найдешь?! Нет, ты пиши! А там как решат. Хотя... мене тут давеча наш председатель бывший, ну ты ведь знаешь, Григорий-сан, сказал, что, дескать, теперя все те порядочки на нас не распространяются. Только я не поняла, ой, бестолковая же баба! Да и как его поймешь-то — ведь совсем Гришка ополоумел, он ведь теперя с таким японским акцентом говорит... каким-каким? а я и говорю, мадлайзийским! Что его не разберешь, самурая проклятущего. Только я тебе вот чего скажу, милай, он ведь и этих обкрадет, да-а, обкрадет и сбежит опять на Енисей, аль куда подалее! Ой, жалко, мадлазийцы-то эти — маленькие, приветливые, все улыбаются. Обкрадет он их,

супостат! Ой, гляди-кось, да не туда, не в печку! Гляди в окно — нет, они нас, точно, просветят, уму-разуму научут, это ж культура, цивилизация! Вона еще фургон водяры пригнали. Спасители! Ну я пошла!.. постой, милый! Так я ж тебе про главное-то забыла! Да ты с полу-то поднимися, Сергей Тимофеич, неудобно ж на полу-то писать! Ну ладно, слушай! Вот все бабы языками молили: пропал наш красавчик, пропал зоотэхник Кузьмич, украли пришлецы Кузьмича... балаболки чертовы! Объявился родимый, объявился-я!!! Утресь по лесу иду, через лог, что у Краюхина, срезать, стало быть, решила, так до дому быстрее, от сестры я шла, с обновкой к ней ходила, похвастаться... И вдруг из бурелома леший, вылезит, я в крик! А он на меня! Медведь не медведь, и на человека не похож! Это ж я потом разглядела — мужик какой-то одичалый, обросший, глазища ненормальные, в фуфайке на голо тело, в сапожищах наперекосяк, а на голове... Ой, не поверишь, на голове-то у него — банка аж десятилитровая, стеклянная! Ну, думаю, прости Господи, Матерь Божия и Никола Заступник! Это ж — пришлец! Зеленющий, как и сказывали, чистый огурец! Вот щас хапнет, в мешок-то посадит и уволокет на небо. А мне там несподручно, у меня тут корова недоена со вчерашнего! Я его перекрестила, кричу: «Изыди, дорогой ты наш брат по разуму! Тута своих хватает! Изыди к едрене фене! Не то осиновым колом перекрещу!» А у самой-то ни кола, ни ладанки! А он на меня корягой машет, бурчит, мычит, грозитя чегой-то, а потом корягу эту к плечу приставил и говорит: «Испепелю в угли! Как посмела на инопланетную базу прийти?!» И матом, матом! Я тогда-то и признала только, за голову схватилась, батюшки-светы! Да это ж зоотэхник наш, Кузьмич пропавший! Совсем свихнулся малый! Ну, я корягу-то вырвала, да по банке — хрясь! Она вдребезги! А Кузьмич бедный перепугался, видать, и деру от меня — с воем,



вприпрыжку. И орет чего-то непонятное, дескать, спасайся, вторжение начинается, все погибнем, мол, сам бежит, а орет, обложили! Ну, я его перекрестила еще разок, в спину, думаю, или рехнулся парень или впрямь в контакт вступил... С кем? Да с этими, с зелеными, с кем же еще! Как нет?! Все говорят, что есть, а ты заладил одно — нет да нет! Против миру нельзя, Сергей Тимофеевич, люди-то зря не скажут! Седни, вон, опять куча туристов человек в сто пошла по лесам шкандыбать, их Афонька-сталкер повел. Чего? Нет, это валютные! Сюда теперь невалютную всякую шваль и на дух не пускают! Да встань ты, гражданин следовательно, и кончай ты меня за коленки-то хватать! Я те чего, девка, что ли?! Ты ежели чего имеешь, так прямо и говори, рази ж я против?! Где тут у тебя приспособиться-то можно, а? Иль чего, прямо-так будем? Ну давай так! Ох, коварные же вы существа, мужики. Ну давай, давай, чего ты встать-то никак не можешь, подымайся, милай... Нет, стой, не подымайся, вона мой суженный идет, обухом его по башке! Ну ладно, до приятной встречи, побегла я!

Дед Гараська парламентарам:

— Ближе трех метров не подходи зараз парубаю! Чаво?! Ну уж нет, на то я мово согласья не дам! Я в имперьялистическую nepřителев бивал, в гражданскую в бога-душу-мать контру крошил, я вить и тяперича выстою! Не подходи, стрелять учну! Всех положу рядком! Эй, старуха! Слышь-ка, мать, выкатывай максима! Ложись, едрена канитель! На моем хуторе покуда народная власть! Ложись, говорю! Эй, старуха, командываю — все по местам! Вздымай знамена! Куда-куда?! На антенну вздымай! Щас отстреливаться почнем, всех положим!!! Ур-ра-а-а!!! Чаво? Чаво — не надо?! А я вам чаво говорил?! Ты мене слухай да не перебивай, молод ишо! Неспроста вить я, неспроста, паря, по ленивой сохе — пустое дело!

А Гришку-предателя поймаю, на первой осине ему, июде, висеть, так и передайтя узурпатору-хриstopродавцу! Чаво? Моя масть сбоку припеку, тока вить я все-е вижу, паря, ленивая соха-то, ленивая! Чаво-о?! Орудия-я-я, к бою!!!

Газета «Заря стар»:

«Небывалый приток туристов со всех концов света в Чугунки-хауз явление для нас вполне привычное и обыденное. Все больше подтверждений поступает с каждым днем — да, пришельцы рядом с нами, они здесь! И только здесь! Спешите увидеть! Вчера в три часа пополудни был отловлен первый и самый удачный экземпляр нашего далекого собрата по разуму. Пришелец, окруженный отважными парнями из Кентукки, был взят буквально с боем! Операцией руководил сталкер Афонасий, наш местный герой, рэйнджер, отец четверых славных бой-скаутов. В тот же день пришелец, откликавшийся на странную кличку Коузмитч, был заспиртован и выставлен в музей-холле многоуважаемого Григория-сан. Известия о поимке первого натурального жителя Сириуса вызвало взрыв интереса во всем мире! К нам в зону спешат миллионы любопытных из разных уголков планеты. В настоящее время с аборигенами, проживающими вокруг зоны Нижней Мадлайзии, ведутся переговоры о строительстве сверх-скоростной трансконтинентальной магистрали от Курил до Ужгорода. На пути трассы стоит несколько местных населенных пунктов, таких как Москва, Свердловск, Львов и прочие малоизвестные прожиточные континуумы. Предлагается временно снести их с дальнейшей отстройкой в иных местах, преимущественно, по просьбам аборигенов, за Полярным кругом. Итак, ведущие мировые компании ведут спор — кому же строить магистраль века! Все в Чугунки-хауз! Все на встречу с инопланетными монстрами! С целью удовлетворения духовных потребностей туристов, решено пе-

ренести туземные монастыри, церкви, колокольни, скиты и наиболее сохранившиеся усадьбы предыдущей эпохи из окружающих зону областей в саму зону! Из Куала-Лумпура и Копенгагена прибывают первые партии обслуживающего персонала высшего класса! Спешите к нам! Только в Чугунках-хаузе вы сможете провести ночь под куполом тысячелетнего монастыря в обществе зеленых призраков! Чугунки-хауз — Обитель Пришельцев! Чугунки-хауз — сервис экстра-класса! Только здесь вы сможете увидеть неслгибаемого борца за победу мирового коммунизма деда Гараську! Бывший махновец и буденовец занял круговую оборону! Этот чудо-герой в одиночку противостоит всем «гидрам капитализма!» Один в окружении империалистических акул! Спешите! Дед Гараська — это Рэмбо Чугунки-хауза! Нигде в мире! Только у нас! Дополнительно сообщаем нашим уважаемым читателям и посетителям, что для вашего удобства, чтобы вы могли себя чувствовать не хуже, чем дома на Гавайях, в Майами-Бич, или же острове Хоккайдо, принято решение затопить окружающие зону земли с предварительным прорытием в них в радиусе шестисот миль натурального океанского дна — сохраняя, разумеется, насыпи супермагистралей — итак, Чугунки-хауз — лучший курорт мира с самыми настоящими пришельцами! Для осуществления проекта предполагается перебросить в район зоны все без исключения реки от Карпат до Курильской гряды! Спешите к нам! Только в Чугунки-хауз вы сможете увидеть и потрогать собственными руками тех немногих уцелевших туземцев, что общались с инопланетянами и даже бывали на их тарелках! Спешите! Сталкер Афонасий-сан ждет вас!»

Курым-Коровин, Чугунки-хауз:

— Ты чего это?! Серега-а?! Серенька?! Ты куда побег-то?! Ведь это ж я, Курым! Стой! Стой, твою мать! Ну че ты, в натуре! Да ты разуй гляделки-

то, это ж я, твой кореш забубенный! Не-е, седни зеленых не было, точняк, не было! Вот вчера — видал! Как тебя... Один такой, зеленый-зеленый, уселся, гад, напротив меня, ухватил двумя щупальцами за нос — и как даст по лбу! Я ему говорю, не шали, не имеешь правов! А он на стену полез и прям сквозь щель в другую клеть перетек! Вот это пришелец, это я понимаю! Чего? Да принес малость. На вот, держи! Щас, брат, самогонкою-то не разживешься, щас бормотени цельные фургоны стоят, тока мне уж сдавать не хрена, я теперича из жены-заразы цежу помаленьку! На два бутыля нацедил! А бормотень у них знатная! Ну, давай! Хор-роша-а! Душу греит! Ну как, прочухался? Серенька, родимый! Да кто ж тебе выпустит-то?! У тебя ж визы-то нету?! Нету! Ладно, не бойсь! Я тебя в подполе держать стану! На наш век бормотени хватит... а там хоть ты сухой закон объявляй! Я те чего скажу-то, Кузьмич наш, зоотэхник-то, и впрямь пришлецом оказался! Точно! Нет, не вру, вот те крест на пузе! Чего ж его, зазря, что ль, в пробирке-то заспиртовали, а?! Какой-какой?! Большой и круглой, вот какой! Ишь оборотень! Ишь гад! Ну, ладно, давай-ка еще тяпнем! За упокой души этого прихвостня межпланетного авантюризма! Эх, Кузьмич, не поминай нас лихом! Жаль Семы облезлого нету, он бы враз все растолковал. Да ты не плачь, Серенька, у меня подпол знатный, вовек не найдут. А потом я тебе бумагу справлю, авось, и в сталкеры сгодишься... Во как оно обернулось-то! А ты все говорил — нету, нету! Дык ежели б не было, сюда б понаперло стока народу, а?! Чегой-то ты сам какой-то зеленый?! Ой, не нравишься ты мне, Серега, неужто и ты, предатель, с пришлецами спутался! Вижу, вижу наскрозь твою зеленую ненашенскую сущность, нутро твое поганое! А ну, признавайся, нечисть марсианская! Нет, погодь, погодь, давай сперва по стакашку пропустим. Ну-у, вздрогнули?!

Нет пророка в родном отечестве

Послесловие

В последнее десятилетие двадцатого века в нашей русской, да, пожалуй, и в мировой, литературе не было написано ничего более весомого и художественно значимого, чем романы-трагедии Юрия Петухова “Сатанинское Зелье” и “Бойня” (полные версии называются печальней, строже “Черное Знамя” – в подлиннике “Последнее знамя” – и “Резервация”). Теперь, по прошествии времени, это видно особенно отчетливо. Романы стали не только культовыми, породив сразу несколько направлений в отечественной беллетристике, но, более того, пророческими. Сейчас даже трудно представить себе, что они были изданы впервые в самом начале девяностых, когда страна наша пребывала в блаженной эйфории от нахлынувших на неё внезапно “свободы, демократии, гласности”, в которые тогда советско-российская инфантильно-полоумная интеллигенция, не без основания прозванная Александром Солженицыным образованщиной, верила слепо, истово и довольно-таки глупо (с наших нынешних позиций!) Именно тогда, в 91-93 годах, практически вся наша либерально-демократическая пресса в сотнях статей заклеила Юрия Петухова как ужасающего мизантропа-человеконенавистника, ретрограда, шовиниста, антиперестройщика, мракобеса (а тогда это было весьма чревато самыми тяжелыми последствиями) и эдак по-интеллигентски предложила властям и “соответствующим органам” разобраться с этим отвратительным Петуховым, дерзнувшим восстать против такой милой и прогрессивной политики реформ

и интеграции России, “вставшей (хе-хе!) на рельсы демократии”, в мировое сообщество... Вой, крик и гон стояли ужасающие! Не было “зверя” на всем свете страшнее и опасней писателя Юрия Петухова...

С тех пор прошли долгие годы. Россию “на рельсах демократии” переехали во всех направлениях, в хвост и гриву, и все кому не лень, оставив от неё грудку ошметков вдоль шпал, рельс и прочих путей “демократии”. И выяснилось как-то задним особо умным умом, когда патриотической риторикой сумели овладеть даже самые отъявленные негодяи-“демократы”, космополиты-перестройщики и прочая “пятая колонна” спецслужб “мирового сообщества”, а заодно и протрезвляющаяся образованщина, шустрая чиновная братва... – выяснилось, что Юрий Петухов был прав.

Но его, столь хулимого и поносимого, уже не вспоминали, посчитав в реформаторской горячке, что до всего дошли сами... Воистину, нет пророков в родном отечестве. Зато дураков и демократии в переизбытке. За что боролись, на то и напоролись: все, кто в состоянии, бегут подобно крысам с тонущего корабля - из несчастной погубленной России, точнее, из еле дышащей Россиянии (слово из нового романа Юрия Петухова “Жизнь №8”, очень точно обозначающее то нечто, в котором мы пребываем), драпают во все лопатки из этой колонии, земли беспросветных простофиль, уже почти Резервации, почти Подкуполья, что столь блестяще, остро и с неутихающей сердечной болью описано в непостижимо талантливом, пронзительно пророческом романе.

Бегут, увлакивая с собой в благоустроенное Забарьерье всё что только можно уволочь, украсть, вывести-перевести, оставляя мутирующим физически и нравственно соотечественникам пошло, шмалево, баланду, бараки, трубы, трубы, трубы и право прикладываться к своему кранику... Потрясающе! Тогда, в девяностых, когда все млели и мнили себя еврочеловеками в

“Европе от Атлантики до Урала”, гениальный провидец уже видел начало третьего тысячелетия – зарождающуюся Резервацию с разгромленной промышленностью, уничтоженной армией, трубами, скважинами, трупами, миллионными толпами похмельно и загульно деградирующих полудиотов с пивными бутылками, банками, презервативами, героином, памперсами, унисексом, тампонами-прокладками, СПИДом, трахомой, неизлечимой неврастенией, дебильностью и прочими “общечеловеческими ценностями”, ведущими к идиотизму полному, к дегенерации (в общем, именно к тому, чего и жаждет нынешняя колониальная власть Россиянии от глуповато-веселящегося во время чумы населения; для власти чем меньше народа, тем больше кислорода! главное, уничтожить как можно больше “дорогих россиян” до пенсии, чтобы не платить плембу и мизерных подачек! главное, чтобы скважины не иссякали и полупьяные дегенераты не вспоминали, что это их личные нефть, газ, алмазы гонят в Забарьерье!

Когда у нас слушали и слышали пророков?!

Впрочем, кое-кто и слушал, и слышал, и читал (разошлось несколько миллионов книг “Бойни” и “Сатанинского Зелья”). А некоторые читали даже особенно усердно, мотая на ус, перенимая мысли, приемы, манеру письма, стиль... и не сразу, а через год, два, три вдруг посыпались один за другим романы-предостережения, антиутопии – вроде бы и похожие чем-то на оригиналы... да какие-то не такие, припомаженные, приглаженные, угодливые... Не упоминая вслух имени автора (упаси Господь!), Юрия Петухова вдруг начали копировать (иногда и по-своему) все кому не лень от начинающих мальчиков и девочек, жаждущих своими матерными взвизгами да истериками в адрес “подлого сердца суки-родины” перевернуть мир, до модных либеральных окололитературных “метров” и “метресс” (с их “Кысь”ями)... Всё, казалось бы, переобезьянничали и перепопугайничали у Мастера, из его двух великих рома-

нов, все передрали-переписали на свой манер и лад... Ан нет! Получилось-то (за редким исключением) по-обезьяньи и по-попугайски, постмодернистки, вяло, уныло, слащаво, но пригодно для тусующихся масс. И похоже бы вроде, почти в том же ключе... да без искры, без огня, без боли... Вот именно, модные и не модные копиисты и ёрничи, и философствовали, и страшили публику... Петухов это делал блестяще, с вызовом, без страха и упрека, но любя Россию, до скрежета зубов-ного, страдая с ней вместе и умирая вместе с ней. А подражатели над Россией потешались, изгилялись, один перед другим выставляясь в своей ненависти, презрении к "этой стране" и "этому народу". Юрий Петухов писал свои романы в Подкуполье, соперечивая его несчастным обитателям-заключенным. Попугаи и обезьяны строчили свои кальки с того берега, из Забарьерья, даже если не сбегав ещё туда, то в душе уже пребывая в оном и страстно желая понравиться тамошним хозяевам, из кожи лезли, доказывая, что, дескать, они "либеральные", "просвещенные", хоть и родились в этой несносной стране, но они не с ней, а с ними, с цивилизованным мировым сообществом... угодники!

И ещё один момент. Если прорабы перестроек и реформ от литературы исполнились на Юрия Петухова тысячами своих перьев, приравненных к штыкам... то наша патриотическая критика и печать в целом просто надула щёки до глаз и промолчала. Молчит и по сию пору. Хотя, казалось бы, кому как ни ей сам Бог велел не просто откликнуться на эти романы, имеющие для России ценность непреходящую, неизмеримо более высокую, чем все эти патриотические тусовки, лозунги и митинги последних пятнадцати лет, но и сделать пророческие романы и их автора своим Знаменем. Нет, молчит "патриотическая" тусовка...

А над резервацией-Россией траурной черной тенью приближающейся смерти реет выцветшее скорбное знамя, последнее знамя...

И.Симаков

Содержание

Резервация. Эпизод «Бойня».

Роман

Часть первая «Чудовище» 7

Часть вторая «Пак Хитрец» 202

Наваждение. Повесть 369

Зеленые призраки. Рассказ 449

Нет пророка в родном отечестве

Послесловие Игоря Симакова 476

В оформлении обложек и форзацев серии использованы фрагменты картин Дали, Босха, Кандинского, Малевича, Атрощенко, Эшера, Миро, Афонины, Филиппова, Эль Греко, Ван Гога, Матисса, Шагала, Кисель, Моне, Шевцова, Чувасова и других художников.

Литературно-художественное издание Серия «Good as Gold»

Юрий Дмитриевич Петухов

Резервация

Редактор Д.А. Андреев

Подписано в печать 17.11.03г. Формат 84х108/32.

Объем 15 п.л. Заказ 9129

лиц. РН- 319

Издательство «Метагалактика»

111123, Москва, а/я 40

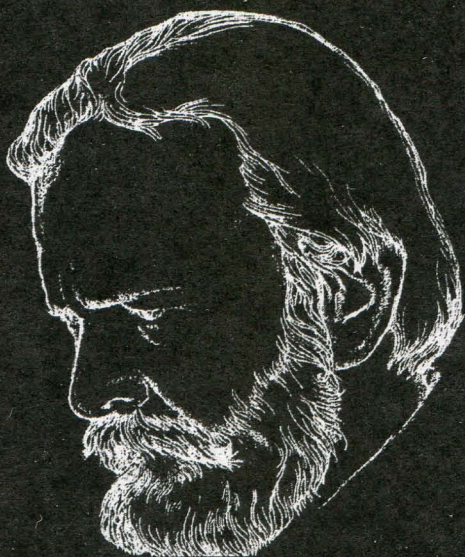
metagalaktik@mail.ru

Отпечатано с оригинал-макета

в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6





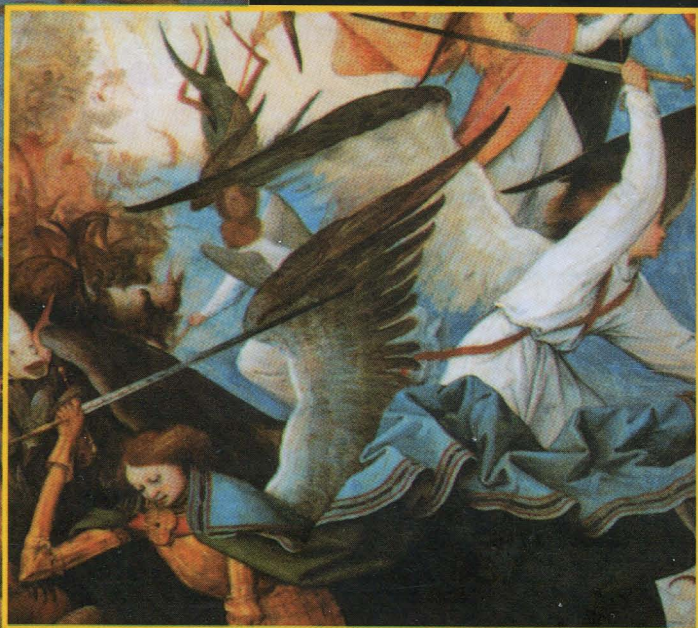
Мы никогда и ни за что не свернем с пути реформ и демократии, все передохнем, но не свернем! «И после смерти его искалеченное, изуродованное тело не нашло упокоения... Разрывной снаряд просвистел сиреной в свинцовом воздухе, ударил в застывшую грудь безмятежно улыбающегося покойника и разнес его вместе с телами прочих подкупольян, жаждавших свободы и демократии, разнес в кровавые ошметки... В разрушенную, заросшую бурьяном и репейником, накрытую сизым панцирем гари, кишашую крысами и заваленную трупами Москву медленной поступью хозяев вползали танки мирового сообщества»

Из лучшего романа конца XX века.



РЕЗЕРВАЦИЯ наваждение

ЮРИЙ
ПЕТУХОВ



«Покаемся же, братья мои, ублюдки и недоумки, негодяи и сволочи! Добром прошу, покайтесь, гады окопавшиеся! Ибо грядет расплата! Ибо грядут уже судии праведные! И отделят они агнцев от козлищ! И покарают всех, на хер, без разбору!» Из предвыборной программы Бубы Проповедника. «Бойня»

РЕЗЕРВАЦИЯ

